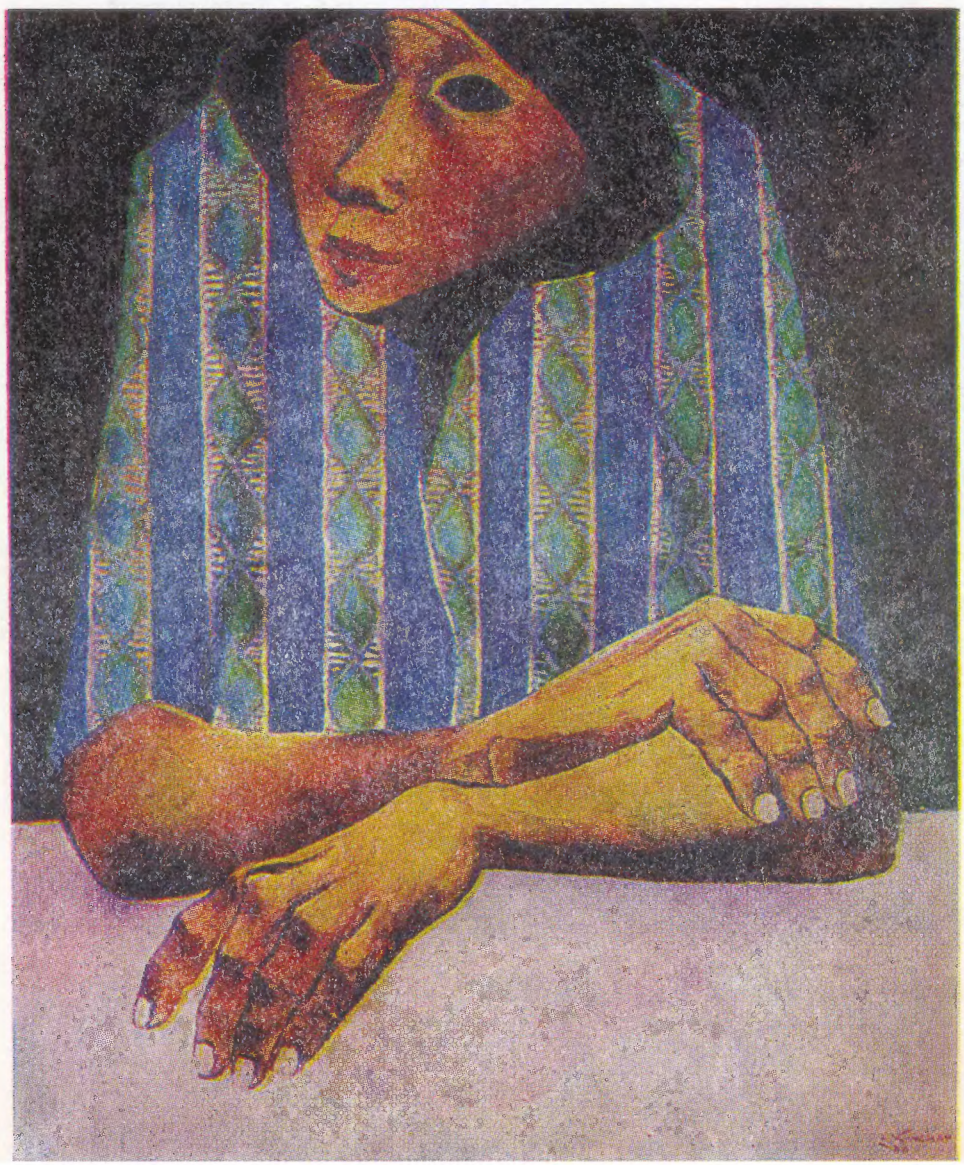
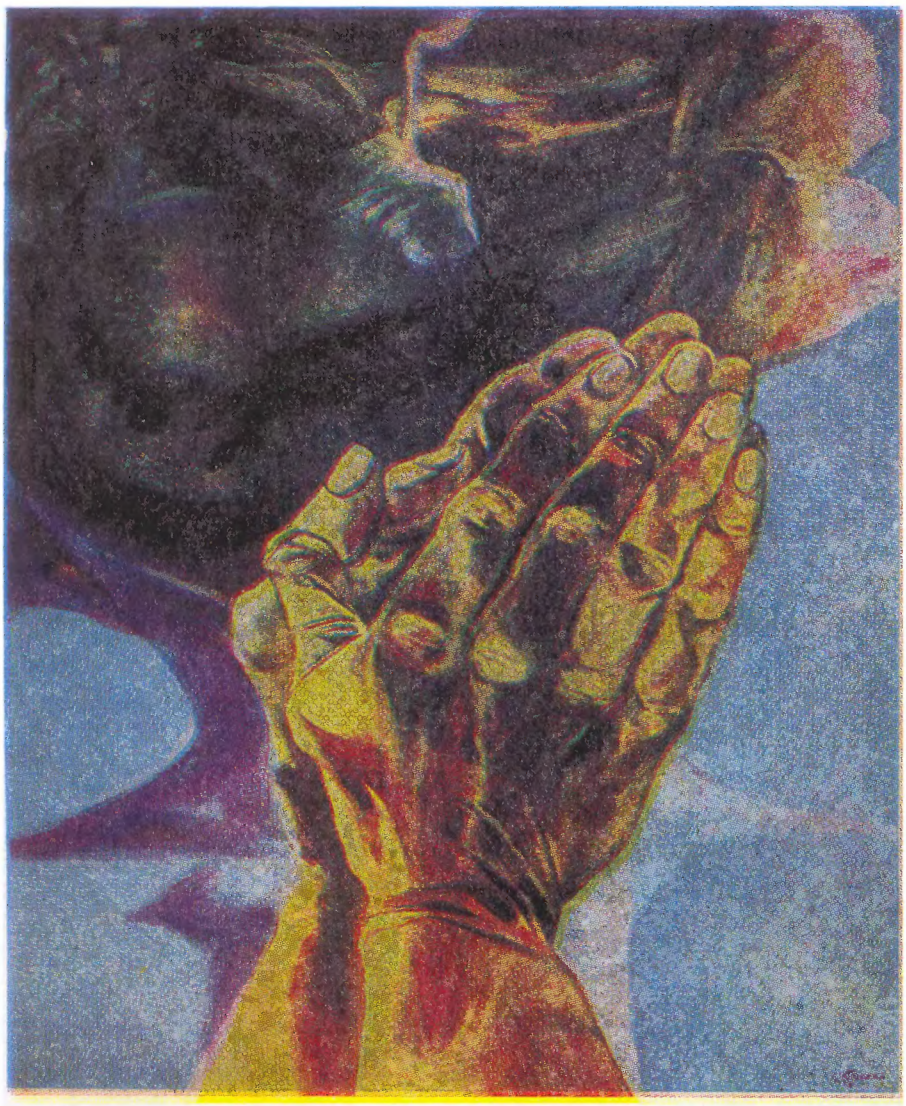
ISSN 0130–6545

2. 1988

# Иностранная литература





Хотим завтрашнего дня

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Покой. Магазин игрушек

*Цветные иллюстрации номера — работы эквадорского художника Эдуардо Кингмана*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

**2** *февраль* *1988*


## *Содержание*


ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ — Стихи из книги «Метроном» *(Перевод с болгарского Владимира Соколова)* 3

ПОЛ СКОТТ — Остаться до конца *(Роман. Перевод с английского И Багрова)* 10

РАУЛЬ СУРИТА — Стихи *(Перевод с испанского и вступление Евг. Евтушенко)* 151

**Литературное наследие**

ФРАНЦ КАФКА — Замок *(Роман. Продолжение. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой)* 159

**Публицистика**

Ю. КАГРАМАНОВ — Ищут «утраченное будущее» *(О так называемом альтернативизме в США)* 179

АРМАНД ХАММЕР (При участии Нейла Линдона) — Хаммер *(Главы из книги. Авторизованный перевод с английского Галины Салливан)* 189

Н. ДМИТРИЕВА — Живое прошлое. Судьбы искусства: век XIX, век XX *(Окончание)* 198

## Антирубрика

**Афоризмы**

*(Перевод с норвежского Ольги Комаровой. Перевод со шведского Катарины Мурадян)* 209

ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ — Стихи *(Вступление Елены Сапрыкиной. Перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 214

## Критика

**Американский роман середины 80-х: «пассивные пророчества»?**

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ — Пафос нашего призвания *(Авторизованный перевод с английского М. Дубровской)* 218

УОКЕР ПЕРСИ — Роман как средство диагноза *(Перевод с английского М. Дубровской)* 222

А. ЗВЕРЕВ — Необходимый скепсис 227

В. ИВБУЛИС — Поиск идеала и реальность *(Индия в произведениях П. Скотта, О. Хаксли, Дж. Керуака и Г. Снайдера)* 234

## Писатель и время

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Оскар Давичо, какой он есть... *(О революции и свободе творчества. Вступление Н. Вагаповой)* 241

**Из месяца в месяц** 245

**Советская литература за рубежом** 188, 197

**Редакцию посетили...** 217, 233

© «Иностранная литература», 1988

# ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

## *Стихи из книги «Метроном»*

■

*Перевод с болгарского ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА*

### *Верность*

*— — ◡ резко*

Машина уже
Может все: переводить,
Считать, запоминать,
Как это нами деется...
Машина не может одного: любить,
Верить и надеяться.
Три крепости последних! Неразрушенных.
Три тайны духа! Неприкосновенных.
Как это хорошо, что наши души
В себя вбирают сразу три вселенных.
Они дают нам шанс, свободный и чистый.
Мы даем им искренний глас.
Мы заменяем догмы истинами.
Они заменяют нас.

И от страшного отчего правила-бремени
Никогда я не буду отнят:
Живи в завтрашнем времени!
Умирай только сегодня!

Сегодня мы держим мучительный экзамен
По научно-технической революции.
Глядим облученными от звездных войн глазами.
А снится нам: вешние воды льются.

© Любомир Спиридонов Левчев, 1986

**ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ** (род. в 1935 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии. Автор многих книг стихов, среди них: «Звезды мои» («Звездите са мои», 1957), «Стрельбище» («Стрелбище», 1971), «Дневник для сожжения» («Дневник за изгаряне», 1973), «Свобода» (1975), «Исход» («Изход», 1976), «Приветствие огню» («Поздравкъм огъня», 1978), «Отрывок» («Откъс», 1980), «Лук» («Лък», 1983) и др. О творчестве поэта см. статью Н. Федоренко «Любомир Левчев: грани дарования» («ИЛ», 1987, № 9). На русском языке изданы книги: «Громоотводы», «Пристрастия», «Заклинание»; стихи его печатались также в антологиях болгарской поэзии, в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». Книга «Метроном», из которой взяты публикуемые стихи, вышла в 1986 г. (София, Български писател).

Капли вечности. Часы на вокзале,
И там — не разлука, а клятва на верность.
Клянешься живым или мертвым товарищам

И, нежно сгорая... уходишь в безмерность.

## *Братание*

*— — ◡ торжественно и нежно*

*ВЛАДКО ЛАЗАРОВУ*

Здравствуй, компьютер!
Шалун-дружочек!
Мой невзрослый, мой сводный брат.
Я — верен.
Ты — точен.
Каждый из нас одним миром богат.

Я попрошу последнюю птицу,
Чтоб не боялась тебя она.
Я расскажу даже пшенице
Как доброта твоя нам нужна.

Схемы твои кристально чи́сты.
И не болеешь ненужным страхом ты...
Так детвора начинает мыслить,
Считать и играть в шахматы.

Только знай, механизм прекрасный,
Что отец наш —
Наш век ума,
Словесами пьянствует часто
И тогда он тяжел весьма.

И тогда
Начинается драма
Подавляемого вдохновенья.
Он надавит на плечи твои упрямо,
Угрожая каждой твоей антенне.

И назло своей сущности доброй
Ты, проклятий своих не тая,
Будешь так же тащить его к дому,
Как тащил его некогда я.

## *Каприз № 13*

*— ◡ сдержанно, затем бурно*

*НИКОЛАЮ ПЕТЕВУ*

Небрежный стих
Из тех, что пишут, улыбаясь,
В письме последнем
(Получив, не дочитаем...).
Сам
На себя
Отныне полагаясь,
Себе шепчу: давай-ка снова помечтаем.

*Когда-нибудь читать нас через лупу.*
Искать тончайшие иносказания.
И выскочат, как призраки из дупел,
Тогда
Мучительные умолчания...

Сейчас
Смотрю
На этот лист знакомый,
Лежащий на окне, придавленный очками,
Как белое пугающее насекомое
С неясными на крыльях письменами.

И вот —
Уж солнце
Через круглое стекло
Читает стих,
Читает век сквозь лупу.
И луч пронизывает огненной иглой
Бумагу, знак и трепет неподкупный.

И пламя вспыхнуло.
Все озарив в жилье,
И занавеска и окно пылают.
И бытие сгорает,
И небытие.
А те таинственные строчки не сгорают.

## *Хаотичное воспоминание*

*— ⏑ медленно*

*НИКОЛЕ ИНДЖОВУ*

Я ль возвращаюсь после стольких лет иль ты?
Я стал воспоминаньем или ты — Варадéро?
Неосторожно, словно юность миновав в пути,
Забыл я нечто здесь. И как теперь найти?
Ведь вот в чем дело!

О, море... О, Карибское — соленое и теплое волнение...
На западе — закат... Восток восход звезды убыстрил.
Опять плыву я в красных отражениях.
А у меня в груди плывет смертельный выстрел.

Идут большие рыбы, нас возвращая к берегу.
Выходим на песок у пальм.
И сразу обсыхаем.
Как пахнет капитанский дом лимоном, ромом, деревом!
Не спится нам.
За разговором отдыхаем.
И дружба возникает, словно рифма.
Простейшие слова звучат фатально.
И — тишина... О ней не позабыв, мы
Потом пойдем путем не тихим, дальним.

Раненьям будущего
Счета нет.
Че — команданте каплей крови тонет в мраке.
И в жажде мщенья южный континент
Устами кратеров кричит,
Нам посылая знаки...

. . . . . .

Сейчас этот роман уж называется «Вчера».
Страницам перелистанным потом — нет меры.
А ты, бессмысленный для века, Варадеро,
Растешь в душе, как на песке трава.

В цехах «Мадеко» говорили мне «товарищ».
Альенде сам меня знакомил со своей мечтой.
В отеле «Конквистадор»...
Не попрощался я с Виктором Харой...
Сейчас, чтоб с ними говорить —
я говорю с землей.

Земля,
Тебе слова мои
Переводить не надо,
Когда я говорю с землею Санта-Клары,
С землею Бузлуджи,
С землею Сталинграда
Иль Марракеша,
говорю в печали,
Что наши лучшие товарищи
Есть те, кого мы в битвах потеряли.

А те, живые, что укрылись после ада
В подпольях совести, на чердаках приятельства...
За них уже объявлена награда
И стала легонькой тропа предательства.

Рассказывал, уже в Софии, мне
Карлос Альтамирано,
Как каждый день менял свое убежище
И наблюдал
Те очереди, где изменник за изменником
Истерзан голодом и безысходностью —
С известной подлостью —
Своих апостолов и революцию свою же предавал.

О, почему меня, опасное, так мучит вдохновение?
И почему мне зрелость не несет отдохновения?
Мне, если вижу очередь людей усталых,
Все кажется: здесь торг идет об идеалах...
За хлебом очереди
И трамвай, что не приходит,
И коммунист, берущий на себя
ответственность за все,
И все — сквозь сердце у меня проходит,
входит
В воспоминание хаотичное мое.

Иду твоим волшебным пляжем, Варадеро,
И, чуть смущаясь за возможную ошибку,
У раненых детей из Никарагуа,
Что учат русский, спрашиваю неуверенно:
Вы не видали здесь одну
забытую улыбку?

## *О пользе поэзии*

*— ∪ твердо*

Все тот же час допроса и признания.
Все тот же глас, холодный, как изгнание:
— Какая польза? Выгода какая? —
Но я не знаю! Я действительно не знаю!
Какая польза, что закат предстанет взору
Подобно пламенем объятому собору?
И ты туда идешь, чтоб исповедаться
Перед мечтой; как в молодость наведаться...
Нет! Нету пользы от поэзии!
Не стану
Искать различья меж надеждой и обманом.
От вечного огня уж так ли пользы много
Меж львом и церковью — меж страстию
И Богом?..
Найдется ль там тебе местечко,
чтоб разлечься?
И всласть ягненочком на вертеле
развлечься?
Чтоб кожица его медлительно краснела
И жир потрескивал на углях то и дело...

Молчи, презренье!
Возле вечного огня
Молчи!
Да отдалимся медленно в ночи...
И удалимся
В те сады,
Где памятники и видения,
Где выпивохи и непризнанные гении...
Знакомы эти исторические лица
И те, проклятьем брызжущие звуки:
Революция съедает своих детей!
Свою революцию съедают внуки!
Мы все еще небесные любовники.
А время уже ищет: где виновники.
И словно в детском доме для оставленных
Проходят возле нас грехи прекрасные
И просят, чтоб мы их усыновили
И чтоб носила гибель наше имя...

Не надо мира мне другого.
Не сочиняйте правд и лжей.
Не крест! Влачу я на Голгофу
Звезду. Она потяжелей!
Сквозь раны от гвоздей смотрю на вас.
Вернем же лире мужественный глас.

И — в путь, навстречу страшному разделу,
Презрев все выгоды и пользы смело.
К огню! В него — соперничая с ним —
Сердца согреем,
Дух свой осветим!

## *Эй, человечество, вернись же к человеку*

*∪ — хрипло, но отчетливо и ритмично*

*КЕВОРКУ КЕВОРКЯНУ*

Я пожилой учитель по истории.
Уже неважно вижу.
Но понимаю хорошо —
Нет более учеников
В тех позаброшенных селениях.
Сегодня в старой школе склад для фруктов,
Изюм и яблоки там учат
Сладкий
Урок круговорота...

Я пожилой учитель по истории.
Уже нет смысла бриться ежеутренне.
Босой хожу я, как пророк.
И ветру говорю:
— Послушай!
Есть слово для тебя!
Ученики учителями стали. Все.
И на уроках по истории
Преподают мою любовь.

Неблагодарные!
Все поучать хотят кого-то.
А ведь важней иметь учеников —
Неискушенные сердца,
Готовые
Найти в себе приют для новых истин
И домом будущего стать.
А если нету больше таковых,
Я сам опять пойду в ученики
И буду на скамейке во дворе
Сидеть, как на волшебной парте...

Меня машины будут освещать.
К ногам моим сползаться будут тыквы
И помидоры красные всходить,
Как отмечаемые красным
Карандашом
Ошибки.
И напишу для всех:
«Эй, человечество, вернись же к человеку!»

Вот птица вечера садится
И глядит
В мою тетрадь
С широкими и тесными мирами.
Пьет клювом новолунья
Из чернильницы.
И вспархивает.
И звезды сыплются с ее крыла...

Нет больше у меня чернил.
Я продолжаю
Самим теченьем времени писать:
«Эй, человечество, вернись же к человеку!»

■

---

**СОКОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ** (род. в 1928 г.)

Советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. Автор сборников стихов «Утро в пути» (1953), «Смена дней» (1965), «Снег в сентябре» (1968) «Позднее утро» (1977), «Сюжет» (1980), «Избранные произведения» в двух томах (1981), «Новые времена» (1986), «Стихотворения. Поэмы» (1987). Переводил стихи болгарских и чешских поэтов, а также поэзию народов СССР.

# ПОЛ СКОТТ

# *Остаться до конца*

РОМАН

*Перевод с английского И. БАГРОВА*

## *Глава первая*

В конце апреля 1972 года, в понедельник, примерно в половине десятого утра, полковник Смолли (Слоник) скончался от обширного инфаркта. Его жены Люси не было дома. В роковую минуту она сидела в парикмахерском салоне на первом этаже гостиницы «Шираз», нового пятиэтажного здания из стекла и бетона. Там Люси, по обыкновению, подкрашивала свои седины в голубой цвет.

«Шираз» находился в двух шагах от старой гостиницы «У Смита», прилепившейся на склоне холма. В ее флигеле, именуемом «Сторожкой», и жили уже лет десять Слоник и Люси. Маленький домик несколько отстоял от основного здания и даже был обнесен стеной. Правда, ныне стена в одном месте порушена, и к гостинице пролегла тропинка, дабы создавалось впечатление общности дома и флигеля. Воротца «Сторожки» — теперь лишь запасной выход — выводили в узкий проулок. Напротив громоздился «Шираз».

Случись кому сразу обнаружить, что Слоник умер, и незамедлительно сообщить об этом Люси, известие застало бы ее в самую неподходящую для любой женщины минуту: в половине десятого Люси сушила волосы.

Однако покойного нашли лишь полчаса спустя, да и то случайно. Миссис Булабой, владелицу гостиницы, жившую в основном здании, стали выводить из себя завывания Блохсы, собаки Слоника и Люси. Собака выла хотя и негромко (она сидела под замком в гараже полковника Смолли), но неумолчно, и миссис Булабой послала мужа во флигель жаловаться.

Миссис Булабой утопала в складках жира и легких розовых одежд (она обожала сари самых нежных тонов, чтобы подчеркнуть белизну кожи). Жизнь у миссис Булабой была самая что ни на есть мученическая. В частности, ее мучила мигрень. В такие дни хозяйка не выхо-

© Paul Scott, 1977

**ПОЛ СКОТТ — PAUL M. SCOTT** (1920—1978)

Английский писатель. Долгие годы жил и работал в Индии. Автор многих романов, в том числе «Джонни-сахиб» («Johnnie Sahib», 1952), «Чужое небо» («The Alien Sky», 1953), «Райские птички» («The Birds of Paradise», 1962), тетралогии «Раджийский квартет» («The Raj Quartet»), которую составляют романы «Жемчужина в короне» («The Jewel in the Crown», 1966; рус. пер. М., 1984), «День скорпиона» («The Day of the Scorpion», 1968), «Башни молчания» («The Towers of Silence», 1971), «Дележ добычи» («A Division of the Spoils», 1975).

Роман «Остаться до конца» вышел в 1977 г. За него Полу Скотту присуждена английская литературная премия «Букер Прайз» («Staying On». London, William Heinemann).

дила из комнаты. Всякая работа в гостинице замирала, ибо любой резкий или громкий звук причинял несчастной непомерные страдания. Гостиницей она владела безраздельно. Мистер Булабой — лишь управляющий, которого она осчастливила, выйдя за него замуж. Весила миссис Булабой более ста килограммов — куда ему с ней тягаться.

Много лет прослужил мистер Булабой в гостинице, прежде чем она перешла в собственность его нынешней супруги. Мистер Булабой был ее третьим, самым молодым мужем. И, как считал Слоник, самым удачливым. Вряд ли миссис Булабой дотянет до четвертого замужества: ее погубит более чем солидный вес, не спасет и более чем солидный счет в банке. Слоник обычно звал мистера Булабоя Билли-Боем — за исключением нечастых дней, когда они ссорились. По его мнению, Билли-Бой был из тех, кому судьба всегда отвешивает оплеухи — и вдруг одарила ослепительным лучом небывалой удачи, так что теперь мистер Булабой вел себя предельно осмотрительно, дабы эту удачу не спугнуть. Детей у миссис Булабой ни от одного мужа не было.

— Билли-бой, похоже, останется единственным наследником,— говаривал жене Слоник.— Кормит он свою половину просто на убой, и в один прекрасный день толстуху хватит удар.

Впрочем, миссис Булабой на аппетит и без его заботы не жаловалась. Главная задача — ни под каким предлогом не причинять супруге огорчений. А предлогов хоть отбавляй. Когда у миссис Булабой выпадали «благополучные» дни, она неуклюжей баржей проплывала по своим владениям, выискивая непорядок, а за ее тяжеловесной кормой покорно следовал супруг в опрятном, тщательно отглаженном костюме, проверяя, точно ли исполняются хозяйкины указания, и на ходу устраняя возможные источники ее недовольства. А по «черным» дням мистер Булабой ходил на цыпочках, понуждая к этому и всю прислугу, да и редким постояльцам бывало неуютно — словно грозовая туча нависла, и, позавтракав, они спешили покинуть гостиницу.

Именно таким «черным» днем оказался последний апрельский понедельник (24 число). Гроза, видать, разразится небывалая. Миссис Булабой страдала молча, из-за плотно закрытых дверей ее спальни (бывший номер 1) по всей гостинице разносились беззвучные сигналы: будет шторм. Миссис Булабой возлежала на двуспальной кровати, занимая ее почти целиком. Порой на супружеское ложе призывался и мистер Булабой; но ночь накануне он, увы, провел в своей комнате (бывший номер 2). Некогда обе комнаты составляли номер люкс и сообщались дверью, которую мистер Булабой никогда не запирал со своей стороны, однако зачастую его робкие полночные попытки открыть ее оказывались тщетными. Но в ночь на понедельник он не предпринял даже и робких попыток. Потому что воскресенье обернулось для него сущим адом.

В половине восьмого утра личная служанка хозяйки затребовала его из комнаты номер 2 в комнату номер 1. Звали служанку Мина, была она из местных, сызмальства служила в английской офицерской семье няней, там и получила прозвище. В 1947 году семья эта уехала в Англию. Мина дожила уже до почтенных лет, располнела, стала еще сварливее. Мистеру Булабою так и не удалось переменить ее нрав. Слушалась Мина только хозяйку, да и то не всегда. Мистер Булабой даже побаивался Мину, так как она порой жаловалась на него или на «Дирекцию», что опять-таки сводилось к его персоне. Всякий раз после этого миссис Булабой учиняла мужу скандал. А когда Мина упрямилась или своевольничала, козлом отпущения снова оказывался мистер Булабой.

— Вам, дружище, на роду написано терпеть поражения,— говаривал Слоник,— во всяком случае с женщинами. Мина к вам, видать, неравнодушна, посадить вас в лужу ей ох как приятно. Вы бы приударили за ней.

— Нет, дело не в этом. Просто у нее, очевидно, климакс.

— Тогда ее, как чудо природы, надо занести в книгу рекордов. Сколько уж лет вы про это твердите. Давайте «дернем» еще по одной.

И они «дернули» еще по одной. Было это неделю назад, в понедельник вечером, мистер Булабой всегда с особым нетерпением ждал эти вечера. Ибо как бы скверно день ни начался, как бы плохо ни чувствовала себя супруга за завтраком, к обеду наступало непременное улучшение, и она весьма плотно подкреплялась, чтобы хватило сил скоротать долгий вечер за карточным столом в местном клубе. Миссис Булабой играла в бридж не только по понедельникам, случалось ей играть и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Но только не в воскресенье. В этот день мистер Булабой брал выходной, и миссис Булабой проверяла его работу за неделю: сверяла по счетам приход-расход. Частенько мнения супругов расходились — и как следствие скандал в воскресенье вечером, одинокая ночь мистера Булабоя и невыносимая мигрень миссис Булабой в понедельник утром.

И все же особая прелесть вечеров по понедельникам состояла не только в том, что миссис Булабой наверняка допоздна не вернется домой, но и в том, что жена полковника Смолли Люси тоже уходила в кинотеатр «Новое электро». Вот последний постоялец, отужинав, покидал столовую, и слуги начинали убирать со столов и мыть посуду, вот мистер Булабой напоминал повару, чтобы тот приготовил для жены «перекусить» на ночь, вот Мина застилала хозяйкину постель и сама размещалась неподалеку, чтобы явиться по первому зову госпожи. Тогда-то мистер Булабой и Слоник могли посидеть за бутылочкой либо в «Сторожке», либо на гостиничной веранде, откуда лучше слышно, как возвращается миссис Булабой.

Пили очень умеренно. Слоник больше, чем Булабой, но ведь они с женой последние в Панкоте из англичан «былых времен», для которых спиртное что воздух. Мистер Булабой пил меньше отчасти из соображений принципиальных (довольно, впрочем, шатких), в основном же из-за того, что любил слушать Слоника. Тот, казалось, знал все обо всем (старые и новые сплетни, сплетни местные и международные, о деле Профьюмо, об убийстве Кеннеди, о привычке президента Джонсона трепать собак за уши, о страсти премьер-министра Хита к яхтам, о том, что побудило Англию поддерживать Пакистан в прошлой войне с Индией и Индию — в недавней, о том, что сказал Генри Киссинджер дуре-блондинке в Коннектикуте).

Много понедельников набежало за десять лет, и мистер Булабой приобщился огромному количеству президентских, монарших и правительственных тайн. Он изумлялся, давался диву: как много знает Слоник об окружающем мире. Вот бы запомнить хотя бы десятую часть рассказанного. Порой ему даже думалось: пей он, как Слоник, память работала бы лучше. Но он сдерживался, и не только из-за принципов или желания послушать Слоника, а еще и потому, что крепко помнил: не ровен час прихотливая супруга возжелает увидеть его ночью на супружеском ложе и не дай бог заметит, что он навеселе.

А настроения миссис Булабой зависели от того, выиграла она или проиграла. Чаще она выигрывала — тогда немалый выигрыш ожидал ночью и ее супруга. Но он должен был во всеоружии встретить и ее проигрыш — а за целый день игры в бридж можно спустить немало. Тогда жена чувствовала себя ненужной и нелюбимой в мире зла и обмана. Мистера Булабоя переполняла жалость, и после бурных и продолжительных ласк супруги прочувствованно, со слезами на глазах, клялись друг другу в любви, любви вечной, над которой не властно время. О тех ночах, когда миссис Булабой после бриджа оставалась «при своих», вообще сказать нечего — они бывали очень скучны. Нередко, правда, проигрыш плюс плотная полночная «закуска», плюс неистовое совокупление, плюс светлые слезы умиления давали такой результат: назавтра хозяйка вообще не могла подняться с постели.

* * *

Нынешний понедельник, судя по всему, не сулил мистеру Булабою приятной вечерней встречи с полковником в отставке Смолли. Похоже, не удастся отвертеться от неприятнейшего дела — писать УВЕДОМЛЕНИЕ. Когда Мина позвала мистера Булабоя в номер 1, он беспрекословно повиновался и через минуту уже стоял, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, у постели жены. Вызову он не удивился, еще с четверть часа назад он слышал через стенку ее стоны и сразу же приказал слугам не шуметь.

— Не послать ли, Лайла, за доктором Раджендрой? — шепотом спросил он. Они и меж собой разговаривали по-английски, так как разобрать, что она тараторит на своем пенджабском диалекте, было невозможно.

Она беззвучно пошевелила губами — не надо. Он видел лишь губы и усики жены. Она лежала на спине, стиснув виски ладонями.

— Может, за доктором Тапоревалой? Или за доктором Бхаттачарией? — вспомнив последнего, мистер Булабой даже облизнулся.

Доктор Раджендра больше доверял западной медицине, доктор Тапоревала полагался на народные средства, а доктор Бхаттачария лечил иглоукалыванием. Однажды он взялся за неделю избавить миссис Булабой от мигрени и утыкал ее необъятное тело множеством иголок. Незабываемое зрелище!

— Не надо доктора,— прошелестела она.— Ты написал Уведомление?

— Сейчас напишу.

— Поторопись! И принеси мне, я подпишу.

— Лайла, дорогая, стоит ли тебе утруждать себя всякими пустяками. Я-то здесь для чего?

— Вот и я порой себя о том же спрашиваю.

Мистер Булабой на цыпочках вышел из комнаты и, также на цыпочках, вошел снова.

— Лайла, Уведомление придется напечатать на машинке.

— Ну, разумеется.

— Но она ж будет стрекотать.

— Что ж, каждый должен нести свой крест.

Мистер Булабой лишь кивнул.

Он вернулся к себе в комнату и прошел к двери в столовую (туда выходили двери всех номеров). Это была унылая, с зелеными стенами и без окон комната; из бронзовых плевательниц, приспособленных под цветочные горшки, торчали чахлые пальмы, словно охраняя столы, застеленные несвежими скатертями. Скудный дневной свет просачивался лишь из соседней гостиной — окна ее выходили на веранду. Меж столовой и гостиной и прилепился кабинет мистера Булабоя — крохотная стеклянная будочка, откуда он мог обозревать обе комнаты. То была святая святых мистера Булабоя. Под потолком висела электрическая лампочка без абажура. Узкая дверь в «кабинет» вряд ли позволила бы проникнуть туда миссис Булабой, а внутри царил такой беспорядок, что случись хозяйке протиснуться в дверь, то некуда было бы ступить, выходить же ей пришлось бы пятясь. Мистер Булабой затворил дверь, опустил стеклянную панель (обычно поднятую, ибо так он мог непосредственно общаться с клиентами, то есть выслушивать претензии, жалобы, улаживать конфликты), уселся во вращающееся кресло, вставил в престарелый «ремингтон» два листа с гостиничным вензелем, лист копировальной бумаги и написал: «24 апреля 1972 года. Многоуважаемый полковник Смолли!» Напечатав, остановился.

Из номера по соседству доносилась музыка. Мистер Булабой бесшумно выпорхнул из кабинета, постучал в дверь, открыл, застав врасплох мистера Панди: тот сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и в

полном блаженстве, чему, очевидно, способствовало громкое пение Рави Шанкара (или кого-то наподобие) по первой программе радио.

Для мистера Булабоя не существовало иной музыки, кроме христианских гимнов. Он выключил радио, мистер Панди открыл глаза и увидел, что его гость мимикой и жестами пытается представить состояние своей супруги в первое утро недели. Мистер Панди вздохнул, покачал головой, закрыл глаза и вновь предался самоуглублению. Лицо его, правда, вместо былого блаженства выражало теперь крайнюю сосредоточенность.

Мистер Панди служил в юридической конторе в Ранпуре, которая вела весьма запутанные дела миссис Булабой. В гостиницу он наезжал раза два в месяц, на день-другой, привозил различные документы. Содержали и кормили «У Смита» его бесплатно, так что мистер Булабой выключил транзистор без особых угрызений совести. В недобрый час появился мистер Панди! Ведь ему предстоит увезти в Ранпур вместе с другими бумагами и копию Уведомления! Мистер Булабой вернулся к себе в кабинет, вытащил из машинки начатое письмо, вставил чистые листы (теперь уже в трех экземплярах, исправив первоначальную оплошность) и напечатал заново: «Многоуважаемый полковник Смолли!» Опять остановился, видимо дожидаясь вдохновения, но, так и не дождавшись, с тяжелым сердцем продолжил. Закончил он учтивым «Искренне Ваша Лайла Булабой».

Было почти 8 часов утра.

Раньше, когда еще не было рядом «Шираза», в это время «У Смита» начиналась горячая пора: прибывал поезд из Ранпура. Всю ночь он тащился по одноколейке, вилявшей по холмам. И «Дирекция», и прислуга в полной готовности ждали гостей, заказавших номера заранее, а также и тех, кто мест не заказывал,— все они появлялись этак в половине девятого на такси и в колясках. Пока новые постояльцы с аппетитом завтракали, вещи отъезжающих уже выносили на веранду — поезд в Ранпур уходил в полдень. Такие порядки установились еще в былые времена раджей. С тех пор многое переменилось: добрая година сменяла лихую; порой беда казалась неминуемой; порой приходилось сокращать расходы; порой вдруг возгорались надежды. Всякое пережил Панкот: и расцвет, и упадок, и вновь расцвет. Однако маленькая гостиница, судя по всему, доживала последние дни.

По-прежнему в восемь утра приходил поезд из Ранпура. Через полчаса мистер Булабой мог, сидя на веранде, прикинуть, сколько прибывает в «Шираз» народу, сосчитать такси, двигавшиеся по узкому проулку. Около маленькой гостиницы они круто сворачивали к подъезду «Шираза». Гостей бывало, правда, не так уж и много. Большая часть приезжих добиралась до местечка к обеду либо на своих машинах, либо на автобусе индийской авиакомпании из Нансеры, где был аэропорт.

Аэропорт в Нансере построили несколькими годами раньше, чем «Шираз», поэтому хоть и недолго, но «У Смита» царило благоденствие. Самолет из Ранпура до Нансеры летел полчаса, оттуда до Панкота пассажиров довозил автобус. Целый час полз он по извилистой дороге меж холмов до маленького селения. Любители живительного горного воздуха, приезжавшие на субботу и воскресенье, конечно, предпочитали самолет. Неразумно ради двух дней целую ночь трястись в поезде и потом шесть часов днем — обратно. «У Смита» автобус высаживал пассажиров и забирал в аэропорт улетавших. Авиакомпания даже разместила в гостинице (что было очень кстати) свою контору, но потом перевела ее в «Шираз». До чего ж несправедливо, вздыхала миссис Булабой, «Шираз» и без того велик — в пять этажей, а теперь постояльцев еще больше будет: и государственные мужи, и дельцы, и скучающие богачи, и суетливые чиновники. Приезжали даже кинозвезды и режиссеры. Ранпурская кинокомпания «Эксцельсиор» снимала в Панкоте эпизоды нового фильма и заняла весь пятый этаж в этой новомодной уродине.

Местный люд проявил изрядное любопытство к артистам: их поджидали у гостиницы, за ними следовали даже на натурные съемки, хотя путь был неблизкий — артистов возили на машинах на дальний склон Восточного холма. Порой весь поход оканчивался впустую: актриса-героиня оказалась с норовом и иногда целый день не показывалась из своего номера люкс, принимая только свою свиту, рекламного агента да репортеров светской хроники.

Когда кончала капризничать она, не в духе оказывался герой, и съемка прерывалась иногда на несколько дней кряду. Из Ранпура даже приезжал владелец кинокомпании, угрожая судом за нарушение контракта, на что в ответ молодой режиссер — поборник реализма — тоже показал норов и заявил, что место для съемок не годится.

Съемочная группа уложила вещи и убралась восвояси.

* * *

Ровно неделю назад, в понедельник, Слоник и мистер Булабой со смехом говорили о тех днях. И сейчас, вспоминая ту беседу, мистер Булабой улыбался. Под окном появилась Мина с протянутой рукой. Явилась за Уведомлением. Мистер Булабой кивнул на пишущую машинку с листком бумаги и показал на пальцах что ему нужно еще четыре минуты. Часы показывали восемь тридцать.

Пять минут спустя он понес письмо жене — больше тянуть было нельзя. А еще через пять минут вернулся в «кабинет» и вставил в машинку чистые листы: Уведомление придется переписать, Лайле оно не показалось. Начал он немного иначе: «многоуважаемого полковника Смолли» урезал до «уважаемого» и закончил по-другому: Лайла Булабой из «искренне Вашей» превратилась во «владелицу гостиницы Л. Булабой с приветом». Заискивающе-стыдливые три абзаца меж началом и концом пришлось урезать до одного, сурового. Несколько раз мистер Булабой перепечатывал письмо, наконец решил: в таком виде ей должно понравиться. В начале десятого суровое Уведомление было написано.

Он вновь понес его жене. Прочитав, она простерла руку, мистер Булабой вложил в нее авторучку («Паркер-61»), помог болящей приподняться, чтобы подписать документ.

— Я сейчас же его и отнесу,— предложил он.

— Позови Мину. Пусть она сходит.

Мистер Булабой не посмел ослушаться. Вложил Уведомление в конверт. Пришла Мина. Миссис Булабой лично сунула ей в руку конверт.

— Отнесешь полковнику Смолли. Сейчас же!

Мина молча взяла письмо. Мистер Булабой направился было следом за ней, но его остановил властный окрик супруги:

— Сделай-ка мне массаж шеи!

Даже в этом занятии мистер Булабой углядел нечто эротическое; минут через пять он уже преисполнился было надеждами, но супруга постановила:

— Хватит! Возвращайся в кабинет. Может, скоро придет полковник Смолли. Объясняться с ним тебе!

* * *

Мистер Булабой вышел из комнаты Лайлы, а из номера 7 показался мистер Панди с портфелем в одной руке, со стаканом апельсинового сока — в чем состоял весь его завтрак — в другой. Завтракал он, по обыкновению, в будке, где некогда помещалась контора авиакомпании. Мистер Булабой дошел следом за ним до веранды, посмотрел, как тот устраивается «на завтрак», послушал, не взвоет ли опять радио. Но до него донесся лишь щелчок, другой. Он постоял еще немного, опершись о спинку кресла, на котором сиживал вечерами по понедельникам Слоник.

— И почему мне выпадает всегда самая дерьмовая работа? —

спрашивал себя мистер Булабой и сам себе отвечал: — Да потому, что я в этой гостинице нечто вроде балки, или стены, или двери.

А балки да стены в гостинице и впрямь уже гроша ломаного не стоили. Осыпалась штукатурка, двор запущен. В отличие от своего предшественника, господина Пилаи, миссис Булабой отводила делам по хозяйству далеко не первое место. А что у нее на первом — оставалось для ее супруга загадкой. Мистер Панди куда более осведомлен о ее делах. Мистер Булабой метнул на маленького господинчика испепеляющий взгляд и в который раз задумался: а не чрезмерно ли дарит жена мистера Панди своим расположением?

— Эй, Дирекция!

— Что случилось, Мина?

— Вам, Дирекция, похоже, сейчас же надо идти в «Сторожку» и приструнить их, чтоб не шумели.

— А кто шумит?

— Ихняя собака.

— Никакой собаки не слышу.— Он повернул голову: и впрямь воет.

По мнению хозяйки, сказала Мина, собаку снова заперли в гараже — либо мистер и миссис Смолли в очередной раз поругались, выясняя, чья же это собака и кому с ней гулять, либо полковник не в духе из-за Уведомления.

— Ты передала его в руки полковнику?

Мина ответила, что отдала слуге, Ибрагиму.

— А полковник был дома?

Да, Мина видела его, он сидел на веранде и завтракал.

— А жена?

По словам Ибрагима, госпожа ушла в парикмахерскую. А еще он сказал Мине, что, когда госпожа вернется, будет страшный скандал, так как господин уже в который раз уволил Ибрагима, и хотя он, Ибрагим, больше не служит у полковника, Уведомление все же передаст, когда будет уходить, то есть незамедлительно, ибо сахиб приказал «выметаться» тотчас же. В этом году Ибрагима увольняли (то господин, то госпожа) уже трижды; но на этот раз сахиб даже выдал ему месячное жалованье. Ибрагим собирался уложить вещи и расположиться с ними у «Шираза». Выйдет из парикмахерской его голубоволосая госпожа, увидит Ибрагима, спросит, почему без дела сидит. А в парикмахерскую госпожа пошла затем, чтобы подкрасить волосы. Как объяснил Ибрагим Мине, мистер и миссис Смолли со дня на день ждут гостя.

— Англичанина! — добавила Мина, сложила руки на груди и ухватила себя за локти.

Мистер Булабой поднялся с места.

— Так мне надо пойти приготовить номер.

В «Сторожке» у полковника свободной комнаты не было. И в тех редких случаях, когда к Смолли приезжали гости, они останавливались в гостинице.

— Сначала уладьте с собакой! — напомнила Мина.— Номер успеете приготовить.

— К черту собаку! — отмахнулся было мистер Булабой, но тут Блохса завыла громче, уже с отчаянием. Из комнаты миссис Булабой донесся вопль, и Мина поспешила к хозяйке. Мистер Булабой немного постоял в нерешительности, затем сбежал вниз по лестнице и направился к «Сторожке». Из двух зол нужно выбирать меньшее: Слоник не так гневлив, как миссис Булабой. К тому же, вдруг Ибрагим не передал Уведомление лично полковнику, а положил куда-нибудь в неприметное местечко, где Слоник не скоро его и обнаружит.

Как бы там ни было, однако мистер Булабой сразу увидел, что письмо без конверта — значит, прочитано. Его сжимал в правой руке полковник Смолли, лежавший на клумбе пламенеющих канн.

## Глава вторая

Умер полковник Смолли все-таки в половине десятого, а, скажем, не двадцатью минутами позже — тогда-то Блохса (так индийцы выговаривали ее истинную кличку, Блакшо, по фамилии прежних хозяев) перестала скулить и принялась выть, отчего взвыла у себя в комнате и миссис Булабой. Все считали собаку глупой, вряд ли она почувствовала, когда душа хозяина простилась с телом. Да и доктор Митра, пользовавший полковника, установил, что смерть наступила мгновенно, так как инфаркт был чрезвычайно обширным.

А за двадцать минут до этого, примерно в 9 часов 10 минут, Слоник втащил Блохсу в гараж и запер, потом заявил Ибрагиму, что тот уволен и чтобы выметался тотчас же. Полковник сразу и рассчитал его. Было это в 9.15.

Ибрагим запомнил время, так как, получив деньги, взглянул на часы: долго ли еще Люси-мем пробудет в парикмахерской, долго ли еще ему ждать, когда она начнет с хозяином переговоры о том, чтобы вернуть его, Ибрагима. А вдруг она и слова за него не замолвит? Ведь хозяин дал расчет — это могло быть зловещей вариацией на привычную тему «Пошел вон!».

Ибрагим еще несколько минут послонялся по двору, небось сейчас хозяин заорет:

— Где яйцо к завтраку?

Но слышались лишь частые удары в гаражную дверь: ее, точно боксер «грушу», молотила лапами Блохса. Потом Ибрагим пошел на задний двор разыскивать садовника-мали. Некогда его привел Ибрагим, сейчас он же и уведет. Мали, конечно, важный козырь для Ибрагима. Однако он встретил не работника, а Мину, служанку госпожи Булабой. Та, видать, искала именно его, а увидев, сунула ему письмо.

— Ох, беда! — только и сказала она, указав на конверт.

— Тем лучше! — воскликнул Ибрагим. Он рассказал, что его уволили, Мина, прикрывая рот ладошкой, посмеялась вместе с ним над причудами судьбы и ушла. Ибрагим сразу же понес письмо сахибу, ожидая всякого: могут и чашкой запустить, могут и тепло улыбнуться. Слоник всегда был непредсказуем, а после болезни и подавно, но уж лучше получать расчет от него, чем от госпожи. Мем-сахиб, рассчитав Ибрагима, несколько дней не видела и не слышала его, не замечала вовсе, словно одного ее приказа было достаточно, чтобы Ибрагим исчез бесследно. И самые долгие периоды «вынужденного простоя» выпадали тогда, когда его увольняла госпожа полковница. Полковник, хоть и угрожал «расправой», был сущим агнцем по сравнению с женой: он нападал всегда открыто, а госпожа брала измором. Даже когда ей случалось защищать Ибрагима от нападок полковника, сам Ибрагим принимал ее покровительство опасливо.

— Вам, сахиб, письмо,— объявил он,— только что доставили.

— Я же приказал тебе убираться! Получил деньги и проваливай! Живо!

— Письмо от Дирекции,— добавил Ибрагим и положил письмо на стол, за которым завтракал полковник.— Больше беспокоить не буду. Так уж, как последний долг исполняю. Видно, и впрямь разверзаются небеса и грядет конец света. Так написано. Прощайте, салам алейкум.

Он ушел в дом, прислушиваясь. Вот сейчас с веранды донесется шелест бумаги: полковник вскроет конверт. Ибрагим догадывался, о чем письмо. Уже с месяц прислуга в «Ширазе» и «У Смита» судачила, что станется со «Сторожкой», да и со всей маленькой гостиницей. Поначалу шли слухи, что консорциум, владеющий «Ширазом», намеревается купить гостиницу у миссис Булабой и «модифицировать» ее. Потом слухи переменились: будто миссис Булабой удалось посеять раздор меж хозяевами «Шираза» с тем, чтобы самой войти в число

совладельцев гостиничного объединения. Кроме «Шираза» туда входили и новые гостиницы в Раипуре, и в Майапуре, и еще одна — в Мирате («Миратский озерный дворец»). Консорциуму также принадлежало несколько ресторанов пенджабской кухни. Все члены консорциума перебрались в Индию в сорок седьмом из Западного Пенджаба, отошедшего после провозглашения независимости к Пакистану. По их словам, в Индии они оказались без гроша в кармане. Кажется, и первый муж миссис Булабой приехал из тех краев, потеряв все — после столкновений между мусульманами и индусами. Прислуга «У Смита» и «Шираза» сошлась во мнении, что ныне уже не сыскать западного пенджабца «без гроша в кармане». Былая голь изрядно разбогатела. «Проклятые иммигранты» — так их порой называл Ибрагим.

Но шороха бумаги Ибрагим так и не услышал. Блохса завыла, не прекращая бить лапами в дверь. Еще Ибрагим услышал, как полковник крикнул: «Сука! Сучье отродье!» — заскрипело плетеное кресло, полковник поднялся. Ну, сейчас он разнесет миссис Булабой в пух и прах.

Ибрагим улыбнулся. Он больше в этом доме не служит, какое ему дело до того, что «Сторожка» осталась пустой: полковник вышел парадным ходом, а он, Ибрагим,— черным. На заднем дворе, где находились помещения для прислуги, он увидел мальчишку-мали, тот чинил прохудившийся бак.

— Бросай работу,— приказал он.— Нас уволили. Мы с тобой одной веревочкой связаны.

— А когда нас снова примут?

Этот мали еще и месяца не проработал, но систему уже знал: Ибрагим объяснил, что к чему.

— Может, и вовсе на этот раз не примут. Пошли. Поможешь мне вещи уложить, да и свои соберешь.

— Мне тоже уходить?

— Конечно.

— А куда же мы пойдем?

— К «Ширазу».

— Наниматься на работу?

— Нет. Мы сядем около входа, мем-сахиб выйдет, мы с ней поговорим.

Мали отодвинул бак, но с земли не поднялся. Карие глаза потемнели — видно, парень крепко задумался.

— Ибрагим, а почему, когда гонят тебя, и мне нужно уходить?

— Я уже объяснял. Сейчас некогда повторять.

— А как насчет денег?

— А что — «насчет денег»? Разве я сказал, что увольняю тебя? Ты еще у меня на службе. По крайней мере до конца месяца. Тогда о деньгах и поговорим.

— Если нас выгнули, где ж мы жить будем? Что будем есть?

— Не «выгнули», а «выгнали». Ты должен хорошо по-английски говорить, если хочешь за границу поехать. И не задавай вопросов, что будет, то и будет. Аллах милостив.

Хижина, где жил Ибрагим, помещалась за железным гаражом — постройкой сравнительно недавней. «Сторожка» всегда считалась жилищем скромным и тесным, соответствовали ей и помещения прислуги: где во времена раджей поселили бы лишь одного холостяка, теперь ютилось шесть семейств. Во дворе некогда стояло несколько хижин, в одной помещалась кухня. Приличнее других выглядела сейчас хижина Ибрагима, остальные завалились, а о кухне напоминала лишь кучка почерневших кирпичей. С тех пор как «Сторожка» стала частью гостиницы, в ней устроили современную кухню, однако чета Смолли редко ею пользовалась, разве что когда приезжали гости. Обычно они столовались в самой гостинице или посылали Ибрагима за обедами в ресторан.

Порой сахибу приходила блажь, он отправлялся на базар за снедью и готовил сам несусветные блюда, картошка у него вечно подгорала, жаркое получалось переперченным и пересоленным. Ибрагим выучился заваривать чай, поджаривать гренки, делать яичницу, выжимать из фруктов сок, следить, чтобы в холодильнике не переводилось масло и молоко, а зимой по утрам ему доверялось варить кашу, чтобы согреть своих престарелых хозяев. Случись кому из них занемочь, Ибрагим, не жалея сил, выхаживал больного, исполнял любые поручения. Хотя он и был много моложе супругов Смолли, но относился к ним как любящий и заботливый (хотя и строгий временами) отец к капризным, несмышленым детям: их разумнее ублажать, а не ругать.

Три месяца назад он окончательно избаловал стариков: тогда впервые за свои семьдесят с лишком лет сахиб серьезно заболел, и доктор Митра велел лежать в постели либо дома, либо — что было б лучше всего — в больнице.

— Дерьмо ваша больница! Да и постель дерьмо! — горячился Слоник.— Ибрагим присмотрит за мной, да и Люси, если, конечно, удосужится оторвать задницу от стула.

На сахиба приятно работать еще и потому, что изо дня в день все глубже проникаешь в чарующее многообразие английского языка. Изысканность его покоряла Ибрагима с юности, даже с детства, прошедшего в Мирате. Лишь месяц-другой, проведенные в Лондоне (Северный район, Финсбери-парк), несколько умерили его восторг: там английский звучал как-то по-иному. Впрочем, там было полным-полно греков.

Слоника уложили в постель, а Ибрагим несколько дней кряду бормотал, словно заклинание: «Постель — дерьмо, оторви задницу от стула». Несколько дней им с Люси-мем то вместе, то порознь приходилось ходить за продуктами для Слоника, выбирая те, которые быстрее вернут больному силы и никоим образом не скажутся на кровяном давлении. Так же то вместе, то порознь колдовали они над электрической печкой в «Сторожке», которой раньше почти не пользовались, и приноровиться к ней оказалось очень трудно, внутри словно сидел злой джинн; как ни бились Ибрагим с Люси-мем (неважно, вместе ли, порознь ли), печка то изрыгала дым и пламя, то оставалась холодна, как гробница Акбара[1]. Сахиб лежал либо в спальне, либо на веранде. Он бывал то необъяснимо тих и покорен (по разумению Ибрагима, очевидно, господин понял, что паломничества в Мекку ему уже не совершить), то буен и пуглив: проклинал бульон, жену, Ибрагима, доктора Митру, гостиницу «Шираз» — по утрам эта пятиэтажная уродина загораживает солнце, а днем от нее пышет жаром, и редкий полуденный свежий ветерок не достигает маленькой соседки «Шираза». В основном гневные речи Слоника обращались к миссис Булабой; ее старший мали должен был ухаживать за садом при «Сторожке», за огородом и за чахлыми цветами в вазонах на гостиничном дворе. Ибрагим был, так сказать, личным слугой Слоника и Люси, а подметать двор и следить за садом вменялось в обязанность гостиничной прислуге, это входило в плату за жилье.

Пока Слоник болел, хозяйский мали ни разу не появился в «Сторожке». Пришел в запустение газон, увяли канны. Вот-вот поглотят «Сторожку» джунгли.

— За кого миссис Булабой меня принимает? — кипятился Слоник.— За спящую красавицу? Придет, разбудит через сто лет, прорубив себе путь сквозь чащобу? Что она, мнит себя волшебным принцем, черт ее дери! Вот вернется ее Билли-бой, я им обоим кишки выпущу!

— О чем это сахиб говорит? — спросил Ибрагим у мем-сахиб.

---

[1] Акбар Джелаль-ад-дин (1542 — 1605) — правитель Могольской империи (1566 — 1605). *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ни о чем. Он бредит,— ответила та.— Но насчет мали нужно что-то решить. Пока сад запущен, полковник-сахиб не поправится.

Ибрагим держался другого мнения. Он служил у Смолли на протяжении многих, весьма любопытных и беспокойных лет, и потерять хозяев сейчас посчитал бы преждевременным. Ведь он служил в последней из английских семей в Панкоте, да и сам побывал в Англии, поэтому несколько выделялся среди прочих слуг. Случись Слонику сейчас умереть, Люси-мем, конечно же, поедет на родину. Поэтому Ибрагим рассудил, что запущенный сад — единственное, что разжигает в Слонике гнев, а следовательно, и жизнь. Слоник из тех, кому как воздух всегда нужен повод для недовольства. Частенько он эти поводы придумывал сам. А сейчас и придумывать не надо: повод тут как тут — ругайся на здоровье! Окажись сейчас под окном мали, начни он стричь газон да поливать канны, кругом тишь-благодать, тоска зеленая, не ровен час — помрет Слоник.

Иногда, испытывая унижение и одновременно умиляясь душой, Ибрагим выливал на канны ведро воды, даже собирал для полковника букетик ноготков и ставил в вазу у постели. Но к косилке он не прикоснется! Он все-таки главный слуга в доме, а не садовник. И конечно, прав Слоник, что заниматься газоном — дело мали да его помощника, который таскает на веревках старую косилку.

— Садовник нам полагается по договору! — возопил в один прекрасный день Слоник. И Люси-мем, выйдя из себя, пренебрегла советом Ибрагима подождать, пока вернется из своей таинственной поездки в Раипур мистер Булабой, отправилась на битву с миссис Булабой — такого Ибрагим за все время службы припомнить не мог.

— Я никогда не вмешиваюсь в хозяйственные дела,— как-то раз сказала ему мем-сахиб тоненьким смиренньким голоском.— Ума для этого не хватает.

Ибрагим лишь иронически усмехнулся. Мем-сахиб бывала дьявольски дотошна, когда ей приходилось проверять цены и считать принесенную Ибрагимом сдачу. А если миссис Булабой в чем и шла на уступки Слонику, заслуга в этом принадлежала «жалкому умишку» Люси-мем — так самокритично она себя оценивала. Благодаря «жалкому умишку» два года назад в «Сторожке» появился новый холодильник, тогда же починили гаражную дверь, на двух унитазах, царственно возвышавшихся на постаменте в ванной, сменили сиденья, мошенник-дворник даже клялся, что не раз видел, как полковник с супругой восседали на этих тронах бок о бок. Каков враль, а?!

Поэтому, когда Люси-мем отправилась к миссис Булабой выговаривать себе садовника, Ибрагим не сомневался, что она вернется с трофеем — слугой-мали.

Однако Люси-мем сказала, что старый мали ушел и служит теперь в «Ширазе». И что теперь делать — ума не приложу. Придется, видно, подождать.

Ибрагим ожидал упрека, дескать, мог бы и нас предупредить, что мали больше нет. Но Люси-мем его не упрекнула, и, поразмыслив, Ибрагим понял, что он и сам-то не очень ожидал упрека. Удивительные люди сахиб и мем-сахиб! Полностью, как и многие старики, поглощены собой. Живут в мире своих представлений, им и дела нет, что случилось со старым мали, а спроси они, Ибрагим бы рассказал. Однако сахиб только ворчал, что мали как не было, так и нет, а мем-сахиб только слушала вполуха его воркотню, пока не решила, что ему вредно волноваться.

Конечно, старый мали ушел не по доброй воле, его рассчитали. По сути, из «соображений экономии», как называла перестройку своего хозяйства миссис Булабой, объяснила же его отставку тем, что мали, дескать, продает часть урожая, отчего «У Смита» случаются непредвиденные перебои с овощами и ничего не ведающему мистеру Булабою приходится покупать свои же овощи на базаре. Доказать

виновность мали миссис Булабой не могла, она руководствовалась лишь внутренним убеждением. А ее внутреннее убеждение должно и для окружающих стать мерилом истинности. Ее приговор всегда окончателен, обжалованию не подлежит. И повинен-то старый мали был лишь в том, что посягнул на законную часть им же самим в поте лица выращенного и собранного урожая. Мали копался на огороде с утра до вечера, а выпадала свободная минута, и он, к неудовольствию миссис Булабой, «прохлаждался», постригая газон у «Сторожки», теперь же при гостинице остался лишь помощник мали, хромоногий и кривой на правый глаз парень. Он едва-едва управлялся, пропалывая клумбы меж выложенных камнем дорожек. Впрочем, от клумб осталось одно название. Похоже, миссис Булабой только и ждала удобного случая, чтобы рассчитать и этого беднягу. Вечно она так, думал Ибрагим: сама людей гонит, а Люси-мем говорит, что они по своей воле уходят.

* * *

Старого мали рассчитали как раз в тот день, когда заболел сахиб, а накануне его приятель и собутыльник мистер Булабой уехал в Ранпур якобы по поручению жены. Слугам выпала редкая возможность посудачить: а не рассчитали ли самого мистера Булабоя? Или, может, он ушел к другой женщине? Например, к танцовщице-певице из ранпурского ресторана Изюминке Чичанье; поговаривали, что мать у нее русская, а отец — афганец. Старший слуга «У Смита» видел газетную вырезку с фотографией Изюминки Чичаньи на двери кабинета (изнутри, конечно), и каждый из мужской половины прислуги заглядывал в отсутствие хозяина в кабинет, чтобы вдоволь налюбоваться красоткой.

Симпатия мистера Булабоя к Изюминке пробудилась еще с той поры, когда она приезжала с программой в самое первое в Панкоте кабаре — «Горный зал» гостиницы «Шираз». Злые языки, правда, утверждали, что Чичанья осталась весьма недовольной («Зал с гулькин нос, а гор нет и в помине»). Прислуга «Шираза» не очень лестно отозвалась о голосе Изюминки («лягушку и ту приятнее слушать»), зато по достоинству оценила роскошные формы Чичаньи («груди ровно дыни»). Даже плохая газетная фотография не смогла скрыть это неоспоримое достоинство певицы.

Прислуга «Шираза» поведала также коллегам «У Смита», что Изюминка поистине ненасытна в любви, и у нее в постели всегда лежит иллюстрированное издание «Кама Сутры», дабы разжечь затухающую к утру страсть ее любовников. Частенько постояльцы гостиницы жаловались, что их часа в три утра будил стук каблуков и щелканье кнута, который обычно актриса использовала в танце «казачок». Особенно бывали недовольны родители, навещавшие своих сыновей-студентов Чакраварти-колледжа, заведения благонравного и по-английски пуританского; помещалось оно в бывшей «Летней резиденции».

Жалобы, однако, не подействовали. Изюминке Чичанье очень благоволили двое молодых людей — племянники влиятельнейшего в консорциуме человека. Чичанья, как утверждали слухи, любила худых мужчин, чем худее — тем лучше, а возраст не помеха. Поэтому и мистера Булабоя нельзя вычеркнуть из списка соискателей. В кабаре «Шираза» он побывал дважды. А теперь он был в Ранпуре, где Изюминка выходила на сцену каждый вечер.

— Бедный хозяин,— вздохнул повар, когда наконец до него дошло, что побудило мистера Булабоя отправиться в Ранпур.— Да откуда ж у него столько сил?

Три недели спустя мистер Булабой вернулся. Был он молчалив, но в глазах довольство. Видать, добился своего, заметил повар. В первое после приезда воскресенье он не появился в церкви святого Иоанна, столпом которой считался. Фрэнсис Булабой был христианином с пеленок. Какой веры держалась его жена, никто не знал. Она столько раз меняла мужей, что ее девичья фамилия канула в Лету. Какой бы

то ни было религией она не интересовалась, равно как и жизнью вечной, предпочитая жизнь сегодняшнюю и заботясь лишь о том, как бы устроиться в ней получше.

Сразу по приезде мистер Булабой на два часа заперся в комнате супруги, и, судя по несмолкающим голосам, говорили скорее всего о делах, вряд ли мистер Булабой изливал свою любовь к жене или покаянно рассказывал о своем грехопадении. Выйдя от супруги, он принялся за привычные дела с присущей ему сдержанной деловитостью. Разница лишь в том, что, сев за машинку печатать, он тихо выругал кого-то за разбитую тарелку, взор же при этом был рассеян.

— Ну, кажется, пронесло,— пожилой старший слуга употребил любимое словечко Ибрагима,— значит, и нам не страшно.

Перебирая грязные носки, рубашки, трусы мистера Булабоя, посыльный от дхоби [1] принюхивался: нет ли чужого запаха, окончательно подтвердившего бы, сколь бурные ночи проводил мистер Булабой с танцовщицей. От своего отца мальчик-посыльный узнал, что дхоби испокон веков первыми чуют измену в любой семье. Но лишь однажды уловил он непривычный запах: на запах любимого хозяином мыла не похоже. Тонкий-тонкий аромат исходил от красивых узеньких трусов,— может, правда, просто пахло новым, незаношенным бельем. Очевидно, трусы эти мистер Булабой купил в Ранпуре и еще не стирал. Стоит ли из этого делать далеко идущие выводы?

Лишь вечером мистер Булабой показал, что знает об увольнении мали и о болезни сахиба. Никто из прислуги и словом не обмолвился об этом, пусть лучше хозяин сам обо всем узнает. В пять часов он прошел на задний двор, осмотрел огород, затем, будто направляясь навестить больного, подошел к пролому в стене, откуда был виден двор «Сторожки», постоял, заложив руки за спину, посмотрел на заросший газон — так смотрят на следы недавней катастрофы, о которой знали лишь понаслышке, и теперь любопытно увидеть все воочию, сознавая свою непричастность.

Ибрагима он не заметил: тот стоял затаившись, не спуская с мистера Булабоя глаз. О его приезде Ибрагим знал с самого утра, но своим хозяевам ничего не сказал, ибо в тот день без видимых причин оба вдруг перестали разговаривать с окружающими, лишь отдавая самые необходимые распоряжения. Такое случалось редко; чаще супруги Смолли не разговаривали друг с другом и общались только через Ибрагима; случалось, что кто-то из них обижался на Ибрагима, тогда другому выпадала роль посредника. Тройственное молчание воцарялось без какой-либо видимости причины и повода.

Итак, Ибрагим не оповестил хозяев о возвращении мистера Булабоя, но с нетерпением дожидался, когда тот появится сам, прослышав, что друг его еще толком не оправился после серьезной болезни. А еще Ибрагиму не терпелось присутствовать при непременном скандале из-за сада. Он прямо расстроился, увидев, что мистер Булабой повернулся и пошел прочь от пролома в стене.

— Трус! — сплюнул он и поднялся с земли. Мем-сахиб еще отдыхает. Сахиб заснул на веранде над документами, которые он извлек из обшарпанной черной шкатулки,— за последние дни оттуда словно из ящика Пандоры вылетел целый сонм бед.

* * *

— Садовник нам полагается по договору! — завопил Слоник, как только его перевели из спальни на веранду и взору его предстало трехнедельное садовое запустение.— Неси сюда шкатулку!

— Не все ли равно, дорогой, полагается или нет,— успокаивала жена, поглаживая его по лысеющей голове и одновременно потчуя бульоном,— главное — не волноваться. Подожди, вот приедет Биллибой. Узнает, что старый мали ушел, и тут же наймет другого. Вот

[1] Мужчина-прачка.

увидишь. Какой толк беспокоиться о саде, если из-за этого тебе хуже? Сад тебя еще порадует, дай срок, встань сначала на ноги, а за это время, глядишь, и с садовником все уладится.

— Какую чушь ты несешь! Как дурой была, так дурой и осталась!

— Хорошо, Слоник, пусть я дура, пусть я несу чушь — меня уж не переделаешь.

— Ты принесешь мне эту чертову шкатулку или нет?

— Сначала доешь бульон, потом поговорим о чертовой шкатулке. А будешь пай-мальчиком, съешь все без остатка, а потом баиньки, тогда, может, получишь к чаю вкусненького печеньица. Верно, Ибрагим?

— Вкусненького не осталось, мем-сахиб. Только диетические галеты.

— Ну, значит, Слоник, получишь к чаю вкусненькую галетку.

— С ума сойти!

— От чего же?

— Да от того, что семидесятилетняя старуха лепечет, как семилетняя кроха.

В пять часов Ибрагим отнес чай и тарелочку с диетическими галетами в спальню, где после завтрака уединился разобиженный Слоник. Для Люси-мем — чай на веранду: она сидела, скрестив ноги, покойно сложив руки на коленях и задумчиво глядя на некошеный газон.

— Спасибо, Ибрагим,— сказала она, не отрываясь от своих дум. На одном чулке у нее спустилась петля, туфли, хотя и начищены им, Ибрагимом, до блеска, старенькие, поношенные. Люси-мем смотрела вдаль: по каким только дорогам не хаживали эти туфли в былые времена.

* * *

На следующий день после того, как Слоник назвал Люси-мем семилетней крохой, она с Ибрагимом перенесла мужа на веранду и все-таки дала ему шкатулку с документами и даже ключ от нее, сама же отправилась в гарнизонный магазин.

— Ишь паскуда! — крикнул минут десять спустя Слоник. Ибрагим толком не понимал, кто такая паскуда, но звучало слово красиво.

— Что угодно сахибу? — Он подошел к старому, изъеденному жучком тростниковому шезлонгу, на котором возлежал заботливо укутанный Слоник. Хотя февраль в Панкоте теплый и солнечный, по утрам бывает холодно.

— Что угодно? Да ничего не угодно. Просто я нашел, понимаешь, нашел! — И он торжествующе помахал листком.— Посмотрим, посмотрим. Засужу стерву, повертится она у меня, как карась на сковороде.

Ибрагим лишь одобрительно кивнул. Уже с месяц сахиб не угрожал никому участью карася на сковороде. Угроза, правда, никогда не исполнялась. Сколько раз, образно говоря, побывал на сковороде и сам Ибрагим, однако остался цел и невредим. Раз хозяин ругается — значит идет на поправку. Снова в старом, немощном теле возгорелись искры сильных чувств. Хотя сейчас Слоник совсем не тот, что раньше. С фотографий на стене смотрел плотный, осанистый мужчина в красивой форме или совсем юный невысокий офицер под руку с малышкой мем-сахиб На фотографиях лицо Слоника всегда получалось круглым, если не сказать пухлым и — как представлялось Ибрагиму — непременно румяным. Взгляд суров, губы плотно сжаты. Теперь же сахиб порой (и даже подолгу) смеялся, частенько неодобрительно покрякивая; бывало и так, что он сидел, похрустывая костяшками пальцев, и улыбался чему-то сокровенному. Лицо у него теперь поблекло, пошло дряблыми складками. На руках и плечах появились коричневые крапины. Англичане даже дряхлели со свойственной им обстоятельностью, словно заранее готовили свои тела к небытию, старались встретить его во всеоружии. Пустая трата времени — теперь ведь

умерших кремируют. От этого нововведения Ибрагимова мусульманская душа (или то, что от нее осталось) полнилась ужасом. А виноваты во всем индусы: за долгие годы они и англичан испортили.

— Что творится на белом свете,— недоумевал Ибрагим,— если жаднющая пенджабская баба может причинить христианину-сахибу хотя бы минутное беспокойство!

Ибрагим хотел было так и сказать Слонику, но тут появился доктор Митра проведать пациента, и Ибрагима услали сварить гостю кофе. Ибрагим, ухмыляясь, вскипятил воду, снял с огня, вскипятил еще раз, чтобы кофе окончательно потерял вкус — только таким и потчевать доктора Митру. Ибрагим его терпеть не мог; доктор разговаривал с ним свысока. Многие из индийцев, выбившиеся «из грязи в князи», обращались со своими и чужими слугами точно с навязчивыми кули на вокзале.

Разница между доктором Митрой, который видел в Ибрагиме лишь прислужника, к тому же безликого и безымянного, и Слоником, который ругал его на чем свет стоит, была для Ибрагима весьма существенной: Слоник — истинный господин, сахиб, а доктор Митра — его жалкая тень. Точно так же он проводил грань безусловную и очевидную между Люси-мем и выскочкой миссис Булабой.

Как тосковал Ибрагим по временам раджей; слугу тогда привечали в господской семье как родного, считались с его настроениями: слуга мог и косо посмотреть, и слово резкое сказать, если не в духе. Ему прощалось, если он задирал нос (кто, в конце концов, истинный хозяин!), ему помогали устроиться на новом месте, когда прежние господа отправлялись восвояси, в Англию. В такой-то семье и служил прежде отец Ибрагима, там вырос и сам Ибрагим. По сей день хранил он рекомендательное письмо, выданное отцу полковником Моксон-Грифом, и фотографию, изображавшую мистера и миссис Моксон-Гриф с гирляндами на шее перед отъездом на родину в 1947 году. Сохранил Ибрагим и два письма, которые полковник прислал своему бывшему слуге уже из Англии. Не забыл Ибрагим и другое: письма отца, в которых тот спрашивал, не найдется ли в Англии работенка для сына (Ибрагиму шел уже двадцатый год), остались без ответа.

— Вот кофе, сахиб,— нарочно стукнув подносом о стол, сказал Ибрагим. Доктор Митра не удостоил его ответом, зато Слоник обласкал словцом:

— Какого черта так долго возился! Ладно, наливай свои помои!

Что Ибрагим с радостью и исполнил, сперва почтительно поклонившись доктору Митре и пробормотав в нос, на французский манер (чему он научился у одного из приятелей-слуг):

— Дерьмосье, сахиб!

Доктор Митра не понял, но кивнул. Ибрагим добавил ему в чашку козьего молока, которое нарочно недокипятил: пусть останется побольше микробов, туберкулезных палочек и дизентерийных бактерий.

Вернувшись на кухню, принялся греметь сковородками и кастрюлями. Да, такой, как Митра, и в Англию проберется, куда-нибудь в Лондон, в Финсбери-парк, и начнет людей калечить, вместо аппендикса желчный пузырь удалит. Доктора Митру выбрал себе сам полковник-сахиб. Ибрагим же не доверял ни одному врачу-индусу: откуда им знать, как лечить белых? Уж в крайнем случае можно к врачу-мусульманину обратиться, но уж к индусу — ни за что! А доктора-европейца поблизости нет, лишь в Нансере практикует один австриец, да и то католик, а католики еще похлеще индусов: они говорят, что надо страдать во искупление грехов и что самый страшный грех — ограничение рождаемости. А индусы так те каждому мужчине, согласившемуся на стерилизацию, даже транзистор бесплатно дают. Неспроста парни враз перестали появляться на улице с транзистором. Один только Панди, тот, что юристом «У Смита» служит, огромный транзистор таскает. Наверное, беднягу совсем оскопили.

* * *

Скоро вернулась и Люси-мем. Ибрагим испугался, как бы она не оставила доктора Митру отобедать с ними. Старики любили гостей. Но доктор Митра откланялся, и Люси-мем проводила его до ворот. Вернувшись, зашла к Ибрагиму на кухню и сказала:

— Не надо бы давать сахибу шкатулку с документами. Ему это вредно.

— Нет, мем-сахиб, полезно.

— А доктор Митра говорит — вредно. У сахиба повышается кровяное давление.

— Доктор Митра не понимает душу полковника-сахиба. Ведь сахиб не Дева, как госпожа.

— То есть как?

— Так — не Дева. Его знак — Овен. Значит, характер беспокойный, въедливый. Овен любит верховодить, создавать мнимые трудности, доказывать свою правоту, такая вот у него звезда.

— Это все астрономия, Ибрагим.

— Не астрономия, мем-сахиб, а астрология.

— Ну не все ли равно. Одним словом, шкатулку с документами сахибу не давать. Вечером я ее спрячу. А завтра, если он спросит, скажешь: знать не знаю, где она.

— Сахиб меня и так за дурака держит, а тут скажет — полный идиот! Нет уж, мем-сахиб. Шкатулка сахибу поправиться поможет. Получит он ее — у него сил прибавится, а без нее совсем зачахнет. И ему конец тогда, да и нам тоже.

— Не получит он шкатулки,— повторила Люси, и маленькое, немощное тело ее содрогнулось. Глаза у нее сделались ярко-голубыми, на белой с желтизной коже резче обозначились морщинки — точно трещинки на костяном фарфоре.

Утром глаза вновь были блекло-серые, под стать седым волосам — пора подсинивать. Без улыбки тоненьким-претоненьким голосом сказала она Ибрагиму:

— Ты, пожалуй, прав насчет шкатулки. Если попросит, дай. А я в аптеку за лекарствами.

Не прошло и десяти минут, как Слоник потребовал шкатулку и ключ. Этот приказ Ибрагим тотчас исполнил. Потом на радостях до блеска начистил выходные туфли Люси-мем на высоком каблуке и надел их на металлические колодки-штыри. Потом смазал жиром ее крепкие башмаки; последний раз она надевала их, когда ходила со Слоником в поход. Они одевались в шерстяные костюмы, брали толстые палки и собаку, доставшуюся им по наследству от соседской семьи Блакшо. Хозяева, служившие некогда в чайной компании, уйдя на пенсию, решили было остаться в Индии, но решимости их хватило ненадолго, и они уехали в Англию.

Помыв руки, Ибрагим положил меж кофт и жилетов в гардеробе свежие комочки нафталина. Внимательно осмотрев все шерстяные вещи (в том числе и белье), отложил то, что нуждалось в штопке: либо поорудует иглой Мина, либо сам проявит свое незаурядное мастерство. Добрался он и до шкатулки с драгоценностями, достал хозяйкин перстень и брошку с бриллиантами — Люси-мем носила их очень редко, лишь на вечер офицерских жен Панкотского стрелкового полка. Ибрагим налил в мензурку джина, бросил туда перстень и брошь — пусть очищаются.

Минут через десять вытащил, тщательно вытер и поместил обратно в бархатные футлярчики, а джин выпил. И враз солнце затмила укоризненная тень пророка Мухаммеда.

Мотовство до нужды доведет, вслух оправдал себя Ибрагим, и солнце засияло вновь, а по телу разлилось тепло. Он вышел на веранду и застыл на месте: сахиб сидел бледный как смерть. В трясущейся руке он зажал документ, губы беззвучно шевелились.

— Не желает ли чего сахиб? — начал было Ибрагим, но Слоник не обратил на него внимания. Так и держал в дрожащей руке документ и шевелил губами. Встревоженный Ибрагим спустился во двор, оттуда лучше видно и Слоника, и тропинку от калитки. Вот появилась и Люси-мем. Ибрагим бегом бросился к ней.

— Мем-сахиб, ваша правда, от шкатулки сахибу плохо.

— Вот как! — только и сказала она, застыв на месте. Разве настоящая госпожа начнет охать да ахать? — Что ж, на своих ошибках учимся. Очень плохо сахибу? — Ибрагим лишь пожал плечами.— Пойдем вместе, увидим.— И первой направилась к веранде.

Подойдя к Слонику, Ибрагим подумал, что сахиб мертв: тело обмякло, глаза закрыты, челюсть отвисла. Но вдруг Слоник приоткрыл один глаз.

— Дорогой мой, ты, никак, собирался баиньки, а я тебя разбудила.

— Не, мы не собирались баиньки. Твоему пай-мальчику пришли в головулечку разные мыслишечки и соображеньица.

— О чем, дорогой?

— Об убийстве!

— И кто же несчастная жертва?

Вместо ответа он протянул ей документ — точнее, письмо, написанное на одной страничке.

— Без очков мне не разобрать,— вздохнула Люси.

— Ага! Тогда все ясно! Потому-то и не поняла ни черта, когда в прошлый раз читала.

— В прошлый раз?

— Ну да. Читала да лепетала: «Вот и чудненько», «Ну и слава Богу» — или еще какую несусветицу.

— Раз я что-то говорила о письме, значит, читала. А раз читала, то непременно была в очках. Так что успокойся и напомни, о чем оно.— Едва мем-сахиб протянула руку, всю в шишках и узлах от артрита и взяла письмо, как Слоник вырвал его и стал читать.

— «Уважаемый полковник Смолли! — возопил он, видно вообразив, что жена так же плохо слышит, как и видит.— Мистер Булабой довел до моего сведения, что вы не согласны с повышением платы за жилье. Тем не менее мы считаем возможным оставить за вами аренду «Сторожки» на следующий год (с 1.8.71 по 30.7.72) на прежних условиях, изложенных в пункте 2 договора, срок коего истекает. Просим подписать и вернуть копию настоящего письма, оно будет приложено к договору и, таким образом, избавит обе стороны от дальнейших формальностей, связанных с арендой на ближайший год. Подпись: миссис Булабой, влад.».

— Значит, все в порядке? — спросила Люси.

— В порядке? С чего ты взяла?

— Но ты же был тогда доволен. Прямо пузыри пускал.

— Пузыри пускал? Это еще что за идиотское выражение?

— Ты сам так всегда говоришь, когда сильно радуются.

— Не всегда! — Слоник по-прежнему орал что есть мочи.— Например, сейчас. Прочитала б это письмо повнимательнее. Кто ж знал, что ты ни шиша не разглядела! Откуда мне догадаться, что там написано, если ты прочитала и сказала, помнится: «Чудненько, Слоник».

— Разве я не права?

— Черта с два! Нас обвели вокруг пальца! Ты вечно твердила, что одна голова — хорошо, а две — лучше, я уши развесил и поверил. На тебя положился. Так вот, эта стерва нас-то в дураках и оставила. Нас, а не меня. С меня взятки гладки.

Люси-мем пододвинула стул и села. Ибрагим примостился рядом на корточках: как знать, вдруг и его совет пригодится, раз в семье разлад. Видно, даже собака своим умом почуяла неладное: подошла сзади к креслу Слоника, плюхнулась на пол у ног Люси-мем, скорбно поглядывая то на хозяина, то на хозяйку.

— Конечно, я мало что смыслю в делах,— начала Люси. Слоник уже готовился что-то возразить, но она продолжала: — Однако если ты хочешь, чтобы я поняла, как миссис Булабой обвела нас вокруг пальца, будь любезен, объясни толком, не рычи.

— Да куда уж толковее! На тебя в письме целых два слова смотрят, два простых, ясных слова. Я только что прочел письмо и все распрекрасно понял. Что, до тебя еще не доходит?

— Слоник, единственное, что до меня доходит, так это твои вопли и оскорбления. Я бы добавила «при слугах», хотя у нас всего один.

— Похоже, придется заводить другого!

Воцарилось долгое молчание: у Слоника лишь неистово сверкали глаза, Люси-мем теребила нитку бус из зернышек, Блохса тяжело дышала, а Ибрагим, напротив, затаил дыхание.

Вот Люси отпустила бусы, погладила Блохсу по голове. Собака повела налитыми кровью глазами на Ибрагима, словно делилась радостью — приласкали.

— Право, Слоник, я что-то тебя не пойму. Особенно после того, как Ибрагим нянькой за тобой ходил, пока ты болел!

Ибрагим склонил голову набок. Прислушался. За тихой и спокойной речью госпожи угадывались знакомые суровые нотки. Так же, как и Люси-мем, Ибрагим был страстным поклонником голливудских фильмов, и, судя по всему, сейчас госпожа представляла Бэтт Дэвис. Ибрагим не раз видел, как хозяйка, не замечая его, ходила по комнате взад-вперед, сложив руки на груди, виляла бедрами, подражая знакомой походке, и что-то бормотала не менее знакомым голосом.

Случись у сахиба приступ прямо сейчас, она — единственная свидетельница его страданий — продолжала бы невозмутимо (как ей сейчас думалось) гладить собаку, вперив взор в клумбу с каннами, не замечая — будто бы — ни плачевного состояния супруга, ни его просьбы достать таблетки, ни (как должно быть дальше по сценарию) его отчаянных попыток подняться с кресла. Спустя минуту-другую она пойдет в дом и, не повышая голоса, скажет Ибрагиму:

— Сейчас же беги за доктором Митрой. Скажи, хозяину худо. Очень-очень худо...

Хозяину, однако, было сейчас отнюдь не худо.

— Что за чушь ты городишь!

— Неправда, скажешь?! Ибрагим НЯНЬКОЙ за тобой ходил.

— Ну, так что ж?

— Как только у тебя язык поворачивается говорить о другом слуге?

— Ах, вон ты о чем,— Слоник заговорил уже нарочито смиренно — что поделаешь, глупцов надо терпеть. Он сложил письмо, запер шкатулку.— Я всю жизнь полагал, что «другой» — значит «второй», следующий за первым. Еще один. В дополнение, а не вместо. Поняла? Какой-нибудь мальчишка-мали, чтобы этот газон, будь он проклят, стричь. Правда, я скорее сдохну, чем позволю его нанять.

— Да, теперь поняла. Ты прав. Следить за газоном — это обязанность мистера Булабоя. Ты прав, так записано в договоре.

— Увы, уже не записано.

— Слоник, дорогой, этого не может быть!

— Может. У нас с прошлого июля и договора-то нет. Только это жульническое письмо! Я тебе его прочитал вслух от начала до конца!

Слоник откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Люси-мем недоуменно пожала плечами, взглянула на Ибрагима и скорчила гримасу.

Тот, осмелев, сказал:

— По-моему, мем-сахиб, хозяин имеет в виду, что в письме пред-

лагают возобновить только второй пункт договора, а об остальных ничего не говорится. Например, о том, что владелец отвечает за внешний и внутренний вид дома и за состояние сада. По-моему, так.

— Ай да Ибрагим! — изумленно всплеснула руками Люси-мем.— Ну и умница! Верно, Слоник? Неужто смысл письма именно такой? Вовек бы не догадалась.

Ибрагим радостно улыбнулся, перевел взгляд на Слоника: тот открыл глаза и, похоже, не разделял радость Ибрагима.

— Куда уж умней! — бросил он.— Раз такой умный, пускай отправляется на все четыре стороны. Проваливай, ублюдок!

— За что, сахиб?

— Сам будто не знаешь! Так я тебе растолкую: за то, что ты заодно с нашими врагами. Так я и поверил, будто ты вмиг смысл письма разгадал. Поди еще с прошлого года знал, к чему дело идет. Небось животики надорвали вместе со всем этим жульем, что у мадам Булабой служит. Ха,— он сердито крякнул.

Ибрагим поднялся.

— Раз сахиб сказал — так тому и быть. Но сахиб на меня напраслину возводит. Откуда мне было знать, что в письме? И откуда слугам миссис Булабой — «жулью и лоботрясам», как вы их называете,— об этом знать. Да и газон перестали стричь совсем недавно, когда мали ушел работать в «Шираз». А разве стены и потолок в ванной не побелили, разве стульчаки не поменяли?

— Побелили, говоришь? Ха! Как бы не так — побелит эта хитрая сука, держи карман шире. В общем, сказано тебе — убирайся!

Ибрагим повернулся к Люси-мем.

— Сахиб говорит — убирайся. А куда — не сказал.

— А мне плевать, хоть в Мекку свою проклятую.

Плечи у Ибрагима устало опустились, непосильной, видать, оказалась даже мысль о таком путешествии.

— Мекка... Туда все мусульманское старичье тянется. Сядут в восемь вечера в туристский автобус — и вперед! Наберут с собой всякой снеди. До порта всю ночь горло дерут — поют. А там ручкой помашут — и на пароход. А сахиб меня средь бела дня гонит, как последнего бродягу.

Пробормотал он все это не очень разборчиво и с достоинством удалился в дом, где с не меньшим достоинством остался подслушивать под дверью.

— Как тебе, Слоник, не стыдно! Как тебе не стыдно обижать Ибрагима!

— Он ведь сейчас подслушивает, сукин сын.

— Да если и подслушивает! Хотя на него это непохоже. Гордый он. С ним нельзя как со слугой. Он нам больше чем слуга. Да к тому же он человек бывалый, немало повидал.

— Еще бы! В Англию, мошенник, пробрался, да получил пинка под зад, вот и все, что он повидал. Я так думаю.

— Я, Слоник, о другом. О гордости. В тебе гордости совсем не осталось. Не перебивай меня. Не осталось ее в тебе, не осталось и во мне. Напрасно мы не уехали в Англию.

— А кто ж больше всего хотел остаться?

— Ты, Слоник. А я согласилась. Нам бы вернуться в Англию хотя бы после тех долгих лет в Бомбее. Сразу после всех этих потрясений. Теперь-то что говорить — поздно.

— Каких еще потрясений?

— Ты, Слоник, прекрасно меня понял.

— Вовсе нет. Сорок с лишним лет с тобой живу и все никак в толк не возьму, о чем ты толкуешь.

— Сейчас я толкую о гордости. Ибрагимову гордость ты крепко уязвил.

— А ты, конечно, никогда себе этого не позволяешь! А скажи-ка, кто в прошлый раз его уволил? Кто на него потом неделю дулся? А?

— Была б у тебя гордость, Слоник, ты, вместо того чтобы здесь орать да буйствовать из-за шкатулки со старыми бумажками, написал бы вежливо, но решительно: так, мол, и так, миссис Булабой, что́ вы собираетесь делать в отношении сада.

— Чтоб она ткнула мне в нос это письмо?! Чтоб я выглядел дурак дураком? Она обманула нас, а ты хочешь, чтоб я еще ее и потешил: обман-то вижу, а поделать ничего не могу.

— Тогда не вспоминай о саде, пока не вернется Билли-бой.

— Не бойся, не вспомню. Только какой толк, что вернется этот затурканный недомерок. Раз толстуха что задумала, ее не свернуть. А она твердо решила, я это знаю, и причина мне ясна — она нарочно приводит дом в запустение. Ну что ж, пусть все идет прахом. Пусть трава хоть до окон растет. Мне плевать! Устал. Хочу в постель.

— Сейчас, Слоник, я помогу тебе.

— Можешь обо мне не беспокоиться.

— Это мой долг — беспокоиться о тебе.

— Да и выгода, а? Вот это уже ближе к истине. Ведь случись мне разом отдать концы, что с тобой-то будет?

— Вот об этом я меньше всего задумываюсь. Ну-ка поднимайся, опля!

Ибрагим неслышно, босиком, прошел через кухню на узенькую заднюю веранду и, присев, закурил. Интересно, что такое у них тряслось? И трясется ли сейчас? Что бы это ни значило, он, Ибрагим, как всегда, меж двух огней.

Минут через пять он заслышал шаги хозяйки, загасил окурок, разогнал рукой дым, но продолжал сидеть, пока не убедился, что Люси-мем рядом и вот-вот обратится к нему. Тогда он медленно встал, по-прежнему понурый, но не приниженный.

— Спасибо, Ибрагим. Ты чудесно почистил мне туфли. И бриллианты мои никак еще пуще заблестели.

Ибрагим лишь склонил голову. И с чего бы это хозяйке понадобилось вытаскивать кольцо с брошью?

Изуродованные артритом старые пальцы принялись теребить бусы.

— А с сахибом ты должен, просто обязан быть предельно терпеливым. И я тоже. Предельно терпеливой. Прости его, пожалуйста, за то, что он наговорил. Доктор Митра обеспокоен его здоровьем. Да и я вижу, что Слоник просто сам не свой. Он совсем — нет, лучше сказать, во многом переменился. Тебе, Ибрагим, я доверяю как близкому человеку.

Ибрагим выпрямился и заложил руки за спину: так, по его разумению, надлежало принимать чьи-то откровения.

Она продолжала:

— Понимаешь, человек всю жизнь привык заниматься делом,— глаза у Люси-мем потемнели,— и вдруг — он прикован к постели, и, как бы тебе сказать, всякое пустячное, крохотное событие вырастает в его глазах до катастрофических размеров. Понимаешь, *малум?*

— *Малум*, мем-сахиб.

— Он делает из мухи слона. Например, капризничает из-за бульона, из-за нескошенной травы, из-за увядших канн. Ведь из-за этого «Шираза» у нас в саду днем и солнца не видно. Поэтому роса держится дольше обычного и трава получает больше влаги, а значит, и растет быстрее. Малум?

Ибрагим дернул головой и чуть нахмурился, чтобы хозяйка видела, как работает его мысль; впрочем, разве сравнится он умом с Люси-мем.

— Пойдем погуляем,— после неловкой паузы предложила она. И Ибрагим пошел следом за ней на задний двор.

## *Глава третья*

— Да, солнца нам больше не видать,— неторопливо шагая, сказала она. Потом остановилась, взглянула на соседнее здание из стекла и бетона: под сенью «Шираза» проходила теперь их жизнь. И от росы уже не прибавляется живительных сил, разве что ломоты в костях да желчности в разговоре.— Мне нужен молодой мужчина. Подойдет и паренек. Нет ли кого у тебя на примете?

Ибрагим часто заморгал:

— Простите, мем-сахиб, не совсем понял.

— Ну, наверняка среди твоих многочисленных знакомцев в Панкоте найдется крепкий парень. Я бы платила ему. Конечно, не ахти как много. Давала бы деньги тебе, а ты бы сам с ним расплачивался. Сахибу, разумеется, о нашем договоре ни слова, хотя я попрошу, чтобы он повысил тебе жалованье, и прибавку вместе с моими деньгами мы бы отдавали парню. Мне не так накладно выйдет.

Рехнулась на старости лет, подумал Ибрагим, а вслух тихонько спросил:

— Какого примерно паренька желает мем-сахиб?

— Да любого. Лишь бы сильного и исполнительного и чтобы много денег не просил. И чтоб обязательный был. Он мне понадобится не каждый день, а, скажем, через день. Если нужно, может жить при нас — всегда под рукой будет. Только вот в чем, пожалуй, загвоздка...

Ибрагим подивился: с самим предложением мем-сахиб — загвоздка, а она, видать, какую-то мелочь имеет в виду.

Хозяйка между тем продолжала:

— Инструментов у меня нет. А они еще как нужны! Придется, видно, нам ждать мистера Булабоя. До чего ж все непросто! Придется, наверное, и его в наши планы посвятить. Без его участия в нашем договоре не обойтись. Конечно, мы идем на обман: ведь паренька придется представить сахибу как работника мистера Булабоя, не говоря уж об инструментах — у меня их нет, придется одолжить у мистера Булабоя. Ты понимаешь меня, Ибрагим? Мне не по карману нанимать парнишку и еще брать в аренду или покупать инструменты, необходимые ему в работе. И вот еще что. Пожалуйста, запомни, что паренька я нанимаю лишь на время. Сулить ему постоянную работу не следует. Вот именно — на время. Пока не поправится сахиб, пока не наберется сил и не перестанет волноваться по пустякам. У него очень высокое давление. Ему вредно напрягаться, раздражаться. Но и о своем душевном покое мне забывать нельзя, поэтому, пока сахиб еще болен, я и решила нанять паренька, чтобы он приходил в положенное время, делал свое дело — тогда я буду спокойна. А выздоровеет сахиб, я признаюсь, что он вовсе не служит у мистера Булабоя, что это мой паренек, точнее, наш с тобой. Неужто мы вдвоем такого не сыщем да к делу не приспособим?

— Ох, мем-сахиб,— начал Ибрагим, подыскивая нужное слово, ибо мысли его роились и путались.

— Я хочу сказать, что он на пользу будет не только мне, но в чем-то и тебе. Хотя в основном он будет выполнять мои распоряжения: косить траву, ухаживать за цветами, особенно за каннами. Я не хочу лишиться мужа из-за всяких пустяков. Поэтому газон должен быть всегда подстрижен, канны — политы. Насчет шкатулки с документами ты дал промашку — сам это признал. Неправ ты и в том, что Слонику на пользу волноваться из-за сада. Все наоборот. Это ему во вред. Потрясений он сейчас просто не вынесет. И постоянная нервотрепка по мелочам тоже сведет его в могилу.

Наконец-то Ибрагим понял, в чем дело, и вздохнул облегченно и вместе с тем разочарованно. Самому ему проку от парня никакого, зато сколь занятной была бы жизнь в доме, если бы оправдались его

первоначальные предположения. Увы, мем-сахиб хочет завести лишь мали, работника. Какая прозаическая развязка!

— У меня, мем-сахиб, есть на примете такой паренек. Молодой, крепкий, исполнительный — племянник шурина моей младшей сестры. Его недавно ни за что уволили, дескать, жизнь дорожает, во всем мире инфляция.

На самом же деле у Ибрагима на примете был не один, а несколько «таких пареньков», если не полностью, то частично удовлетворяющих хозяйкиным требованиям. Нужно лишь сходить на рынок, там на такую приманку клюнут многие. Да и самому Ибрагиму хозяйкина затея сулила выгоду: можно немного подзаработать.

— Сколько придется платить такому пареньку, а, Ибрагим?

Тот назвал сумму и прибавил:

— Не считая еды и жилья.

Люси-мем лишь ахнула.

— Есть, правда, еще один, не такой, может, смышленый, но крепкий и исполнительный. Этот подешевле обойдется.

— Вот-вот, его и давай. Хотя и с ним забота: как кормить? Ты ж знаешь, полковник-сахиб следит, чтоб гроша лишнего на хозяйство не истратить.

Ибрагим снова заморгал. Хозяйственными счетами ведала сама Люси-мем, а сахиб лишь изредка их просматривал да чертыхался. И потом у супругов бывал непременный скандал. Ибрагим тоже смекнул, что кормить нового мали будет не так-то просто — ведь Слоника придется убедить, что работника нанял мистер Булабой. Хотя с незапамятных времен и было оговорено, что Ибрагим должен столоваться вместе с гостиничной прислугой (в «Сторожке» кухню для слуг не держали), супруги Смолли ежемесячно выдавали ему кое-какие продукты: муку, чай, сахар, масло, а также довольно значительную сумму на мясо и овощи.

Готовила Ибрагиму обычно Мина; он нашел с ней общий язык отнюдь не только в делах кухонных. Гостиничная прислуга уважала их отношения. Ибрагим и впрямь катался как сыр в масле. Жалованья своего он почти не тратил. Дармового рома из гостиничных запасов ему хватало. Каждый год на мусульманский праздник сахиб и Люси-мем дарили ему что-нибудь из одежды. Стирал белье ему гостиничный дхоби, за что Ибрагим давал парню пачку-другую сигарет. Он словно состоял в профсоюзе, да только не платил членские взносы.

* * *

Самой драгоценной и бережно хранимой вещью у Ибрагима был белый костюм — легкий долгополый сюртук с брюками. Еще отец надевал его, прислуживая на званых обедах у полковника Моксон-Грифа. Давным-давно костюм этот перешел во владение сына, хотя надевал его Ибрагим всего лишь раза два, когда с мистером и миссис Смолли ездил на банкеты Панкотского стрелкового полка. Конечно, личный слуга на банкете сейчас уже давно не дань этикету, но все же признак высокого положения. Стоишь за креслом господина или госпожи: успеваешь и на кухню не раз сбегать, чтобы приложиться к бутылке; даже мурашки по спине ползут, когда задумаешься: и отец твой, и дед так же служили господам, правда, господа за роскошным столом теперь цветом кожи чернее слуг.

Сахиб подарил Ибрагиму кушак и ленточку к тюрбану — знаки отличия Махварского полка. Последний раз Ибрагим надевал их на прошлый Новый год; тогда, помнится, и младшие офицеры, а с ними кое-кто и из старших и даже некоторые дамы устроили славную попойку в честь недавней победы над Пакистаном. Кроме Слоника и Люси-мем англичан за столом не было. Ибрагим гордился своим господином: еще бы, тот единственный среди присутствующих напился до чертиков. Так, по рассказам Ибрагимова отца, обычно напивался и полковник Моксон-Гриф.

— Поначалу, сынок,— рассказывал отец,— полковник беседует очень живо, но не теряя чувства меры, ясно? Потом, к концу обеда, он уже с кем попало не заговаривает и сидит подчеркнуто прямо. Лишь отвечает на вопросы, но всегда впопад. Бокал из руки не выпускает. Причем бокал то и дело наполняют. Сидит полковник во главе стола. Ведь он — распорядитель праздника. Подходит время предлагать тост. Поднимается полковник сам, без моей помощи. Стоит прямехонько, навытяжку. Поворачивается к своему помощнику — тот тоже встает и произносит тост за Его Величество короля. Выпивает бокал до дна. Садится. И больше уж ни рукой, ни ногой не шелохнет. Так в кресле мы его и уносим. А кресло у него особое, к ножкам кольца приделаны — туда железные прутья можно просунуть, получается как бы паланкин. И так мы несем его через дорогу прямо к нему домой. Я укладываю его спать. А назавтра в шесть утра он уже принимает парад. Вот таков полковник Моксон-Гриф — настоящий господин, не чета нынешним. Да и на вечерах в честь офицерских жен он пил едва ли меньше. Всякий раз супруга его домой отводила.

Ибрагим лишь однажды попал на такой вечер, его взяли с собой Слоник и Люси. Без жены Слоник ходил на праздник всего один раз и вернулся удручающе трезвым. То ли дело январский банкет! Ибрагим сопровождал обоих супругов и весь обед простоял за креслом Люси-мем, нарядный, с ленточкой в тюрбане. А хозяин сидел на другом конце стола и опрокидывал рюмку за рюмкой. Вдруг, напыжившись, он встал и громко и четко произнес по-английски:

— Да благословит Господь матушку Ганди!

До Ибрагима донесся одобрительный шепоток гостей, а полковник Менектара, распорядитель банкета, даже улыбнулся. Правда, по дороге домой Люси-мем истолковала все иначе, дескать, шептались, скорее, осуждающе, а улыбнулся Менектара, чтобы скрыть неловкость.

— Так и не поняла ты Индии! — горячился Слоник.— А вот они меня прекрасно поняли. Я же предложил выпить за матушку Индию, за их родину, голова ты садовая!

Дня два после банкета Слоник пребывал то в подавленном, то в задиристом настроении. Потом воцарилось спокойствие, но ненадолго: Слоника хватил удар. Мем-сахиб было не обойтись без помощи Ибрагима, так как беда настигла Слоника ночью, когда он восседал на одном из «тронов». Ибрагим застал хозяина в весьма неприглядном виде, без сознания.

Ибрагима, конечно, эта сцена немало смутила, хотя был для его смущения и иной повод: в час ночи, когда к нему постучалась Люси-мем и позвала, он, как и подобает старшему в доме слуге, уже лежал в постели (вставать-то ему с петухами), но не один, а с Миной, причем та только-только разохотилась, и ее было уже не остановить. Ибрагиму приходилось с этим мириться, дабы не лишиться на следующей неделе как горячего расположения, так и горячего обеда.

— Иду, иду, мем-сахиб! — торопливо отозвался Ибрагим, узнав хозяйкин голос, хотя поспешал лишь на словах. Он сполз с кровати, зажав Мине рот, чтобы предупредить ее непременный недовольный вопль, и прошептал ей в ухо:

— Тише! В дом грабители залезли!

Закутав Мину одеялом, сам завернулся в другое, кое-как добрался в темноте до двери, снял крючок. В лицо ударил свет хозяйкиного фонаря.

— Выручай, Ибрагим, голубчик! Сахибу очень худо!

Так она говорила лишь в самые отчаянные минуты.

Люси-мем засеменила по тропинке к «Сторожке», а Ибрагим, остервенело натянув рубашку и брюки, поспешил следом.

— Проходи,— позвала его хозяйка.— Доктору Митре я уже позвонила. Но что дальше делать, то есть чем сейчас помочь — ума не

приложу. То ли перенести Слоника в комнату, то ли оставить здесь. Одной мне его не поднять. Взглянул бы ты, а, Ибрагим?

Ванная и туалет сообщались со спальней прелюбопытнейшим образом: вместо двери было две створки, открывающиеся в обе стороны, наподобие тех, что небрежно распахивают ковбои в вестернах. Когда Ибрагим только что поступил на службу к супругам Смолли, ему объяснили: если с порога спальни он увидит на створках полотенце, значит, «ванная» (она же туалет) занята. Сейчас там тоже висело полотенце, и Ибрагим нерешительно остановился.

— Не обращай внимания на полотенце, заходи, Ибрагим. Хотя оно очень трогательно, в духе самых изысканных манер.— Сейчас Люси-мем говорила совсем по-другому, тише и мягче. Кого-то она изображала сейчас? — Ах да, прости, ты, наверное, не поймешь, о чем я. Господину стало, видно, очень плохо, и он тихонько, чтобы не разбудить меня, встал. Правда, я лишь дремала.

Над своей кроватью мем-сахиб повесила москитную сетку; видать, ей так нравилось — ни комаров, ни мошкары в Панкоте не водилось испокон веков.

— Я проснулась, нашла господина в ванной и сразу же позвонила доктору Митре. Ах да, об этом я уже говорила. Но может, пока доктор не приехал, мы и сами в силах помочь? Главное — не упустить время, ты меня слышишь? Ибрагим, принеси одеяло! И как я сразу об этом не подумала.

Ибрагим помог Люси-мем закутать Слоника в одеяло, потеплее укрыл шею и затылок, чтобы к застывшей спине притекло тепло — Слоник сидел, привалившись к стене. Запах дезодоранта полностью забивал запах хлорки и лишь частично — запах испражнений. Канализации, как в гостиничных туалетах, в «Сторожке» не было. Под тронами в выгребной яме помещались съемные поддоны — мусорщики вынимали их через отверстие в стене дома. Хозяйка гостиницы пользовалась современным туалетом — любо-дорого взглянуть. А чете Смолли приходилось довольствоваться допотопными стульчаками. Люси-мем лично следила, чтобы их содержали в безукоризненной чистоте, приплачивала мусорщику: тот до блеска натирал новые «под красное дерево» сиденья. По Ибрагимову разумению, следовало провести канализацию и в «Сторожку». Ведь сливные бачки, как и ванны (неужто не противно в собственной грязи сидеть!), являлись неотъемлемой частью христианского быта. Ведь если в большом, скажем человек на двенадцать, доме, как у шурина в Финсбери-парк, лишь одна ванна и один туалет, англичанин туда как к алтарю идет.

Впервые переступив порог «Сторожки» и увидев «троны», Ибрагим тут же мысленно распределил их меж хозяином и хозяйкой. И вот сейчас на «хозяйском» сидел Слоник. Вот он застонал, открыл глаза и пробормотал: «Где это я?» — на что Люси-мем тут же отозвалась: «Дома, Слоник, дома, со мной и Ибрагимом». Они вдвоем подняли больного, легкого как перышко (несмотря на такой тяжелый характер), и вместе с одеялом (назавтра его вместе с пижамой больного сожгут) перенесли в постель.

Потом Ибрагиму часа три пришлось бегать из спальни в кухню и обратно: вскипятил чай, приготовил грелку сахибу (ноги у того были словно лед), сварил кофе Люси-мем и доктору Митре, добавил чуточку бренди, присел отдохнуть на веранде под дверью спальни, чтобы явиться по первому зову мем-сахиб, выкурил дорогую хозяйскую сигарету (Слонику подарил их полковник Менектара), так как свои он оставил дома вместе с Миной. Дожидаться его она, конечно, не станет, поэтому Ибрагим счел себя вправе хоть чем-то возместить эту потерю.

Доктор Митра пробыл почти дотемна, Ибрагим с фонариком проводил его к машине и, не удостоившись и слова, пошел обратно. Из «Сторожки» его позвала Люси-мем:

— Сахиб хочет что-то сказать тебе.

Ибрагим вошел в спальню, встал подле кровати. Щеки у Слоника чуть порозовели, хотя бледность еще не спала. Глаза у полковника были закрыты.

— Слоник! Пришел Ибрагим.

Глаза тот так и не открыл, лишь приподнял левую руку. Ибрагим, чуть помешкав, догадался, что ее нужно пожать. Уже выйдя из спальни, Люси-мем пояснила:

— Я сказала Слонику, что ты, Ибрагим, донес его на руках до постели. Сейчас у него совсем нет сил даже поблагодарить тебя. Снова сердечный приступ. Вроде для жизни неопасный, но с постели Слоник ох как нескоро встанет. Доктор Митра велел его в больницу на неделю положить, а Слоник вряд ли завтра на это согласится.

Ибрагим слушал, сложив руки за спиной. Вот хозяйка закрыла ладонями свое худое, морщинистое, без пудры и румян, личико.

— Мем-сахиб должна поспать. Я принесу чаю и сонного лекарства.

— Снотворного, Ибрагим.

— Да не все ли равно.

Через десять минут он появился с подносом. Люси-мем уже сидела в постели, раздвинув москитную сетку, чтобы лучше видеть спящего Слоника.

Ибрагим тихо проговорил:

— Я, мем-сахиб, останусь на ночь в соседней комнате, присмотрю за сахибом. А вы спите.

Он свернулся калачиком на одеяле подле камина в гостиной, где еще тлело сосновое полено, и задремал. Просыпаясь, он всякий раз ползком добирался до спальни; свет Люси-мем не выключила, лишь завесила лампу, поэтому Ибрагиму было видно, что все в порядке и оба спят: мем-сахиб — привалившись к горке подушек, под москитной сеткой, паутиной свисавшей с потолка; может, сейчас во сне она — мисс Хэвишем из «Больших надежд», тщетно ожидающая возлюбленного в царстве паутины и плесени.

В пять утра он потушил последнюю искорку в камине: вдруг хозяйкины сны из «Больших надежд» смешаются с явью и «Сторожка» тоже сгорит дотла?

Теперь же, когда Ибрагим стоял с Люси-мем на заднем дворе, ему снова привиделась ужасная картина, и дрогнуло Ибрагимово сердце. Однако он тут же взял себя в руки. Люси-мем перебирала бусины — точно косточки на счетах, прикидывая, во сколько обойдется ей новый работник-мали.

«Тенета хитрые пытаемся сплести, когда хотим кого-то провести»,— не совсем точно процитировала она [1],— даже с самыми благими намерениями и на самое короткое время.

Она, возможно, ждала, что, расчувствовавшись, Ибрагим предложит новому работнику делить с ним трапезу, чем снимет заботу о питании мали с плеч Люси-мем. Впрочем, разве это забота? Среди гостиничной прислуги вечно толкалось и кормилось множество самых случайных людей, о чем проницательнейшая миссис Булабой и не догадывалась.

— Поскольку мали будет нужен нам не каждый день, упрощается и вопрос с питанием. Может, ему одного жалованья хватит? Ведь он еще где-то подрабатывает? Я имею в виду того, что дешевле, пусть не очень смышленый; лишь бы крепким был да исполнительным.

— Поэтому-то он и дешевле, мем-сахиб, что положение у него самое что ни на есть бедственное и работы никакой. Другой-то паренек хоть и тоже без работы, но он посмекалистее, и то и это умеет делать, не пропадет. Я тоже думаю, что лучше взять того, кто поде-

[1] Строки из поэмы Вальтера Скотта «Мармион».

шевле. Он — простофиля. Тихий такой. Уважительный, честный и крепкий. Придется, видно, искать такого, чтоб хоть немного соответствовал описанию.

Мем-сахиб задумчиво смотрела перед собой.

— Крепыши обычно много едят.

Ибрагим хотел было возразить: дескать, этот скорее жилист, чем крепок, мяса не ест — но вовремя сдержался. Хорошо еще, что она имени не спросила и какой он веры — мусульманской или индуистской. И он произнес:

— Если этому пареньку платить столько, сколько мем-сахиб обещала, и кормить раз в день, он будет работать в саду полную неделю, пока не приведет все в порядок.

— Вот и хорошо,— Люси-мем сложила на груди руки и зашагала дальше.— Но ему нужно втолковать, что работа временная. Как бы там ни было, Ибрагим, пока не приедет мистер Булабой и пока я не выясню, каково у нас положение, ничего не предпринимай. Если увижу, что единственный выход — самим нанять мали, да так, чтобы не прознал сахиб, посвящу в наш маленький заговор и мистера Булабоя — все равно к нему за инструментами обращаться. Даже...— Она остановилась.— Даже миссис Булабой пусть будет в курсе дела. Неприятно, конечно, но что поделаешь. Ведь так давно уже нет мали и вдруг ни с того ни с сего появится. Сахиб не только обрадуется, но, чего доброго, и нос задерет. Выздоровеет, пойдет, например, в ресторан, да и не утерпит, съязвит миссис Булабой: дескать, пришлось ей все-таки ему уступить.— И Люси-мем вдруг прыснула со смеху.

Ибрагим тоже улыбнулся, хотя и не понял причины.

— Ты представляешь, Ибрагим? Чтоб миссис Булабой кому уступила! — И она снова прыснула, засмеялся и Ибрагим. А Люси-мем, уперев одну руку в бок, другую приложив к груди, хохотала без удержу. Унявшись, тронула Ибрагима за плечо.

— Ну, хватит фантазировать! Что нам до миссис Булабой. Сперва надо сахиба на ноги поставить. Мы должны действовать осторожно и тонко. Очень тонко. Я полагаюсь на тебя, Ибрагим, только на тебя одного. Вряд ли мистер Булабой сможет помочь с работником, а вступать с ним в долгие переговоры я не хочу. Переговоришь с ним ты.

— Мем-сахиб хочет, чтобы я переговорил насчет инструментов?

— Да, и об этом тоже, но сперва скажи так: дескать, господин полковник не поправится, если сад не приведут в порядок. И скажи, что я готова заплатить из своих средств, чтобы сад привели в порядок, лишь бы об этом не прознал сахиб. Больше пока ничего не говори, дальше видно будет. Надо действовать осторожно.

— А относительно денег? Мем-сахиб обещала убедить сахиба увеличить мне жалованье.

— Чтобы хоть частично покрыть мои расходы на мали,— тут же тихо прибавила Люси-мем.

— Простите, мем-сахиб, я что-то не понимаю.

— Твоя прибавка пойдет на жалованье мали, тогда я смогу из своих денег платить ему меньше, но прибавка будет постоянной. Наступит день, мы уволим мали, а деньги эти достанутся тебе. Понятно?

— Понятно, мем-сахиб,— хотя в душе Ибрагим был уверен, что все не так просто.

— Ибрагим, дорогой,— не глядя на него, Люси-мем взяла его под руку.— Что бы я делала без тебя? Что бы делал Слоник? Как только вернется мистер Булабой, сразу же скажи мне, чтоб я могла переговорить с ним с глазу на глаз.

Но исполнить просьбу Ибрагим не смог; в тот день у них дома никто ни с кем не разговаривал. Мем-сахиб даже не пошла гулять с собакой (хотя была ее очередь) и в аптеку. В конце концов и то и другое пришлось делать Ибрагиму. Мем-сахиб осталась после завтрака в гостиной — села за секретер и принялась писать письма; Слоник, за-

кутавшись в шаль, сидел на веранде и читал книгу, взятую в клубной библиотеке. Изредка он оставлял пометки карандашом на полях (чего библиотекарь неоднократно просил не делать) да громко крякал, нарушая тишину. Супруги не обращали внимания ни на друг друга, ни на Ибрагима, ни на Блохсу, которая беспрестанно скулила и бегала то из комнаты на веранду, то обратно, то к гаражу, где — так как машины все равно не было — она и обитала. Собаке хотелось привлечь внимание хозяев, но тщетно — они и ее не удостоили словом. Наконец терпение у Ибрагима лопнуло, он схватил поводок, прицепил его к ошейнику Блохсы, проворчал:

— Шайтан, а не собака! — и потащил ее на прогулку, к базару, там на площади Памяти Павших На Войне помещалась кофейня «Эксцельсиор». Собственно, площади никакой не было, лишь стык двух улиц — с Западного и Восточного холмов.

Там, у памятника, вечно собирался праздный люд, среди них бывал и англичанин с рыжими патлами до плеч. Он то появлялся в Панкоте, то исчезал, но крепко запомнился каждому. Ходил он босиком. Были на нем рваные штаны, а из вещей лишь холщовая сумка да одеяло — грязное, как и его владелец.

Незадолго до болезни Слоник спросил Люси:

— Видела нашего английского хиппи?

— Какого-то хиппи видела.

— Об этом и спрашиваю!

— Не верю, что он англичанин!

— Представь себе! Я с ним говорил.

— Ты — говорил?

— А что тут такого. Еще и рупию дал. Он так оскалился, я думал, сейчас последними словами обругает. Из Ливерпуля родом. Здесь занимается, как он называет, «мудитацией».

Ибрагим порой, завидев хиппи, из любопытства бросал ему несколько монеток. Дикого вида юноша ловил их на лету, но не гнушался и в пыли за ними поползать. Сегодня же он сидел спиной к памятнику, то ли спал, то ли грезил, одурманенный наркотиками.

Чтоб скоротать время и не сразу возвращаться в молчаливую «Сторожку», Ибрагим зашел к гостиничному повару, и тот сообщил, что «Дирекция» вернулась. Ибрагим лишь хмыкнул, но поспешил домой. Увы, там весь день продолжалась «игра в молчанку». Он рискнул подойти к мем-сахиб, сидевшей за секретером. Но та лишь отмахнулась от него. Слоник все не отрывался от библиотечной книги. Блохса так устала на прогулке, что ей больше не требовалось ничье внимание. Пуще всего собака ненавидела прогулки и пуще всего просилась гулять. Стоило ее запереть в гараже — и она вся исскулится, а выпустишь на волю — ляжет где-нибудь и лежит. А уж до чего Блохса горазда поспать! Сейчас она рухнула на веранде, тяжело дыша, словно тащила в упряжке нарты по пурге. Похоже, и она будет до вечера кукситься, как хозяин с хозяйкой.

Мистер Булабой навестил болящего друга лишь вечером, втайне надеясь, очевидно, что Слоник уже будет спать. Но Слоник не спал. Он все сидел в гостиной, испещряя библиотечную книгу пометками. На столике у кресла лежала шкатулка с документами. Напротив сидела мем-сахиб; нацепив на кончик носа очки, она вязала очередной безобразный свитер; снова Слоник будет ворчать, что его заставляют носить черт знает что. Вязала Люси долго, не один месяц, и при муже. Ибрагим никак не мог взять в толк, почему, лишь получив свитер в подарок к Рождеству, сахиб начинает ворчать: и вязка ему не нравится, и цвет.

Ибрагим готовил на кухне какао для хозяев, когда пришел мистер Булабой. Ну, достанется мне сейчас за то, что вовремя не предупредил о возвращении «Дирекции», подумал Ибрагим и, затаив дыхание, прислушался. Но гроза так и не разразилась.

— Пропустишь стаканчик, а, Билли-бой? — донесся до Ибрагима голос Слоника.— Когда вернулся-то? Ну как, повеселился в Ранпуре всласть? Эй, Ибрагим!

Тот вошел, гость и хозяева устраивались за столом. Ибрагиму велели принести бокалы, пива, джина и лимонного сока.

— Захвати печенья,— наиприветливейшим голосом, точно день прошел в мире и согласии, попросила Люси-мем.

— Чувствую себя превосходно,— отвечал тем временем Слоник мистеру Булабою.

На кухне Ибрагим все время прислушивался к беседе: вот-вот заговорят о саде, пора, уже давно пора.

— Скоро ты там? — пророкотал Слоник.

— Иду, сахиб,— откликнулся Ибрагим. Вошел с подносом в гостиную, обнес всех бокалами. Билли-бой живописал новую гостиницу в Ранпуре и придорожный ресторанчик. Слоник слушал и улыбался. Надо же — улыбался! Между его креслом и креслом мистера Булабоя на столике по-прежнему лежала шкатулка с документами. Мем-сахиб спросила, ходил ли Билли-бой в кино и какие фильмы смотрят в Ранпуре.

Невероятно! Ибрагим вернулся на кухню. Потом зашел в спальню, проверил, свежее ли белье, заглянул в ванную — нет ли грязных полотенец, которым место в корзине прачки-дхоби. Он, насколько мог, старался задержаться в доме: ведь с минуты на минуту разговор коснется садовника-мали. Придется Ибрагиму утром оправдываться перед Люси-мем; дескать, сам не знал, что мистер Булабой вернулся. А госпожа наверняка рассердится и скажет, что скандал (который должен разразиться с минуты на минуту) произошел по его, Ибрагима, вине.

Не выдержав, Ибрагим вышел на веранду. Но скандал что-то запаздывал. В десять вечера мистер Булабой пожелал супругам спокойной ночи, те помахали ему рукой на прощание и, приказав Ибрагиму запереть за гостем калитку, ушли в спальню. Ибрагим выполнил приказ, вымыл бокалы и вышел на заднюю веранду: может, Мина напомнит о своем существовании. Веранда примыкала к стене ванной, и вот оттуда-то и донесся до Ибрагима непонятный звук. Невероятный звук! Ибрагим не верил своим ушам! Не может быть! Однако сомнений не оставалось: из-за высокого решетчатого оконца до Ибрагима донеслось всхлипывание. Плакал сахиб! Вот заговорила и Люси-мем:

— Ах, Слоник, Слоник! Ну что ты, в самом деле! Такие пустяки. Тебе нельзя волноваться. Ну, кому же об этом разговор заводить, как не тебе. Промолчал, ну и ладно. Все к лучшему. Ну что ты из-за какой-то лужайки расстраиваешься. Пусть хоть вся зарастает. Тебе-то что? Вот увидишь, Билли-бой проследит, чтобы газон подстригли. Да если и не подстригут, что за беда! Главное-то не в этом, главное — мы с тобой вместе!

— Верно, Люси,— согласился Слоник.

Ибрагим поднялся и пошел прочь.

Утром, передав ему список покупок и письмо, которое нужно было послать авиапочтой, Люси-мем сказала:

— Пожалуй, пора начинать «Операцию мали». Понимаешь меня, Ибрагим?

— Еще бы не понять, мем-сахиб!

## *Глава четвертая*

Звали нового мали Джозеф, и был он христианином.

— Сирота,— отрекомендовал его мистер Булабой. Он-то, собственно, и нашел парня, что придавало обману некоторое правдопо-

добие. Спроси, к примеру, Слоник: «Никак у нас наконец-то новый мали?»— мистеру Булабою не придется грешить против истины. «Это Джозеф, сирота,— скажет он,— нашел я его в Раипуре в самом бедственном положении, он согласен на любую работу». Но эта правдивая версия существовала пока лишь умозрительно, ибо Слоник не заводил разговора о новом мали, так того требовали обстоятельства.

Он вообще не заводил разговора о мали. Ни с кем. То-то велико было разочарование организаторов «Операции мали»: Джозеф наконец появился у «Сторожки» и начал стричь газон, а Слоник не обмолвился ни словом! И продолжал упорно молчать, словно бы и не замечая мали. Смех, да и только! День за днем Джозеф в поте лица косил, стриг, полол на самом виду у Слоника, тот сидел на веранде и с необыкновенным рвением что-то записывал в школьной тетрадке. Даже когда Джозеф, сидя на корточках, пропалывал клумбу с каннами у самой веранды, Слоник не перекинулся с ним ни словом.

Молчала и мем-сахиб: она не заговаривала ни с мали, ни со Слоником (о работнике). Оставаясь наедине с Ибрагимом, она позволяла себе короткие замечания вроде: «Твой мали хорошо работает» или: «Мальчик, похоже, тихий, славный»— и сразу же переводила разговор на другое. Ибрагиму такое поведение было понятно. Ведь Люси-мем, чтобы потрафить мужу, пошла на обман, и чтобы обман этот не бередил душу, ей каждодневно приходилось убеждать себя, что к Джозефу она никакого отношения не имеет. Хотя платить Джозефу придется ей. Откуда она возьмет деньги, Ибрагим не спрашивал. Может, будет выкраивать из домашнего бюджета. Люси-мем никогда не отличалась хорошим аппетитом, а сейчас стала есть и того меньше, как птичка.

Но больше всего Ибрагим изумлялся сахибу. Вот уж кто обманывал, да притом сам себя! Сначала весь дом вверх дном поднял из-за мали, а теперь притворяется, будто ни сада, ни мали и вовсе не существует.

В целом же «Операция мали» удалась. Люси провела ее тщательно, как, впрочем, и все, что она делала, например, вязала. Сколь бы ужасны ни оказались плоды ее труда, она часами могла корпеть над вязанием, терпеливо распуская ряд за рядом, случись спуститься петле или окажись вязка (по мнению самой Люси-мем) рыхлой.

На следующее утро после визита мистера Булабоя Люси вдруг исчезла минут на двадцать (обычно в это время она из дома не отлучалась), а вернувшись, подозвала Ибрагима и сообщила, что выполнила все, зависящее от нее, то есть выяснила планы Дирекции: в обозримом будущем нового мали не будет, как знать, может, даже и теперешний, хромой и кривой паренек, потеряет место. Дирекция также подтвердила, что миссис Булабой и впрямь полагала: с прошлого июля она не обязана предоставлять супругам Смолли садовника. И остается, что называется, лишь сидеть у моря и ждать погоды.

— Дальше, Ибрагим, дело за тобой. Вчера сахиб очень расстроился: ведь мистер Булабой о саде и не упомянул. Жаль, я не знала, что он вернулся, иначе поговорила бы с ним до того, как он навестил нас. Ну, да ничего не поделаешь. Жаль, конечно. Мне все эти заговоры, интриги противны до глубины души, я в жизни так не поступала. Да, было время, когда мы и не помышляли о таком, о том времени мой бедный отец говорил...

— Упокой господь его душу,— вставил Ибрагим, памятуя, что отец Люси-мем был священником.

— ...Говорил так: слово англичанина надежнее любой расписки, честность англичан во всем мире известна.

— Раз англичанин — значит честный, да, мем-сахиб?
— Верно, Ибрагим. Ох, сколько с той поры воды утекло...

* * *

Мистер Булабой сказал, что разрешает пользоваться инструментами уволенного мали. Более того: он сам и парнишку нашел, дельного, послушного, разве что не ахти какого смышленого.

Несмышленый — это ж как раз что надо, подумал Ибрагим. Мистер Булабой рассказал ему о Джозефе. Он нашел парня на паперти воскресным утром. Христианская община в Панкоте состояла в основном из евразийцев, детей от смешанных браков англичан с индийцами, и по своей малочисленности не могла рассчитывать на собственный приход. Раз в месяц преподобный Стефен Амбедкар приезжал из Раппурской церкви святого Луки для воскресной службы. В такое-то воскресенье и набрел мистер Булабой на спящего на паперти Джозефа.

Мистер Булабой был старостой в англиканской церкви в Панкоте и помогал проповеднику, а посему в день службы появлялся в церкви спозаранку, одновременно с мисс Сюзи Уильямс. Мисс Уильямс происходила из некогда известной в Панкоте семьи, среди ее предков были как англичане, так и индийцы. Ныне же из всей семьи здравствовала лишь мисс Уильямс. Была у нее еще сестра много моложе и много белее кожей, во время второй мировой войны она подцепила американского солдатика и укатила с ним в Цинциннати — и с той поры о ее жизни мало что известно. Мисс Сюзи Уильямс унаследовала от матери парикмахерский дар; у той во времена раджей числились в клиентах почти все вельможные дамы Панкота. А еще мисс Уильямс проявила способности к музыке и немалый вкус в составлении букетов. Она играла на фортепиано во время служб в церкви святого Иоанна (орган давным-давно приказал долго жить, а на починку не было денег) и украшала алтарь цветами. В дни служб и мистер Булабой и Сюзи приходили рано-рано утром; сначала староста отпирал церковь, через полчаса — к восьми утра — появлялась и мисс Уильямс. Они приносили с собой еду и завтракали в ризнице.

Обнаружив в то утро на паперти спящего Джозефа, мистер Булабой заключил, что тот пришел из Раппура в поисках работы, что он бездомный, голодный и верует в Господа нашего Иисуса Христа; а потому угостил его чапати[1] и чаем из термоса. Когда, утопая в цветах, появилась мисс Уильямс, мистер Булабой уже занимался своими делами, а паренек исчез. Мистер Булабой позже нашел его на церковном подворье: тот сидел подле одной из неухоженных могил и выдирал траву — так он хотел отплатить за еду. Потом помог и мисс Уильямс: наполнил вазы водой, подрезал стебельки цветов. По его словам, ему доводилось так помогать и «сестрам» в Раппуре. Мисс Уильямс осталась весьма довольна. Но пока она, отворотясь от Джозефа, ставила цветы в последнюю вазу, он исчез снова.

Потом мистер Булабой уехал в Раппур и лишь сегодня утром (как объяснил он Ибрагиму) заглянул в церковь, чтобы проверить, справляется ли со своими обязанностями его помощник, мистер Томас, владелец кинотеатра «Новое электро», тоже полукровка, как и мисс Уильямс. Там-то и попался ему снова на глаза Джозеф, на этот раз не на паперти, а во дворе — парень приводил в порядок уже шестую могилу, срезал высокую траву садовыми ножницами, полученными от мистера Томаса.

Мистер Булабой почерпнул о парне еще кое-какие сведения. «Сестры», которых тот знавал в Раппуре, оказались монахинями из больницы для умалишенных «Добрый самарянин». И наведавшись

[1] Тонкая лепешка из пресного теста.

туда с рекомендательным письмом мистера Амбедкара (в кругах протестантских фигуры значительной: он ратовал за единение церквей и даже сносился с Ватиканом), мистер Булабой осведомился, кто такой Джозеф, не здешний ли он пациент. Но сестры монахини знали немного: в один прекрасный день Джозеф объявился в больнице и недели две помогал по саду, собирал цветы на стол матери настоятельницы. За это он получал пищу и кров. Потом вдруг исчез. О его былой жизни никто ничего не знал, парень либо сам все забыл, либо полагал, что рассказывать ни к чему. Монахини приодели его, подарили на память открытку с изображением Спасителя; однажды, зайдя к себе в кабинет, мать настоятельница заметила, как Джозеф пристально разглядывает картинку. Сестры монахини так охарактеризовали паренька: простодушный, незлобивый, честный, исполнительный. И попросили мистера Булабоя, случись ему увидеть Джозефа вновь, передать ему, что в Ранпуре о нем помнят и с радостью приютят его в случае надобности на недельку-другую. «Это заблудший агнец господень, в сердце его любовь ко всему растущему»,— так сказала мать настоятельница, прощаясь с мистером Булабоем.

Такая характеристика превзошла все ожидания Ибрагима.

— Мем-сахиб поинтересуется, сколько нужно ему платить.

Мистер Булабой лишь пожал плечами. Денег он Джозефу ни разу не предлагал. Мистер Томас давал, правда, какие-то гроши за то, что парень исполнял его поручения. Да мисс Уильямс заплатила ему рупию-другую за то, что он покрасил тростниковую мебель у нее дома. Джозефа интересовала лишь пища, кров да занятие по душе. Где бы такая возможность ни представилась, он не откажется. Миссис Смолли он обойдется почти даром, заверил мистер Булабой. И очень удачно, что хотя бы временно Джозеф будет при деле. А уж совсем замечательно, если и миссис удастся потрафить: она без труда убедит супруга, что новый мали — из гостиничной прислуги.

— А что скажет мадам? — спросил Ибрагим, кивнув на гостиницу, где находилась сама хозяйка.

— С ней я все сам улажу,— храбро заявил мистер Булабой, чем немало насмешил Ибрагима. Но конечно, больше всех будет смеяться миссис Булабой, узнав про «Операцию мали»: пусть Слоник думает, что она наконец уступила, хотя он платит садовнику из своего же кармана. Вообще-то трудно вообразить, что миссис Булабой способна смеяться, но если еще способна, лучше повода не сыскать.

— Тогда, господин директор, я сейчас сообщу мем-сахиб.

— А может, сначала взглянешь на парня? Он на церковном дворе. Я тебя провожу.

— Нет, сперва — мем-сахиб, потом уж — парень. Господину директору больше утруждать себя не нужно. Только б насчет инструментов договориться. Если госпоже Джозеф понравится с моих слов, я схожу к церкви и переговорю с ним.

Госпоже понравился Джозеф со слов Ибрагима, но знакомиться с ним она не пожелала, доверившись рекомендациям мистера Булабоя и Ибрагима.

— Так какую же плату он попросит?

— А сколько мем-сахиб готова заплатить?

— Самое меньшее, на что он согласится. Сколько, по-твоему, это будет?

Ибрагим назвал сумму.

— Но ведь почти столько же ты предлагал платить и первому, ты еще про другого говорил — тот, дескать, не так смышлен, но крепок и послушен. И обойдется дешевле. Намного ли он дешевле, чем тот, которого нашел мистер Булабой?

Совсем запутал старушку Ибрагим.

— Так это и есть тот, о котором я говорил. Откуда мне было знать, что и мистер Булабой им заинтересуется.

— Я могу платить ему в месяц на пять рупий меньше, чем ты предлагаешь. Если уж он очень хорошо себя проявит, мы подумаем о надбавке.

— Не забудьте о питании, мем-сахиб.

— Поначалу ты возьмешь это на себя, Ибрагим. Не бойся, вначакладе не останешься. Приведи его. Дадим ему испытательный срок. Если выдержит, скажешь ему, какое жалованье мы ему положим, а придет пора платить, мы дадим деньги тебе и прибавим еще на его питание.

* * *

— Пошли,— позвал Джозефа Ибрагим,— тебя хочет видеть Булабой-сахиб. Может, работа найдется.

И Джозеф, являя истинно библейскую кротость, безропотно пошел за Ибрагимом. Тому парень понравился — на вид послушный. На гостиничном дворе мистер Булабой открыл сарайчик прежнего мали и показал Джозефу его сокровища. Джозеф застыл на пороге, точно перед священной пещерой, не решаясь войти. Мистер Булабой и Ибрагим буквально втолкнули его в клетушку. Первым делом Джозеф подошел к деревянной полке, где в горшках томились засохшие кустики герани. А может, еще оживут? Парень потрогал сухие ветки пальцем, нащупал средь увядших листьев зеленую почку, пробормотал что-то себе под нос. Потом погладил ржавые садовые ножницы. Наконец, встав на колени, принялся изучать старую косилку с веревками, которыми привязывался некогда ящик для скошенной травы.

— Пошли,— снова поторопил его Ибрагим, и вместе с мистером Булабоем они подошли к пролому в стене, соединявшему гостиничный двор со двором «Сторожки», где буйствовала давно не кошенная трава. Ибрагим сразу приметил Слоника, тот сидел на веранде в плетеном кресле и, похоже, дремал. Ибрагим повернулся к мистеру Булабою.

— Господин директор, покажите, пожалуйста, что должен делать Джозеф.— Сам же не двинулся с места.

Мистер Булабой повел Джозефа во вдвор. Будь у Слоника открыты глаза, он бы непременно увидел обоих, хотя к веранде они не подходили. Мистер Булабой встал посреди лужайки и начал что-то объяснять, размахивая руками. Джозеф лишь зачарованно слушал, потом встал на колени, потрогал траву. Булабой указал на клумбу с каннами, но к ней они не пошли. Вот они вернулись, и Джозеф сразу же поспешил в сарай: отвязав от косилки веревки, он вытащил ее на свет божий. Осмотрел как следует, покопался на полках в сарае и отыскал банку с машинным маслом, наждачную бумагу, старую кисть и ржавый, сточившийся нож. Очистил его и принялся соскабливать грязь с косилки. За все это время он не проронил ни слова.

— Все в порядке, вот ты и при деле,— напутствовал его Ибрагим.

К полудню вычищенная и смазанная маслом косилка блестела на солнце. Все так же молча Джозеф притащил ее во двор «Сторожки» на газон. Выяснилось, что для такой высокой травы нужно переставить ножи. Джозеф принес гаечный ключ и взялся за работу. Ножи пришлось подгонять несколько раз, наконец косилка пошла ровно и легко. Зеленым фонтаном полетела в стороны трава, а на земле осталась бурая борозда ладони в две шириной. Джозеф присел, провел ладонью по земле, потом захватил пригоршню травы, внимательно рассмотрел

Больше Ибрагим не стал приглядывать за новым мали. Пора было собирать обед. Скинув сандалии, он взобрался на веранду. Сахиб не

спал, но в сторону Джозефа даже и не взглянул, словно не слышал, как весело стрекочет косилка: конец беспорядку и запустению! Не слышала ее и мем-сахиб: она сидела за столом в комнате и писала очередное письмо. Вот Ибрагим принес каждому из супругов поднос с обедом, а они по-прежнему оставались глухи и слепы к новому мали. Последовал их примеру и Ибрагим, занявшись собственным обедом. Когда потом он пришел забрать подносы, косилка уже умолкла. Наверное, парень бросил работать, и, как и его предшественник, нашел укромное местечко, и дрыхнет.

Однако оказалось, что паренек работает, аккуратно сгребает скошенную траву в кучки. Хотя и сам Ибрагим не прочь был вздремнуть, он занял свой излюбленный наблюдательный пост. Мем-сахиб после обеда спала в доме, а сахиб — в кресле. Вот парень погрузил траву на тачку и увез; вернулся, нагрузил еще и снова увез. Вот зачем-то потыкал стриженый газон вилами. К чему бы это? Что это он удумал? У Ибрагима слипались глаза, однако он не сводил с Джозефа взгляда.

Вот Джозеф посмотрел в его сторону, и Ибрагим поманил паренька пальцем. Сначала тот не понял, пришлось поманить снова. Джозеф воткнул вилы в бурый торфяник, зашел за сарайчик, откуда и наблюдал Ибрагим, остановился, выжидая.

— Ты зачем тычешь вилами траву?

Лишь вблизи Ибрагим рассмотрел, что с парня пот катит градом.

— Чтоб она дышала.

— Это ты мне хочешь сказать, что трава дышит?

— Все живое дышит.

Ибрагим даже расчувствовался. Сам-то парень едва дышал от усталости.

— Хватит, отдохни чуток. Хочешь перекусить?

## *Глава пятая*

Ужин в тот вечер им обоим приготовила Мина. За столом Ибрагим рассказал Джозефу все, что, по его разумению, полагалось знать мали: то, что прежний мали ушел служить в «Шираз»; то, что миссис Булабой — женщина с норовом и лучше держаться от нее подальше; что сахиб-англичанин нездоров, а потому, возможно, не заговорит с ним, а если и спросит что, Джозеф должен отвечать, что приводит сад в порядок по распоряжению мистера Булабоя. Пока же Джозеф должен слушаться только Ибрагима. Еще он сказал, что сахиб и мем-сахиб во времена раджей были важными господами, что живут в Индии уже сорок лет, и хотя они и сейчас господа хоть куда, но, как и все старики, не без чудачеств. Могут, например, утро с вечером перепутать.

— У них что же, часов нет? — спросил Джозеф.

— Трое часов у них. Одни на кухне, другие в гостиной, третьи в спальне. Да у каждого еще и наручные часы. У меня тоже есть, швейцарские, противоударные, водонепроницаемые, на рубинах, куплены в Лондоне, на Оксфордской улице. Все честь по чести. Запомни, если англичане говорят, «он не знает, сколько времени», значит, намекают, что у него не все дома.

— Выходит, сахиб и мем-сахиб не в себе?

— Случается.

— А они были у «сестер»?

— Да нет, у англичан это по-особому, на свой английский манер.

— А ты, Ибрагим, был за границей?

— Я в Англии жил.

— Э-э-э,— протянул Джозеф, помолчал, потом спросил: — А сады в Англии красивые? Говорят, у них самые красивые сады в мире. Вот бы где работать!

— Хочешь за границу поехать?

— Да, чтоб в таких вот садах работать. Гайд-парк, Сенжемс [1], Кью, Энисмор.

— Где этот Энисмор?

— Одна из сестер переписывается с женщиной, которая там живет. А я письма на почту ношу. Сестра меня и адрес читать научила. Ох, до чего ж трудно!

— Ты в этом саду работай как следует, и если хозяевам понравится, как знать, может, все и удачно для тебя сложится. Возьмут на постоянную работу, будут хорошо платить, скопишь денег. Как мой шурин. Он служил у офицера-бенгальца в Мирате.— Ибрагим помолчал, откашлялся.— Женился на моей старшей сестре, уехал за границу, в Лондон. Поступил официантом в ресторан. Чаевых получал много — выучка-то хорошая, отец у него вроде моего, а мой у полковника Моксон-Грифа служил, когда тот еще в капитанах ходил. Потом он с женой уехал в Англию. Но я о другом хотел сказать. О моем шурине: чаевых он немало получал, вот и копил денежки, копил.

— На собственный ресторан?

— Нет, он лавку открыл да еще деньгами сестре помогал. Так вот, в лавке он работал не покладая рук, дело у него процветало. Купил он дом да сдал внаем. Понимаешь, что такое «сдать внаем»?

Джозеф помотал головой.

— Ну, большой дом, много-много комнат, чтоб много людей могло жить. Все, как один, из Индии и все, как один, в Финсбери-парке.

— Там тоже парк,— пробормотал Джозеф.

— Разбогател шурин, послал за женой, то есть за моей сестрой. Поехала она за границу и меня взяла, чтоб охранял, путь-то неблизкий, да чтоб шурина повидать и его родственников: сколько уж их в Англию перебралось.

— Расскажи, Ибрагим, про Финсбури-парк.

— Финс-бери, а не бур-бур-бур, понял? А чего рассказывать-то? Площадь да улица: магазинов тьма, домов жилых да машин не счесть. Я что ж, за границу поехал дома разглядывать? Или тоже лавку открывать? Я сестру поехал провожать, охранял ее, понимаешь, да опыту житейского поднабирался. А это подороже денег. А ты здесь вот опыт получишь, а еще еду и крышу над головой. А если проявишь себя, так и немного денег.

Ибрагим примолк. Смышленый парень тут же спросил бы: а сколько денег? По крайней мере умный догадался бы спросить. Джозеф до сей поры представлялся Ибрагиму смышленым даже чуть сверх положенного, но никак не умным. Впрочем, сейчас окончательно определится: спросит Джозеф о деньгах, значит, придется держать с ним ухо востро. Очевидно, сейчас он как раз и обдумывал этот вопрос.

— Ибрагим,— наконец сказал он,— а чтобы «проявить себя», я должен хорошо работать, да?

— Молодец, что спросил. Нужный вопрос. И отвечу тебе, не все зависит от хорошей работы. Я, например, стараюсь, из кожи лезу вон. И уж сколько раз меня выставляли.

— Как это — выставляли?

— Ну, выставляли, выгоняли значит. Увольняли. Оставляли без работы. Такое всякий день может случиться.

— Но ты же пока здесь,— подумав, возразил Джозеф.

— Ты знаешь, что такое восстановить в должности?

Джозеф нахмурился, осмысливая трудные слова.

— Ну вот, смотри,— Ибрагим перешел на шепот, так как неподалеку тенью мелькнула Мина: она, без сомнения подслушивает их мужской разговор.— Наступает день, когда сахиб бывает не в себе. Тогда он может послать меня к чертовой бабушке, чтобы глаза его меня не видели. Меня рассчитывают, увольняют, гонят в шею. Я по-

[1] Искаж.— Сент-Джеймс.

жимаю плечами, говорю: «Да будет воля твоя, Господи». И жду мем-сахиб. Она приходит, я говорю, что меня уволили, таков приказ сахиба. Она идет к нему: «Слоник, ну разве мы обойдемся без Ибрагима?» Тогда он и ее посылает к чертовой бабушке.

— А где у черта бабушка?

— Ну, это так издавна говорится. Вроде как молитва, только наоборот. Я тебя и другим таким словам научу, только ты смотри не брякни при господине.

Джозеф кивнул.

— Так вот, я отправляюсь к чертовой бабушке. Меж тем наступает вечер, никто не варит хозяевам какао, а значит, мерзнут старые, плохо спят ночью. А утром никто их не будит, не кормит кашей — как одолеть впроголодь холодный день! Я кашу не варю, мем-сахиб — тоже: ее в некотором роде отправили туда же, куда и меня. Значит, варить кашу самому сахибу, вот и расплачивается за упрямство: ничего, конечно, у него не выходит, печка на кухне — сущий шайтан! И начинает господин искать меня. Заглянет в мою клетушку — вещей нет, тогда идет к Мине, я, конечно же, у нее.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает.

— Жду, когда причитающиеся деньги получу,— говорю.

— А какие ж тебе деньги причитаются, если ты ни черта не делаешь? — спрашивает.

Значит, думаю, все в порядке, меня восстановили. Когда мем-сахиб меня прогоняет, тогда сложнее. Ведь женщина на кухне и сама управится: и чай заварит, и кашу еще лучше меня приготовит. Тут дня два-три приходится ждать, пока сахиб меня разыскивать начнет.

— Мем-сахиб руку обожгла,— говорит. Или еще какой предлог выдумает.

Джозеф лишь кивал, слушая Ибрагима. Тот закурил. Как все удачно сложилось: парень не курит и не пьет. Правда, ест за троих. Так Мина рада-радешенька, глядя, как он ее стряпню уписывает — только за ушами трещит. (Нужно быть начеку: Джозеф собой недурен.)

— Ибрагим, а что будет, если и сахиб и мем-сахиб тебя выгнут?

— Не выгнут, а выгонят. Учись правильно говорить.

— Что будет, если тебя выгонят сразу и сахиб и мем-сахиб?

Ибрагим задумался.

— Смотри-ка, ты, оказывается, не только садовник, но и философ! Вторгаешься в сферу метафизики? Может, тебя и зовут-то Джозеф Эйнштейн, а? Может, ты всякие теории про относительность изобретаешь? Неужто я неясно сказал: сахиб и мем-сахиб вечно не ладят и бывают еще порой не в себе.

— Хорошо, Ибрагим, объясни мне тогда: скажем, случится, что они не в себе в один и тот же день и забыли поругаться. И выставят тебя вдвоем. Кому придется тогда кашу варить?

— Во всяком случае не тебе, Джозеф,— почуяв неладное, быстро проговорил Ибрагим.— Если уж меня уволят, то и тебе здесь не остаться. Кашу варить тебя никто не просит, знай стриги газон да за каннами ухаживай. Ты ведь работаешь не на господ Смолли, а на меня. Ты мой парень.

Джозеф потупил взгляд. Отобедав, они с Ибрагимом сидели на полу средь пустых тарелок. Мина, обедавшая рядом за перегородкой, подала голос:

— И не стыдно тебе на старости лет к мальчишке приставать?

— Что за чушь ты несешь? — крикнул в ответ Ибрагим.

— Какая ж чушь! Ты ж на весь белый свет заявляешь, что это твой парень!

— На весь белый свет?! Это ты, что ли, белый свет? У тебя только ухо необъятное, а вот умишко-то крохотный.— Помолчав, Ибрагим обратился уже к Джозефу: — Не слушай ты ее. Ей просто досадно,

что я тут с тобой сижу говорю, а не расхваливаю ее обед. Я тебе все как отец родной объясняю. Понял?

Джозеф поднял глаза. Но смотрел он угрюмо и настороженно. Ибрагим, видно, угадав нечто в поведении парня, торопливо прибавил:

— Ну, не как отец там, или брат, или учитель в сиротском приюте. Просто как старший. И по возрасту, и по работе, как и договорено с Булабой-сахибом.

Взгляд у Джозефа прояснился. Чуть подумав, он сказал:

— Недели через две, Ибрагим, трава, что я скосил, станет хорошим удобрением. Только сейчас ей побольше воды надо. А придет жара, нам это удобрение для канн сгодится. Они перегной любят. Разбросаем его по клумбе, он влагу в земле задержит. И вырастут канны высокие и красивые. Значит, я хорошо поработал, верно?

Снова ждал Ибрагим: вот-вот спросит, сколько ему будут платить. Но Джозеф не спросил. Тогда Ибрагим ответил:

— Хорошо, Джозеф, дорогой, хорошо. Все верно. Сахиб очень любит канны.

За шесть дней Джозеф мало-помалу скосил всю траву, перетаскал ее в компостную кучу на заднем дворе, истыкал вилами весь газон. Иной день Мина предупреждала Ибрагима, что миссис Булабой не в духе, и тот следил, чтобы парень не шумел. Но и без косилки Джозеф не унывал. Работы он не чурался. Всегда найдет чем заняться. На седьмой день, вместо того чтобы отдыхать, он основательно вычистил косилку, наточил ножи, закрепил их пониже и, оставляя валок за валком, еще раз прошелся по лужайке, которая снова обратилась в газон. Джозеф полил его и принялся подравнивать траву по краям садовыми ножницами.

В тот день к обеду Слоник оправился настолько, что решил прогуляться. В конце февраля солнце в Панкоте уже припекает, но еще свежо. Слоник обмотал шею шарфом (одним из тех, что связала Люси), в руку взял трость, под руку — жену и спустился с крыльца. Кликнул Блохсу, и собака лениво поплелась вслед за хозяевами по тропинке к боковой калитке. На Джозефа они не взглянули, Джозеф, в свою очередь, и глаз на них не поднял. Когда часом позже вся троица возвращалась с прогулки, лишь глупая собака обратила внимание на Джозефа, залилась лаем, набежала на него, рыча и скалясь, словно видела этого пришельца впервые.

— Ко мне! — стукнув тростью, прикрикнул Слоник.— Кому говорю: ко мне!

Мем-сахиб прошла в дом, предоставив Слонику демонстрировать твердую хозяйскую волю.

А Блохса тем временем лаяла, напрыгивая на несчастного Джозефа. Тот сидел на траве недвижно. Вдруг собака заскулила, поджала хвост и сбежала в дом.

Ибрагим наблюдал за этой сценой со стороны. Позже он спросил Джозефа:

— Что же ты ей такого сказал?

— Всего два слова: благословляю тебя.

— Ну, это священные слова. Хотя я и получше знаю. Во всяком случае для собаки. Как-нибудь и тебя им научу.

* * *

Ветер весенний так душу колышет,
Звонит телефон. Только кто его слышит?

Нынешним мартом Люси-мем все время ставила пластинку «Ах, эти шалости». У нее был старенький граммофон для пластинок, лишь на семьдесят восемь оборотов. Пользы от него, конечно, мало: у Люси-мем все пластинки одна древнее другой, куплены еще во время войны и заиграны настолько, что сквозь шипенье и скрип доносились лишь неясные завывания. Иногда Люси сама напевала старые песни, что очень нравились Ибрагиму. В последнее время она пела,

лишь оставаясь одна. Порой супруги Менектара просили ее поставить старую пластинку дуэта «Кляксы» или Джуди Гарланд, и Люси-мем никогда не отказывала. Слоник лишь смеялся над старыми песнями, да и гостей они забавляли. Ибрагим знал: хозяйка-то относится к песням серьезно. А самая любимая хозяйкина пластинка (Ибрагим знал наверное, так как хозяйка заводила ее, когда дома никого не было, не считая, конечно, Ибрагима, слушавшего с веранды или из кухни) — песня в исполнении Дайны Шор «Хлоя». Кроме любви к кино Ибрагим делил со своей хозяйкой и любовь к музыке из фильмов: еще семья Моксон-Гриф держала граммофон наподобие хозяйкиного и такие же пластинки — они заводили их, когда в гости приходили молодые люди, любившие потанцевать вечером. Ибрагим — в ту пору еще малец — тихонько пристраивался около веранды, смотрел и слушал.

Когда мем-сахиб заводила «Хлою», она замирала и закрывала глаза. Иногда она ставила пластинку несколько раз подряд. Ибрагим прекращал работу — где бы ни настигала его «Хлоя» — и кивал в такт старой песне. «У — бумпа — бумпа — бумпади — ди — ду. Бумпа — бумпа — ди... Сквозь ночную мглу я к тебе приду. Прав я или нет, другого пути нет. Я топями пройду, а все ж тебя найду. Бумп. Я все же тебя найду. Пропасть не дам тебе — я помогу в беде».

— Что за печаль тебя одолевает? — спросила как-то Мина после того, как он послушал песню. Ибрагим ответил:

— Мировая скорбь.

В первый весенний день Слоник наконец-то вышел гулять один. Первого числа каждого месяца Люси-мем сверяла счета и платила жалованье Ибрагиму. Вот Слоник с собакой скрылись из виду, сейчас скрипнет крышка бюро — там Люси-мем держала шкатулку с деньгами, лязгнет замочек. Так и есть, скрипнуло, лязгнуло. Ибрагим поставил чайник — пора кипятить воду и заваривать хозяйке кофе. В кофе он добавил, как обычно, немного бренди, чтобы Люси-мем была в духе. После кофе она некоторое время сводила приход — расход, потом призывала Ибрагима: он отчитывался за прошедшую неделю, а она читала ему нотацию, как важно экономить, когда цены растут не по дням, а по часам, и, наконец, выдавала жалованье.

В такие дни Люси-мем представала во всем своем великолепии, затмевая даже сахиба. Из-за кухонной двери Ибрагим с изумлением и восхищением следил за ее выверенными движениями. Порой его одолевало сладостное нетерпеливое ожидание: а вдруг разыграется скандал, именно разыграется, ибо каждая из сторон знала свою роль назубок.

Поначалу хозяйка работала молча. На фразу Ибрагима «Кофе, мем-сахиб» она отвечала лишь: «Спасибо, оставь на столе». Ибрагим ставил поднос слева, чтобы она могла дотянуться. В правой руке она держала изящную, черную с серебряным колпачком шариковую ручку и ни на миг с ней не расставалась, проверяя счета, прежде чем занести цифры в правую колонку расходной книги. Левой рукой она нанизывала счета на наколку, время от времени наливала себе кофе и подносила чашку к сурово сжатым губам. Ибрагим заметил, что считает она одинаково быстро, как с кофе, так и без него.

Порой она что-то записывала в красную книжицу, но, увы, стенографическими знаками, которые для Ибрагима представали лишь непонятными закорючками. Жаль, что он так и не выучился стенографии! Сегодня она записывала реже, чем обычно. Да и считала непривычно долго. Может, он слишком много бренди в кофе налил? Подождав, пока хозяйка наконец справится с арифметикой, Ибрагим вошел, деликатно кашлянул и спросил:

— Не желает ли мем-сахиб еще горячего кофе?

Она лишь помотала головой, он убрал поднос, вымыл кофейник и чашку, прислушиваясь, не зовут ли на привычную церемонию.

Позвали. Ибрагим вошел, поклонился, принял деньги в левую руку, правой расписался в книге, как всегда вычурно, с завитушками. И вновь поклонился.

— Что касается газона,— заговорила хозяйка,— по-моему, сахиб очень доволен, как мистер Булабой все устроил. Слоник даже выглядеть стал много лучше. И я довольна. Очень довольна.

— Приятно слышать, мем-сахиб.

— Смешно подумать, от каких мелочей зависит наше здоровье. Из-за мелочей мы болеем, из-за мелочей же и на поправку идем.— Она снова нацепила на нос очки и стала что-то искать на столе. Отыскав нужный конверт, передала его Ибрагиму.

— Это за сад,— пробормотала она и задержала руку, коснувшись пальцев Ибрагима. — Сегодня я иду в кино, купи мне билет на второй сеанс,— и дала еще денег.

— Разумеется, мем-сахиб. Но сегодня же только среда.

— Помню. По средам я нечасто в кино выбираюсь. Но уж очень я давно не была: ведь сахиб долго болел. Кстати, и у него сегодня будет не совсем обычный вечер. Он пригласил мистера Булабоя. Жена у того, похоже, едет сегодня играть в бридж, и мистер Булабой после ужина навестит нас. Тебе придется смотреть в оба: сахибу почти нельзя пить.

Ибрагим заложил руки за спину.

— Мем-сахиб пойдет в кино одна?

Обычно он нанимал для хозяйки легкую коляску, сам ехал рядом с возницей, блюдя, так сказать, хозяйкин покой и безопасность. Он встречал ее после сеанса и провожал домой. И конечно же, смотрел фильм и сам Ибрагим, причем чаще всего бесплатно, так как знакомый контролер пропускал его на свободное место в первом ряду.

Повелось так издавна, еще в бытность полковника Моксон-Грифа, еще с Мирата, когда Ибрагим под стол пешком ходил. Странно, но семья Моксон-Гриф ездила в кино именно по средам. Когда Ибрагим чуть подрос, отец, служивший у полковника, стал посылать мальчонку за билетами, давал деньги и записку от хозяина. В обязанности Ибрагима входило лишь сбегать в военный городок к кинотеатру «Королевский», отдать записку и деньги. С билетами он шел либо к отцу, либо к Найку Хусейну, господскому шоферу, тоже заядлому кинолюбу. Причем пристрастился он к кино со скуки: надо же скоротать время, пока господа смотрят фильм. И Хусейн наловчился пробираться в первый ряд, который оставляли для слуг и выскочек-индусов, кичившихся «английским» образованием. А както раз, приметив Ибрагима, уже подпавшего под чары кино (лишь насмотревшись афиш в фойе!), Хусейн взял его с собой. Тогда фильм не удалось досмотреть до конца: Хусейну нужно было подать машину хозяев к выходу. Ибрагим же бегом припустил домой и предстал перед разгневанным отцом. От печальных последствий его спас все тот же Хусейн: он рассудил, что посмотреть фильм на чужом языке (совершенно непонятном и самому Хусейну) все равно, что приготовить домашнее задание по английскому. Ибрагим уже начал изучать английский и проявил немалые способности, он был в классе для детей «гражданского населения, состоящего на службе при полковых офицерах». В полковую школу Ибрагим попал при содействии семьи Моксон-Гриф. Поэтому, когда Хусейн сравнил кино с домашней работой, Ибрагимову отцу нечего было возразить. Напротив, при первой же возможности — миссис Моксон-Гриф спросила его, как поживает сынишка,— он рассказал о кино.

С того дня по средам, когда Хусейн вез хозяев в кино, Ибрагиму разрешали сидеть рядом с ним на переднем сиденье. Наверное, суп-

руги Моксон-Гриф немало удивлялись, чем привлекает мальчонку «серебряный экран», как они называли кино. На обратном пути они расспрашивали его о картине как на урду, так и по-английски. «Конец совсем неудачный, как по-твоему?»— частенько спрашивала миссис Моксон-Гриф. Ибрагиму не хотелось признаваться, что конца-то они с Хусейном и не видели. Иногда он просил Хусейна разрешить ему досмотреть, но тот не оставлял мальца ни на минуту без присмотра. Упущенное Ибрагим наверстал много позже, перед телевизором в Финсбери-парк, наслаждаясь старыми фильмами. Наконец-то он увидел, как умирает Грета Гарбо в «Даме с камелиями», как умирает Бетт Дэвис в «Мрачной победе», как она, забытая всеми, сидит в Тауэре в «Елизавете и Эссексе». В лондонском кинотеатре он любовался Вивьен Ли: она бежала сквозь туман в заключительных кадрах «Унесенных ветром».

Люси-мем не привередничала в отличие от Моксон-Грифов из-за минут и секунд, да и прыти у нее такой не было. После сеанса она любила поделиться впечатлениями со знакомыми в фойе, так что Ибрагим успевал досмотреть фильм до самого конца, выйти из зала вместе со всеми, даже взять легкую двуколку и подать ее к выходу. По дороге домой он обсуждал с хозяйкой фильм, хотя она сидела сзади, он — спереди. Ему эти беседы очень нравились, становилось понятно, что волнует Люси-мем и почему, что ее смешит или, напротив, огорчает, утомляет. Он и теперь с нетерпением ждал следующего похода в кино. Ведь и ему, пока болел Слоник, было не до развлечений.

Обиженно заложив руки за спину, он спросил:

— Мем-сахиб пойдет в кино одна?

— Ах да, ведь тебе, Ибрагим, тоже хочется.

Он лишь повел головой: ни да, ни нет, а как пожелает мем-сахиб.

Она улыбнулась, сняла очки.

— А почему бы и нет? В самом деле почему? В конце концов, мы оба заслужили выходной. И положимся на сахиба: он не враг своему здоровью, да и господин Булабой не даст ему много пить. Итак, Ибрагим, мы оба отправляемся в кино. Что там у них сегодня?

— По второму разу идет «Буч Кассиди и Санданс Кид» с Полом Ньюменом и Робертом Редфордом.

— Ах да, помню. Мы в прошлом году видели. Но таких актеров и еще раз не грех посмотреть. Возьми на второй сеанс, места как обычно.

Ибрагим еще раз поклонился. На кухне он заглянул в конверт с надписью «За сад». За десять февральских дней, которые проработал Джозеф, ему полагалось на рупию больше, исходя из оговоренного месячного жалованья. Откровенно говоря, Ибрагим ожидал, что мем-сахиб обсчитает его крупнее. Все-таки обсчитала, хоть и чуть-чуть. «Настоящая леди!» — восхищенно подумал Ибрагим.

Выходя из «Сторожки», он уже прикидывал, на какую часть садовничьих денег вправе претендовать он сам, а какую отдать Джозефу. Вдруг заиграл граммофон. Ибрагим заглянул в дверь: мем-сахиб, ритмично покачивая бедрами, легонько переступала ногами в ветхих туфлях, будто кружила с невидимым партнером в танце.

О, как мое сердце крылато!

## *Глава шестая*

Пока Ибрагим ходил за билетами, а сахиб гулял с собакой, принесли почту. Среди счетов и рекламных каталогов было и письмо, присланное авиапочтой из Англии от семьи Блакшо. Обычное пись-

мо в обычном конверте, не то что эти новомодные «аэрограммы»: пока распечатываешь, непременно разорвешь и письмо — оно ведь написано на самом конверте изнутри. А от Блакшо письмо пришло в обычном конверте, и неспроста: в него была вложена вырезка из газеты «Таймс», из отдела некрологов.

«19 февраля у себя дома в графстве Суррей после непродолжительной болезни скончался Джон Фредерик Уильям Лейтон, подполковник в отставке (служил в Панкотском стрелковом полку), горячо любимый супруг ныне покойной Милдред Лейтон (в девичестве Мьюир), вырастивший благодарных дочерей Сару и Сюзан, внуков Тедди, Ланса и Джейн, правнука Боски. Похороны без гражданской панихиды. Просим цветов не присылать, пожертвования направлять в Фонд исследования раковых заболеваний».

Фиби Блакшо писала: «Страшно подумать, мы дожили до той поры, когда первым делом в газетах прочитываем некрологи. Я, как только увидела слово «Панкот», подумала, что вы со Слоником, должно быть, знавали полковника Лейтона и его семью или хотя бы слышали это имя. Мы-то сами не считаем себя исконно «полковыми», и фамилия Лейтон нам мало что говорит, разве что упоминалась в беседе. На всякий случай посылаю вам вырезку.

Как живет милая старая «Блохса»? Как живете, вы, милые, старые друзья?»

И, нанеся столь разящий удар, Фиби, как и обычно, принялась подробнейше описывать свою жизнь. Конечно, Люси посчитала бы письмо невыносимо скучным, но, увы, больше ни от кого писем она не получала.

Слоник вернулся с прогулки, похоже, в духе. Весело спросил:

— Есть ли что занятное в сегодняшней почте?

— Лишь письмо от Фиби.

— Небось обычное занудство. Ну, старушка, чем покормишь солдата после марша?

Не упомнить, когда он так ее называл в последний раз.

— Слоник, дорогой, неужто проголодался с прогулки?

Он утвердительно кивнул, добавив, что не хочет ни бульона, ни готовых ресторанных обедов. В ресторан тоже не хочет. Посмотришь, как миссис Булабой ковыляет из спальни на кухню да ноет из-за своей мигрени, так стошнит. Пока болел, он не видел миссис Булабой и не прочь вообще никогда не видеть ее.

Он потрепал Блохсу по дремучей голове и задумался. Наконец-то, наверное, и о саде скажет.

— А почему бы нам не пойти пообедать в «Шираз»?— спросил он.

Жена возликовала в душе, а вслух сказала:

— Но там же так дорого!

— А мне на это плевать!

— Может, лучше пойти вечером?

— Вечером я не могу. Я пригласил Билли-боя, ты что, забыла? Посидим с ним за рюмочкой.

— Ничего я не забыла. Прекрасно, если в кои-то веки мы выберемся пообедать в «Шираз», но я боюсь, ты переутомишься. Может, пойдем в «Шираз» в другой раз, когда вечер у тебя будет не занят?

— Как это — «в другой раз»! Есть-то я хочу сейчас! Да и пить тоже. Ибрагим!

— Ибрагим ушел. Что тебе принести?

— Джина, если там еще осталось. А куда этот гнусный бездельник подевался?

— Просто, раз ты будешь весь вечер с Билли-боем, я решила пойти на второй сеанс в кино, вот и послала Ибрагима за билетами. Что-нибудь не так?

— Да нет, все как обычно. Ты же часто ходишь в кино.

Ходила, пока ты не заболел, хотелось добавить ей, но она смолчала. Слово за слово — разгорится спор, и хорошего настроения у Слоника как не бывало.

Она принесла ему сильно разбавленный джин, подала костюм и туфли, в половине первого они вошли в «Шираз», поднялись на лифте в зал с обзорной площадкой. Поначалу Слонику не понравилось место, куда их усадили, потом он ворчал, что на меню пятно от соуса.

И тем не менее Слоник блаженствовал. Его приветствовали супруги Шринивасан. Подошли Бобби и Найта Гош, чтобы поболтать. Потом в ресторане появились муж и жена Десаи и так долго беседовали со Слоником, что Люси испугалась: как бы он не пригласил их за столик и не стал бы угощать. Десаи, хоть и богатеи, любили полакомиться за чужой счет, как никто в Панкоте. Сколько раз ездили они в Европу, спрашивали Люси, что ей привезти, но из скромного списка привозили лишь какую-нибудь одну безделицу. Более того, они никогда не приходили в гости и не присылали цветов. Пожалуй, среди индийцев-друзей Слоника таких больше не сыскать. Правда, напряги Люси короткую свою память, вспомнилось бы еще несколько человек, гораздых на самые невероятные отговорки, подобно тем, на которые сейчас не скупилась мадам Десаи: дескать, я и знать ничего не знала, забегалась совсем, туда-сюда; провожала сына Бубли в Дюссельдорф; ездила на конференцию в Дели, а тут еще дочерина свадьба в Бомбее на носу, гостей восемьсот человек, расходы умопомрачительные.

— А почему бы жениху не похитить невесту? — лукаво спросил Слоник. Он иногда позволял себе кокетничать с миссис Десаи, хотя и недолюбливал ее — это Люси знала наверное. Миссис Десаи закинула красивую (даже смотреть противно) голову и засмеялась. Невидный ее муж, который если и высказывался, то лишь о деньгах, улыбнулся, словно говоря: этот вариант я уже просчитал и сожалею, что он не подходит. Дочь свою он выдавал за внука министра.

— Похищение — прекрасная мысль! — воскликнула миссис Десаи.— Вед и Ситта с радостью бы согласились, но его родители очень старомодных взглядов, и родственников у них с тысячу, а ведь еще кое-кто из министерства рассчитывает на приглашение. Слава богу, что свадьба в Бомбее, а не в Дели.

— Нам пора идти,— прервал ее муж.

Слоник наконец сел. На людях он неукоснительно соблюдал все правила этикета. Усевшись, он пробурчал:

— Наконец-то есть куда употребить их жульнические миллионы. И она еще жалуется!

Люси взглянула на цены в меню, и у нее непроизвольно вырвалось:

— Ты только посмотри, Слоник,— но вовремя осеклась: будь что будет. — Возьмем-ка мы суп, а?

— Возьми, если хочешь меня окончательно на тот свет отправить. Ты же в комплексный обед пальцем тычешь, а они туда всякие объедки да гнилье суют.

Это мы — гнилье, подумалось Люси, в слова она толком и не вслушалась, они лишь эхом отозвались в душе.

— Нам нужны блюда на заказ. Выбирай, Люс, что хочешь и не смотри на цены.

Люси сняла очки. Сначала он назвал ее «старушкой», теперь — «Люс». У нее даже мурашки по спине побежали.

— Закажи мне, Слоник, то же, что и себе. Но я, честное слово, не очень голодна, и помни, что наказывал доктор Митра. Не рискуй напрасно.

Заведет ли он разговор про мали? Непонятно, почему он до сих пор о нем и словом не обмолвился. И о саде ни разу не упомянул с тех пор, как плакал из-за неухоженного газона, сидя в туалете. Может, ему до сих пор стыдно. Ведь она ни разу не видела, чтобы он плакал. Может, доктор Митра заговорит о мали (он навещал Слоника, когда Джозеф уже работал). Тогда Слонику придется что-то сказать об этом. Однако доктор Митра не из тех, кто замечает какие-либо изменения в хозяйстве, а когда Люси жаловалась ему, что запущенный сад очень огорчает Слоника, то и слушал-то вполуха, а может, толком и не понял, в чем дело.

Сегодня думать об этом не стану, приказала себе Люси. Я сейчас в ресторане, в «Ширазе», рядом Слоник. Она огляделась: в дальнем углу — кучка американских туристов. Она сразу угадала в них американцев; они все оживленно говорили, перебивая друг друга, а некоторые женщины (по крайней мере две) носили прически, как у Жаклин Кеннеди. Меж ее столиком и американцами расположились японцы, у каждого на спинке стула висел фотоаппарат. Ели японцы молча, по-азиатски сосредоточенно и словно чего-то ожидая. Может, когда рухнут стены древнего города Кохима? Или превратятся во прах ворота Дели? Или когда от испепеляющих лучей Хиросимы растают ледники на вершинах окрестных гор?

И тут в ресторан вплыла миссис Булабой в огненно-красном платье. Так она же вроде собиралась сегодня играть в бридж. Ее спутники никоим образом не походили на карточных игроков, скорее на членов индийской мафии. На одном был даже костюм с золотой искоркой. Вся компания прошествовала в дальний угол за резную деревянную перегородку. Кажется, Слоник не заметил ее, и Люси вздохнула с облегчением. А то у него сразу бы пропал аппетит, да и хорошее настроение у обоих враз бы исчезло. А вот видела ли их миссис Булабой, Люси с уверенностью сказать не могла. Да не все ли равно?

— Ну, как, дорогой, что закажем?

В эту минуту (Люси могла поклясться) миссис Булабой села. Пятиэтажное здание будто даже накренилось на восток, и по большому бетонному телу его пробежала дрожь.

* * *

«Саре Лейтон

«Сторожка»
Гостиница «У Смита»
Панкот.
Раппур
2 марта 1972.

Дорогая Сара! (писала назавтра Люси). Скоро уже 25 лет, как мы не виделись, наверное, Вы меня и не помните. А между тем наши семьи жили рядом в Панкоте во время войны. Это мы со Слоником (так зовут моего мужа) въехали в Розовый Дом, когда Ваша семья поселилась в резиденции коменданта.

Одна наша знакомая, которая живет сейчас в Англии (очевидно, Вы ее не знаете, так как она с мужем приехала в Панкот лишь в 1965 году), прислала нам вырезку из «Таймс» за прошлый месяц с известием о кончине Вашего отца — она думала, что мы близко знакомы. И я сочла, что нужно непременно написать Вам о том, как я Вам соболезную,— о смерти Вашей матери я узнала лишь из той же газеты.

Бедняжка Слоник очень сильно хворал, сейчас дело идет на поправку, но печальную весть я ему еще не сообщила; он, несомненно, выразил бы и Вам и Сюзан не меньшее сочувствие, чем я. Он

всегда очень лестно отзывался о Вашей работе в женской вспомогательной службе (он возглавлял этот отдел при штабе) и глубоко уважал (равно как и я) полковника Лейтона и всю Вашу семью.

В эту скорбную для Вас минуту я не стану предаваться воспоминаниям о Панкоте былых времен, так хорошо Вам известном, не стану описывать его сегодняшний день, но случись Вам об этом впредь полюбопытствовать, я буду несказанно рада ответить на Ваше письмо и изредка напоминать о себе.

Мы со Слоником прожили в Розовом Доме до 1949 года. Возможно, Вы помните, индийское правительство предложило ему задержаться в стране на год-другой по контракту. Потом он ушел в отставку, некоторое время служил в фирме «Смит, Браун и Макинтош» в Бомбее. Фирма послала его в 1950 году в недолгую командировку в Англию. Конечно же, и я поехала с ним. Первый и последний пока раз побывала я на родине за сорок лет жизни в Индии. Написала, и самой не верится. Лет десять тому назад Слоник ушел на пенсию, и с тех пор мы почти безвыездно живем в Панкоте. Сейчас мы в полном смысле слова последние из некогда осевших здесь англичан. Конечно, заезжих людей с родины немало, молодежь, туристы в основном; да и здесь мы нашли добрых людей — это индийские офицеры и их семьи.

Розовый Дом цел и невредим. Теперь там живет полковник Менектара, комендант военного городка. С месяц тому мы со Слоником ходили к ним на банкет по случаю окончания войны с Пакистаном. Серебряный поднос, подаренный Вашим отцом офицерскому собранию,— на самом почетном месте, рядом с серебряным столовым прибором — его преподнес первый муж миссис Мейбл Лейтон. Полковника Менектару несомненно огорчит весть о смерти Вашего отца, хотя, конечно, им не доводилось встречаться. Полковник поначалу служил в Пенджабском полку и в 1947 году был, думается, лишь в чине лейтенанта.

А мы, как Вы видите по адресу, снова обосновались «У Смита», там же, где жили и во время войны, точнее в отдельном домике в гостиничном дворе, который называется «Сторожкой». В двух шагах от нас выросла новая роскошная гостиница — «Шираз». Из-за нее мы почти не видим солнца. Торговля на базаре по-прежнему бойкая, правда, появились новые шикарные магазины Гуляб-Сингха и Джалал-ад-дина, Вы, наверное, помните их торговые фирмы. Кинотеатр «Электро» переоборудовали, и я частенько туда заглядываю — показывают английские и американские картины. С каждым днем мы все больше приобщаемся к нынешним нравам и скоро, наверное, совсем забудем, что мы англичане.

Простите, что так заболталась. Я посылаю письмо на имя мисс Сары Лейтон по указанному в газете адресу, хотя, возможно, Вы там и не живете и величать Вас следует не «мисс», а «миссис». Скорее всего, Вы уже давным-давно вышли замуж и кто-то из названных в газете внуков усопшего — Ваши дети. Искренне надеюсь, что и у Вас, и у Сюзан счастливая и полнокровная жизнь — ведь Вы вернулись на родину, Индия для Вас теперь далеко, за тридевять земель.

И еще одна маленькая подробность, возможно, будет Вам небезынтересна. Как я понимаю, упомянутый в газете Тедди — скорее всего Эдвард, сын Сюзан от первого мужа, бедного капитана Бингэма, погибшего в Импале. Должно быть, Тедди сейчас совсем взрослый, ему, наверное, около тридцати. Так вот, Мина, девочка, которая некогда нянчила его, сейчас в служанках у хозяйки нашей гостиницы, некой миссис Булабой. Крошка Мина (впрочем, крошкой ее уже не назовешь), проводив Вас на пароход в Бомбее, вернулась со своим дядей Махмудом в Панкот и хотела поступить на службу к нам в Розовый Дом. Он напоминал ей о прошлом, да и полюбил-

ся ей, видно. Но к тому времени я уже наняла служанку, да и дядя Махмуд уговаривал ее поехать в Ранпур; Ваш отец любезно дал ему рекомендательное письмо в одну семью. Потом, как Вы понимаете, нас со Слоником занесло в Бомбей. А вернулись — и на тебе!— Мина служит в гостинице. Тогда хозяин был еще прежний —мистер Пилаи, а директор новый, по имени Булабой. Мы обосновались в «Сторожке», и Мина захотела служить у нас, однако Слонику нужен слуга-мужчина, а двоих слуг нам содержать не по карману, да и хозяйство у нас не такое уж большое. Несколько лет тому мистер Пилаи умер, гостиницу купила вышеупомянутая особа и на удивление всем вышла замуж за мистера Булабоя. У Мины теперь хорошее место. Дядюшка ее, Махмуд, оставив работу и уехав в деревню, вскорости умер, потому-то Мина и очутилась снова в Панкоте. Думаю, что обо всем этом вам известно, так как Мина, помнится, говорила, что полковник Лейтон необыкновенно добр, пишет Махмуду, присылает деньги. В Ранпуре, по ее словам, им жилось несладко, так как семья, куда их рекомендовал Ваш отец, уехала за границу на дипломатическую работу, а Махмуда и Мину оставила. Мина весьма нелестно отзывалась о новых хозяевах, и тому легко поверить: честно говоря, к прислуге очень редко относятся по-человечески. Люди нашего поколения помнят совсем иные отношения, и столь разительная перемена нас огорчает. Со слугой нам повезло. Когда Мина нянчила Эдварда, она и сама была крохой, сейчас же она удачно приспособилась к своей хозяйке, миссис Булабой, и снует по дому день-деньской — с пеленок приучена к работе. Пока я ничего не буду рассказывать ей о судьбе малыша, которого она вынянчила, подожду Вашего подтверждения, что «Тедди» и есть тот самый Эдвард. Буду Вам, Сара, очень признательна, если Вы улучите минутку и черкнете мне пару строк. Простите меня за бесконечное и бестолковое письмо, ведь поначалу я хотела передать Вам лишь свое соболезнование.

*С искренним расположением,*
*Люси Смолли.*

P. S. Не хотелось бы верить, но упоминание в газете «Фонда исследований раковых заболеваний» наводит на мысль, что Ваш отец страдал этой страшной болезнью. Мой отец тоже умер от рака, и тоже быстро, месяц — и его не стало. Было это в начале тридцатых годов, и мы со Слоником жили в Махваре. Получив от мамы письмо с известием, что отец умер, я не могла в это поверить. В те дни еще не изобрели лекарств, которые облегчали бы страдания как умирающих, так и тех, кому остается лишь беспомощно смотреть на страдания близкого и ждать конца».

* * *

Не очень-то веселая выдалась у меня жизнь, подумала Люси, заклеивая конверт.

Сначала похоронила старших братьев-близнецов, они погибли в автомобильной катастрофе. Потом отца. Вскоре умерла и мамочка: в доме, где царил культ мужчины, ей невыносимо стало жить одной, а дочка Люси не в счет, да и в то время она уже была далеко, в Индии. Мамочке Индия не нравилась. «Говорят, там невыносимая жара»,— заявляла она, зябко кутаясь в шерстяную шаль; в доме отца-священника всегда было холодно. Не нравился мамочке и Слоник, хотя она старалась не подавать виду — в конце концов, он же солдат, верой-правдой служит королю. И вообще, что бы ни делала Люси, кого бы ни выбирала и кто бы ни выбирал ее — все встречалось матерью в штыки.

Родись Люси мальчиком — другое дело! Мамочка больше не захотела детей, раз после близнецов-сыновей родилась дочь, она решила поставить точку.

— Да, с самого детства жизнь у меня пошла не очень-то веселая,— повторила Люси.— Будто цветок, который так и не распустился. Впрочем, у многих не лучше.

Она наклеила марку на конверт и решила сама сходить и опустить письмо. Зачем доверять это Ибрагиму, он прочитает имя и адрес, пойдут суды-пересуды с прислугой, в том числе и с Миной.

Слоник сидел на веранде и что-то помечал в книге. Люси не стала спрашивать, что именно. Вчера вечером он вел себя хорошо, когда она вернулась из кино, уже лежал в постели, сам сварил себе и ей какао, постарался, чтобы ее чашка не остыла. Новая бутылка джина едва почата, разве что Билли-бой приносил с собой еще одну. Интересно, говорили они о саде или нет? Если говорили, то все сошло гладко, ибо Слоник был в духе и вчера вечером и сегодня утром.

— Схожу в аптеку тебе за лекарством,— сказала она.— Может, Слоник, что-нибудь еще купить?

— Спасибо, Люс, ничего не надо.

— Ну, тогда я пошла. Блохса, ко мне!

Собачка заворчала, но послушно поднялась и поплелась следом. Мали возился с цветами по обочинам садовых дорожек.

— Доброе утро!— от избытка чувств поздоровалась с ним Люси. Юноша поднялся и приложил ладонь ко лбу. Блохса трусливо пряталась за спиной хозяйки. Люси продолжала на ломаном-переломанном урду:— Большое спасибо тебе за работу.

Он потупился и снова коснулся ладонью лба.

— Пошли, Блохса! Вперед!— прикрикнула Люси.

Да, мали, конечно, еще очень молод, но что-то в нем есть от Тула. (Рядом, Блохса!) То ли в посадке головы, нет, пожалуй, во взгляде. Такой же, как и у Тула, преданный и чуть вызывающий взгляд. Конечно, самые красивые глаза у Пола Муни. У Ньюмена и Мак-Куина тоже красивые, но иные. Любопытно.

— Блохса!— прикрикнула она снова, и прицепив к ошейнику поводок, обратилась к собаке с такой тирадой: — Простите, меня, конечно, миссис Дурьябашка, что веду вас налево, хотя вам почему-то хочется направо. Но смиритесь, таков приказ. И уж извините, что мне недосуг ждать, пока вы присядете у каждого деревца и обнюхаете все кругом. Мы быстро и по возможности не отклоняясь от курса пойдем в аптеку Гуляб-Сингха, и там я куплю необходимые, я бы даже сказала, жизненно важные лекарства для мужа. Вопросов нет?

— Нет!— тявкнула Блохса, но снова рванула поводок в сторону.

Когда Люси ушла, Слоник перестал делать пометки на полях библиотечной книги («Краткая история Панкота» — частное издание Эдгара Мейбрика, бакалавра искусств) и написал следующее:

«Да, похоже, все верно. Новый мали отнюдь не привидение, сегодня Люс разговаривала с ним, не может же быть, чтоб и ей он привиделся. Конечно, по правде говоря, и я не принял его за привидение, разве что поначалу, когда Билли-бой привел его во двор, мне подумалось: может, я тогда, когда сидел на «троне», и помер, а сейчас уже в загробном мире и меня ублажают всякими приятными видениями. Любопытно, что никто и словом не обмолвился о новом мали. Я, понятное дело, первым о нем тоже не заговорил: а вдруг мерещится? Ведь даже Блохса будто не замечала его. Лишь в тот день, когда я вышел с ней погулять, она вдруг облаяла мали, а потом ни с того ни с сего поджала хвост и — наутек. Ну собаки, положим, всегда кажутся чудными: может, они и впрямь больше нашего видят? Но почему Билли-бой ничего не сказал про мали?! Наверное, они все же задумали надо мной подшутить и ждут не дождутся, когда я начну рассыпаться в благодарностях: ведь раньше я

все жаловался, что мали нет. Черта лысого они дождутся! Надо признать, что парень привел сад в порядок — любо-дорого взглянуть,— если и это мне не мерещится. Сдается мне, что наша пенджабская слониха вскорости пришлет мне счет за мали, хотя этот номер у нее не пройдет. Какой еще мали? Не знаю никакого мали. Пока же нужно набраться терпения и помалкивать. А там будь что будет».

* * *

И он снова принялся испещрять пометками библиотечную книгу.

«Старик Мейбрик, видать, с приветом, хотя малый в общем-то неплохой. Читаю и наслаждаюсь, как он ухитрился из 78 страниц своей книги об истории Панкота уделить лишь абзац Панкотскому стрелковому полку. А полк-то в наши дни был самый зазнаистый. Выше стрелков нос никто не задирал. Каждый молокосос-лейтенант, если он из Панкотского полка, бог знает кого из себя мнил. Даже на командующего округом посматривал свысока. А как-то раз офицер, назначенный адъютантом к генералу, всеми правдами и неправдами отвертелся от этого назначения, потому что генерал был от артиллерии. Вот дурак. Погиб в Северной Африке. Его батальон, точнее остатки, принял потом старик Лейтон, и все солдаты как один угодили под его командой в окружение. Я сам служил тогда в Махварском полку, куда мне было тягаться с бравыми стрелками, да и плевать мне сто раз— я никогда особо не болел за честь полка, я даже ее уронил, как мне прямо заявили, поскольку женился без разрешения командования. И на это у них разрешения спрашивай. А мне в ту пору уже к тридцати катило.

Не забуду лицо командира, когда я вернулся с родины из отпуска, и Люси со мной в придачу. Так, мол, и так, господин полковник, имею честь представить вам мою супругу, ее зовут Люси. Бедняжка Люс только усугубила положение, когда заикнулась, что работала стенографисткой, и что скорость у нее такая-то, и что у нее в конторе мы и познакомились. Конечно, окажись отец у нее епископом, а не простым приходским священником, все было бы как нельзя лучше. Для моего начальства, не для меня. Мне было наплевать, кто у нее отец. А иначе и не женился бы на Люс. Меня все считали малым скуповатым и весьма заурядным, я и в ус не дул. Пускай считают. К чему их разубеждать? Вбили себе в башку, что этот Смолли — парень надежный, хоть и туповат, людей такому не доверишь, но с бумажной работой справится. А мне только этого и надо. Любил я с бумагами повозиться, разрабатывать, согласовывать, увязывать. В батальоне самая лучшая должность — адъютант. Перед отпуском я был исполняющим обязанности и, вернувшись, полагал, что вступаю в должность, и жене своей так сказал. Однако командир решил, что мне в полку вообще делать нечего; так я и не узнал, то ли это из-за самой Люс, то ли — из-за того, что я не сообщил в полк заранее о том, кто она да что и всю эту несусветную чушь для проверки. Может, и из-за того, и из-за другого. Отделался от меня командир очень просто: перевел меня на временную работу в одно из крохотных княжеств в глубинке, опекаемое нашими дипломатами. Не прошло и месяца, как мы с Люс очутились в Мадпуре. Обратно в полк меня так и не перевели. Да я и не очень-то рвался. За службу в Мадпуре я получал больше денег, поэтому старался остаться там подольше. Не помню уж, как моя должность официально именовалась, что-то вроде «правительственный советник при главнокомандующем». Зато отлично помню, в чем работа заключалась: наводить порядок после предыдущего британского советника — из-за него разбежались все княжеские слоны. Мой идиот-предшественник подозревал, что слоновья обслуга нечиста на руку, взял да урезал слонам рацион.

Смех, да и только! Писать бы мне мемуары. Люс просто обожала Мадпур. Жили мы в огромном доме рядом с дворцом, в нашем рас-

поряжении был шикарный автомобиль с шофером в униформе. А когда нас представили махарадже, он встретил нас при всех регалиях, аж глаза слепит: мундир расшит серебром, на тюрбане — жемчужины. Люс мне тогда сказала: «Вот настоящая Индия, Слоник». Нет, Слоником она меня в ту пору еще не называла — это прозвище появилось позже, когда я уладил дело со слонами. Правда, Махварский полк вечно обзывали «слоновым»— из-за эмблемы с бивнями, но я, наверное, единственный, к кому прозвище прилипло на всю жизнь и стало привычнее имени. Однажды какой-то сосунок-офицеришка съязвил: дескать, я и впрямь из слоновой породы — вынашиваю решения годами, как слониха детеныша, то есть раза в два дольше, чем люди. Я, разумеется, ему этого не спустил!

Ему моя Люс приглянулась. Уж как он старался, чтобы наедине с ней остаться. Смешнее всего то, что она и не понимала, к чему он клонит. Люси на этот счет не ахти какая сообразительная. Было это уже в Рамнагаре, куда нас перевели из Мадпура, и, кроме Люс, окрест белой женщины не сыскать. Он заявлялся каждую пятницу, из деревни приходил, я его даже прозвал «Милый друг». Он и в Лахор за нами увязался, но к Люси поостыл, в Лахоре бабенок хоть пруд пруди. А в 1935-м в Кветте он пустил себе пулю в лоб после того, как его нашли в постели с соломенной вдовой своего командира. Застрелился он ночью, в два часа, а в три началось землетрясение, и от его дома только рожки да ножки остались, так что он зря старался, мог бы и подождать часок.

Мы приехали в Кветту через год после землетрясения. Всякий раз, когда мы переезжали с места на место, Люс говорила, что мы снова отправляемся скитаться. Ее прозвали «Крошечкой», вечно она так смешно сюсюкает: «Нас сегодня будет четверо, вместе со мной, Крошечкой» или: «Ой, какая прелесть, неужели это для меня, Крошечки?» Так мы и жили, Слоник и Крошечка. Может, и скучно, зато не без пользы. Хотя Люс ни за что не хотела примириться с мнением, что мы — буки. Она умела стенографировать, поэтому во всяком женском комитете или организации ей бывали рады. А Люси по ошибке думала, что просто она всем нравится, она прямо пузыри пускала от восторга из-за любого комплимента какой-нибудь высокопоставленной стервы: скажет, что запись собрания очень точная, или просто обратится к Люс по имени вместо «миссис Смолли». Мне так даже хотелось, чтоб во мне видели тупого, но надежного исполнителя-чиновника, таких обычно строевые офицеры презирают. Сколько я сил потратил, чтобы завоевать репутацию человека, способного исправить чьи-то промахи и навести порядок. Ездить с места на место мне даже нравилось. В тридцать восьмом мне дали майора. Можно было вернуться домой сразу, можно через год, но мы все тянули, а потом было уже поздно — началась война. В сороковом полк запросил меня обратно. Шиш им с маслом. Я уже научился обходить всякие предписания и запреты. Стал чаще переезжать. В сорок первом мы приехали сюда, в Панкот, в штаб гарнизона. Мне сразу же все здесь приглянулось: и природа и климат. Окопаюсь здесь, покуда война не кончится, решил я. Значит, нужно стать незаменимым в штабе, то есть представить свою работу сложнее, чем она есть, даже после того, как исправишь все промахи дуралеев-предшественников и дела пойдут как по маслу. Мне было сорок лет, а я все еще майор. Подполковничьего чина ждать года четыре, но чихать я на него хотел! Жилье у нас было неважнецкое. Разместили нас в гостинице «У Смита», две комнаты: гостиная да спальня, теперь в них живет Билли-бой и его каракатица-жена. Люс всю жизнь мечтала о собственном домике, но мне и «У Смита» жилось превосходно. Там мне удавалось жить предельно тихо, скромно, незаметно; неразличимо слиться с окружением. Единственная моя цель — прожить без забот и хлопот.

А старик Мейбрик о нашей гостинице даже не упоминает. Когда построена церковь, правильно указал; с установкой органа на год ошибся, если верить Билли-бою,— откуда Мейбрику точно знать, не он его устанавливал. Усердствовал старик сверх меры. А чрезмерное усердие, по-моему, самая страшная разрушительная сила».

* * *

День рождения Слоника приходился на 10 апреля, Люси — на 12 сентября. Они завели обычай приглашать на «легкие праздничные ужины» тех, у кого сами побывали в гостях. Ужин на день рождения Люси обычно доставлял немного хлопот. Она все делала заранее: рассылала приглашения тем, кого нельзя было не позвать, ставила в известность мистера Булабоя о количестве гостей, хотя всегда ошибалась: кто-то звонил в последнюю минуту и справлялся, нельзя ли захватить с собой пришедших к ним друзей; кто-то отказывался — срочно вызывают в Дели. Все это, конечно, очень докучало, так как повару приходилось заказывать за несколько дней, что́ и на сколько персон готовить, да и «расход» на каждого гостя уже оговорен с мистером Булабоем, и на попятный идти бывало не так-то просто.

А до чего трудно упомнить или выяснить, кто из гостей вегетарианец, кто пьет только фруктовые соки, а кто, по выражению Слоника, алкоголик высшей марки. Но, слава богу, сухого закона в провинции не вводили и можно было пить в открытую, а непочатые бутылки — возвращать в магазин Джалал-ад-дина. В Панкоте, в отличие от Ранпура, даже не устраивали еженедельного дня трезвости. Законы относительно потребления спиртного в разных штатах Индии были столь различны, что бедная Люси просто терялась, зато Слоник мог дать квалифицированную справку по этому вопросу: назовите любой большой город в Индии, и Слоник тут же скажет, где что можно а что — нельзя; где свободно продадут пиво, а крепкие напитки — лишь по специальному разрешению; где можно пить хоть на улице, а где — в строго отведенных местах; в каких штатах сухой закон, но в их столицах вино льется «как в воскресный день в пьяном Уэльсе» (по выражению Слоника); где вашу машину могут обыскать при въезде в штат, в котором царит сухой закон; где обладатель разрешения на покупку спиртного может выкупить сразу месячную норму, а где ему отпустят лишь бутылку в неделю.

Слоник пристрастился к изучению законов и порядков с тех пор, как в Бомбее сам попал в переплет с полицией. Люси не любила вспоминать об этом, ведь с этого началась полоса потрясений, связанных с мужем. Слоник в тот день начал пить спозаранку.

Последние десять лет им не по карману было покупать больше одной бутылки джина в неделю, бутылки бренди и дюжины пива в месяц. Спиртное в основном потребляли случайные гости: если у кого из индийцев останавливался европеец или американец, интересовавшийся, не осталось ли здесь англичан старой закалки, его непременно направляли к супругам Смолли — убедись, мол, сам.

После одного из таких посещений (миссис Десаи привела американку из Виргинии по имени Люси Хони) Люси предложила мужу:

— Давай напишем Куку в туристическую фирму, пусть нас включат в список местных достопримечательностей. После Тадж-Махала, горных храмов Дхаджурахао, после Элефанты[1], Фатихпур-Сикри[2], приморского храма в Махабалипураме, после памятника королеве Виктории в Калькутте должна следовать чета Смолли из Панкота. Мы бы озолотились: ты наденешь свой старый тропический шлем, я буду играть в маджонг[3], а Ибрагим станет продавать билеты у входа, сторожить обувь посетителей.

---

[1] Остров в Бомбейском заливе.

[2] Город-крепость, построенный в XVI веке.

[3] Старинная китайская игра.

Праздничные ужины Слоника устраивать было куда сложнее. Всякий год он заявлял, что никакого ужина не будет, потому что нечем платить, гостям придется уходить несолоно хлебавши, и пропади они все пропадом. Сквернословил Слоник еще с 1949 года, когда ушел в отставку. Тогда, вернувшись домой и швырнув фуражку на пол, он потряс жену до глубины души словами, которые она ни выговорить, ни написать бы не сумела, доселе они представлялись ей как череда немых точек. А ночью ее ждало новое потрясение: Слоник дважды воспользовался своим правом супруга.

Вообще-то в интимной жизни он с самого начала изрядно разочаровал Люси. Мать говаривала, что обычно мужчины ненасытны в ласках, а в жарком климате и подавно. Однако Люси во время недолгого медового месяца по пути в Индию на пароходе и на первых порах жизни в знойном климате убедилась, что Слоник довольствовался демонстрацией своей мужской силы лишь дважды в неделю: по средам и субботам. (Правда, в медовый месяц выпадали и внеочередные дневные «сеансы»). Очень уважительно вспомнила она тогда своего худосочного отца — трудно предположить, что у матери были мужчины кроме него. Мало-помалу ласки по средам прекратились, Люси ожидала, что та же участь постигнет и субботы, однако ее опасения не оправдались. Слоник, точно будильник с недельным заводом, регулярно отзванивал по субботам.

Он во всем любил порядок и точность, даже в интимной жизни. Субботними вечерами они обычно ходили в клуб, домой возвращались в полночь, Люси забиралась под белый полог от москитов над просторной двуспальной кроватью молодоженов и выключала со своей стороны свет. Через десять минут из ванной появлялся Слоник, забирался на свою половину постели, гасил свет со своего края, уделив минут десять чтению жизненно важной военной литературы. Еще через пять минут он начинал шарить вокруг себя, разыскивая супругу. Люси дышала ровно и глубоко, будто бы уже во сне. Нашупав наконец талию супруги, мужнина рука двигалась вниз. Люси лежала, затаив дыхание. Вот, пробормотав что-то, Слоник прилаживался сверху. От него всегда разило ромом, он смачивал им волосы, чтобы держалась прическа. Как старалась бедная Люси уловить в том запахе что-нибудь эротическое — ведь хоть чем-то нужно себя настроить! Однако запах рома помогал ей изо дня в день все меньше и меньше. Видимо, в первую брачную ночь Люси с излишней готовностью откликнулась на скудные мужнины ласки, вот он и решил: супруге большего не надо. А пахло ли от него в ту ночь ромом или нет, она уже и не помнила толком.

Со временем Слоник вообще оставил Люси без внимания и ласки, сосредоточившись, так сказать, только на технической стороне. Но и в этом он не преуспел. Получалось у него все очень быстро и вяло. Издав в завершение то ли вздох, то ли всхлип, Слоник как подрубленный падал навзничь, сворачивался клубочком и, отвернувшись, мгновенно засыпал.

А Люси лежала во мраке и тишине (правда, во мраке выделялся светлый полог, а тишина нарушалась храпом мужа), вспоминала Тула и внушала себе, что он сейчас рядом. И так повторялось много-много лет.

А сейчас и того нет. Кончился завод у будильника.

Скоро Слонику исполнится семьдесят один.

И Люси придется положить немало труда, чтобы знать наверное, будет ли Слоник устраивать «праздничный ужин». Обычно она начинала разведку недели за две, за три до дня рождения. И вот в понедельник, 20 марта, вернувшись с покупками, она изготовилась было для первого захода, но Слоник не дал ей и рта раскрыть, огорошив вопросом:

— Кто такая миссис Перрон?

— Понятия не имею. А в чем дело?

— Тебе от нее письмо, вот в чем,— и он протянул Люси авиаконверт.

## *Глава седьмая*

Распечатав конверт, она догадалась, что миссис Перрон не кто иная, как Сара Лейтон.

«Дорогая миссис Смолли!» — так начала она свое письмо. Что ж, строго и уважительно, одобрила Люси. Сама она, правда, всегда называла Сару Сарой, а Сюзанну Сюзанной, но ведь они много моложе ее и издавна обращались к ней надлежащим образом (как и она в свое время — к их матери: миссис Лейтон. Попробовала раз, обратилась по имени — Милдред,— и та ей за это выговорила).

«Дорогая миссис Смолли!

Как любезно с Вашей стороны, что вы откликнулись на кончину отца. Ему было бы небезынтересно узнать, что Вы так и остались жить в Панкоте. Умер он не от рака, до последней минуты был бодр и подвижен, смерть настигла его внезапно. А рак, как я подозреваю, свел в могилу маму.

Вы угадали: Тедди — сын Сюзан от первого мужа, Тедди Бингэма. Тедди-младший уже сам отец семейства, упомянутый в газете «Боски»— его трехлетний сынишка. Вы, очевидно, видели Тедди примерно в таком же возрасте. Он с семьей сейчас в Вашингтоне, но я написала Сюзан, что получила от Вас столь любезную весточку, где Вы так подробно сообщаете о Мине. Сюзан непременно перескажет все в следующем письме Тэдди. Она, вернувшись на родину, года через два вышла замуж в третий раз. Живут они с мужем в Шотландии. Он врач. У Сюзан и здоровье и настроение переменились к лучшему. По-моему, она счастлива. Тедди пошел по стопам отчима и тоже занялся медициной. Уверена, он вспомнит свою маленькую няню — Мину: у него великолепная память, и порой он меня просто поражает, когда подробно описывает свое раннее детство в Индии. Может, правда, ему помогают семейные фотографии. На одной и Вы с полковником Смолли в саду у резиденции коменданта, это 1947 год, наш прощальный банкет. Наверное, и у Вас есть такая же. Надеюсь, Вы отыщете там и меня, а высокий блондин в штатском слева — мой муж Гай. Он историк, возглавляет кафедру новейшей истории в одном из новых университетов. Сейчас у него творческий отпуск, и мы живем в родительском доме. Наш же дом находится в Фолминстере, мы его прошлой осенью сдали приезжему американскому профессору с семьей, а сами переехали сюда. Гаю тут удобнее работать над книгой, а мне было сподручнее за отцом ухаживать; после маминой смерти ему стало очень одиноко. Ланс и Джейн, как Вы догадались,— наши дети, уже совсем взрослые, учатся в университетах. Может, мы так и останемся жить здесь, если Гай получит место в Лондоне, похоже, судьба так и распорядится. Хотя заранее предрекать ничего не могу. Ученые, словно военные, всю жизнь кочуют с места на место, как мы в Индии.

Вы, очевидно, совсем не помните Гая, виделись Вы только на том банкете в комендантской резиденции. Мина, возможно, и вспомнит его: молодой английский офицер, появился в Мирате после смерти второго мужа Сюзан, полковника Меррика. Он ехал с нами на поезде в Ранпур, помните тот жуткий случай: поезд остановили бандиты. Многих поубивали. Гай должен был ехать в Дели и оттуда лететь в Англию, но решил завернуть в Ранпур проведать нас, так он и очутился на прощальном банкете. Ему случалось бывать в Панкоте и раньше, в 1945 году, правда недолго, и, конечно же, ему очень интересно, каков Панкот ныне.

Искренне надеюсь, что полковник Смолли уже поправляется. Меня очень огорчила его болезнь. Я по сей день храню сандаловую шкатулку, он подарил ее мне, когда я уходила из женской вспомогательной службы. (Вы с ним всегда были для меня просто Слоник и Люси, можно ли мне называть Вас так сейчас, через столько лет?)

Пишу Вам еще и потому, что дала Ваш адрес и номер телефона одному очень приятному молодому человеку, Дэвиду Тернеру, некогда он учился у Гая, а сейчас собирается в Индию (в апреле) читать лекции в университетах и собирать материал для диссертации. Маршрут его следования проходит и через Ранпур, поэтому мы посоветовали ему на денек-другой заглянуть в Панкот и подышать горным воздухом. Он вылетает в Дели 10 апреля. Лекции у него начинаются в сезон дождей, когда возобновятся занятия в университетах, но он хочет увидеть как можно больше и еще побывать в Бангладеш (туда сейчас вся молодежь стремится). Он уже бывал в Индии, в Калькутте у него друзья. Около месяца у него уйдет на то, чтобы акклиматизироваться и поездить по стране. Ему бы очень хотелось поговорить с англичанами, оставшимися в Индии, и знакомству с Вами он будет очень рад. Между прочим, он очень хороший фотограф-любитель, интересуется старыми английскими надгробиями и усыпальницами (у меня от них мурашки по спине бегут!), я сказала ему, что в Панкоте на кладбище он найдет семейные памятники Мьюиров и Лейтонов. Он обещал их сфотографировать (если, конечно, сможет опознать). Я не сомневаюсь, что он попытается связаться с Вами, очевидно, в конце апреля, но, учитывая, что нынешняя молодежь не любит церемониться. он, возможно, приедет без уведомления. Не беспокойтесь, ни малейших хлопот он Вам не доставит. Мы с Гаем его очень любим. Я сказала ему, что в Панкоте есть новая гостиница «Шираз», да и «У Смита» можно остановиться. Если хотите, чтобы он привез Вам что-нибудь из Англии, напишите, я достану и передам с ним. Письмо от Вас еще успеет дойти до его отъезда; правда, придется поспешить. Во всяком случае я перешлю с Дэвидом кое-что для Мины. Еще раз благодарю Вас за любезное и приятное письмо. Пишите и впредь, не забывайте нас. Желаю Вам обоим всего самого наилучшего. Сара».

* * *

Люси, сидя за письменным столом, видела за окном лишь затылок Слоника. С кресла он не вставал, значит, все в порядке. Слава богу, не будет приставать насчет письма. Странно, оно и обрадовало и взволновало ее. Перечитала — и снова то же смешанное чувство. Даже трудно определить, столько сразу задето душевных струн: радостно, что завелись новые знакомцы, точнее, объявились старые; завидно, что они живут столь свободно и легко; грустно, что былого Панкота уже не вернуть.

Люси положила письмо, сняла очки; сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Она сидела не двигаясь, стараясь дышать ровно и глубоко; а вдруг и у нее будет приступ, как у Слоника.

Ей вдруг подумалось, что в глубине души она не надеется, что Слоник поправится, есть ли основания верить доктору Митре, что приступ не повторится. Пожалуй, что и нет. Она просто отгоняла мысли о самом худшем, но в глубине души, конечно же, знала, что роковая минута близится. Через год, а то и раньше она может овдоветь.

Останется одна-одинешенька. Одна-одинешенька в Панкоте. Одна-одинешенька в чужой стране. И нет рядом близких друзей, кто бы помог, утешил, поддержал,— нет вообще таких, как она, даже белых людей и то нет.

Больше всего она боялась остаться неимущей, боялась настолько, что прятала мысль об этом глубоко-глубоко. Слоник, подобно

Церберу, не подпускал ее к своим денежным делам и вершил их единовластно, меж тем Люси уже давно не полагалась на мужа.

Пожалуй, мне нужно пойти к нему и сказать, а там будь, что будет: «Слоник, а что со мной станется, если я тебя переживу?»

Тут она услышала, как Слоник крякнул, значит, нашел еще к чему придраться в книжке бедного Мейбрика — милый небольшой очерк истории Панкота. Появись Люси перед мужем сейчас, он и рта ей раскрыть не даст, начнет ругать Майбрика за очередную неточность. Или даже не заметит, что жена подошла (скорее, притворится, что не замечает), и самый важный для нее вопрос в лучшем случае останется без ответа, в худшем — Слоник грубо бросит что-нибудь вроде: «Какого черта ты об этом нудишь?!»

— Мы с мужем давно разучились понимать друг друга,— пожаловалась она пустой гостиной.— Он молчит, сам по себе; я тараторю, и тоже сама по себе, один другого стоит. Я не чувствую, о чем думает он, он не слышит, что говорю я. И ничто-то нас не связывает. У каждого своя жизнь, у нас лишь крыша над головой общая. Может, и смолоду так жили, да только в старости все заметнее проявилось.

Возможно, вернись они на родину в 1960 году, после того как Слоник ушел из торговой фирмы, жизнь сложилась бы иначе. Но Люси по глупости своей да малодушию не настояла, а надо бы. Хотя в 1950 году, в те недолгие недели, пока они гостили на родине, Англия не показалась им особо приветливой, к 1960 году жизнь там несомненно улучшилась. Зато непомерно выросли цены, и старикам пенсионерам, проработавшим в Индии много лет, жизнь на родине была явно не по карману, убеждал ее Слоник.

Но это скорее было поводом, нежели причиной. Мало-помалу Люси стала понимать, что Слоник никогда и не собирался возвращаться в Англию. Он словно бы затаил неприязнь и к своей родине, и к соотечественникам, хотя если уж кому обижаться и роптать, так это Люси: много натерпелась она от мерзких офицерских жен, те не упускали случая унизить, подчеркнуть разницу (хоть и самую незначительную) в их положении, дескать, ты ниже меня, и слова возразить не имеешь права, да, именно не имеешь права; более того, Люси обязана была сносить все унижения, и даже не ради Слоника, а просто признавая как лестницу служебную, так и общественную. Без таких последовательных ступенек (обязанностей и прав) немыслимо общество вообще, даже индийцы это усвоили, а у англичан, на плечах которых покоилось бремя забот Индии, это вошло в плоть и кровь. Без англичан Индия едва не распалась. Не успели провозгласить независимость, как начались междоусобные распри, индийцы стали убивать друг друга, и Индия рассыпалась бы на мелкие княжества, не окажись у Маунтбеттена[1] поддержки в лице таких, как Неру — аристократа, выпускника Харроу, безукоризненного джентльмена. Да и армия поддержала его, почти все офицеры прошли выучку в Сандхерсте, и, конечно же, на них можно положиться. Все, что ныне есть в Индии культурного и благородного (вплоть до мелочей), несет отпечаток английского влияния. У полковника Менектары безукоризненное английское воспитание, равно как и у его жены. Хотя в стервозности она мало в чем уступает Милдред Лейтон. Люси утешалась, полагая, что и в этом — преемственность благородных английских традиций. Поскольку Люси и сама жена полковника (хотя и в отставке), и по праву могла на колкость ответить колкостью, то они с Куку Менектара понимали друг друга с полуслова.

Новая индийская армия оказалась достойна армии былой. В клубе офицеры непременно встанут, чтобы поздороваться, если дама замедлит шаг. С такой армией и с таким премьер-министром, как

[1] Маунтбеттен Луис (1900 — 1979) — британский адмирал, первый генерал-губернатор Индии.

дочь Неру, стране не угрожает военный путч и диктатура генералов, что, к сожалению, случилось в Пакистане.

А разве можно вообразить, в каком бедственном положении находились крестьяне: невежественные, отчаявшиеся, но трудолюбивые, себе на уме и долготерпеливые. Такими их застали англичане — такими индийские крестьяне были, очевидно, со времен незапамятных. Ломать их уклад, традиции было бы неразумно, но англичане предоставили им все новейшие достижения техники. Индийцы более высоких сословий оказались весьма восприимчивы и с пользой для своей страны стали применять все новшества.

Люси частенько негодовала, вспоминая, как из-за недостаточно честолюбивого Слоника она сама так поздно добилась положения, к которому стремилась, о котором мечтала, то есть стала госпожой полковницей. Но не успел Слоник получить звание, как колониальная иерархическая лестница рухнула, а на новой среди индийского офицерства Слонику была уготована лишь временная и не ахти какая важная ступенька. Да и ее пришлось вскоре оставить: Слоник стал служащим фирмы, «шишкой на ровном месте», и Люси удовольствовалась кругом чиновничьих жен. Эта среда с каждым днем пугала ее все больше и больше, она столкнулась с людьми нового «среднего сословия», пронырами и ловкачами, продажными бюрократами, всеми правдами и неправдами рвущимися к наживе. О благополучии народа они не заботились, властью пользовались в корыстных целях. Стране же это шло только во вред, во всяком случае польза от такой деятельности была лишь дельцам-махинаторам. Так внутри новой иерархии образовалась еще одна, нижние ступеньки занимали миссис Булабой и ей подобные, а верхние — люди вроде Десаи, те, кто попали «из грязи да в князи», сказочно разбогатели, прочат свою дочь в жены министерскому сынку, а сам министр сколотил состояние, подторговывая своим служебным положением. Во всяком случае, так объяснял Слоник. Впрочем, многому ли из того, что говорит он, можно верить? «Ничему» — тут же прилетел ответ, точно невидимый крылатый гонец, годами дожидавшийся удобного случая, шепнув на ухо Люси, разрешил ее сомнения. Ничему. Нельзя верить ничему, что говорит или делает Слоник, потому что как в словах, так и в помыслах, и в делах он непоследователен. Несмотря на прямолинейность и задиристость, он утратил искренность. И потому верить ему больше нельзя. Нельзя с того дня, когда англичане покинули Индию, а они двое остались будто бы на время. И вот с тех пор Слоник стал меняться.

Люси снова надела очки и сказала вслух: «Сегодня думать об этом не буду, отложу на завтра». Но отвлечься и перенестись мысленно в другие места и эпохи сегодня не удавалось. Горы Панкота — не холм Тара[1], и в «Сторожке» обитают, увы, не короли.

Люси никак не могла сосредоточиться: то она думала о письме Сары (уже пора отвечать), то о переменах в характере Слоника, которые так ей докучали.

Свой ответ она начнет с «Дорогой Сары!».

В это время Слоник громко крякнул, в очередной раз изобличая ныне покойного автора «Краткой истории Панкота».

Свой ответ она начнет с «Дорогой Сары!» Далее: «Большое Вам спасибо за письмо». (О сандаловой шкатулке упоминать не стоит, хотя я слышу о ней впервые, и Слоник никогда не говорил, что дарил ее Вам, да и Вы в свое время мне ее не показывали.) «Очень приятно было получить от Вас весточку. Спешу коротко ответить: мы живы-здоровы и будем рады познакомиться с вашим молодым другом Дэвидом Тернером у нас в Панкоте». (Пока Слонику ничего не скажу, а то он начнет ворчать и поносить молодых англичан, которые неиз-

[1] Деревня и холм в Ирландии, где до 560 г. н. э. находилась королевская резиденция.

вестно за чей счет — скорее всего, за счет несчастных налогоплательщиков, скажет Слоник,— и неизвестно зачем заявляются в Индию. Смешно сказать, но тот же Слоник готов часами болтать с чумазым английским мальчишкой-хиппи, который попрошайничает и позорит всех нас.) Завтра-послезавтра напишу Вам подробнее. (По-моему, Слоник просто потерял чувство меры, и его симпатия к обездоленным соотечественникам — одно притворство.) Мне бы, конечно, ни в коей мере не хотелось обременять Вас просьбой и доставлять даже малейшие хлопоты. (Впрочем, почему бы и не доставить Крошечке маленькую радость? Я и прошу-то о пустяке, так как люди вроде миссис Десаи постоянно забывают о моих скромных заказах, хотя она без конца ездит то в Дели, то в Цюрих, то в Лондон, то в Нью-Йорк и привозит целые горы всякого добра как из беспошлинных магазинов, так и контрабандой — в таможне ей пришлось бы платить умопомрачительный налог. Впрочем, ей и это по карману). Но если мистер Тернер не постыдится взять с собой и если Вам не придется ехать бог знает куда (помнится, миссис Блакшо пеняла мне на это), буду весьма признательна, если Вы пришлете мне две дюжины пакетиков с сухими духами от Мартина и оттеночный шампунь № 3 (голубой) — для моих жалких седин. Это единственное подобающее средство, но здесь его недостать. А сухие духи в пакетиках, что любезно послала мне в прошлом году миссис Блакшо, увы, кончаются. (Поначалу их не пропустили в таможне, и мне пришлось платить за них втридорога. Да еще и Слоник устроил из-за этого настоящий скандал. Правда, перестань я следить за собой и за волосами — единственным, чем я горжусь,— он тоже устроил бы скандал.)

Слоник еще раз громко крякнул и позвал жену.

— Иду, дорогой!

— Поживей, Люс!

— Да иду же, иду.— И она поспешила на веранду.

— Кого последним похоронили на церковном кладбище? — спросил он.

Люси задумалась.

— Мистера Мейбрика,— вспомнила она.

— Вот именно! А он и тут наврал. Пишет, что последняя — Мейбл Лейтон.

Люси онемело воззрилась на мужа.

— Но позволь, дорогой, его же похоронили уже после того, как он написал книгу.

Слоник в свою очередь воззрился на жену.

— Что я, по-твоему, идиот и не понимаю этого?

Хотя утро выдалось теплое, руки у Люси покрылись гусиной кожей — такая ее разобрала досада. Ей захотелось хлопнуть Слоника по голове «Краткой историей Панкота»: зачем только она откопала на пыльной полке в библиотеке эту злополучную книгу и принесла домой!

— Так что ж тебя, дорогой, так волнует?

— Меня ничего не волнует. Это Мейбрика должно волновать. Извиняюсь, должно было волновать в свое время. Он пишет: «Погребение Мейбл Лейтон в 1943 году было последним на старом церковном кладбище; завершена еще одна глава в истории Панкота: как явствует из имен, начертанных на памятниках и надгробиях, глава об англичанах и англичанках, скончавшихся вдали от родины».

— Он ошибается,— сказала Люси.

— Вот и я о том же!

— Ты меня не понял. Ошибка его в том, что Мейбл умерла в сорок четвертом и навряд ли ее погребли годом раньше.

— У Мейбрика в книге все умирают, когда ему вздумается, или живут вечно. Сам-то он покоится на том же кладбище, а по книге выходит, что его там нет.

— И ее не должно было быть там.

— Кого и где не должно было быть?

— Мейбл Лейтон просила, чтобы ее похоронили в Ранпуре на кладбище при церкви святого Луки, рядом с ее вторым мужем, Джеймсом Лейтоном, отцом Джона Лейтона, но дочке Милдред лишь бы поскорее от нее отделаться: закопала где попало, и ладно.

— О чем ты?! Какое это имеет отношение к этой старой калоше Мейбрику?!

— Самое прямое, дорогой,— спокойно ответила Люси,— потому что именно старая калоша Мейбрик проводил мисс Батчелор до покойницкой, но сам не вошел — дескать, тяжело, сам жену похоронил,— и мисс Батчелор пошла одна; ей все не верилось, что Мейбл и в самом деле умерла. Видать, даже умом тронулась, уж как только не уговаривала она не хоронить Мейбл на церковном кладбище. Жива она, говорит, и все тут. Просила у нее прощения, что одну ее в покойницкой оставляет, надо, мол, мистеру Мейбрику помочь, чтоб он мог своего Генделя играть.

— Кого-кого?

— Ну, орган ему починить. Чтоб играть мог. Ну, не Генделя, так Баха.

— Ой, Люс, уморишь ты меня,— от смеха Слоник даже прослезился.

— Слава богу, что хоть доставляю тебе веселые минуты. Значит, не все еще ушло, значит, что-то еще могу. Например, вызвать у тебя такой вот отклик на свои слова, правда ты только потешаться надо мной и горазд. Да неужто мне под силу растормошить твою память, которую ты намеренно усыпил. Ты же нарочно искажаешь действительность, вводишь людей в заблуждение.

— Куда-куда ввожу?

— В заблуждение. Расхожее сейчас выражение в политических кругах. Как хотят поругать власти, говорят, что они вводят общественность в заблуждение. Так вот сегодня утром я поняла, что это про тебя. Ты любишь вводить в заблуждение. Ты меня поражаешь. Ставишь в тупик. Разговаривая с тобой, я теряюсь, забываю, что я и кто я.— Она сцепила руки у подбородка, словно умоляя не перебивать.— Я не понимаю, почему ты так поступаешь. Может, тебе непонятна стала жизнь и ты даже не допускаешь, что кто-то в ней разобрался. Твой знак — Овен, кстати, скоро у тебя день рождения, надо бы и об этом поговорить. Так вот, людям, рожденным под этим знаком, непременно нужно быть в курсе всего, что происходит, они себялюбивы, обычно помыкают людьми, используют их в корыстных целях, даже когда, казалось бы, теряют контроль над происходящим. А порой и козыряют этим, чтобы вызвать к себе сочувствие. Так и ты: вроде бы видишь ошибку малую и пропускаешь главную. Ведь Мейбл Лейтон умерла шестого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года — в тот день наши войска высадились в Нормандии. Умерла Мейбл на веранде Розового Дома, и при ней находилась лишь Сюзан, а мисс Батчелор в это время чаевничала с мистером Мейбриком. Так вот, у Сюзан от нервного потрясения начались преждевременные роды, и она тоже тронулась рассудком, чуть не сожгла младенца, хорошо Мина подоспела и спасла. Об этом, правда, всегда предпочитали умалчивать, но шила в мешке не утаишь, ведь индийская прислуга ужасно болтлива. А Милдред так и не простила бедняжку мисс Батчелор, что той в тот день не оказалось дома, и выставила ее, хотя и знала, что той деваться некуда. Просто самой не терпелось в Розовом Доме поселиться с Сарой и Сюзан. И пожалуйста, не говори, что ты этого не помнишь, и как Сюзан нам нагрубила в церкви — ты еще сказал тогда: «Ну, теперь видно, что у нее не все дома, так и не оправилась, бедолага». Но ведь ты всегда для таких людей находил оправдания и притворялся, будто не замечаешь, что приходилось тер-

петь мне; а я терпела, потому что считала себя обязанной. Уехали они в Англию, и жизнь переменилась. Ты, Слоник, смог тогда критиковать все и вся. Вспомни хотя бы Розовый Дом. Ты же знаешь, как мне мечталось жить в нем. И вот наконец мы въехали туда — это уж после того, как и Лейтоны, и все остальные покинули Индию, и ты сразу же начал насмехаться и злословить: дескать, у Милдред Лейтон совсем нет вкуса, раз она на месте розария устроила теннисный корт. Ты насмехался над Лейтонами даже при индийцах и не замечал, как их коробили твои насмешки, как неловко мне было, да и сейчас тоже: ты принижаешь все минувшее, будь то люди или события, и они для тебя больше не существуют. В Бомбее ты злословил в адрес индийских офицеров, с кем недавно работал, кто возглавил армию после англичан. И опять при индийцах-чиновниках. Плохая это черта, Слоник. Конечно, себя уже не переделаешь, у тебя в характере — нападать, клеветать, а теперь еще и вводить в заблуждение. У меня же, после стольких лет жизни с тобой, не осталось сил бороться. Я лишь могу сожалеть, что ты такой. Ведь из-за твоего характера я, по сути дела, осталась без друзей, все наши знакомцы — это друзья твои, Слоник, но никак не мои, и, позволю себе заметить, среди них нет белых людей. В последнее время я много думала — постарайся меня понять: если бы ты не оправился после болезни, я бы осталась здесь одна-одинешенька, не к кому обратиться за добрым словом, за помощью. И я здесь всем чужая, по правде говоря. И мне здесь все чужие.

Молчание.

Потом Слоник изрек:

— Тебе, Люс, наверное, моча в голову ударила.

— Да, кстати, о твоей манере выражаться. Я заметила, что при Куку Менектара или миссис Шринивасан ты таких слов не употребляешь, даже с их мужьями ты более вежлив. Все самые поганые слова будто нарочно приберегаешь для меня, доктора Митры, Ибрагима да твоего милого дружка мистера Булабоя. А мне, как ты выражаешься, моча в голову еще не ударила, но вот-вот ударит; ты спрашиваешь меня, кого последним похоронили на церковном кладбище, хотя сам отлично знаешь, что Эдгар Мейбрик вправе был назвать Мейбл Лейтон. Не себя же — это было бы очень уж мрачной шуткой. Хотя, конечно, самый последний на кладбище он, и после него там никого больше не похоронят, потому что места нет.

— Есть еще немного. В уголке, к юго-западу. Как раз хватит на двоих, если поглубже могилу вырыть.

Люси скрестила руки на иссохшей от долгого мужниного равнодушия груди. Вдруг заскрежетала косилка и следом (не прислышалось ли ей?) — яростный вопль миссис Булабой. Люси сразу же увидела в этом знамение: это Костлявая с Косой напоминает о себе.

— Слоник, если я умру раньше, мне все равно, куда ты денешь мое тело. Хоть продавай на мыло, мне все равно. Но если умрешь раньше ты, то уж предоставь мне позаботиться о дальнейшем. Склею плот из бумажек, в которых ты всю жизнь хоронился, и пущу тебя вниз по Гангу, но не к Бенгальскому заливу — не надейся,— чтоб в открытом океане ты стал капелькой Вечности, а к Калькутте, по мелкому грязному притоку, который так заилен, что и суда не ходят, а муниципалитет Калькутты ломает голову, как бы эту речушку расчистить. Ну, так ты решил, что заказывать к «легкому праздничному ужину» на день рождения?

— Решил,— бросил Слоник. Глаза у него помутнели, на коже ярче проступили бурые пятна. Неужто надвигается очередной приступ?

— Тогда скажи, что нужно сделать.

— Все очень просто. Послать к чертовой матери праздничный ужин.

— Так и передать твоим друзьям? Так и написать вместо приглашения, например, полковнику Менектаре с супругой?

— Что написать, я продиктую, если ты еще не разучилась стенографировать.

— Таким словам меня не обучали,— Люси повела головой и стала теребить бусы.— А учили меня изящному слогу да красивому письму, так, как теперь уже не учат, думаю, что и перед тобой не осрамлюсь, все запишу, что продиктуешь. Но как горько мне, что и ты, прожив со мной всю жизнь, попрекаешь меня тем, что когда-то я вынуждена была приобрести эту профессию. Я гордилась и горжусь, что умею стенографировать. Правда, в Индии это как клеймо: ага, значит, в былые времена этим на хлеб зарабатывала. А скажи, и это на пользу обернулось! Ведь только неимущая простушка могла выйти замуж за человека, лишенного честолюбия. Иначе наш брак себя бы не оправдывал в глазах людей. Пока ты сидел, зарывшись в бумагах, я терпела унижения, пресмыкалась перед женами тех, кто строил себе карьеру, пользуясь плодами твоей работы, теми бумажками, сотнями, тысячами бумажек, которые ты писал и которыми погнушался бы заниматься любой мужчина, если ему не безразлична жена и собственный душевный и телесный покой. Задумайся ты хоть на минуту — те, кто присваивает себе твой труд, благоденствуют со своими женами, а твоя собственная жена терпит лишения. И пресмыкаться, Слоник, я научилась у тебя. Ты сам всю жизнь пресмыкался — такая роль тебе, видно, по душе. И играл бы уж ее до конца, так нет, ушел в отставку и начал строить из себя бог знает кого. Людям этого не понять: взрослый человек вдруг почему-то резко меняется. А ко всему, что непонятно, люди относятся с опасением и не очень-то привечают. И совсем непросто вновь завоевать расположение тех, у кого ты оставил столь неприятное впечатление. Больше я об этом говорить никогда не стану, слова не пророню. По-моему, я обо всем очень определенно сказала и буду тебе благодарна, если все же ты прояснишь мое положение: что станется со мной, случись у тебя еще один приступ, от которого ты не оправишься. Вместо того чтобы оставлять глупые пометки в безобидной книжонке мистера Мейбрика, оставил бы лучше завещание, где черным по белому написано, какими средствами буду я располагать, окажись я, подобно Руфи, «в слезах одна и меж чужих хлебов»[1].

Слоник сидел, разинув рот. Сердце у Люси зашлось в волнующем упоении: впервые она ошеломила мужа настолько, что он молчал! Много лет назад ей представлялось нечто подобное: в темном театре молчат завороженные ее игрой зрители. Но вот скроется она за кулисами, и благодарный зал разразится аплодисментами. Увы, аплодисменты прозвучали лишь в ее воображении. Тогда, в Равалпинди, еще до войны, они поставили «Ветер и дождь», но вожделенную роль перехватила эта маленькая паскуда Далси Томпсон. Впрочем, и заранее было ясно, что роль дадут ей, а Люси достанется место в суфлерской будке — ее назначили помощником режиссера, этого осла капитана Старлинга, даже не стали пробовать на роль. Все главные роли безоговорочно отдавали Далси. Она обожала перемежать текст паузами, и не дай бог в такую минуту вмешаться суфлерше. Однако случись ей забыть роль, суфлерша должна быть начеку, иначе бедняге несдобровать. Но попробуй разгадай, где у Далси пауза, а где провал памяти, у нее попеременно то одно, то другое. Правда, забыв роль, Далси тут же начинала теребить носовой платок или рыться в сумочке, так она пристрастилась к «игре с предметом» (игре никем не репетированной и не предусмотренной). Это страшно мешало другим актерам сосредоточиться. Порой она перекладывала или переставляла предметы реквизита, чем приводила осталь-

[1] Из «Оды к соловью» Джона Китса (1795—1821).

ных в замешательство: те не могли найти на месте нужную по ходу действия вещь, лишались опоры.

И мне сейчас опора пришлась бы кстати, подумала Люси, заполнить паузу, не дать Слонику опомниться, но уцепиться не за что. Пришлось импровизировать:

— Конечно, Слоник, ты забыл, как к четвертому представлению «Ветра и дождя» Далси Томпсон заболела, а в тот вечер ждали самого командующего, и мы были в отчаянии. Майор Гримшо тогда позвонил тебе и сказал, раз я помощник режиссера и суфлер, то знаю роль назубок и почему бы мне не сыграть в тот вечер? Ты же ответил, что я не хочу.

Слоник закрыл рот, но по-прежнему молчал.

— Если ты вообще помнишь этот случай, то ты, конечно, сошлешься на мои же слова: «Слоник, дорогой, спасибо, что выручил». Так вот, мне и впрямь было страшно. Но страшно не оттого, что могу испортить весь спектакль, а оттого, что своей игрой я бы утерла нос Далси Томпсон, и ее муж, полковник Томпсон, отыгрался бы на тебе. А ведь ты еще до свадьбы знал, что я увлечена театром, выслушивал меня и понимающе кивал, когда я рассказывала тебе, что мечтаю сыграть в любительском спектакле. Так что ты соврал майору Гримшо. А мне-то, дурочке, было даже лестно поначалу: думала, ты боишься, что Далси Томпсон за пояс заткну. На деле же, увы, это еще один пример того, как ты постоянно лишаешь, да, именно лишаешь меня полноценной жизни, дабы проще было оправдать и поддержать свою, ущербную. И пожалуйста, не оправдывайся: дескать, в последнюю минуту Далси Томпсон все-таки появилась. Да ей и незачем было на сцену выходить, с холодным сердцем изображать всякие страсти — она и без того очаровала командующего, и через два месяца ее мужа произвели в бригадные генералы и услали за границу, а она тем временем услаждала своего высокопоставленного поклонника в Утакумунде.

— В Найни-Тале,— поправил Слоник.

— Не все ли равно!

— Нет, не все равно. Потому что это было точно в Найни-Тале. И заезжий генерал был вовсе не наш командующий, а старик Трамперс. А в Утакумунде Далси развлекалась с молодым Бобби Бимишем. Томпсон с ней развелся, она вышла замуж за маркиза, и последний раз ее видели в Каире на банкете в честь Голды Меир, который давал Генри Киссинджер.

— Слоник, не смеши меня. Ты все это сию минуту выдумал. Далси Томпсон в прошлом году умерла.

— Люс, голубушка, такие, как Далси Томпсон, бессмертны.

— Значит, ты ее и по сей день помнишь.

— Еще бы не помнить: самые большие сиськи в Равалпинди. Вот и поговори с ним после этого.

— Пойду погуляю,— бросила она.

— Ты уже гуляла сегодня.

— Еще погуляю. Тебе что-нибудь купить на базаре?

— Того, что мне надо, ты не купишь.

А что он имел в виду, лучше было не выяснять.

## *Глава восьмая*

Перед уходом она открыла нижний ящик комода в спальне и принялась рыться в старых фотографиях.

Мысленно она уже беседовала с будущим, пока незнакомым гостем; как знать, вдруг молодому человеку интересно ее послушать: «Конечно, мистер Тернер, все фотографии следовало бы собрать в альбом. Однажды я попыталась было, но муж, застав меня за этим

занятием, сказал, что наклеивать фотографии прошлых лет в альбом все равно что заниматься онанизмом. Я не поняла этого слова, пришлось заглянуть в словарь. Вы, надеюсь, понимаете, что у меня поубавилось охоты заводить альбом. Вот как раз фотография, о которой говорила Сара. Прощальный банкет Лейтонов в резиденции коменданта».

Она положила снимок на письменный стол рядом с очками.

— Позвольте, мем-сахиб?

Люси даже вздрогнула:

— В чем дело, Ибрагим?

— Сегодня понедельник, мем-сахиб.

— Да, помню. Вчера ведь было воскресенье.

— Мне заказать билеты в кино?

— Нет, пока не нужно. Я сейчас занята.

— Булабой-сахиб сегодня придет?

— Понятия не имею.

— Мем-сахиб желает заказать обед на дом или пойдет в ресторан?

— Тоже пока не знаю. Прошу тебя, повремени с вопросами. Я не знаю еще, чем буду занята до обеда и после. Может, пойду гулять и вернусь вечером, может, вернусь раньше, и, кто знает, может, мне из дому больше не захочется выходить. Ради чего смотреть скучный фильм? Ради того, чтобы не мозолить глаза сахибу и мистеру Булабою? Чтобы дать им посидеть за бутылкой и посплетничать, как двум старухам?

Снова застрекотала косилка.

— Будь любезен, попроси мали прекратить этот адский шум! Между прочим, и у других людей кроме миссис Булабой есть нервы. Я же не просила его работать каждый день. По-моему, он нарочно выискивает работу, чтоб меня вконец разорить.

— Мем-сахиб недовольна Джозефом?

— Я сейчас всем и вся недовольна. Скажи ему: хватит! Если он и дальше так будет работать, мне придется вести учет каждого часа, нет, лучше этим займешься ты, будешь записывать затраченное время и выполненную работу. А я уж сама решу, какая работа полезна, а какая — сущая эксплуатация.

— А кого эксплуатируют, мем-сахиб?

— Меня, кого же еще! — выкрикнула Люси. Оба как по команде взглянули на окно.— Конечно же, меня,— продолжала Люси уже спокойнее.— Но меня не так-то просто обвести вокруг пальца. Я не позволю себя эксплуатировать. Сейчас же прикажи ему прекратить работу!

Ибрагим вышел.

А Люси надела очки и принялась рассматривать фотографию. Улыбнулась.

— Ах, мистер Тернер, какой вы любезный: надо же, признали меня на фотографии. Я уж и сама-то себя не найду. Как-никак четверть века прошло. Ну, если узнали меня, конечно, догадаетесь, кто эта дама. Да, верно, это Сара. А это — Слоник. Сейчас он далеко не такой. Не та фигура — похудел, не та шевелюра — облысел, да все уже не то. Сегодня, я бы сказала, вы видите лишь жалкое его подобие... Да, это, очевидно, муж Сары, мистер Перрон. Или мне следует называть его профессор Перрон?

Косилка перестала стрекотать.

Вглядываясь в мистера Перрона, Люси сначала смутно, потом все отчетливее припоминала его.

— Да, мистер Тернер, разве мне забыть его! Он провожал меня в тот вечер домой, а потом две ночи подряд мне чудилось, что он у нас в спальне. В нашей со Слоником спальне, поймите меня правильно. Муж засыпал, я давала знак, и из ночи появлялся ОН. У

него очень ладная фигура, может, чуть долговяз, зато пшеничные волосы, серо-голубые глаза. Посмотрите, как он улыбается. Правда, ему недостает затаенной, но пылкой страстности, присущей Тулу. А когда он начинает говорить, сходство с Тулом и вовсе пропадает: у Тула речь грубая, неразборчивая. Помнится, мистер Перрон меня потом разочаровал, а ведь какой чудный у него затылок, точь-в-точь как у Тула. Я тогда еще сказала тете Фенни (это та полная женщина, что сидит, обняв Тедди,— тетка Сары): «Кто этот молодой человек?» А она — мне: «Это мистер Перрон, он ехал с нами в поезде, когда напали индусы, остановили поезд и высадили всех мусульман. А сегодня мистер Перрон пришел попрощаться с нами, мы ведь улетаем на родину. Пойдемте, говорит, я вас познакомлю». Самой Сюзан на фотографии нет, она, мистер Тернер, тогда была в санатории: никак не могла оправиться после смерти второго мужа. Признаюсь вам, как только я увидела мистера Перрона, сразу подумала: «Никак у Сюзан третий брак намечается». Как же у нее все быстро и просто. Нехорошо, может, с моей стороны ворошить школьные сплетни, уж все быльем поросло, и я рада, что Сара счастлива, но в те годы Сюзан на весь Панкот славилась тем, что отбивала молодых людей у своей старшей сестры. Тогда она была хорошенькой резвушкой. правда, из резвушки выросла сущая истеричка. Сара-то в молодости была не очень привлекательной, чего уж греха таить. Зато, что касается семейного жизнеустройства, в этом она молодчина. Вы ведь знаете, мать у нее любила выпить. Не то чтобы очень злоупотребляла, но обычно первой за столом поднимала бокал и последней с ним расставалась. Ее в какой-то степени можно понять: женщина в самой лучшей поре — и столько лет без мужа. Вы, очевидно, знаете, что он в войну попал к немцам в плен. И это еще нужно учитывать. Впрочем, даже выпив, она ни разу не оконфузилась. А работала без устали, помогая солдатским семьям. Сама она из рода Мьюиров, отец ее командовал Раппурским гарнизоном в двадцатые годы. Лейтоны и Мьюиры в ту пору, что называется, «делали погоду» в Панкоте. Я покажу вам могилы их предков. Так, значит, мистеру Перрону приглянулась Сара. Ну что ж, очень рада за нее. Ведь она росла такой взбалмошной, не принимала ничего всерьез. И на Индию-то ей наплевать, да и на нас всех тоже. Из-за ее нрава и молодые люди за ней не особо ухаживали. Одно время мы даже подумывали, а здорова ли она. Она порой будто насмехалась над нами; вот, пожалуй, почему она сдружилась со Слоником, когда работала при нем в штабе округа; послушать его сейчас, так он тоже над всеми насмехался, о прошлой жизни доброго слова не скажет. И мне иногда кажется, мистер Тернер, что я всю жизнь прожила во лжи, в каком-то лицедействе. Как знать, мистер Тернер, вдруг на поверку вы окажетесь уверенным в себе, увлеченным работой молодым веселым человеком, истинным англичанином. И вдруг, уехав домой, вы будете смеяться над нами до упаду — придет мне такое в голову, и я просто не смогу выносить вашего присутствия. Хотя сейчас я так жду вас: вы вернете мне ощущение того, что я — белая женщина, в этом доме год за годом, день за днем, час за часом я все больше и больше теряла это ощущение. Не говорю уже о том, что раньше положение белой женщины служило надежной защитой, теперь же — нет.

Вам, наверное, трудно понять, о чем я толкую. Пойдемте-ка лучше, я провожу вас на кладбище, вы там сфотографируете интересные памятники, а потом я отведу вас к Розовому Дому или, попросту говоря, к дому номер двенадцать по Верхней Клубной улице. Попросим у миссис Менектара разрешение сфотографировать памятный нам всем дом в теперешнем виде. Снаружи-то он мало изменился, зато внутри все по-другому, просто не узнать. Повсюду дымятся ароматные палочки, кругом статуэтки и резные украшения, им цены нет — можно подумать, что полковник с женой ограбили индусский

храм. Вы словно в музее, присесть, отдохнуть и то негде, разве что на веранде или в столовой. Порой мне доводится обедать с ними. Смотришь, кто-то из гостей ест без ножа и вилки, прямо руками. Я знаю, таков стародавний обычай, но многие поступают так, лишь подражая теперешней моде среди молодых. Мне, конечно, все это просто мерзко: к чему тогда вообще дорогие и красивые столовые приборы. И кругом такая разностилица: кресла и столы богатые, старой доброй фирмы, а картины на стенах — самые что ни на есть современные, да еще с подсветкой, это в солнечный-то день!

На стол упала тень.

— Что тебе еще, Ибрагим?

— Мали прекратил работать.

— Знаешь, я еще не глухая. Если тебе нечем заняться, так вот: вместо того чтобы порхать вокруг меня, сходи договорись насчет коляски.

— Мем-сахиб собирается в клуб?

— А почему бы мем-сахиб и впрямь не поехать в клуб?

— И мем-сахиб будет обедать?

— Не исключено. Только иди, бога ради, Ибрагим, и без коляски не возвращайся. Ты сегодня что-то сам не свой.

Ибрагим заложил руки за спину.

— Вчера солнышко светило, все хорошо. Сегодня пасмурно, плохо. Мем-сахиб занята, фотографии в столе разбирает. У сахиба плохое настроение. Друг с другом они, видно, не ладят. Сегодня с утра во всем доме разлад. Повар говорит, у мистера и миссис Булабой тоже. Бедный Ибрагим совсем с ног сбился. Все ругаются. Мали говорит: трава растет, а ему запрещают косить, на глаза не велят попадаться.

— Возможно, Ибрагим, ты и прав. Только что ты от меня-то хочешь?

— Сегодня очень смешной фильм,— помолчав, сказал Ибрагим.— Второй раз уже показывают. «Как убить жену» с Джеком Леммоном. В прошлый раз мем-сахиб понравилось. Народ валом валит. Особенно фильм офицерам по душе. Господин директор говорит, сегодня все билеты будут проданы. Может, мне взять извозчика и съездить взять для мем-сахиб билет?

— Возьми-ка лучше два. Один для нашего сахиба, другой — для мистера Булабоя. «Как убить жену»— это по их части. Ибрагим, да ты никак пьян?

— Неужели мем-сахиб не помнит, что Ибрагиму спиртное запрещено?

— Быстро за коляской, Ибрагим!

Как стыдно: уже столько времени ни она, ни Слоник не были в церкви, хотя и по разным причинам. Слоник вообще не верил в бога. А в Люси еще теплился огонек веры, зароненный в детстве, и по большим христианским праздникам, приходя в церковь, душа ее умирялась, хотя поначалу ей думалось, что все осуждающе смотрят на ее белое лицо.

Будто она выделялась среди всех. Не хотела, не искала, а снискала-таки известность, причем малоприятную. Ей отнюдь не претило, что читает проповеди и благословляет прихожан ее темнокожий брат во Христе, не смущалась она и преклонять колена вместе с темнокожими единоверцами, хотя они во многом и отвращали ее. В душе ее столкнулись приятие и неприятие этих людей, и оттого Люси очень неуютно чувствовала себя в церкви. Как точно выразилась Фиби Блакшо: чувствуешь себя белой вороной среди черных воронов. Но семейство Блакшо давным-давно уехало домой, и Люси уже несколько лет не причащалась в церкви.

Коляска свернула на церковную улицу, миновала бывший дом приходского священника (теперь здесь жил мистер Томас, директор

кинотеатра, отец шестерых детей). Интересно, сколько же лет прошло с тех пор, как Люси в последний раз ступила на маленький церковный дворик — во времена раджей там каждое воскресенье собирался цвет общества. А за оградой ожидали коляски и экипажи: после службы господ нужно отвезти кого домой, к обеду, а кого в клуб — на коктейль с мясной закуской под острым соусом.

— Обождите меня,— попросила Люси извозчика. Проходя церковными воротцами, она задержалась под аркой. Ей вспомнилась иная церковь, но не унылая, захолустная в отцовском приходе, а деревенская в Пирс-Куни. Там ее крестили, там и начинал вторым священником ее отец. Позднее она с братьями-близнецами Марком и Дэвидом три года подряд, летом (дивное было время!) приезжала туда на две недели, и отец понуждал их ходить каждое воскресное утро в церковь.

— И об этом мне нужно рассказать вам, мистер Тернер,— произнесла она, садясь на скамейку. Удивительно: раньше она ни разу не садилась там! Да и сейчас получилось само собой.— Простите, мистер Тернер, я сегодня какая-то несобранная и бестолковая. Девичья фамилия моей матери — Лардж, бедная родственница владетельных господ. Они наняли ее ухаживать за своим больным сыном. Ах, как она любила забавы на свежем воздухе. Звали мою мать Эмили. Эмили Лардж. А у отца имя сложное: Матфей-Марк-Лука Литтл. Конечно, людские имена, как и людская жизнь,— не повод для насмешки. Вы улыбаетесь, я на вас не в обиде, это и впрямь смешно, я понимаю. Но здесь, под сенью кладбищенских ворот, от которых тропинка ведет прямо в райские кущи, куда мы проводили своих близких, мне совсем не смешно. Не замечали ли вы, мистер Тернер, что волокна в дереве — взять хотя бы эту скамейку — всегда одинаковы? И камушек — везде и всегда камушек, травинку тоже ни с чем не спутать. Конечно, существуют разные оттенки, степени — смотря где вы окажетесь; но солнце светит везде — и здесь и там — одинаково, так что вы этого и не замечаете или во всяком случае не удивляетесь. А если и удивляетесь, то лишь слегка: до чего ж скудна природа на выдумку! Морской прибой шумит у Бомбея так же, как и у Уортинга, как и повсюду. Закройте глаза, мистер Тернер, и вам ни за что не определить, где вы.

Она закрыла глаза и склонила голову. Вот кашлянул и сплюнул дожидающийся ее на дороге возница. Раскаркались вороны, потревоженные нежданной пришелицей. Повеяло прохладным, с гор, ветерком, и все стихло. Тишину нарушал лишь мерный стук дятла: точно маленький кузнец неутомимо бил и бил по своей наковальне в сосновых холмах, вознесших Панкот почти на две тысячи футов на уровнем моря.

Тук-тук.

— Никак не пойму, мистер Тернер, что ж это за звук? Нет, на дятла не похоже. И мне сразу вспоминается летний субботний день дома. Отец подстригает живую изгородь, и где-то вблизи — тук-тук, тук-тук — мои братья играют на лугу в крикет. Рукава рубашек засучены; мать наказывает мне сделать им лимонад; я выжимаю сок, беру поднос и иду к мальчикам — от них терпко пахнет потом. Их было почти не различить, разве что у Марка веснушек побольше. Людей малознакомых это чрезвычайно смущало. А близнецы, думается мне, этим пользовались. По натуре они были не очень-то великодушны. Частенько мне от них доставалось, но жаловаться я не смела — еще бы! Один раз они вылили мне на голову зеленую краску, а родителям божились, что нечаянно. Мать, похоже, поверила, а отец очень любил мои русые волосы, взъярился и в кои-то веки крепко всыпал братьям, правда, может, не так уж и крепко. Потом они только посмеивались, а выпори их мать — было б не до смеха. Меня братья наказали по-своему: до конца летних каникул не брали

играть и не разговаривали со мной, а если и обращались ко мне, то не иначе как Ябеда или Лысуха, меня же пришлось остричь едва не наголо. Стригла, да еще со всей беспощадностью — дескать, поделом тебе,— сама мать. Я стала похожа на мальчика, чему она, несомненно, радовалась. Проходила неделя за неделей, а я либо сидела дома, либо, прячась от всех, гуляла в саду. Сад, конечно, название слишком громкое: на задах приходского парка росло несколько яблонек-заморышей. Средь них я и сидела, слушая, как щелкают садовые ножницы: чик-чик. Отец подравнивал по субботам, в день служб, живую изгородь. А потом до меня доносилось: тук-тук, тук-тук — то братья играли в крикет. А мать громко их подзадоривала, она играла с ними, охраняла воротца. Ручищи у нее были огромные.

Чик-чик.

* * *

Люси наконец миновала ворота и пошла по тропинке церковным подворьем. Вдруг она остановилась — на этот раз ее поразил не знакомый звук (то щелкали садовые ножницы), а могилы — надгробия вычищены, трава вокруг скошена. Неизвестный труженик, очевидно, работал и сейчас, только по другую сторону церкви, и потому его не было видно. С той стороны — могила Мейбл Лейтон. Мейбл и сама очень любила повозиться в саду. Ее старая подружка мисс Батчелор, уже впавшая в маразм, говаривала, что Мейбл не будет почивать с миром: ведь ее похоронили, вопреки желанию, в Панкоте, а не в Раннуре. А между тем Мейбл почивала все эти годы с миром. Впрочем, как знать.

Хватит думать о глупостях, приказала себе Люси и вновь зашагала по тропинке к южному входу. Едва она поравнялась с ним, как дверь распахнулась и на пороге выросла чья-то фигура. Люси вздрогнула всем телом и даже вскрикнула.

Приглядевшись, вздохнула.

— Ну и напугали же вы меня, мистер Булабой.

* * *

Мистера Булабоя эта нежданная встреча и самого застала врасплох. Надо же, он только что думал о миссис Смолли. Она предстала перед ним столь внезапно, что у него подкосились ноги — во второй раз за сегодняшнее утро. Может, невидимые колдовские чары вызвали сюда ее дух? Да нет, вроде она сама, улыбается, как всегда, степенно и благородно.

В сердце мистера Булабоя для Люси был уготован особый уголок. Уготован давным-давно. Как опечалился мистер Булабой, когда Люси перестала ходить в церковь. Ибо, видя, как скромно, но достойно держится эта стройная и опрятная женщина (причем достоинство у нее, разумеется, в крови) на воскресной службе, мистер Булабой преисполнялся уверенностью в целесообразности и уместности дела, ради которого собрались прихожане. Поначалу, когда Люси и Слоник только-только приехали в Панкот (Слоник к тому времени уже вышел в отставку), она брала его с собой, и они садились в первом ряду. Недолго ходил в церковь Слоник, а Люси с каждым разом, с каждым годом садилась все дальше и дальше, все больше растворялась в полумраке. Мистера Булабоя это очень огорчало, но мало-помалу он начал понимать, в чем причины. Назвать их он бы не смог, но, во всяком случае, скромность, желание остаться незамеченной полностью соответствовало нарисованному им образу настоящей английской дамы старой закалки: такая и голоса не повысит, потому что не найдется и повода; она умела внушить послушание тем, от кого это требовалось. Правда, в их число не входил Слоник. Мистер Булабой только диву давался, как тот обращался с женой. А с другой стороны, ему было любопытно наблюдать традиции английской семейной жизни.

Как радовался он, когда Люси приходила обедать в гостиничный ресторан. Убогое заведение словно преображалось. Такие же чувства (с некоторой поправкой) испытывал он и к Слонику. Любо-дорого смотреть на чету, когда, кроме них, в ресторане никого нет: едят молча, сдержанно — истинные англичане. Слоник, правда, не стеснялся в выражениях, хуля пищу, обслугу, не очень свежую скатерть, но в придирках его не было злобы; Слоник как бы смотрел на себя со стороны и улыбался: надо ж какие мелочи стали раздражать, надо ж как испортился характер.

Во время раджей, как часто доводилось слышать мастеру Булабою, англичане уж слишком важничали. В ту пору ему было мало лет, и собственного мнения он не составил, однако из личных наблюдений заключил, что если прежде задирали нос англичане, то теперь — индийцы. Из чего следовало, что ответственность за управление страной портит нрав и губит чувство юмора.

А когда Слоник и Люси обедали в ресторане при других посетителях-индийцах, то именно от столика четы Смолли, казалось, исходило благодушие и довольство. Супруги чаще разговаривали друг с другом, перебрасывались словом со знакомыми за соседними столиками. Но если соседи затевали ссору с официантом или мистером Булабоем, Люси и Слоник сразу сосредоточивались на обеде. Не поддержали они и миссис Булабой, когда та раз-другой устраивала жуткие скандалы: она полагала, что клиент всегда виноват, более того, на его вину непременно нужно указать, на скандал ее подвигало все то же чувство ответственности. Странно, думал мистер Булабой, почему из-за чувства ответственности не прибавилось склочности в моем характере. Ответ напрашивался сам собой: мистер Булабой ничем не управлял. Все бразды правления находились у Лайлы. А он, точно кукла чревовещателя, сидел у нее на могучих руках и лишь раскрывал рот, а отдавала распоряжения и устраивала скандалы она. Был и иной ответ: мистер Булабой хотя и был наделен ЧУВСТВОМ ответственности, отнюдь не стремился обременять себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Им повелевали, и его это устраивало. Сначала повелителем его был мистер Пилаи, потом — Лайла. И от ярма ему вовек не избавиться.

И вот сегодня, столкнувшись с миссис Смолли, он пожалел о своей доле. Миссис Смолли не уступала Лайле в твердости характера, но ярма не надевала. И почему господь не наградил его хоть малой толикой силы воли?

— Простите меня, миссис Смолли. Признаться, я и сам напугался. Хотите верьте, хотите — нет, но я только что вспоминал вас.

* * *

Пикантно началось утро у мистера Булабоя. Проснувшись, он обнаружил, что лежит совершенно голый в постели с Лайлой, уткнув нос меж ее необъятных грудей. Плечи его стиснуты мощными руками супруги, а ноги затерялись меж недристых ее бедер. Над головой его раздавалось медное гудение с залихватским посвистом.

Как он очутился у нее в постели, оставалось загадкой. Сама супруга его к себе, помнится, не вызывала. Неужто, пока он спал, она прокралась к нему в комнату и, перекинув через плечо, отнесла к себе в постель, сняла с него пижаму и взгромоздила его на себя? А поскольку, как явствовало после ежеутреннего пробуждения, и во сне он оставался в состоянии боевой супружеской готовности, то не исключено, что Лайла воспользовалась случаем: не пропадать же втуне такому дару. Будить мужа она не стала — управится и без его помощи. Сил хватит.

Поразительно, сколько сил таится в женщинах даже более изящных, чем его Лайла, сколько решимости! Их неожиданные и непред-

сказуемые капризы и пристрастия относительно самых, казалось бы незначительных, мелочей приводили в замешательство. Почему, например, им больше нравятся на мужчинах тесные плавки, ведь свободные трусы удобнее. Впрочем, в этой непредсказуемости отчасти и таилось женское очарование: не угадать, что скажут или сделают через минуту, как переменится их отношение. Даже в самые интимные минуты. Один-разъединственный раз в Ранпуре ему удалось перемигнуться с Изюминкой, и она пригласила его к себе. Ну и смеялась она, увидев его «семейные» трусы. Поначалу она отдалась ему стоя, потом лежа, а потом в такой невообразимой позе, что, не угляди он ее в иллюстрированной книге, ни за что бы не поверил, что такое возможно. «До чего же мужчины гибкие! — сказала она на прощание, выдворяя его на ночь в гостиницу.— Приходи завтра, только трусики поприличнее надень, и мы устроим «казачок».

Но все прелести таинственного «казачка» так и остались неведомы мистеру Булабою. Назавтра вечером Изюминка встретила его с зловещей плеткой в руках, в полном казацком облачении, от которого он с удовольствием бы ее избавил, но, к великому его огорчению, она и не собиралась раздеваться. Мистер Булабой и еще двое парней должны были плясать вокруг нее. На парнях были лишь красные узенькие плавки и красные же кожаные сапоги. И мистеру Булабою предложили на выбор несколько пар.

Изюминка спросила:

— Ну как, с трусиками все в порядке?

— Да, конечно,— бодро ответил мистер Булабой,— только они не красные. Схожу переодену.

Только его и видели. С тех пор он со страхом, от которого сладко замирало сердце, ждал: вдруг Изюминка еще раз объявится со своей программой в варьете «Шираза». Даже в самые интимные минуты с танцовщицей (например, когда оба они переплелись в немыслимой позе, которую Изюминка называла «двойной лотос») мистеру Булабою казалось, что он в объятиях своей супруги, поэтому порой он улыбался, а иногда даже прыскал со смеху. И немало сил приходилось положить, чтобы избавиться от наваждения и не расхохотаться до слез. Представить Лайлу в позе «двойной лотос» — со смеху можно умереть, это еще похлеще, чем увидеть ее на сеансе иглоукалывания у доктора Бхаттачарии — она похожа там на дикобраза. Впрочем, ему самому с Лайлой в позе лотоса было бы не до смеха. Под тяжестью ее могучих телес у него переломился бы хребет и не выдержали б ноги, или в самый ответственный момент она бы просто рухнула на него, раздавив в лепешку.

Окончательно проснувшись, полузадушенный и потный, мистер Булабой высвободил голову и взглянул на жену. Она спала богатырским сном. Но гудение и посвист не утихали. Губы ее то вытягивались трубочкой, словно во сне она сдувала пух с одуванчиков, то бессильно опадали после выдоха. Брови сурово насуплены: не иначе близятся грозовые раскаты мигрени, значит, еще одно утро испорчено. Проснется она — и мужу несдобровать. Лучше убраться подобру-поздорову, пока не поздно. Он придумал особые приемы, как, не тревожа сон жены, убираться посреди ночи к себе в комнату. Миссис Булабой любила спать одна. И по опыту мистер Булабой знал, что, застань его утром супруга рядом с собой в постели, цветок любви, что изредка все же распускался, сразу увянет. И даже если она, обессилев (еще бы, с удовольствием думал в такие минуты мистер Булабой, я не ударил лицом в грязь), не отсылала его прочь, лучше все же ретироваться.

Ему еще не доводилось покидать супружеское ложе поутру, когда сквозь занавески проникали первые рассветные лучи, высвечивая нежные темные усики на верхней губе жены. Впрочем, ночь ли, утро ли, а приемы все те же: по возможности отыскать на исполин-

ской груди сосок, поцеловать его, издав при этом томный вздох. Лайла обычно отвечала при этом звуками более выразительными. Нужно затем высвободить собственную, затекшую до одеревенения руку (что тоже стоило немалых трудов). Далее рука перекладывалась на бедро или какую другую доступную часть тела. Расслабляться при этом нельзя: Лайлу подобный прощальный и многообещающий ритуал приводил в трепет. Сегодня она тоже «затрепетала»: громко застонав, грузно приподнялась несколько раз на постели и перевернулась на бок, ловко, по-борцовски, захватив голову мужа. Он обычно терпел, но сегодня было уж что-то очень больно. Вывернуться из тисков жены в общем-то не так уж и сложно, благо от пота тела их сделались скользкими. Нужно только терпение, и мало-помалу голова мистера Булабоя оказалась на свободе. Соскользнув с кровати, он привычно, стоя на коленях, стал шарить по полу в поисках пижамы. Однако не нашел и сразу проснулся окончательно. Поднялся на ноги — в голове сильно застучало, колени подогнулись, он снова очутился на полу и затих. Что это, снится ему, что ли? Вроде бы нет. Оглядев спальню в предрассветной мгле, он вдруг ясно вспомнил прошлую ночь.

Без толку искать пижаму, он ее с вечера вообще не надевал. В комнату Лайлы он пришел в одежде, которую обычно надевал к воскресной службе: строгий серый легкий костюм, белая рубашка, синий галстук, черные туфли, черные носки, белая майка и белые просторные трусы. Вон, все валяется кучей, в плачевном беспорядке — неслыханная беспечность: смотреть тошно, как лежат (и всю ночь пролежали!) смятые, скомканные его вещи, позабытые-позаброшенные. И некому было их собрать, отнести, развесить в удобном шкафу, где бы они разгладились и приняли вновь достойный вид.

Да, вон они — кучей на диване; он сам их побросал туда: днем Лайла любила там вздремнуть. Мистер Булабой на коленях подполз к дивану, собрал одежду — вещь за вещью,— стараясь не столкнуть кофейный столик, на котором красовались доказательства вчерашней попойки: пустая бутылка из-под джина, два стакана, в одном на треть выдохшегося джина с тоником, ведерко со льдом, переполненная пепельница, от одного вида которой мутит, два подноса с объедками: огромные тарелки с курицей под острым соусом, пловом, разными приправами: кувшин, где еще оставалась минеральная вода с застывшими пузырьками воздуха; поникшие ломтики лимона, три пивных бутылки, причем одна открытая, но не початая; пустая пачка из-под сигарет, полупустая коробка глазированных каштанов.

Неловко прижав к груди одежду, мистер Булабой все так же на коленях стал продвигаться к двери в собственную спальню — ни дать ни взять артист, игравший Тулуз-Лотрека в одном из немногочисленных фильмов, которые видел мистер Булабой (этот фильм очень советовал посмотреть мистер Томас — там стоящий канкан). Мистер Булабой выронил туфлю и замер, но миссис Булабой храпела по-прежнему. Чтобы открыть дверь, пришлось встать, но, войдя в свою комнату, мистер Булабой почему-то снова опустился на колени, подполз к стулу, аккуратно развесил одежду, закрыв дверь, запер на крючок, с трудом вскарабкался на постель, свернулся клубочком и закрыл глаза. Но тут же открыл: в тяжелой голове вспыхнули воспоминания вчерашнего дня.

* * *

Вчерашний день не сулил ничего плохого: воскресенье — выходной. Предстояла приятная церковная служба преподобного Стефена Амбедкара. Человек он, правда, беспокойный, и мистер Булабой даже побаивался его. Прежний священник, преподобный Томас Нарайан, приезжая на воскресные службы, чтобы утолить духовную жажду христианской общины в Панкоте, всегда останавливался «У

Смита». Стефен Амбедкар лишь однажды заночевал в гостинице, впоследствии же почти всегда предпочитал гостить в семье Менектара, хотя те исповедовали другую веру. Зато христианином был их приятель — главный инспектор полиции в Ранпуре. Мистер Булабой опасался: не дай бог святой отец, проведя час-другой «У Смита» накануне своей первой службы, пожаловался полицейскому инспектору на условия, в которых приходилось коротать время и его предшественнику, преподобному Нарайану.

Конечно, ежемесячные наезды нового священника радовали христианскую душу мистера Булабоя, однако вызывали у него тревогу и волнение: как-никак он церковный староста. Во времена мистера Нарайана такого не было и в помине. Тот приезжал в Панкот воскресным утром, оставлял свой тощий саквояж в номере пятом и завтракал вместе с мистером Булабоем, потом они вместе шли в церковь. Мистер Булабой успевал заскочить туда спозаранку, отпирал дверь для Сюзи, и к его возвращению с мистером Нарайаном она уже заканчивала украшать церковь цветами. Потом за чашкой кофе (Сюзи приносила с собой термос), сидя за круглым столом в ризнице, мистер Нарайан говорил, какие гимны должны петь прихожане и какие главы Писания он будет с ними читать. Сюзи закладывала нужные места в Библии на кафедре и вставляла в пюпитры бумажки с номерами гимнов. А святой отец и мистер Булабой подсчитывали месячный доход и толковали о делах приходских. В 10.25 Нарайан облачался подобающим образом, а мистер Булабой звонил шесть раз в колокольчик, созывая паству. Даже когда являлось совсем мало прихожан, Томас Нарайан никогда не отказывал им в причастии, никогда не настаивал, чтобы они воздерживались от еды и питья до причащения. Мистер Булабой, конечно же, и крошки в рот не брал, лишь позволял себе глоток-другой кофе. Иной раз прихожан вообще не было, и причащаться Святых тайн приходилось лишь ему и Сюзи. Когда собирался народ, мистер Нарайан задерживался после службы, беседовал со своей паствой на церковном подворье и иногда принимал чье-нибудь приглашение отобедать. Иногда, наоборот, он с несколькими прихожанами шел обедать в гостиницу. После обеда он навещал болящих и скорбящих или заглядывал к Сюзи на занятие в воскресной школе, помещавшейся в ее доме, где некогда она жила с матерью, а теперь — одна. Потом наступало время вечерней службы, на которую приходило еще меньше людей. Ужинал мистер Нарайан либо с Сюзи, либо с мистером Томасом, владельцем кинотеатра, либо с мистером Булабоем. В понедельник он уезжал в Ранпур полуденным поездом, однако случалось ему и откладывать отъезд, если кто-то из паствы был при смерти. Не то чтобы он чуял смерть загодя, просто так обходилось дешевле: не нужно специально снова ехать в Панкот на похороны, проводить заупокойную службу в той же церкви или в маленькой часовне при колумбарии центральной больницы, построенной англичанами. Если кто умирал скоропостижно, мистера Нарайана можно было вызвать по телефону из Ранпура в любое время дня и ночи. Не раз приходилось ему добираться до Панкота на попутном военном грузовике. Свадьбы и крестины (в наши дни явления куда более редкие, чем похороны) обычно старались приурочить к воскресным службам.

Славные то были дни.

После смерти преподобного Томаса Нарайана и назначения в приход преподобного Стефена Амбедкара кое-что изменилось к лучшему, кое-что — к худшему. Что именно, мистер Булабой не смог бы определить, он лишь чувствовал, что при мистере Амбедкаре он постоянно лелеял какие-то смутные надежды и смиренно сносил всяческие разочарования.

Придя в церковь в первый раз, новый священник сразу же указал на сломанный орган:

— Нужно бы починить.

Мистер Булабой растолковал ему, что денег не хватает даже на самое скромное содержание церкви, на это мистер Амбедкар лишь лукаво улыбнулся: дескать, праведный человек всегда найдет деньги для праведного дела, если уверен в его необходимости и если у него окажутся «полезные» связи. Однако и по сей день Сюзи приходилось аккомпанировать хору на фортепьяно, самой же и настраивать инструмент. Пастве выпадал лишь редкий случай причаститься, ибо новый святой отец в отличие от преподобного Нарайана поставил строгие условия: причащаться не позже восьми часов утра и натощак — это означало, что он не всякий раз сможет причастить прихожан, а лишь тогда, когда приезжал загодя, в пятницу или субботу. А загодя он приезжал (как нетрудно было вычислить) лишь вместе с главным инспектором полиции — тот наведывался поиграть в гольф. Прибывал он в служебной машине с флажком на радиаторе и мистером Амбедкаром (в темных очках) на соседнем сиденье. Мистер Амбедкар тоже не прочь был поиграть в гольф и провести субботу с воскресеньем в доме полковника Менектары или в резиденции командующего раннурским округом генерала Крипалани, где привечали полицейского инспектора, а заодно и святого отца. Кроме этих редких дней у панкотских христиан оставалась лишь одна возможность приобщиться Святых тайн. Дело в том, что мистер Амбедкар был весьма желанным гостем у директора местного отделения авиакомпании и изредка бесплатно летал в Нансеру. Из этого следовало, что к вечеру в субботу он приезжал на автобусе авиакомпании в Панкот, а возвращался в Ранпур лишь вечером в воскресенье. Порой мистер Булабой получал известие о его прибытии лишь за несколько часов и не успевал предупредить всех прихожан, жаждущих причастия, чтобы в восемь утра они приходили в церковь святого Иоанна. Мистер Амбедкар, впрочем, понимающе относился к трудностям церковного старосты, но все же бывал весьма разочарован, если к причастию набиралось всего с полдюжины (а то и меньше) людей. Прежде чем жестом подозвать их к себе, духовный пастырь демонстративно пересчитывал поголовье своего стада и уж потом освящал облатки, проследив, чтобы не было лишних, и вино. Причем если облатки святой отец выделял с предельной точностью, то о вине того не скажешь: всякий раз на дне потира оставалось преизрядно. Мистер Амбедкар смиренно вздыхал и выпивал все до капли.

К обычной воскресной службе (как, например, вчера) мистер Амбедкар прибывал в машине полковника Менектары часам к одиннадцати. Минут за пятнадцать мистер Булабой выходил к церковным воротам, чтобы встретить святого отца.

Но вчера мистер Амбедкар объявился минут на сорок раньше обычного, к немалому удивлению мистера Булабоя, Сюзи и мистера Томаса,— они сидели в ризнице и пили кофе, управившись со своей работой: украсили церковь цветами, разложили псалтыри и молитвенники, приготовили, вытащив из шкафа, ящичек для пожертвований.

Мистер Амбедкар приехал не один! С ним был молодой священник, темная кожа его отливала пурпуром. Зато зубы сверкали белизной в лучезарной улыбке — ни дать ни взять реклама какой-то доселе невиданной зубной пасты, которая, еще не поступив в продажу, сулит тем, кто будет ею ежедневно пользоваться, благоденствие и сознание собственной неотразимости.

— Знакомьтесь, Фрэнсис,— сказал преподобный Стефен Амбедкар мистеру Булабою,— отец Себастьян.

— Очень рад, Фрэнсис,— отец Себастьян крепко пожал ему руку.— А это, должно быть, Сюзи. Здравствуйте. А вы мистер Томас. Наслышан о вас. Стефен рассказал мне обо всех вас, о том, как вы помогаете ему в делах церковных. Красивая у вас церковь. Отличный

образец английской колониальной архитектуры для гарнизонных церквей в горной местности. Построена, видимо, году в 1885, так?

— В 1883-м,— поправил мистер Булабой.

— Почти угадал. Что ж, хорошо. А кто, кстати, следит за церковным двором? Обычно вокруг старых церквей такое запустение.

Мистер Амбедкар на мгновение стушевался, но улыбки не погасил, а одарил ею мистера Булабоя, не обделив, впрочем, и отца Себастьяна. По правде говоря, мистер Амбедкар вообще не замечал, ухожен двор или нет. А если и замечал, то ни разу и словом не обмолвился об этом.

— Есть у нас такой паренек, Джозеф, он работает в гостинице мали. А в свободное время приходит сюда.

— Мне бы хотелось познакомиться с ним. Можно ли посмотреть церковь?

Преподобный Стефен Амбедкар вышел вслед за ним из ризницы и закрыл за собой дверь. Мистер Булабой, мисс Сюзи Уильямс и мистер Томас с минуту сидели молча.

— Он представился — «отец Себастьян».

— Должно быть, из англокатоликов [1],— вполголоса сказал мистер Булабой.— Он из Южной Индии. А там сейчас их влияние очень сильно.

— Наша семья не принадлежала к англиканской церкви.— Сюзи резко отодвинула кофейную чашку.— Во всяком случае, мама так говорила про отца. Сержант Таффи Уильямс служил в Валлийском полку. В 1928—1930-м был прикомандирован к панкотскому стрелковому инструктором. В 1934 году его убили на северо-западной границе. Я отца не помню. Зато помню наш старый молитвенный дом с рифленой железной крышей. Каждое воскресенье час в час мы ходили на Западный холм. К вам сюда мы не заглядывали. Мама говорила, отец не любил англиканство, и он бы очень за нас огорчился. Но дело не в этом. Маму в детстве водили именно в англиканскую церковь. Мы же стали с отцом в молитвенный дом ходить. Здесь, Фрэнсис, мы сидели бы на самых задних скамьях — маме не хотелось бы смущать своим видом английских дам, кому она делала прически. Даже в последнем ряду не решилась бы сесть. Может, будь я иной, она бы и пришла, но я такая как есть, такой и останусь, и никто не заставит меня аккомпанировать священнику, которого надлежит называть «святой отец» и кто черен, как вороново крыло, да еще в церкви, куда мама ни за что бы меня не привела.

— Дорогая моя Сюзи,— мистер Булабой даже обнял ее,— не говорите чепухи. Отец Себастьян — всего лишь гость.

— Нет, чует мое сердце, не в гости он приехал. Я же слышу, что люди говорят. У меня же в салоне «Шираза» клиенток много. Да и раньше, когда у меня была своя маленькая парикмахерская, я тоже была в курсе всех событий, пока эти чертовы пенджабцы все к рукам не прибрали.

— Выбирайте выражения, вы же в храме,— напомнил мистер Томас.

— И что же люди говорят, а, Сюзи?

— Что не сегодня-завтра мистера Амбедкара повысят и, вообще, быть ему епископом Калькуттским.

— Вы что же, слышали об этом от своих клиенток-индусок и мусульманок? Да полноте! Вам это прислышилось.

— Ну и что же? Все равно я права. Ручаюсь, отец Себастьян на гостя не похож.

Дверь в ризницу отворилась, заглянул мистер Амбедкар.

— Фрэнсис, можно вас на минутку?

---

[1] Наиболее консервативная часть английской церкви, признающая догматы католицизма, но отвергающая слияние с римско-католической церковью.

Он никогда не звал мистера Булабоя по имени. Закрыв за собой дверь, священник пробормотал:

— Мне нужно поговорить с вами об отце Себастьяне. Он пока осматривает подворье. Кстати, кто платит этому пареньку, Джозефу?

— Раньше я давал ему немного денег из собственного кармана. Но сейчас он работает в гостинице, и я за него спокоен. А здесь он помогает по доброте душевной. Он же христианин.

— Прекрасно, прекрасно. Отцу Себастьяну очень понравилось, как мы содержим и церковь и кладбище.

Мистер Булабой потупился.

На плечо ему тяжело легла рука, пришлось взглянуть преподобному Стефену Амбедкару прямо в слегка воспаленные глаза.

— Что-то тревожит вас, Фрэнсис. Впрочем, догадываюсь. Отец Себастьян — вот причина. Вы небось думаете, что мы идем на поводу у Ватикана и при церкви вот-вот откроем часовню Богоматери?

— Нет, что вы!

— А что касается обращения, так я тоже могу попросить величать меня «святым отцом». Это дело вкуса. И римская церковь здесь ни при чем.

Мистер Булабой постарался изобразить радужную улыбку, насколько позволяли обстоятельства. Неужто права Сюзи? Неужто вместо преподобного Стефена у них будет отец Себастьян?

Священник снял руку с плеча мистера Булабоя, заложил обе руки за спину и медленно пошел по проходу. Мистер Булабой, в точности повторив каждое движение духовного наставника, пошел следом.

— Пора наконец задуматься,— сказал мистер Амбедкар,— что такое жизнь.

— Давно пора,— поддакнул мистер Булабой; ему вдруг представилось, как в ту самую минуту его супруга проверяет книгу гостиничного прихода и расхода.

— Как и я,— продолжал мистер Амбедкар,— отец Себастьян всемерно поддерживает идею единения разных христианских церквей в Индии. И если мы хотим продвинуться вперед...— он оглянулся, словно проверяя, не притаился ли где соглядатай, который незамедлительно донесет властям, что затевается заговор всех иноверцев обратить в христиан.— Так вот, если мы хотим продвинуться вперед, нам всем нужно идти рука об руку. Позвольте, Фрэнсис, я посвящу вас в свои сокровенные планы. Вас, и только вас. Я знаю, вы человек надежный, сплетничать не станете. Месяца через два-три я, наверное, покину вас... совсем.

— Да что вы? — жалостливо откликнулся тот, ему почудилось, что бедный священник смертельно болен.

— Поймите меня правильно,— продолжал мистер Амбедкар,— отец Себастьян не будет постоянно вашим приходским священником, но, возможно, задержится в ваших краях на некоторое время, пока не получит место в Раипуре. Он будет, так сказать, разъездным внештатным священником. Вам это только на руку. Думаю прислать его к вам через две недели, на Пасху. Может, он согласится проводить у вас службы дважды в месяц, а не один раз, как я. Поэтому год грядущий сулит вам много радости, как знать, может быть, и у вас появится постоянный священник.

Мистер Булабой лишь неопределенно хмыкнул.

— Опять же по секрету скажу, что Панкот в не очень отдаленном будущем расцветет, в Нансере сейчас разрабатываются кое-какие мероприятия. План экономического развития долины Нансера. Слышали что-нибудь об этом?

— Похоже, что не слышал,— ответил мистер Булабой, такие слухи доходят в первую очередь до жены, мысленно прибавил он. Когда строили аэропорт в Нансере, тогда и впрямь вольготнее жилось: по-

наехали инженеры, всякие специалисты да советники — и свои, индийские, и из Англии, и из Америки, Европы, Азии. А с ними — их семьи. Много среди них и христиан. Так что, каков бы ни был план экономического развития Нансеры, он сулил не меньше, если не больше. Во-первых, прибыль гостинице, во-вторых — церкви. Мистеру Булабою уже виделись самые радужные перспективы, их сияние нимбом увенчало голову преподобного Амбедкара.

— Как нам будет не хватать вас, сэр,— скорбно произнес мистер Булабой и был отблагодарен: он снова почувствовал на плече твердую мужскую руку. Откуда ни возьмись появился отец Себастьян и умилился, глядючи на узы истинного братства, связующие слугу церкви и мирянина. Он тоже решил не отставать: левой рукой обнял мистера Амбедкара, а правой — мистера Булабоя.

— Великолепная у вас церковь. Скажите, Фрэнсис, могу ли я рассчитывать на фотографии внутреннего убранства? Я бы хотел присовокупить их к статье для одного мадрасского журнала; его читают во всем мире.

* * *

Службу отец Себастьян провел отменно. Он читал из Екклесиаста: стих семнадцатый, восемнадцатый и часть девятнадцатого из второй главы: «И возненавидел я жизнь: потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем; потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?»

Даже Сюзи Уильямс испытала умиротворение. А остальные прихожане, поначалу буквально потрясенные видом отца Себастьяна — иссиня-черная кожа особенно выделялась на фоне белоснежного с кружевами стихаря,— совсем было приуныли, когда он, взывая к Господу, упомянул Деву Марию и отвесил земной поклон[1]. Но в конце они были не только умиротворены, а буквально заворожены новым священником.

Служба прошла очень весело. Первый раз в жизни мистер Булабой слышал, как прихожане прыскают со смеху. Но то был радостный смех. Преподобный Стефен Амбедкар сидел на клиросе, он поощрительно кивнул и улыбнулся отцу Себастьяну, когда тот начал в шутливом тоне:

— Мне, знаете ли, всегда казалось, что автор книги Екклесиаста страдал желудком — то ли запором, то ли поносом.

Мистер Булабой слушал как зачарованный. Казалось, Дух Господень прошел пешком по тихим водам его души. А когда отец Себастьян, точно рассчитав время своей службы, закончил ее десятью минутами позже обычного и со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа» осенил прихожан крестным (католическим) знамением, рука мистера Булабоя самопроизвольно повторила жест святого отца.

И враз умирилась душа его.

Вперед вышел мистер Амбедкар.

— Я спросил отца Себастьяна, какой гимн нам спеть в заключение, и, посоветовавшись с мисс Уильямс, он выбрал гимн номер 391 из «Гимнов древних и новых».

Прихожане, еще ранее заметившие номер старого полюбившегося им гимна на объявлении о службе, с превеликой охотой поднялись на ноги. Мистер Булабой, прижимая к сердцу ящичек для пожертвований, тоже поднялся. Мистеру Амбедкару гимн «Вперед, Христово воинство» никогда не нравился. Он даже раз отозвался о нем как о низкопробном. Сегодня же он, судя по всему, разделял всеобщую радость. Но больше всех радовалась Сюзи — это был ее любимый гимн, она лучше всего играла его как на органе, так и на фортепьяно.

[1] Имеется в виду принципиальное отличие католицизма, почитающего Деву Марию, и протестантизма, отказывающего ей в святости.

И сейчас она уверенно взяла первые аккорды, хотя давненько (и не по своей воле) не играла этот гимн на службах. Играла она весь гимн, невзирая на партитуру, фортиссимо, что в общем-то соответствовало всеобщему настроению. Да и ящичек для пожертвований становился все тяжелее, все чаще слышалось шуршание банкнотов. Мистер Булабой едва успел обойти всю паству к предпоследнему куплету гимна.

Оба священника приехали в Панкот утром на поезде, возвращались тем же вечером в Раппур самолетом, так что вечерни не было. Но мистер Булабой нисколько не сожалел о ней — настолько удачно прошел весь день, что вторая служба могла бы развеять праздничное настроение.

После службы отец Себастьян распрощался со Стефеном Амбедкаром и провел весь день в обществе мистера Булабоя. Пообедали они с мистером Томасом, к вечеру на чай их пригласила Сюзи. В шесть они вернулись в гостиницу, где отец Себастьян позволил себе пропустить стаканчик-другой (именно два: пил он виски с содовой, мистер Булабой — джин с тоником). Расположились они на веранде домика, некогда приютившего контору авиакомпании. Мистер Булабой был рад, что гость не просит показать всю гостиницу. Наверное. Лайла все еще занята счетами, а у отца Себастьяна очень звучный голос. Должно быть, его предупредил мистер Амбедкар, что знакомство с миссис Булабой большой радости не принесет.

В семь часов они были уже у «Шираза». Там к ним присоединился мистер Амбедкар. Ждать автобуса авиакомпании не пришлось — он сам поджидал их.

— Фрэнсис, не забудьте про фотографии,— крикнул с подножки отец Себастьян. Мистер Булабой успел заверить его, что первым же делом с утра займется этим и уже к концу недели вышлет готовые фотоснимки. Автобус уехал, а мистер Булабой прошел немного вниз по дороге, оттуда был виден шпиль церкви на фоне уже темнеющего неба. Потом, довольный, медленно зашагал домой.

А дома его снова потянуло на веранду. Оттуда виднелся свет в комнате Лайлы и в гостиной, но никаких признаков жизни мистер Булабой не уловил. Пройдет год, может и того меньше, вернутся золотые денечки, и, глядишь, снова будет процветать старая гостиница. Придется, конечно, приукрасить ее снаружи, обставить новой мебелью номера, возродить былой покой и домашний уют — все, что ее выгодно отличало. Не всякому по душе вызывающе-броский «Шираз».

В семь тридцать он вошел в гостиницу, зажег на веранде свет, взбил подушки на диванах в холле. Заглянул к себе в «кабинет», открыл книгу, куда записывали новых постояльцев. Лайла, очевидно, уже сверила все по счетам, так как книга лежала на месте. Сегодня никто не приехал. Никто не заказал столик в ресторане. Посетители, конечно, будут. Мистер Булабой заглянул и туда. Как обычно, накрыты не все столы. Он взял со стойки недостающие приборы и собрался было разложить их, как дверь спальни его законной супруги отворилась и оттуда вышел мужчина. Мистер Булабой так растерялся, что не сразу признал в нем мистера Панди, служащего юридической конторы. Вид у мистера Панди был измученный. Пробормотав что-то в ответ на приветствие изумленного мистера Булабоя, он проследовал к себе в номер. Странно, в книге приезжих он не значился. Впрочем, мистер Панди часто приезжал и не отмечался, но тем не менее он всегда за несколько дней извещал мистера Булабоя о своем визите.

Итак, у несчастного мужа появились туманные подозрения о том, какие отношения связывают мистера Панди и его Лайлу. Но тут дверь спальни открылась снова, и появилась сама миссис Булабой: волосы распущены по богатырским плечам, прикрытым полупрозрач-

ным ядовито-розовым ночным халатиком из нейлона, сквозь который проглядывала ночная рубашка того же цвета и материала, разве что менее прозрачная. На ногах красовались розовые шлепанцы, отороченные искусственным мехом.

— Ах, это ты! — воскликнула она.— Очень кстати. Бедный мистер Панди совсем выдохся. Чем это ты занимаешься? Бросай все и иди ко мне в спальню. Я сейчас вернусь.

Розовой волной прокатила она мимо него, на ходу вопя что-то повару. Иначе она не разговаривала. Мистер Булабой частенько задумывался: а не от этого ли у нее мучительные головные боли? Из ресторанчика коридор, повернув под прямым углом, выводил прямо к кухне. Даже оттуда доносились до мистера Булабоя громогласные распоряжения жены. На обратном пути, прямо из коридора, она так же громогласно обратилась вдруг к мистеру Булабою.

Похоже, настроение у нее хорошее, что ж, приятная неожиданность: как-никак целый день она просидела за бумагами.

— Приготовь-ка, Фрэнки, что-нибудь выпить,— донесся до него голос из коридора.— Умираю, пить хочу. Сидишь, сидишь над этими счетами, письмами всяких крючкотворов: «ввиду того, что», да «принимая во внимание», да «из вышесказанного явствует»— голову сломаешь. Безумно проголодалась. Я заказала тандури и цыпленка под острым соусом. Скоро будет готов. У меня в комнате и поужинаем. Пошли, пошли.

Он последовал за ней и закрыл дверь. Постель измята, но на ней разбросаны бумаги, вроде тех, что привозит из конторы мистер Панди. Плавают облака сизого сигаретного дыма, а Лайла курила лишь тогда, когда занималась важными делами. Обычно все решения она принимала, развалясь на диване (где частенько и дремала днем). Сейчас же она плюхнулась на диван, словно и не покидала его с утра. Но ведь по воскресеньям она непременно мыла голову и, будь хоть полночь, все равно делала замысловатую прическу. А то, что она в таком виде, объяснимо: по воскресеньям Лайла иначе и не одевалась. Поэтому прочь, прочь все сомнения и подозрения. И, словно в подтверждение полной невиновности мистера Панди, на глаза ему попался портфель стряпчего, рядом со стулом, на котором тот, очевидно, сидел, а на столе — полупустой стакан апельсинового сока. На столике перед диваном — поднос с крепкими напитками, деловая, судя по всему, бумага и увеличительное стекло. К напиткам Лайла так и не притронулась. Занимаясь делами, она могла курить, но пить — ни за что.

Мистер Булабой налил ей изрядную порцию джина с тоником. Взяв у него стакан, она из-под черных своих усов одарила его ласковой улыбкой.

— И себе налей, Фрэнки.

Раз называет его «Фрэнки», значит, настроена сегодня благосклонно.

— Будем здоровы! — сказала она и одним глотком ополовинила стакан. Откинула голову на спинку дивана, по-прежнему улыбаясь.

— Хорошо ли провел день? — спросила она.

— Очень. Очень хорошо. А ты, Лайла?

— И я хорошо. Только устала очень. Да и бедного мистера Панди загоняла совсем. Пришлось ему из-за меня сегодня впервые в жизни в самолет садиться.

— В самолет? Мистеру Панди?

— Ну да. Когда дела подгоняют, хочешь не хочешь самолетом полетишь.— Она допила джин и протянула стакан мужу, тот снова наполнил его.— А отсюда он сможет дневным поездом завтра уехать, так быстрее получится, самолет только вечером. Да и все уж договорено, подписано, засвидетельствовано.

— О чем ты, любовь моя, толкуешь? Что договорено, подписано, засвидетельствовано?

— О том, Фрэнки, толкую, что наконец-то у нас будут приличные деньги. Садись-ка рядышком. Скажи, ведь правда, ты меня еще любишь? К чему деньги, если нет любви? — Ей на глаза навернулись слезы и побежали по щекам.— К чему женщине деньги, если она нелюбима? — повторила она.

Мистер Булабой не выносил женских слез. Он припал к супруге и принялся целовать, надеясь унять ее слезы.

— Ах, Фрэнки! Малыш, ты мой малыш! — воскликнула она и притиснула его к себе.

Мистер Булабой почувствовал, что в нем просыпается страсть, и обреченно подумал: у меня какая-то повышенная возбудимость. Стоит Лайле обнять меня или мне ее — и готово! Надо, пожалуй, с отцом Себастьяном посоветоваться.

— О, Фрэнки, мой Фрэнки! — мурлыкала тем временем миссис Булабой.

— А что, любовь моя, по-твоему, «приличные деньги»?

— Приличные — значит приличные, но разве деньги главное?! Нет, нет, ни слова о деньгах.— И она, уже смеясь, оттолкнула его. Слез как не бывало.— О делах потом, а сейчас подай-ка мне вон тот бокал. Что значит «приличные деньги»? Это значит — вести счет не на тысячи рупий, а на миллионы, а то и крупнее.

— И как же ты их заработаешь, любовь моя? — Он протянул ей бокал и наполнил заново свой.

— Пока тайна. Никто ничего не должен знать. Но тебе я, так и быть, расскажу. Неужто сам не догадываешься? Ведь ты же ездил в Ранпур ради моих дел и постарался составить о нас благоприятное впечатление.— И она чмокнула его в лоб.

Единственное, что вспомнилось ему из ранпурской поездки (не считая его основного времяпрепровождения), так это то, что он отвез в юридическую контору запертый на ключ портфель и потом каждый день наведывался туда: вдруг он им понадобится, хотя для чего именно, понятия не имел. Его вообще крайне редко беспокоили тамошние чиновники, разве что спрашивали иногда, в порядке ли финансовые дела гостиницы. И вернулся он из Ранпура все с тем же запертым, правда несколько потяжелевшим, портфелем. Ни прозорливости, ни опыта у него в ту поездку не прибавилось, не считая опыта в делах любовных (ему вспомнился «двойной лотос»).

— Что-то не догадываюсь,— промямлил он.

— Честное слово? Не обманываешь? — Лайла даже всплеснула руками.— Ну, так и быть, скажу, только смотри, никому ни полслова. Правда, ждать еще не меньше месяца.

— Чего ждать?

— Когда подпишем контракт.— Она примолкла, но губы заметно дрожали.— Я вступаю в консорциум. Понимаешь, что это значит? Это значит — я буду получать прибыль с каждой гостиницы, с каждого ресторана, которым владеет консорциум. Это гостиницы «Шираз» в Панкоте, Ранпуре и в Майапуре, гостиница «Дворец на озере Мират», все малые ресторанчики. Конечно, часть своих доходов мне придется вкладывать в фонд консорциума для его расширения, особенно важно нам пустить корни в Нансере, этот район вот-вот начнет быстро развиваться. Смотри, Фрэнки, я делюсь только с тобой.

— Но, Лайла, ведь за вступление в консорциум с тебя сдерут бешеные деньги.

— И не говори.— Она вскинула руки в притворном ужасе.— Господи, даже страшно подумать, во что мне это обойдется.

Мистер Булабой отпил джина. Прямо голова кругом идет, до чего ж богатая у него жена — хватает денег на вступительный пай в консорциум. Ему также подумалось: а не обойден ли он в своих

правах как муж и совладелец? Ведь сколько раз Лайла просила его подписывать какие-то бумаги, и он, не читая, подписывал, так как дороже всего ему был покой. Может, и он, сам того не подозревая, член консорциума или уже несколько лет является «кандидатом в члены»: слова эти он порой слышал в беседах Лайлы с мистером Панди. Случись Лайле умереть в одночасье, думал он, не сводя глаз с полупустой коробочки глазированных каштанов, кто знает, какие его ждут беды. Именно беды, богатства ему не видать как своих ушей. Вспомнились слова Слоника: «Ты, Билли-бой, из неудачников. А Лайла из тех, кто всегда в выигрыше». Мистер Булабой надеялся, что, умри Лайла раньше его, он (если повезет) окажется владельцем гостиницы. «У Смита» Лайла приобрела еще до их женитьбы и клялась, что вложила все свои деньги до гроша да еще и ссуду в банке взяла под чудовищные проценты.

— Лайла, любовь моя,— вновь заговорил он, присаживаясь подле нее,— а откуда ты взяла деньги?

— Какие деньги, Фрэнки?

— Чтобы заплатить вступительный взнос.

Она лишь улыбнулась. Мистеру Булабою вдруг почудилось, что в диване, на котором они сидят, сокрыто немало денег, добытых нечестным путем. Все «деловые» знакомцы жены на вид люди жуликоватые, у каждого дома, поди, такой же диван. И как он раньше об этом не задумывался! Да нет, конечно же, задумывался, но сама мысль о тайных доходах супруги настолько испугала его, что он давным-давно прогнал все страшные мысли. Власти не церемонились со взяточниками и мошенниками. Сама премьер-министр Ганди лично взялась за наведение порядка. Слоник без устали повторял, что единственный человек, кто сможет покончить в стране с подкупом и взятками,— премьер-министр Ганди. Мистер Булабой, хотя и исповедовал христианство, был в душе патриотом. Ему предстало кошмарное видение: вот миссис Ганди, как всегда величественная, входит к ним в комнату, приказывает им с Лайлой встать, подходит к дивану и лично проверяет его содержимое.

— Фрэнки, дорогой, что-нибудь неладно?

А неладно, как понял мистер Булабой, вот что: во-первых, Лайла пробралась в консорциум путем далеко не праведным (чему, возможно не подозревая, потворствовал и он сам, особенно в Раипуре, когда подписывал бумагу за бумагой, думая лишь об Изюминке), и, во-вторых, если деньги Лайла добыла честным путем, то, значит, продала единственное, чем владела, свое недвижимое имущество — гостиницу! А все, что есть в жизни у него,— это гостиница, где он директором, да церковь, где он старостой. Впрочем, у него есть еще и Лайла. Но что она несет ему в жизни: добро или зло?

— Нет-нет, дорогая, все в порядке.

— Ты что-то загрустил. Давай-ка еще выпьем. Потом поужинаем как следует: тандури, цыпленок под соусом, может еще плов с бараниной — пальчики оближешь. Ну, а потом ты меня приласкаешь.

Даже от одних только слов сердце у мистера Булабоя забилось чаще, но он притворился, что глух к зову плоти, и вновь наполнил бокалы. На самом деле ему сейчас не до ласки, но никуда, видно, не денешься. Мистер Булабой подливал себе побольше джину и поменьше тоника. Глотнув крепкого зелья, он осмелел и спросил:

— Лайла, ты что — продала гостиницу?

— Продала, купила — не все ли равно? Я вступаю в консорциум, и гостиница, следовательно, становится его собственностью. Но все, принадлежащее консорциуму, принадлежит и мне, поэтому можно ли считать, что я продала гостиницу, если она осталась и моей собственностью? Я, конечно, удачно вложила деньги, купив «У Смита», хотя уж как меня пытались разорить — «Шираз» рядом построили. А теперь поняли, что и моя маленькая гостиница чего-то стоит. И без меня

им не обойтись. Вот так! Так надо этим непременно воспользоваться, да только с умом! И ты, дорогой мой, в этом мне поможешь. Мы оба разбогатеем. Впрочем, какой смысл в богатстве! Какой в нем смысл, если одинок!

И она снова приготовилась зарыдать.

— В чем помочь? Привести «У Смита» в божеский вид? — спросил он, стараясь вдуматься в ее слова.

— Ну хотя бы! Я же не просто так вступаю в консорциум.

— Подновить снаружи? Обставить новой мебелью? Разослать рекламные объявления? А о Нансере я знаю. Нам все эти планы на руку!

— Вот и я о том же. Слушай, есть хочу — мочи нет! Вон колокольчик, позвони.

Исполнив просьбу жены, он встал и зашагал по комнате. Жизнь виделась ему в самых радужных тонах: гостиница будет процветать бок о бок с «Ширазом», церковь тоже будет процветать. А коли они с Лайлой разбогатеют, он уговорит жену нанять ему заместителя. Тогда он больше времени смог бы уделять церкви.

— Ах, Лайла! Какая ты у меня умница! Просто золото. — Налив ей еще джина, он поцеловал ее, и тут же нос его окропился слезами Лайлы.

— Потом, Фрэнки, потом,— пролепетала она.

Старый слуга принес ужин. За трапезой мистер Булабой принялся расписывать, как и что нужно сделать, чтобы привести гостиницу в надлежащий вид. Лайла, не выпуская куриную ножку (ели они оба руками), лишь кивала, кивала, подливала себе джина, снова вгрызалась в курицу, заедая ее рисом. Раз-другой она пробормотала:

— Придет время, займемся этим вплотную.

Мистеру Булабою фраза эта показалась на редкость удачной, ибо он воспринял ее совсем иначе, как прелюдию к грядущей ночи: ему предстоит «вплотную» заняться необъятной плотью Лайлы.

* * *

Проснувшись, он точно не вспомнил, в котором часу начались любовные утехи; далее он покаянно опустился на колени и дополз до своей комнаты, там взобрался на кровать, свернулся калачиком и снова заснул. Не помнил он, чем и как закончился ужин, что было дальше, сколько раз за ночь он порадовал супругу.

Но поспать ему не удалось, пробудился он, вдруг вспомнив, как ночью, в самые интимные минуты, Лайла шептала: «О, Бомбей! О, Калькутта! Дели! Лондон! Рим! Париж! Каир! Нью-Йорк! Варшава! Прага! Вашингтон! И везде, любимый мой Фрэнки, ты будешь так же, как сейчас, радовать меня. Какой ты сильный! О, какое счастье ездить с тобой по всему миру. Ведь здесь, в Панкоте, мы лишь начинаем жить. Да, мы даже не знаем, что таит Панкот! Что мы еще в жизни видели? Ничего! О, Фрэнки!»

Мистер Булабой даже сел на кровати: слепец! Поздно же он прозрел! Больно жалило разбуженное сознание, вчера ночью оно лишь робко царапало его душу. Мистер Булабой зарычал, соскочил с постели, точно гонимый бесами, рухнул на колени (единственное его подспорье), проворно поднялся и как был, голый, ворвался в спальню жены; там Мина, передвигаясь на цыпочках, неслышно уничтожала следы вчерашнего пиршества. Она изумилась, прыснула, прикрыла ладошкой рот и вмиг исчезла, по забывчивости хлопнув дверью. Лайла вскрикнула, села в постели и уставилась на мистера Булабоя. Увидев, как грозно он надвигается на нее, она отпрянула. Он схватил ее за плечи, собирался было накричать на нее, как приличествовало случаю, но голос у него сорвался, и он просипел:

— Лайла! Какие еще Бомбей, Калькутта, Дели, Каир? Что ты затеваешь?! Почему ты все скрываешь от меня? Я же все равно узнаю

Я должен знать! Скажи мне правду! Ты продала гостиницу! Со мной и не посоветовалась! А ведь я твой муж! Но ты с моим мнением не считаешься! На мои желания тебе наплевать! Ты, конечно, разбогатеешь. Объедешь весь мир! Только, пожалуйста, без меня! Я хочу остаться здесь, в Панкоте. Приведу в порядок гостиницу, кое-что подновлю, кое-что заменю, приглашу художников, дизайнеров, куплю новую мебель, новые скатерти, столовые приборы; переоборудую ванные и туалеты, в номерах поставлю телефоны. Куплю новую пишущую машинку. Сменю вывеску над входом. Видишь, Лайла, желания-то у меня самые скромные.

— Скромные?! — возопила она.— Да кому нужна твоя скромность?! Взгляни на себя! Ходишь в чем мать родила! Чуть до смерти меня не напугал.

Она освободилась от его рук, схватила подушку и крепко шлепнула мужа пониже живота.

Мистер Булабой даже вскрикнул, но лишь посильнее прижал подушку к животу, обратив таким образом орудие наказания в орудие защиты.

— Лайла,— умоляюще простонал он, закрыв глаза,— Лайла, любовь моя! Я хочу немногого: лишь бы остаться здесь и управлять твоей гостиницей, твоей, Лайла!

— Лжешь! — заорала она. — Ты меня не любишь! Тебе только от меня одно нужно!

А в коридоре меж рестораном и кухней подслушивали Мина и еще один слуга. Мина снова прыснула в ладошку и подвела итог услышанному:

— Дирекция хочет, хозяйка не дает! — И оба поспешили передать гостиничной прислуге, что в номере первом, очевидно, свершается насилие.

— Да, хочешь ты совсем немного,— почуяв неладное, понизила голос до шепота миссис Булабой,— церковь да гостиница, гостиница да церковь — больше тебе и не нужно ничего. А проку от них никакого. Гостиница гроша ломаного не стоит. За землю еще кое-что можно выручить. Оставайся бога ради, кто тебе мешает! Вот начнем новое здание строить, тебя, как в старину, на удачу живым замуруем в фундамент. Только какая от тебя удача! В древности замуровывали только крепких да красивых парней-пенджабцев. А тебя замуруешь — здание тотчас же завалится, даже если нам подрядчики хороший бетон поставят. А сейчас — марш в свою комнату! И пока в себя не придешь, на глаза мне не показывайся. Какого ж дурака я в мужья взяла! И сама тоже хороша, дура, нашла наказанье на свою голову! Ничего не скажешь, славно денек сегодня начинается!

Она застонала, легла, отвернулась к стене, но стонать не перестала.

— Какое новое здание, любовь моя? — В голосе мистера Булабоя послышался долгожданный металл. Правда, хватит его, наверное, на минуту, но и то хорошо. Подольше бы, почаще бы звучали решительные нотки у него в голосе.

— Я к тебе обращаюсь, Лайла, ответь же, любовь моя, о каком новом здании речь!

Лайла притихла, даже затаила дыхание, значит, прислушивается к его словам. Прислушивался и мистер Булабой: к спокойному, ровному голосу в душе — то заговорила в нем не совесть, а обычный здравый смысл, в былые дни (со времен женитьбы) заглушаемый чувствами да тягой к беззаботной легкой жизни.

— Ну что ж, если ты, Лайла, не скажешь мне, что это за новое здание, скажу тебе я. Как только ты купила у душеприказчиков мистера Пилаи эту гостиницу, ты сразу вознамерилась построить новое здание, да не тут-то было: заупрямились чиновники из управления планирования и развития, от которых зависело разрешение на пост-

ройку нового и снос старого здания, а также и банковские чиновники, от которых зависело, дадут ли тебе ссуду на строительство — всех их давнехонько подкупил консорциум. Верно? А директорат консорциума крепко невзлюбил тебя, Лайла, ведь ты их обскакала, завладев земельным участком, на котором стояла гостиница «У Смита», не дала им поживиться. Ты отлично знала их планы и сама была не прочь урвать что-то и для себя, однако они с тобой и разговаривать не стали, а взяли и построили «Шираз» рядом с нами. А теперь, раз Нансера будет бурно развиваться или еще бог знает почему, им, видите ли, вздумалось расширить сеть своих гостиниц. Ты все-таки выгадала, любовь моя, потому что они заинтересованы в нашей земле и выполнят твои условия, только бы эту землю заполучить. Она теперь стоит в несколько раз дороже, чем ты заплатила, а потом, ты в нее и гроша не вложила. Для тебя, любовь моя, в первую очередь ржавая земля, а не гостиница. Ты заботилась больше всего о своей наживе, а не о постояльцах. Их ты перепоручила мне, а кто я? Сейчас скажу. Ты всегда говорила, что я лицо нашей фирмы, точнее все, что от этого лица осталось. Что я мог сделать, ведь ты мне совсем не помогала, наоборот, только мешала. В Раипуре и по сей день говорят: «В Панкоте можно остановиться в новомодном «Ширазе», а если не удастся, позвоните старому Булабою, «У Смита» вас всегда приютят, еще спасибо скажете». Согласен, Лайла, это не ахти какая похвала, но моя ли в этом вина? Я-то, дурак, думал все это время, что я и впрямь «лицо фирмы», старался, из кожи вон лез, чтобы побыстрее тяжкие времена миновать, а оказывается, я всего лишь за сторожа при земельном участке. Что ж, снесут бульдозеры нашу гостиницу, встанет здесь новое бетонное чудище. Но доброе имя Фрэнка Булабоя, бывшего директора гостиницы «У Смита», в Панкоте уничтожить труднее. Возможно, тебе сто раз наплевать на «лицо фирмы», и в твоих расчетах и махинациях ему места не нашлось, не знаю, не вникал, ума не хватает. Я же глупый человек, верно, ведь меня не тянет ни в Бомбей, ни в Калькутту, ни в Дели, ни в Лондон, ни в Париж, ни в Каир, ни в Нью-Йорк, ни в Варшаву, ни в Прагу, ни в Москву. Что мне там делать?

Он замолчал.

— И впрямь нечего,— прошептала жена,— потому что ты дурак.

— Знаю, Лайла, знаю, любовь моя.

Она поднялась, повернулась к нему лицом, взглянула в упор.

— А знаешь, дураки иной раз, сами того не замечая, подают мудрые советы. Да, пожалуй, с меня запрашивают слишком много! Жулье! Скажи мистеру Панди, пусть придет минут через десять. А Мине прикажи явиться тотчас же. А сам пойди оденься. Ты мне тоже вскоре понадобишься.

— Я не приду, Лайла. Я буду принимать ванну. Потом оденусь. Потом позавтракаю чем бог послал. Потом займусь делами. Утром мне некогда.

— Но сегодня понедельник! — возопила она.— Ты должен прийти с отчетом.

— Воскресенье, понедельник — не все ли равно? Какой отчет может дать сторож земельного участка? Я пойду, хватит здесь стоять, прикрывая свой срам подушкой.

Он осторожно положил подушку на кровать и пошел к двери. Обернувшись, он встретил изумленный взгляд жены.

— Кстати, а как быть со «Сторожкой»?

— Не понимаю.

— Там ведь живут люди.

— Здесь, между прочим, тоже человек живет,— отпарировала она,— живет и думает: за что ей такая участь? Долго ли такая жизнь будет продолжаться? И стоит ли вообще жить, если вокруг все либо дураки, либо жулики! Позови-ка Мину.

— Сама позовешь, любовь моя. У тебя голос звучнее.

— Ты дорого заплатишь за это, Фрэнк Булабой! — крикнула она удаляющейся голой заднице.

— Знаю,— спокойно отозвался тот,— знаю, как не знать.

Закрыв за собой дверь, он почувствовал: твердая как сталь решимость тает, тает на глазах. Даже страшно подумать, что теперь его ожидает!

## *Глава девятая*

Через полчаса мистер Булабой мышкой выскользнул из гостиницы; настроение у него было уже далеко не воинственное, а скорее крайне подавленное. К скандалам по понедельникам он привык, но раньше понедельник сулил и маленькие радости: в полдень Лайла уезжала в клуб играть в бридж, впереди приятный вечер в обществе Слоника. Но сегодня, даже если Лайла управится с делами быстро и мистер Панди успеет к дневному поезду, даже если она, отдохнув, решит, что отвести душу лучше всего за картами, все равно не сможет он провести вечер за приятной беседой со стариком полковником, чьи дни и без того сочтены, а дни, которые осталось прожить в «Сторожке»,— и подавно. Да у него язык не повернется сказать Слонику об этом. Правда, кто знает, может, сегодняшние резкие его слова образумят Лайлу, неспроста же она обозвала своих будущих компаньонов жульем. Может, теперь она поведет себя по-иному и сделка отложится либо вовсе не состоится.

Если бы да кабы... Впрочем, даже слабенький лучик надежды и то в радость. Мистер Булабой сел на велосипед и съездил на базар. Там он договорился со своим старым знакомцем, фотографом мистером Мохан Лалом («Свадебные фото, портреты в домашней обстановке, фотографии на паспорт»), что тот сделает несколько снимков церкви снаружи и внутри. Мистер Мохан Лал был готов даже уступить в цене, если отец Себастьян укажет в журнальной статье его имя и если снимки делать сегодня же, пока не завяли цветы после воскресной службы.

— Сейчас же пришлю к вам своего паренька, Ашока,— пообещал мистер Лал.

«Сейчас» — значит через час, подумал мистер Булабой. Да и «пареньком» Ашока можно было назвать с некоторой поправкой, ему шел уже четвертый десяток. Он принадлежал к касте «неприкасаемых»; правда, теперь их рекомендуется называть по-другому: «члены реформируемой касты». Ашок вырос без родителей и без дома, с детства скитался по Панкоту, не чурался любой работы, случалось ему быть мальчиком на побегушках и при мистере Алла-дине, прежнем владельце фотостудии высшего разряда (его девизом было —«Время проходит, фотография остается»). В 1947 году он сложил вещички и отбыл в Пакистан. Мистер Лал, наоборот, приехал в Панкот, бросив свою старую студию в Пакистане, и в первый же день к нему пришел Ашок, предложил свои услуги. Мистер Лал нанял парнишку, мало-помалу обучил его своему искусству, и теперь Ашок работал выездным фотографом, и его частенько видели на свадьбах, крестинах, днях рождения, запечатлевал он и события поважнее: ездил с мистером Лалом на гарнизонные спортивные праздники, банкеты в «Ширазе», на торжества в колледж Чакраварти. Поскольку Ашок принадлежал к самой бесправной касте, его, очевидно, было нетрудно обратить в христианство, и мистер Булабой подумывал, а не взяться ли ему за парня всерьез и не приобщить ли к церковной пастве. И вот сегодня в его душу можно заронить семя веры: Ашок впервые в жизни попадет в церковь.

Дорога пошла на подъем, мистер Булабой соскочил с велосипеда и покатил его по дороге. В церкви он проверил вазы с цветами: все в наилучшем виде. И утро выдалось ясное, солнечное. Церковь вся пронизана светом. До чего ж красиво! Конечно, в его усердии немало от гордыни, но Господь, несомненно, простит ему этот грех. Он сел в первом ряду и с любовью воззрился на алтарь. В юности мистер Булабой хотел принять духовный сан, но отец, сам истый христианин, настоял на том, чтобы сын пошел по его стопам и научился вести гостиничное хозяйство.

Мистер Булабой-старший говорил, что поскольку вечную жизнь Иисус дарует лишь избранным, то он, мистер Булабой, удовлетворится, если сыну выпадет управлять, а может, и владеть небольшой гостиницей, вроде той, где он сейчас служит помощником директора — в старой гостинице «Швейцария». Мистеру Булабою-старшему карьера не удалась: не хватило здоровья и честолюбия. Первым он вроде бы не обделил сына, а вот последнего недодал. К своей цели — управлять гостиницей — мистер Булабой-младший шел так долго, что, когда мистер Пилаи назначил его директором «У Смита», сын едва успел известить отца и получить поздравительное письмо — старик был уже на смертном одре.

Мистер Булабой преклонил колена, помолился за упокой души усопших родителей и попросил Господа умирить его взбаламученную душу.

Но чем дольше он молился, тем неспокойнее становилось на душе. Как же закоснел он во грехе! Развратничал в Ранпуре, но это еще не все! И до женитьбы были у него женщины. И еще один смертный грех на нем — похотливые и непристойные помыслы; раз они овладели им даже в церкви: Сюзи Уильямс поправляла цветы в вазах, встала на цыпочки, подняла руки, и мистер Булабой вперил взгляд в ее круглую, ладную попку. Он также уличил себя и в других грехах: в подозрительности, ревности, жадности, зависти и трусости — хуже и придумать нельзя. «Господи,— прошептал он,— мне знаком всякий грех, какой ни назови».

Повтори, чтоб крепче запомнить, подсказал ему внутренний голос.

Мистер Булабой в неописуемом страхе оглядел церковь. Но едва ли не впервые не ощутил божественного присутствия. Он почувствовал себя совершенно оставленным, и в душе шевельнулось еще одно греховное желание. Ему вдруг захотелось вслух исповедаться, сбросить с плеч бремя грехов. Но исповедь свою он желал обратить не к самому Господу, а к утешителю-посреднику в человечьем обличье. Мистер Булабой уже виделся самому себе коленопреклоненным перед отцом Себастьяном или другим святым отцом, только тот походил на Себастьяна.

Мысленно он уже приготовил исповедь: «Святой отец, много грешен я. Ночь провел в непотребстве и блуде. Совокуплялся с женой я ради лишь похоти, а не для продолжения рода. Об этом даже и речи быть не может, Лайла вставила какую-то спираль, хотя надобности в этом нет; если уж трое предыдущих мужей не сумели ее оплодотворить, то, скорее всего, она бесплодна. По-моему, ей уже и по возрасту поздно родить, а то, что она говорит о своих месячных да о противозачаточных средствах, так это все болтовня, чтоб я, дурак, верил, что она еще молода и не слукавила мне о своем возрасте. А после ночного распутства я еще гневался, едва до драки дело не дошло. А еще я появился нагишом перед служанкой. А вместо того чтобы дать жене мудрый совет, ввел ее в искушение, оставив в озлоблении. Теперь мне даже показаться ей на глаза стыдно. А еще на мне грех прелюбодеяния с одной особой из Ранпура и сладострастного ожидания встречи с ней. В безумии своем я даже приобрел непотребное одеяние для «казачка», ибо не удовольствовался «двойным лотосом»

— но трусливо сбежал, тем самым согрешив еще, ибо обманул надежды ближней своей, наполнив сердце ее злобой или презрением, а может, и тем и другим. Тем самым из-за меня она пополнила свой и без того длинный список грехов. Мне бы отговорить ее от греховных помыслов, а я, наоборот, даже поддался им. Но страшнее всего, святой отец...

Чик-чик (едва слышно).

... то, что я грешил невниманием, душевной слепотой и глухотой, вел себя не по-христиански и не по-мужски. Ведь хозяйка гостиницы платит мне жалованье (хотя его хватает лишь на карманные расходы). Мне бы давным-давно по-христиански, спокойно поговорить с Лайлой: «Так, мол, и так, Лайла, жена моя, что же ты делаешь? Что замышляешь? Что нас ждет в будущем? Ведь и я несу ответственность как твой муж, директор гостиницы, да просто как христианин, и мне необходимо убедиться, что мы творим добро, а не зло». Но, увы, мне дороже покойная жизнь, и я цепляюсь за нее до последнего...

Чик-чик (едва слышно).

... а она вот-вот закончится не только для меня, но и для тех, кто мне доверяет как директору: ведь я обязан следить, чтобы в довольствии и благополучии жили не только слуги, но и полковник с супругой, они уже старики, мистер Смолли к тому же болен; что станется с ними, если гостиницу снесут?»

Чик-чик (чуть слышнее).

Звук этот доносился едва различимо; в церковной тишине в то утро любой шум отдавался эхом мирской суеты за стеной. И звук этот вдруг насторожил мистера Булабоя. Даже волосы на голове стали дыбиться — словно поднялось множество маленьких антенн, настроенных на близящуюся беду.

Чик-чик (громче).

Мистер Булабой, пошатываясь, встал на ноги. А что, если какие-нибудь подонки крушат и ломают все на церковном дворе. Нетвердо шагая, он пошел по проходу меж скамьями к южному выходу, распахнул дверь и едва не упал в простертые в страхе руки миссис Смолли. Она взвыла — так, наверное, воют привидения, появляясь перед своей жертвой.

* * *

— Ну и напугали же вы меня, мистер Булабой.

Признаться, он и сам испугался: стоял разинув рот, выпучив глаза. Перевел взгляд с миссис Смолли на двор, потом оглянулся на дверь, захлопнул ее так, что лязгнула щеколда. Будто он делал в церкви что-то предосудительное и сейчас не хотел пускать туда миссис Смолли.

До женитьбы мистер Булабой слыл человеком тихим и скромным, хотя и охочим до женщин. Люси полагала, что это преувеличение, ведь ей приходилось довольствоваться лишь рассказами Слоника. И совсем уж невероятно, чтобы мистер Булабой предавался блуду под сенью алтаря — так низко он не мог пасть. Правда, помнится, эта пигалица Сюзи Уильямс частенько уединялась в храме с мистером Булабоем якобы по делам церковным, и кумушки (а вместе с ними и Люси — из самых добрых чувств к бедняжке Сюзи) решили, что рано или поздно дело у них сладится.

— Признаться, я и сам испугался,— пробормотал он, нервно ломая чуть не до хруста пальцы, отчего миссис Смолли хоть и немного, но укрепилась в своих подозрениях. — Я только что вспоминал вас.

— Неужели, мистер Булабой?

Очень занятно всегда видеть, как краснеет индиец. Будь он даже темнее, чем мистер Булабой (у того кожа цвета кофе с молоком), она угадывала безошибочно, когда он краснеет. Мистер Булабой стоял потупившись, смотрел себе под ноги, ей под ноги — куда угодно,

только бы не глядеть ей в глаза. Неужто ее предчувствия оправданны — с трепетом (отнюдь не бесприятным) подумала она. Обычно мистер Булабой одевался аккуратно, всегда при пиджаке и галстуке, сегодня же он либо торопился утром и не успел привести свой туалет в порядок, либо позже, с чьей-то помощью, этот порядок нарушился. Он предстал перед Люси без пиджака (может, оставил в церкви), ворот рубашки открыт, но рукава застегнуты. Должно быть, Люси и раньше доводилось видеть его голую шею, но лишь сейчас она обратила внимание: хоть сам он тщедушен, шея у него красивая, отнюдь не цыплячья.

— Очень лестно, когда тебя вспоминают, если, конечно, добром. Я, знаете ли, тоже о вас думала: как вам удается содержать двор в такой чистоте.

Чик-чик-чик-чик.

Уже совсем-совсем рядом. Оба стали прислушиваться, пока не поняли, в чем дело. Из-за поворота дорожки показался Джозеф, он медленно, переваливаясь из стороны в сторону, передвигался на корточках (как танцор вприсядку, чей танец прокручивается в замедленном темпе), выставив вперед, словно краб клешню, большие садовые ножницы.

Он стриг траву.

— А, так это ты, мали!— воскликнула Люси.

Парнишка взглянул на нее, разогнулся и поднялся на ноги. Держа ножницы в левой руке, правой он отдал честь, вид при этом у него был самый серьезный. Мистер Булабой направился к нему, скорее даже на него, что-то крича на хинди. Мали не двинулся с места, но взгляд потупил.

— Что вы ему, мистер Булабой, сказали? Надеюсь, вы не ругали его?

— Я спросил, почему он не работает у вас в саду. Сюда ему разрешается приходить только в свободное время.

— То есть он и здесь работает?

— Только в свободное время и совершенно бескорыстно. А вы разве не знали?

— Не помню. Может, вы и говорили.— Мали виделся ей теперь не просто садовником.— Право же, не нужно его ругать. Он же ничего дурного не делает. Сегодня утром я попросила его прекратить работу. Голова разболелась, да и полковнику нездоровилось. А что, Джозеф — христианин?

— А вы не знали?

— Не помню, может, вы и говорили,— снова повторила она,— да я забыла. Мали, ты умеешь говорить по-английски? Ты же христианин, значит, хоть немного, но знаешь английский. Ну, хотя бы молитвы.

Джозеф лишь покачал головой.

— Немного говорю, мем-сахиб. Читать не умею, разве что чуть-чуть.

— Но говоришь ты очень хорошо! А что ты читаешь?

Чуть смешавшись, он указал на ближайшее надгробие.

— Так ты читаешь надписи на могильных плитах? Как мило! Но зачем?

Джозеф взглянул на мистера Булабоя. Тот снова залопотал на хинди, очевидно переводя вопрос. Вот он замолчал, Джозеф снова потупился, взгляд его забегал по сторонам, но ни на мистера Булабоя, ни на Люси он так и не посмотрел. Потом вдруг быстро-быстро заговорил, замахал руками, что-то показывая. Так же неожиданно умолк и снова опустил глаза.

— Он, миссис Смолли, парень простодушный. Старается разобрать каждое имя на могильной плите. Пока могилку в порядок приводит, он молится за упокой души усопшего. И очень огорчается,

когда не понимает написанного. Он думает, если Господь не услышит точного имени в молитве, то может по ошибке отнести эту молитву к другой душе.

— Ах, вот оно что.— Люси растрогалась. Мали ей нравился: крепкий, мужественный паренек. Она умилялась, когда в таких людях открывалась чуткая душа — значит, одарены они не только физически, но и духовно.— Так вот, мали,— говорить она старалась медленно и отчетливо, а подойдя ближе, протянула руку вперед, будто хотела ободряюще положить ему на плечо, однако не положила,— покажи-ка мне неразборчивую надпись, понимаешь меня, малум?

Как прямодушен его взор! Сколько преданности и благодарности в глазах! До чего ж он предусмотрителен: спрятал ножницы за спину, чтобы она ненароком не наткнулась. А сколь легок и мягок каждый его шаг: он не лебезит перед хозяйкой, но уважительно указывает ей путь. Вот он остановился подле одной из могил, дескать, эта, однако сам молчит, предоставляя право заговорить ей. Очень обходительный юноша!

— Так вот, мали, впрочем, я буду звать тебя по имени. Так вот, Джозеф, надпись гласит: «Здесь покоится». Это понятно?

Джозеф кивнул.

— «Здесь покоится Розмари, любимая дочь Джона и Гвендолин Ферфакс-Оуэн». Впрочем, фамилия их тебе ни к чему. Дальше: «5 декабря 1891—12 апреля 1896 года». Значит, бедняжка прожила всего пять лет. Малум? Здесь лежит маленькая мисс-сахиб. И еще написано: «Пустите детей приходить ко Мне» [1]. Кто это сказал, Джозеф?

— Господь наш Иисус Христос.

— Верно. А ты можешь мне показать эту строчку?

Джозеф нагнулся, и Люси уловила терпкий запах его тела. Он указал строчку и провел пальцем по каждому слову.

— Молодец, Джозеф. Ты очень хорошо читаешь. Тебе просто трудно разбирать замысловатые имена. Но тебе нужно лишь помнить, что в этой могилке лежит Розмари, пяти лет. Малум?

— Роза-мари, пять лет.

— Правильно. Несомненно, малышка Розмари попала сразу на небеса. И все же всякая молитва о ней будет услышана. Ну, а теперь покажи то, что ты можешь читать.

Мали повел ее влево, к ограде.

— Вот эта, мем-сахиб,— сказал он и остановился подле могилы Мейбл Лейтон. Она, как и все могилы на аллее, была расчищена, трава на холмике подстрижена. В свежевыкрашенной жестянке стояли цветущие бархотцы. Джозеф присел у изголовья и указал на имя.

— Мей-бел,— по слогам произнес он.

— Почти правильно, Мейбл.

— Мей-блл,— повторил Джозеф и поменял местами цветы в жестянке.

Чик!

Люси обернулась. Какой-то индиец с фотоаппаратом в руках делал снимки. Чик-чик.

— А, ты уже здесь, Ашок,— обратился к нему мистер Булабой.

— Минуточку!— воскликнул тот.— Мем-сахиб, будьте любезны, встаньте позади могилы.

Чик-чик.

Потом он сказал Джозефу что-то на хинди, тот положил руку на жестянку и не мигая уставился на цветы. Чик-чик.

— Отлично!— сказал фотограф.— Очень удачная композиция. Итак, Булабой-сахиб, что еще снимать?

— Мистер Булабой, не хотите ли вы сказать, что эти снимки опу-

---

[1] Евангелие от Марка, 10, 14.

бликуют? — спросила Люси на обратном пути — мистер Булабой пошел проводить ее до ворот и убедиться, что ее тонга не уехала. А фотограф тем временем, щелкнув еще раз-другой, вошел в церковь и стал устанавливать там более сложное оборудование.

Тонга еще ждала, но возница поглядывал уже нетерпеливо. А мистер Булабой, как нарочно, все никак не мог распроститься с Люси: кружил, едва не пританцовывая, подле нее, как вокруг праздничного костра, который нужно то разжечь, то, наоборот, унять: так и слова его были все вразнобой, точно он добивался от нее каких-то откровений. Да что же он, заигрывает с ней, что ли!

— Да, кое-что, наверное, опубликуют,— говорил он почему-то очень громко, словно старался заглушить воображаемый ветер или морской прибой.— Снимка два-три. Вы же получите все. Не позднее завтрашнего дня. Скажите мне, сколько экземпляров каждого снимка желаете. Не стесняйтесь, заказывайте сколько угодно. Ашок — великолепный фотограф, все до мелочей четко и резко.

Люси нерешительно коснулась рукой морщинистой щеки.

— Это не слишком дорого?

— Что вы! Бесплатно! Совершенно бесплатно! — прокричал он и заложил руки за спину, точь-в-точь как Ибрагим. Впрочем, нет, он спрятал их за спину, словно испугался, вдруг обнимет ее.

Ну и ну!

— Как это любезно с вашей стороны, мистер Булабой. И я, конечно, не вправе злоупотреблять вашей добротой. Достаточно будет одного-двух снимков — пожалуй, тех, где мы с мали у могилы. Я пошлю их на родину. Вы не поверите, как им обрадуются, люди так тоскуют по былому. Особенно наши старые знакомцы по Панкоту. Бас в ту пору здесь еще не было. Снимки эти очень и очень нужны. Посмотрят на церковь, на могилки, вздохнут, снова посмотрят. Уверяю вас!

Они стояли у самых ворот. Люси взглянула на часы. Половина первого. Возница сердито зыркнул на нее и сплюнул. Поеду-ка домой, решила она. Неприязнь к мужу отступила. Хотя, конечно, неплохо бы ему напомнить, что она отнюдь не бессловесная рабыня. Она женщина! Сейчас закадычный мужнин друг, можно сказать, добивается ее расположения. Будь она помоложе, ей бы это очень польстило. Да и сейчас приятно, что уж там! Нет, все-таки лучше поехать в клуб и пообедать там в гордом одиночестве — это достойно увенчает столь необычное утро.

— Простите, мне пора,— сказала она.

— Подождите! (Интересно, что он еще придумал.) Ради бога, подождите! Я пошлю с вами Джозефа. Эти возницы гонят как очумелые, а Джозеф сядет рядом с ним и не позволит ему нестись очертя голову.

— Да с чего ему нестись очертя голову? Возница он старый, ездит медленно. Он меня уж сколько раз возил, Джозеф мне ни к чему. Да и еду я сейчас не домой, а в клуб, оттуда Джозефу далеко возвращаться.

Мистера Булабоя, казалось, очень удручил отказ Люси. Но вот он встрепенулся и воскликнул:

— Но сегодня же понедельник!

— Да, понедельник.

— Но понедельник — неподходящий день для клуба. Совсем неподходящий!

— Почему же неподходящий?

— Ужасный день! Хуже на неделе не бывает.

— Да что ж ужасного? Ведь миссис Булабой по понедельникам едва ли не весь день в клубе проводит.

— Вот именно, миссис Смолли! Потому-то вам понедельник и не подходит, что в клубе будет Лайла! Она меня не послушалась и, на-

верное, пойдет в клуб. Увидите ее — держитесь подальше. Близко не подходите. У нее что-то вроде горячки. Бредит, заговаривается, делает все невпопад. Ей бы в постели весь день лежать.

— Так, может, она и лежит себе дома. Конечно, мне не стоит лезть на рожон, не дай бог заразиться, спасибо за совет, я, конечно, к ней не подойду. Но чем все понедельники плохи — вот чего я в толк не возьму. Жена ваша заболела ведь только сегодня.

— Да в бридже все дело. В бридже! Бридж — это и есть горячка! День-деньской играют: роббер за роббером, роббер за роббером. Деньги летят в трубу, игроки ссорятся, гоняют туда-сюда официантов: то за кофе, то за бутербродами, то им чай подавай, то чего покрепче. Посетители ресторана жалуются: дескать, официантов не дождаться, они знай себе меж кухней и игральным залом снуют. А те, кто в бридж не играет, часами обеда дожидаются. Так и называют понедельник «черным» и в ресторане в этот день стараются не появляться.

— Я об этом и понятия не имела. Как любопытно! Все же рискну, съезжу в клуб, может, с голода не умру, дожидаясь официанта. Да мне много и не надо — одного бутерброда хватит. Аппетит у меня невелик.

— Что ж, раз решили — поезжайте,— вздохнул (никак с отчаянием) мистер Булабой.— И передайте полковнику, что нам с ним сегодня не удастся посидеть и поболтать. Я никак тоже заболел.— И он отступил на несколько шагов, как бы убоявшись заразить Люси.— Простите меня, пожалуйста. Я ужасно безответственный человек. И о чем я только думал. Дай бог, чтобы не оказалась холера. Ни к кому не подходите, ни с кем не заговаривайте.

И вновь он принялся с хрустом ломать пальцы.

— Мистер Булабой, доктор Митра может удостоверить, что последний случай холеры в Панкоте был давным-давно, когда в Ранпуре вспыхнула эпидемия. С ней очень быстро и без труда справились. Если у вашей жены жар или озноб, это скорее всего из-за пищи, съела что-нибудь, чего желудок не принимает.

Люси повернулась и медленно (намекая мистеру Булабою, что она благосклонно разрешает проводить себя) пошла к коляске. Уже залезая на сиденье, сказала:

— Я, возможно, позвоню полковнику Смолли из клуба. Передать ли ему, что вы из-за болезни опасаетесь встречаться сегодня? Или вы пошлете ему записку? А может, к вечеру и горячка спадет?

— Будьте любезны, все же передайте. Возможно, я и запиской его извещу.

Мистер Булабой совсем понурился. А Люси улыбнулась ему из коляски и, придерживаясь левой рукой за откидной верх, правой помахала на прощанье.

## *Глава десятая*

Коляска отъехала, а мистер Булабой не тронулся с места: так в грезах Люси провожал ее Тул. Сколько раз он смотрел ей вслед, бедный, молчаливый, охваченный страстью! Страсть эта и днем и ночью снедала его. Как мучительно лишь видеть свою возлюбленную! Потом он места себе не находил. Но что ему мученья! Он готов на все, лишь бы вернуться и еще хоть раз увидеть ее...

— Приеду в клуб, сразу же закажу обед,— решила Люси.— Или нет, сначала попрошу коктейль и сяду за маленький столик в дальнем углу — там никто не побеспокоит. Впрочем, если увижу миссис Менектара, спрошу, нет ли у нее снимка Розового Дома, каков он сейчас. Потом напишу письмо Саре. скажу, что мы будем рады познакомиться с мистером Тернером. Сообщу, что дня через два вышлю ей отдельно фотографии (совсем свежие), на одной из них у могилы

Мейбл стою я и мали, который за ней ухаживает. Будет ли честно умолчать, при каких обстоятельствах сделали снимок? Да. Я ведь пишу коротко. Надо бы послать письмо уже сегодня, чтобы его получили до отъезда мистера Тернера. А об оттеночном шампуне я попрошу в постскриптуме.

Коляска медленно взбиралась на Восточный холм. Все обдумав, Люси решила поступить иначе: сперва позвонит Ибрагиму, скажет, чтобы к обеду ее не ждали и что вечером она не пойдет в кино. Потом она непременно закажет себе коктейль, а то и два. Пообедав, напишет Саре и опустит письмо в почтовый ящик возле клуба. К пяти часам — как раз к чаю — она пешком дойдет до Розового Дома, вдруг застанет миссис Менектара, если не удастся поговорить с ней в клубе.

— Розовый Дом, мистер Тернер, очень красив. Это самый старый особняк в Панкоте. Там я провела свои самые счастливые дни. Мы жили там после Лейтонов. Дело в том, что после провозглашения независимости Слоника попросили еще послужить в армии год-другой, мы согласились остаться (до пенсии далеко, да и индийцы заинтересованы в помощи старших английских офицеров — шла перестройка армии). Вы сами убедитесь, что как раз в армии и сохранилось то, что мы прививали на века. Неудивительно, в 1947 году почти весь командный состав из индийцев был английской выучки. Кое-кто из них в одночасье стал генералом. И грустно и смешно, мистер Тернер, подумайте только, бывшие однокашники в военных академиях, бывшие сослуживцы по полку вдруг оказались в разных лагерях во время войн Индии с Пакистаном, взять хотя бы последнюю. Меня убеждали, что это не так уж и плохо. Если один генерал знает другого, ему понятно и как тот будет действовать. Но мне думается, это палка о двух концах, и поэтому почти наверняка ни той ни другой стороне не победить. Хотя в декабре прошлого года Индия одержала удивительно легкую победу. Офицеры в Панкоте до сих пор ходят задрав нос, и их можно понять.

Лошадь оступилась, и коляску тряхнуло.

— Вы знаете, мистер Тернер, держаться былых привычек — очень мудро. Уже столько лет жизни здесь я следую им, сама того не замечая. Надеюсь, вы согласитесь поехать со мной в клуб на таком же драндулете. Машины, как раньше, у нас теперь нет. Правда тонга — так называется эта коляска — будет взбираться на холм целую вечность, особенно если нас будет двое, зато это самое надежное средство передвижения. Панкот стоит на холмах, улочки кривые, на машины не рассчитаны. Хотя теперь машин каких только нет — и военных и гражданских. А раньше, еще до нас со Слоником, только самым высоким чинам выделялись легковые машины, да и в нашу бытность здесь чаще ездили в тонгах. В ту пору и возниц, и пассажиров было больше.

Во всяком случае мне тонга нравится больше, чем такси. А если ехать в клуб, так лучше и не придумать, сидишь спиной к вознице, любуешься прекрасным видом панкотской долины. Этот холм, на который мы сейчас въезжаем, называется Восточным, здесь издавна жили англичане. Слева — площадка для гольфа. Справа, вниз по дороге,— шпиль церкви святого Иоанна. Завтра я вас туда свожу. Надеюсь, Саре понравились фотографии, которые я ей выслала. Но у вас и получше снимки выйдут. Вот, взгляните вниз, мистер Тернер,— там, в долине, базар. А слева старые здания между деревьев — бывший штаб округа, где Слоник работал во время войны. Ну, а это, конечно, «Шираз». Безобразное здание, правда? Раньше с холма видно было и «У Смита», но теперь, к сожалению, его заслоняет «Шираз». Из-за него и центральной больницы почти не видно, вон там, в полумиле от «Шираза»,— кучка белых домов в рощице. Справа вам прекрасно виден Западный холм, там строили, да и по сей день строят виллы бо-

гатые индийцы. А отсюда как на ладони виден базар. Чем-то он мне напоминает базар в Гулмарге. Когда по утрам на улице туман, верхние этажи этих старых деревянных строений словно парят в облаках. Кое-кто полагает, что они построены в швейцарском или тирольском стиле. Мне они порой напоминают об Англии, холмы на горизонте так милы. А этот холм называется Южным. Точнее, холмов несколько. Один за базаром, там стоит Панкотский стрелковый полк. Юноши из горных деревень и по сей день приходят к вербовщикам. Так в Панкоте издавна повелось. Серый особняк — резиденция коменданта, ни в одном доме нет таких сквозняков. Полковник Менектара с семьей просто отказались там жить. А чуть-чуть левее — полковая столовая-клуб. Я попрошу полковника Менектару показать ее вам. Там ничего не изменилось, все как раньше, что, по-моему, весьма приятно. К сожалению, Розовый Дом отсюда не увидеть. Он позади и выше, да и далеко отсюда, последний дом на Клубной улице, мы еще не доехали до нее. На север от клуба идет Верхняя Клубная улица, поднимемся на нее, и вам откроется самый красивый вид Панкота. На задах сада Розового Дома есть крутой обрыв, а внизу — живописная долина, за ней еще холм, дальше еще и еще, все выше и выше, они переходят в далекие горы с шапками вечных снегов, и в самый жаркий день ветерок приносит оттуда прохладу и запах смолы.

Горы вы, конечно, повидали, когда ехали со станции. Дорога переваливает через Южный холм — другой нет. Я так ясно помню утро, когда мы со Слоником приехали сюда. Больше тридцати лет минуло с той поры. А день тогда, мистер Тернер, выдался такой же погожий, как и сегодня. За нами из штаба округа прислали машину. И на перевале, когда я увидела внизу долину, а кругом горы, я подумала: «А может, здесь не так уж и плохо». Так надоели бесконечные скитания, ни кола ни двора, что ни год — то переезд. И в Панкот поначалу мне ужасно не хотелось. Разве о такой жизни я мечтала, приехав в Индию.

Однако в Панкоте я знавала счастливые дни. Пожалуй, только еще в одном индийском местечке выпадали такие же, в маленьком княжестве Мадпур. Я и Индию-то представляла лишь по служебным письмам, которые печатала в конторе Смита и Койна. Их отсылали лейтенанту, потом капитану Махварского полка С. У. Смолли: шла переписка относительно завещания усопшего Ф. Дж. Смолли, точнее, капитану посылали копии, а сами письма адресовались в банк в Бомбее. Бомбей! Слово-то какое звучное. Мне думалось: какое чудо, что письмо, напечатанное мною в Лондоне, попадет в банк в далеком Бомбее, найдет бог знает где Слоника (штемпель с его обратным адресом бывал порой нечеток, писал он всегда на полковой бумаге, и адрес на ней не значился, а сам Слоник неизменно вместо своего адреса указывал адрес банка). Эмблему Махварского полка я запомнила на всю жизнь, могу по памяти нарисовать: слон с огромными бивнями, на спине у него паланкин, а за паланкином — раскидистая пальма. Я тогда понятия не имела, как индийцы называют паланкин, как произносится Махвар, да и мой хозяин, мистер Смит, знал не больше моего. Но все неведомое и незнакомое так привлекает! Среди скучных пыльных папок с делами (в основном — завещания) вдруг увиделся мне пока неизвестный молодой офицер в далекой Индии. Ах, мистер Тернер, только с ним в моей жизни связано все сколько-нибудь романтичное и таинственное.

Конечно, у девушек из отдела судопроизводства жизнь была повольготнее, но там начальствовал мистер Койн-младший; мне порой приходилось печатать под его диктовку (когда болела Мейбл Темпл), и я его терпеть не могла. Раз, помнится, он назвал меня приходской девой. Назвал, правда, за глаза, в разговоре с Мейбл Темпл, и я слышала, как она смеялась. Она носила прическу как у Клары Боу, курила дешевые сигареты; когда умер Валентино, едва ли не месяц ходила

в трауре, очень печальная, а временами даже ударялась в слезы прямо за работой, и мистер Койн-младший ее утешал. По-моему, ему это даже нравилось. Был он высок, худ, и можете мне не верить, но он покрывал лаком ногти. Я как-то говорю Марте Прайс: дескать, бог ему рост дал, а умом обделил и что у меня от одного его вида мурашки бегут. С тех пор Марта Прайс стала меня с собой брать то в кафе, то в кино. Я в то время снимала квартиру, потому что обстановка дома невыносимая: мама все оплакивает сыновей-близнецов, они год как погибли в автомобильной катастрофе; у мамы все время срывы — теперь это называется психосоматическим состоянием. Она требовала, чтобы я неотлучно находилась при ней, конечно, работа от этого только страдала, меня вообще могли уволить, ведь приходилось без конца отпрашиваться в конторе. А раз вечером я разревелась прямо при отце: мистер Смит попросил меня подыскать другую работу, поближе к дому. Мне-то ездить сорок минут туда да сорок обратно на электричке и автобусе, и так каждый день, даже по субботам. Но ведь только на работе я чувствовала себя свободной, самостоятельной, понимаете? Отец в тот вечер меня понял. Он с детства, с той поры как меня остригли почти наголо, называл меня Бобрик. А тогда мне уже минуло двадцать пять, и пять лет я проработала у Койна. То было первое и единственное место, где работалось в радость, хотя я и не со всеми девушками ладила. Поначалу я, наверное, казалась им гадким утенком. Появилась я там, помнится, году в двадцать пятом.

Я выросла в семье священника и одевалась, разумеется, подобающе — юбки чуть не до щиколоток, а как я причесывалась! Представляете, мистер Тернер, я делила волосы на прямой пробор и опускала на уши крендельками — точь-в-точь наушники! Боже, какое уродство! Я никогда не стриглась коротко. Так жалко было расставаться с волосами. Я вообще не стриглась, пока не стала сама снимать квартиру. Так вот, отец посоветовал мне не уходить из конторы и определил меня в Общество молодых христиан. Домой я стала приезжать лишь на выходные, да и то не всегда. В самостоятельной жизни я поначалу беспокоилась по пустякам, чувствовала себя очень скованно. Но зато я вырвалась из дома, этого ужасного склепа, где мать бесконечно оплакивала близнецов. Немного погодя мистер Смит даже меня похвалил: вы, говорит, и прежде работали хорошо, а теперь стали еще лучше. И жалованье прибавил на семь шиллингов шесть пенсов в неделю. На работу я приходила раньше всех, оставалась и сверхурочно — ведь теперь не нужно было спешить на электричку. Мало-помалу я покороче сошлась с другими девушками из конторы. Они оказались очень славными.

Из Общества молодых христиан я скоро ушла. Марта Прайс — это секретарша старого мистера Койна — подыскала мне скромную квартирку в одном доме очень строгих правил. Марта с матерью жили по соседству, в Блумсбери. Она была старше меня и поэтому взялась меня опекать. Марта слыла в конторе синим чулком, я ее даже побаивалась. Как же я удивилась, узнав, что она любит потанцевать и обожает кино. На танцы мы не ходили, но у нее дома был маленький патефон, и Марта учила меня танцевать, сама — за партнера. Ну, а кино я любила не меньше Марты: точнее, в те редкие дни, когда меня отпускали, я с удовольствием смотрела любую картину, а пристрастилась к кино по-настоящему уже с Мартой. Мы ходили раз, а то и два в неделю, порой высиживали два сеанса подряд. Если убежать с работы днем в субботу в какой-нибудь дешевый кинотеатр в Уэст-Энде — все получается скомканно, впопыхах, нам больше нравилось ходить в «Лайонс», там можно было перекусить пирожками, картофельной соломкой, выпить чаю. Но лучше всего ходить на вечерние сеансы: хоть и устанешь до смерти, все тело болит, голова кругом идет от слепящих огней рекламы, идешь себе такая счастливая, держишь покрепче подружку под руку, а то непременно кто

пристанет. Мы мнили себя такими отчаянными, еще бы, пешком по ночному Уэст-Энду! Вы просто не поверите.

Я часто думаю о Марте. Может, в ее чувстве ко мне и было нечто противоестественное, но в ту пору я о подобном и знать не знала. Как взревновала она, когда в моей жизни появился Слоник.

Помню, он приехал в Англию на долгую побывку и однажды, даже не позвонив предварительно мистеру Смиту, явился в контору. Хозяин был занят с клиентом, но Слоник сказал, что подождет. Я угостила его чаем и усадила в своей крохотной комнатенке. Так вот каков мой офицер из Индии! Господи, как эта встреча меня взбудоражила! Но держалась я почти что спокойно. Я представляла Слоника совсем иным, впрочем, нельзя сказать, что он меня очень разочаровал. Со мной он разговаривал дружелюбно и открыто, хотя особо и не откровенничал. Спросил меня кое-что о покойном Ф. Дж. Смолли, как бы объясняя, зачем он пришел к мистеру Смиту и чтобы я успела приготовить необходимые документы — он не хотел отнимать много времени у мистера Смита. Слоник так изумлялся, видя, что я в курсе всех его наследственных дел, знаю о перемещении капитала, которое устроили опекуны: Слоник по завещанию должен был получать пожизненно процент с этого капитала. Он даже сказал: «Ну, мисс Литтл, мне теперь даже незачем беспокоить мистера Смита». Разумеется, он шутил.

Боюсь, умрет Слоник, и больше мне с этого капитала не достанется ни пенса. Впрочем, и сейчас-то доход не ахти какой, но все же подспорье. То деньги его деда. Отец и мать Слоника умерли молодыми и не оставили сыну ни гроша. Воспитывался Слоник у дядюшки, а дед — тот самый Ф. Дж. Смолли — оставил капитал, с которого Слонику пожизненно полагалась рента. Денег этих ему хватило, чтобы получить образование и добавлять на первых порах к армейскому жалованью. Особенно кстати пришлись эти деньги, когда Слоник ушел в отставку — ведь ему приходилось регулярно платить взносы в Фонд офицерских вдов и сирот, это на тот случай, чтобы мне не умереть с голоду, если останусь одна. Умрет он, и пенсию его мне платить перестанут, хотя и она — сущие гроши. В Англии с таким доходом мы бы оказались в числе тех, кто живет в нищете. Конечно, я и от Фонда кое-что получу, и, может, по королевскому указу мне пособие выделят. Жизнь свою Слоник никогда не страховал, денег не откладывал. Знаете, мистер Тернер, единственный раз у нас оказались приличные деньги на руках — компенсация индийского правительства, ведь Слонику пришлось бросить военную службу в 1949 году, еще совсем не старым, ему было лишь сорок восемь. Так денег тех давным-давно нет.

Ничего уже нет. Тогда мне выпали немалые, как я называю, потрясения. Впрочем, зачем вам все это? А Слоника я уже давно-давно простила. Во всяком случае он поступил даже благородно (в отличие от одного своего коллеги) и продолжал, уйдя в отставку, делать взносы в Фонд, хотя имел право больше не платить. А тот его коллега возьми да и забери всю накопленную сумму, жена прознала, ее едва удар не хватил: случись мужу завтра умереть, она по миру пойдет, разве спасет нищенское королевское пособие. И пришлось ей последние свои гроши в Фонд вносить, а потом на какие только уловки она не пускалась, чтобы на ежемесячные взносы наскрести.

Так что вы сами видите, в каком плачевном положении может оказаться женщина, всю жизнь верно следовавшая за мужем-офицером. Люди думают: ага, полковничья жена, мы-то вот живем в бедности, а она небось благоденствует: и пенсию ей платят, да и на черный день скоплено немало или, может, наследство досталось.

И почему всегда думают (во всяком случае, я сама это не раз слышала), что офицеры и их жены очень обеспеченные люди, на деле-то скуднее жалованья, чем у военных, и не найти. В Англии, у

мужа не хватило бы средств, чтобы служить в сколько-нибудь приличном полку. А в Индии ему не приходилось мечтать о престижном полке. Поэтому проценты с дедушкиного капитала Слонику, как говорится, сам бог послал. Помнится, я сказала Марте Прайс, что Слоник сделал мне предложение и я его приняла, и что не пройдет и месяца, как мы уедем в Индию, и не согласится ли она быть невестиной подружкой на свадьбе. А она лишь сухо бросила: «Что ж, поздравляю, ты удачно устроилась».

На свадьбу она, конечно, не пришла. Зато пришли все остальные девушки из конторы. Сейчас страшно и стыдно даже вспомнить: я смотрю на них, а они такие невидные, заурядные, может, не следовало их приглашать? Что-то подумают родные Слоника? Правда, их было совсем немного: тетка из Бейсуотера, старый опекун-дядюшка из Дорсета да двоюродный брат Сирил — он-то и унаследовал всю недвижимость Ф. Дж. Смолли, а его сыну Кларенсу отойдет основной капитал, с которого Слонику пожизненно выплачивают проценты.

А кого, кроме своих сослуживцев, могла я пригласить на свадьбу? Других подруг у меня не было. Они робко сбились пестрой кучкой — разоделись по случаю свадьбы! Как это выглядело нарочито! В большом старом доме священника им было не по себе: с одной стороны, они видели в нем господские хоромы, с другой — бедность и обветшалость этих хором, на стенах — картины, не видно блестящих современных украшений из металла — все кругом убийственно старомодно. По-моему, мистер Тернер, они остались разочарованы: думали, что Слоник придет в форме, хотя никто из нас его в форме ни разу не видел, разве что на фотографии, которую он мне подарил, я показывала ее девушкам. Они, наверное, воображали: выйдут из церкви жених с невестой, пройдут под скрещенными шпагами офицеров — друзей жениха, выстроившихся по обе стороны прохода. Может, они мечтали увидеть и махараджу в жемчугах с алмазной звездой на чалме. Да и у меня самой, пожалуй, были не менее наивные представления.

Представлять, воображать, придумывать я, видно, привыкла с детства. Как и многие девушки в те дни, я увлекалась сценой, но сама не играла — очень волновалась и стеснялась. Лишь помогала в местном драматическом кружке, да и то скорее по необходимости — сборы от спектаклей часто шли на церковные нужды. В антрактах я угощала зрителей кофе. Потом меня допустили в суфлерскую, я даже кое в чем помогала режиссеру. Суфлировать мне, правда, доверили не сразу, голос у меня тихий, думали, что его актеры и в двух шагах не услышат. Что может быть ужаснее любительской труппы! Каждый столько мнит о себе, ставит себя выше других. «Старики», разумеется, затирают молодых, не дают им проявить себя. И что в Англии, что в Индии — все одно! Однажды мы ставили «Воспитателя» в Равалпинди. Как я хотела сыграть одну из сестер, ту, что поскромнее, Розмари, но роль, конечно, отдали другой, почти сорокалетней женщине.

В нашем церковном драматическом кружке на роли девушек могли рассчитывать лишь дочери избранных лиц, поэтому молодежь к нам и не шла. Я знала назубок каждую роль во всех пьесах, и когда мне доверили суфлировать, то поняли, что голос у меня самый подходящий. А как-то раз одна из актрис не явилась на репетицию, и я проговорила всю ее роль наизусть, а остальные — читали. Простите за хвастовство, но многие актеры были просто поражены, а режиссер сказал, что на будущий год попробует меня в новом спектакле, если будет подходящая роль.

Но на будущий год я встретила Слоника, да и из дома уже ушла. Кое-кто из нашей труппы пришел на свадьбу, в том числе и режиссер. Он сказал: «Не прощу вам ни вашего замужества, ни отъезда в Индию, ведь нынешней осенью мы хотим рискнуть и поставить «Письмо», и я считал, что лучше вас никто не сыграет Лесли Кросби».

Сказал он это в присутствии Слоника. И ему даже выговорил: «Вы увозите очень способную юную актрису-героиню. Ничего, она и в Индии себя проявит на главных ролях».

И что же? Когда подвернулась возможность, Слоник мне не разрешил. Мы тогда ставили «Ветер и дождь». Ну в чем моя вина? В том, что я люблю театр, но боюсь выходить на сцену? Любой бы на месте Слоника понял, что в боязни этой и есть залог хорошей игры. Неужто он забыл или пропустил мимо ушей напутствие режиссера?! С первого взгляда на Слоника вы, конечно, так и решите. Но видели б вы его раньше, до того, как он разительно переменился. Теперь в его словах не отыскать никакой логики. Он не прислушивается ни к чьему голосу, кроме своего, не считается ни с чьим мнением, разве что со своим. Но на самом деле он все прекрасно понимает. И слушает и слышит, но не внемлет. Все-то он отрицает и ниспровергает; все, что ему не угодно.

Вы-то видели лишь его «гостевую маску». Он вас в два счета заговорит. А когда мы одни, все иначе. Порой молчит часами напролет. В последнее время мало кто слышал какие-либо его суждения. И все же раньше он был куда сдержаннее. Держался всегда безукоризненно, предельно скромно. Такому можно во всем довериться. В самый первый раз я увидела его со спины, он стоял у окна в приемной. Я окликнула его: «Вы — капитан Смолли?» И он обернулся. Я почему-то представляла его худощавым и смуглым, непременно в военной форме. А он оказался невысоким, скорее коренастым, нежели худощавым, в штатском — одним словом, весьма заурядным. Но я ни капельки не разочаровалась. Мне понравился его открытый взгляд. Я сказала, что мистер Смит занят и что я — его секретарша. «Так вы — ЛЛ? Точно, вы — ЛЛ!» — воскликнул он.

Я была так тронута. Значит, он обратил внимание, что на всех письмах нашей конторы внизу значились мои инициалы. Понимаете, мистер Тернер, с первой минуты Слоник доказал, что он весьма наблюдателен.

То было лето тридцатого года. Он впервые надолго приехал на родину. Отпуск кончался у него в ноябре. Девушки у нас в конторе сразу смекнули, к чему все идет, я же последней поняла, почему он сверх меры любезен с секретаршей своего адвоката; почему не прочь скоротать время в ее обществе, дожидаясь мистера Смита; почему, как правило, приезжал раньше назначенного времени.

А однажды — в первый и последний раз — он пришел позже, его приняли последним. Когда он вышел, я уже накрыла чехлом машинку, надела пальто и шляпку. Он понял, что задерживает меня, и вызвался немного подвезти, сам он ехал в Бейсуотер.

У Чансери-Лейн он нанял экипаж. Где-то в районе Блумсбери мне вдруг подумалось: бедный капитан Смолли! Ведь он, как и я, из робких. В Лондоне ему, наверное, скучно после великолепия Индии. Должно быть, ему не терпится вернуться, там у него друзья. И только тогда я прозрела: а неспроста он названивает и захаживает к нам в контору так часто, право же, дела его этого не требовали, их и без него нетрудно уладить. Девушки-то все поняли сразу.

После того вечера я подумала: а почему бы ему и не прийти просто поболтать со мной? Хотя знакомых у него в Лондоне мало и ему одиноко, может, приезжал он ко мне не только из-за этого... а из-за меня самой? Да. Из-за меня. Пусть я простая секретарша, вынужденная работать ради куска хлеба, все-таки (простите, мистер Тернер, за старомодный стиль) я из хорошей семьи, отец мой — священник, а бабушка состояла в отдаленном родстве с ныне покойным сэром Персивалем Ларджем, помещиком из Пирс-Куни в Сомерсете. Там мой отец получил первый свой приход. Об этом родстве Слоник знал; он как-то спросил, знакомы ли мне края в Дорсете, и я ответила: нет, скорее в соседнем Сомерсете — и рассказала, как сразу после войны

три года подряд мы с близнецами гостили там летом по две недели. Незабываемое время! Рассказала и о родных, благодаря которым мы туда наезжали. Рассказала все как есть. Не хотелось пускать ему пыль в глаза: вот, дескать, какие знатные у меня родственники.

Несколько дней спустя он позвонил снова. И из разговора я еще раз убедилась, что ему одиноко. Он сказал, что собирается вечером в театр, у него два билета в ложу, и предложил мне пойти с ним. «Если согласны, я вечером заеду за вами, мы где-нибудь перекусим до театра, после спектакля поедем ужинать». В тот день я даже не обедала. Ведь он сказал — билеты в ложу, а в те дни в ложу и бельэтаж принято было ходить в вечерних туалетах, да и вообще в театр ходили приодевшись, а не как попало. Думала я: если капитан, посчитав меня простушкой, приедет сам в обычном костюме, я успею скорехонько сменить вечернее платье на повседневное, главное, чтоб он убедился, что со мной не стыдно показаться там, где приняты вечерние туалеты.

И в обеденный перерыв я помчалась на Оксфордскую улицу, потратила едва ли не все свои сбережения. Нет, вечернее платье у меня было — длинное, черного шифона. Был у меня и палантин — черный, под соболя, на самом деле — крашеный кролик. Это было мое единственное украшение «на выход», я привезла его из дома весной того года; я мало-помалу вылезала из своей скорлупы, появлялась на людях, и палантин был кстати. А все свои деньги я истратила на другое: у меня не было приличных туфель и перчаток. Я заплатила уйму денег за черные туфли и черные перчатки, но без этого в театр не пойдешь.

А еще я купила сумочку. Прекрасно ее помню: темно-зеленого муара: прекрасно дополняла мой вечерний туалет, а к ней — платочек в тон, чтобы не пестрило. Я всегда очень придирчиво подбирала цвета. Глаза у меня почему-то никак не могли определиться: то они серые, то голубые, то цвета фиалки, то зеленые. В ту пору, например, чтобы подчеркнуть их зелень, я надевала что-нибудь в тон. Потом, наоборот, пурпурное или бордовое. Ну, а к старости выцвели мои зеленые глаза. Впрочем, это уже пустая, чисто женская болтовня, и вам, конечно, слушать неинтересно.

Итак, у меня был черный палантин, черное шифоновое платье, туфли, перчатки и еще сумочка! Спускались дивные июльские сумерки. Вечер сулил мне настоящий праздник. Вот подъехала коляска. Появился Слоник в вечернем костюме. Оглядел комнату, похвалил. У меня всегда было чисто и опрятно, хотя квартирку я снимала маленькую: гостиная, оттуда дверь в спаленку. Я купила к его приезду шерри. Мы немножко выпили, и я ушла в спальню за палантином и сумочкой. Вернулась, смотрю — Слоник стоит у окна, как и в день нашего знакомства в конторе. Тут он повернулся. Хоть и не сказал ни слова, я обо всем догадалась по его лицу. В комнату заглядывало заходящее солнце, и я стояла в его лучах. Но мне казалось, что и свет и тепло исходят от Слоника. Таким солнечным, теплым мне и запомнилось то лето. Солнце, бог мой, сколько было солнца! Женщине оно необходимо. В Индии, конечно, солнца тоже хватает, но там оно иное, вы, надеюсь, меня понимаете. Мне нужно солнце, чтоб грело душу, а без него я увядаю, гасну, умираю. Как запущенный сад.

Так вот, не успели мы приехать в Индию, как мое солнце все чаще и чаще стало прятаться за тучкой. А солнце в небесах, наоборот, нещадно палило. И так день за днем, неделю за неделей — ни облачка. А моя тучка все росла: не очень-то приветили люди жену капитана Смолли; да и его самого тоже.

Но переехали мы в Мадпур, и тучка вроде исчезла. Хотя как раз в Мадпуре неделями напролет лил дождь. Местный люд поначалу радуется дождю. Но сезон дождей долог, и скоро он всем надоедает. А мне не надоел. Слоник видел, что я счастлива, думал, наверное, отто-

го, что все в диковинку: раджа, дворцы, слоны. Я представляла Индию диковинной страной, и Мадпур оказался именно таким! А еще, знаете, там мне не докучали, именно не докучали офицерские жены, как в Махваре, где часто приходилось сносить их «любезность». Но, главное, мне было хорошо в Мадпуре, потому что было хорошо и Слонику. В том маленьком княжестве англичан больше не было. Советник наезжал редко. И мы наслаждались уединением. Слоник любил работать в одиночку и работать с индийцами. Ему было хорошо, и потому он прекрасно ко мне относился.

Как не хотелось мне уезжать из Мадпура! Но нас перевели, и такого уголка больше не встретилось. Все наподобие Махвара: при знакомстве даешь визитную карточку, соблюдаешь все церемонии, точно знаешь чин и положение каждого. Я-то не особо роптала, да и Слоник тоже. Но что удивительно, мистер Тернер, мы стали роптать друг на друга. Когда мы покидали Мадпур, сезон дождей уже кончился, на небе снова ни тучки, лишь где-то далеко на горизонте маячит облачко, словно ждет не дождется, когда же я наконец спущусь на землю. Облачко то — мужнино отчуждение. В первый раз оно омрачило наши отношения еще в Махваре, а потом надвигалось все ближе и ближе, становилось все больше и больше, пока не заполонило все небо моих грез. Наверное, и от меня исходило такое же облако и так же омрачало жизнь Слоника.

Может, напрасно я вам все это рассказываю. Просто Сара написала, что вы интересуетесь жизнью англичан, оставшихся в Индии, значит, вам небезразлично, как складывалась у них жизнь. Конечно, у всех по-разному, даже в нашей семье: для меня — так, для Слоника — эдак. Правда, я не знаю, в чем именно эта разница, ведь мы с ним уже не говорим по душам. Мы не знаем самых сокровенных мыслей и чувств друг друга. Вы небось думаете, что после сорока лет супружества это уже и ни к чему, раз у нас нет детей, да только, думается, дело совсем не в этом. Кстати, Слоник попрекал меня всем чем угодно, но только не этим, а я не винила его. И не в том, наверное, дело, что мы живем в Индии, хотя отчасти и Индия виной наших размолвок: когда я задумываюсь о своей здесь жизни, вспоминаю все до мелочей, то вижу, что все самое худшее в нас открылось именно в Индии. Я не имею в виду «Свободную» Индию, хотя, положа руку на сердце, большой разницы между Индией былой и теперешней я не вижу. Когда-то я и впрямь была «мем-сахиб», а Индия принадлежала нам, англичанам. А мы принадлежали ей, я сидела словно на привязи и воображала, что важнее дела и не придумать, чем достойно (согласно чину и должности мужа) представлять его «семью». Главное — не переусердствовать, но и послабления себе не давать, всегда чем-то можно помочь мужу.

Вы небось думаете, что я благодатный для этого материал, этакая глина — лепи что хочешь. Верно, я была такой. Меня с детства приучили знать свое место. Но я думала: вот выйду замуж, и все переменится. Мне казалось, что Слоник навсегда вызволит меня из этой трясины. А он лишь перетащил меня из одного болота в другое. Дома я не видела отца: он либо запирался в кабинете, либо навещал прихожан. В Индии Слоник целыми днями пропадал в штабе. В Англии я работала на «Смита и Койна». В Индии пришлось работать на женские комитеты. «Вы и впрямь умеете стенографировать и печатать, миссис Смолли?» — изумлялись, вскидывая брови, офицерские жены, а про себя думали: «Так, значит, нам она пригодится». И они использовали меня. Я всегда была «при комитете», то при одном, то при другом, но никогда не «в комитете».

Да, у них царила непоколебимая иерархия. Скажем так: если я — капитанская жена, то найдутся другие капитанские жены, чьи мужья старше моего по должности. Считалось до дня, кто и сколько проходил в капитанском чине. И попробуй ошибись или не обрати на это внимания — тут же поставят на место, в лицо скажут, что промашку

дала. Над этими капитаншами — майорши. Получил чин майора и Слоник, и, конечно же, сыскались дамы, чьи мужья просидели в майорах дольше. А уж о полковничихах да генеральшах я и не говорю: они так высоко, что посмотришь — голова закружится. Как трудно (хотя и необходимо, я же понимаю) эту иерархию соблюдать. Помню, я прямо вся затрепетала, когда одна полковничиха назвала меня запросто — Люси, а ведь Слоник в ту пору только-только получил майора. Из-за такой пустяковины — и трепетать! Из-за пустячных обид — стараться отомстить! Но я помню и другое: когда Слоник был уже майором «со стажем», я тоже порой свысока относилась к новоиспеченным майоршам.

Да, мистер Тернер, правилам этой игры я научилась ради Слоника. Когда в конце сорок пятого он стал подполковником, я подумала: а вдруг снова выглянет солнце на нашем небосклоне. Увы! Мы даже не переменили жилье: как «У Смита» жили, так там и остались. Нас расквартировали там еще в начале войны, дали две комнаты, номер люкс, там теперь спальни супругов Булабой. В комнате побольше мы устроили гостиную, в маленькой — спальню. А жилье мы не переменили, потому что Слоник не захотел. Сколько раз могли мы получить свой домик, а Слоник все отказывался. Говорил: в гостинице жить удобнее, штаб рядом. Да и дешевле, чем содержать свой дом,— в ту пору Слоник был прижимист. Я его за это даже уважала. Меня тоже с детства приучили знать цену деньгам. Слоник и сейчас скуповат, но причина уже иная — нам приходится экономить. А тогда деньги текли, что вода меж пальцами. Сколько Слоник потерял, оставил за карточным столом; а какую совершил глупость, уйдя из армии в коммерческую фирму в Бомбее. Впрочем, об этом рассказ отдельный, а я и так вас заговорила.

Мы прожили «У Смита» вплоть до провозглашения независимости. Слоника уговорили остаться еще на годик-другой. К тому времени Розовый Дом уже освободился: Милдред уехала в Англию, а полковник Лейтон с Сарой и Сюзан перебрались в резиденцию командующего. И нам предложили Розовый Дом. Впервые в жизни я вынудила Слоника согласиться. Ведь кроме нас в округе ни одной британской семьи, так почему же нам в кои-то веки не пожить по-человечески. И впервые в жизни Слоник уступил. Правда, без ворчания не обошлось. И я подумала: а вдруг все еще наладится. А вдруг снова для нас засияет солнце. Увы — не засияло. Лишь мелькнул разок солнечный лучик, да и то, словно в насмешку, после заката.

Прекрасно помню, как праздновали здесь провозглашение независимости. Вечер четырнадцатого августа тысяча девятьсот сорок седьмого года. На плацу выстроился полк панкотских стрелков. Солнце клонится к закату, барабаны бьют «отбой». Нас приглашают на обед к командиру, на флагштоке еще реет английский флаг. Потом мы снова выходим на плац, там для гостей построили специальные трибуны. Вечереет, прохладно. Плац ярко освещен прожекторами. У нас был смешанный гарнизон: индийские части и небольшое подразделение англичан. Так они и прошли маршем мимо нас: сначала индийцы, потом англичане. Оркестр хоть и играл из рук вон плохо, но видно было, как музыканты стараются ради такого праздника. Играли в основном английские военные марши. Были даже волынщики-индийцы, они сыграли под управлением шотландского офицера «Лесные цветы». Один за другим гасли прожекторы, и вот освещен лишь флагшток с английским флагом. Рядом застыли по стойке «смирно» полковник Лейтон и новый комендант-индиец. Оркестр заиграл «Пребудь во мне» [1]. Знаете, мистер Тернер, его и по сей день играют в Дели после «отбоя» в канун Дня независимости.

---

[1] Стихотворение английского поэта Генри Фрэнсиса Лайта (1793—1847), ставшее текстом религиозного гимна.

Все было так трогательно, что я даже прослезилась. Слоник взял меня за руку, и так мы стояли, а оркестр играл уже «Боже, храни короля». Потом наступила ужасная и в то же время чарующая минута: медленно, в полной тишине, пополз по флагштоку вниз британский флаг. Доносился лишь вой шакалов с холмов, да ветер шуршал обрывками бумаги и страничками программы. В такой же тишине ровно в полночь подняли индийский флаг, и оркестр заиграл новый индийский гимн, в толпе запели, а когда оркестр кончил играть, толпа всколыхнулась от приветствий, криков, рукоплесканий. Я бы тоже похлопала в ладоши, да Слоник не выпускал мою руку до тех пор, пока вновь не зажглись прожекторы и войска не покинули плац под оркестровый марш.

## *Глава одиннадцатая*

Перед Пасхой справляли Холи, праздник плодовитости, праздник семьи у индусов. Люди из низших сословий в этот день заполняли базар, осыпали друг друга разноцветным порошком, а иногда брызгали подкрашенной водой, хотя это и не полагалось — на одежде могли остаться пятна, а другой у бедного люда нет.

Индусы побогаче праздновали Холи дома, подальше от всяких шутников, что обливают или осыпают прохожих. Кое у кого собирались гости, и праздничные игрища (правда, в меньшем масштабе) устраивались в садах. Например, супруги Менектара всегда приглашали знакомых на Холи к себе в сад Розового Дома. По словам Слоника — обычная пирушка, разве что у входа мужчинам мазнут лоб, а женщинам запястье красной пудрой. Дети под надзором маленькой няни-айи играли в Холи, в отличие от взрослых, самозабвенно — им отвели уголок сада, чтоб они никому не мешали. А взрослых — дам в нейлоновых сари, мужчин в элегантных костюмах — ждала, если опять же верить отзывам Слоника, обычная попойка в домашнем баре, закуски рядом, за шелковичным деревом, на любой, в том числе и вегетарианский, вкус.

Люси всегда с нетерпением ждала приглашения от Менектара на праздник Холи: во-первых, можно посидеть в саду, где хоть и недолго, но хозяйничала и она сама. Потом там воцарилась Милдред Лейтон и устроила теннисный корт. Сейчас же сад снова обрел прежний вид: клумбы английских чайных роз, их со знанием и любовью выращивал сам полковник Менектара — «Малютка», как прозвали его за немалый рост.

Малютка всегда бывал мил и любезен с Люси. И с его женой, Куку, у нее тоже сложились приятельские отношения: их объединяло взаимопонимание — и та и другая прекрасно знали, что хотя все жены полковников (отставных или служащих) относительно на равных, и у них — своя иерархия. Смотря с какого бока на это взглянуть. Куку всегда отчаянно кокетничала со Слоником, однако Люси и не думала ревновать. Это не опасно, но когда Слоник начинал заигрывать с миссис Десаи, Люси настораживалась. Ведь по Куку видно, что она думает, обнимая Слоника: «Ты — милый, приятный, остроумный человек, тебе всегда рады, но ты — англичанин, значит, поверженный враг».

Наверное, теперешняя молодежь и в Индии и в Англии держится других взглядов: легко знакомятся, сближаются, но как бы дружелюбно мы ни были настроены к индийцам нашего поколения, испытавшим на себе пристрастное и несправедливое отношение, в сознании тех все еще живут отзвуки давнего тревожного набата.

Куку Менектара обычно присылала приглашения на открытках с напечатанным текстом, от руки ставилась лишь дата. Текст гласил:

«Куку и Малютка празднуют Холи... числа, в доме № 12 по Верхней Клубной улице. Будем рады видеть вас, RSVP» [1].

В этом году Люси положила на стол Слонику приглашение, добавив карандашом вопросительный знак. Открытка вернулась к ней на секретер с резолюцией: «Валяй!»

Слоник вообще стал более покладистым с того дня, когда Люси уехала в клуб, выпила неподобающе много джина с содовой и вернулась домой уже после шести вечера. Она думала, что супруг закатит скандал. Но скандал не состоялся. Слоник лишь спросил (да и то этак меланхолично), хорошо ли она провела день. Приняв ванну, она застала Слоника в гостиной: он читал журнал и пил пиво.

— Я попросил, чтобы нам принесли на ужин кое-каких закусок. Билли-бой прислал мне записку — дескать, он в ресторане чуть не отравился и не советует нам рисковать.

— Очень разумно.

Она села за секретер, поставила рядом стакан джина с лимонным соком и раскрыла книгу расходов: записала сегодняшние немалые траты, прибавив к ним пару рупий — надо же за счет чего-то выкраивать жалованье для мали. До чего же мерзко ловчить и обманывать!

— В кино сегодня идешь? — спросил Слоник, когда вошел Ибрагим и поставил поднос с ужином на стол.

— Иду.

— Что-нибудь стоящее?

Люси недоверчиво взглянула на мужа. Неужто и он собирается пойти вместе с ней? Видно, ее поведение сегодня выбило его из колеи. Еще минута — и Люси пожалеет мужа. Поэтому она тут же отрезала:

— Да так, ерунда. Только женщинам и смотреть — называется «Как убить свою жену».

Слоник, увы, никогда не слыл тонким ценителем чужого юмора. До того, как характер его претерпел разительные перемены, у него и самого с чувством юмора было туговато. Во всяком случае, его шуток не понимали. Со временем он немного преуспел на этом поприще, хотя остроты его бывали тяжеловесны и грубы, а тонкий юмор собеседников до него по-прежнему не доходил. Порой казалось, что он нарочно строит из себя идиота, не замечая чужой шутки, но если случалось сострить ему, он не щадил тех, кто не сразу угадывал смысл остроты. В основном же его больше всего смешило все грубое и непристойное, а также чужие злоключения. Пожалуй, такой обхохочется, увидев, как упал человек, поскользнувшись на банановой кожуре. Слава богу, думала Люси, что муж еще не дошел до розыгрышей. И все равно, когда он начинал острить «на публику», Люси всякий раз было за него неловко, особенно когда он выставлял себя самого на посмешище.

Именно так он и поступил в прошлом году на празднике Холи у супругов Менектара. Оставив компанию взрослых, он принялся возиться с детишками; те начали бросать в него пригоршнями цветную пудру, сначала боязливо. Слоник их подзадоривал, бросая в ответ. Наконец, он вернулся к столу весь с ног до головы усыпанный синим, пурпурным, алым — лишь глаза и зубы блестят, как у шахтера, поднявшегося из забоя, где сам дьявол захоронил радужное многоцветье. И в таком виде он бросился обнимать сначала Куку, а потом госпожу Митра.

— Ну, вот видите, ваш муж совсем здоров,— сказал тогда доктор Митра и, взяв Люси под руку, повел прочь от стола вегетарианцев к обычным закускам. Постоял, подождал, пока к столу пригласят мужчин.

---

[1] Repondez s'il vous plait *(франц.)*— пожалуйста, ответьте.

Люси уже свыклась с таким четким разделением: мужчин и женщин потчуют отдельно — хотя и находила это весьма обременительным. Всех гостей рассаживали широким кругом, точнее, в два круга — в одном женщины, в другом мужчины. И хочешь не хочешь, а собеседники и справа и слева — женщины. Правда, Куку расставила стулья и на лужайке, чтобы гости могли вырваться из «окружения». К этим-то немногочисленным стульям и тянуло женщин, словно магнитом. Наверное, не привыкли рядом с мужчинами сидеть, думала Люси, да и поразмяться не прочь. Лишь кое-кто из женщин помоложе не поддавался всеобщему соблазну вклиниться в ряды мужчин. И почему это им взбрело в голову есть отдельно от женщин? Уже из-за одного этого не стоит к ним и близко подходить.

Люси, памятуя о своем возрасте, села, хотя тут же пожалела об этом — к ней сразу подошли миссис Митра и миссис Шринивасан, и пересаживаться было бы уже неприлично. Прямо перед глазами у нее маячил Слоник, а вот его как раз ей и не хотелось сейчас видеть. Стоит посреди самого старого и красивого сада в Панкоте, перепачканный с ног до головы разноцветной пудрой, клоун клоуном, и забавляет, даже скорее выжимает смех из разодетых и церемонных индийцев, разглагольствует либо рассказывает неприличный анекдот. Его не очень-то и слушали. Мужчины, видя, что женщины отходят от столов, спешили занять их места. Наконец, рядом со Слоником остался лишь Малютка Менектара, одну руку он заложил за спину (осанка у него, конечно, отменная), в другой держал едва пригубленный бокал. Он то кивал старику, то откидывал голову, беззвучно смеясь. А рассказчик все не унимался. И о чем только он болтает? — терялась в догадках Люси. Дай бог, чтобы не о последней войне с Пакистаном. Шутить об этом не следует. Почти у всех присутствующих сегодня есть знакомые, чьи сыновья или мужья пали в этой войне, в которой решалась судьба Бангладеш.

Вот Малютка предложил Слонику подкрепиться и повел к столу. По дороге тот поставил свой пустой бокал на поднос слуге и взял полный.

А миссис Шринивасан и миссис Митра обсуждали нового пакистанского премьера, господина Бхутто.

— Что вы хотите, ведь он сын бакалейщика! — негодовала миссис Шринивасан,— да и Муджибур Рахман не лучше! Как мне надоели эти бенгальцы! Вечно с ними забот не оберешься! Как англичане с ирландцами, верно, Люси?

Но ответить Люси не успела. На веранде что-то грохнуло, послышались возбужденные голоса. Гости в саду стали оборачиваться. Кое-кто даже встал, вытянул шею, чтобы получше рассмотреть, что случилось. Она и так знала наверное: Слоник что-нибудь уронил. И напоследок опозорился. Но вот голоса смолкли. Люси увидела, что собравшиеся на веранде смотрят на пол — там что-то или кто-то лежит. Если кто-то — значит, Слоник; если лежит — значит, его мог хватить очередной и, возможно, губительный удар. Люси с трудом уняла вскинувшуюся в груди тревогу. Вскорости она сменится печалью, а потом — ужасом. Вот к ней по лужайке подплыла Куку в своем роскошном сари, прелестная вестница дурного.

— Слоник, кажется, слегка оступился.

— Да что вы! Ах, Слоник, какой же он неуклюжий. Пойду-ка взгляну.

Медленно она встала, положила тарелку прямо на траву. Единственное, что остается в старости,— достоинство, и сейчас ей выпала возможность всем его показать. Сумочку она оставила на стуле. Некогда это была очень хорошая сумочка. Но под лучами предательски яркого солнца обозначились и ее немыслимые лета. Вместе с Куку Люси подошла к веранде. Мужчины, стоявшие на крыльце, расступились. Кто-то из них поднял легкий столик из тростника — оче-

видно, его свалил Слоник, когда падал. На столе, наверное, были бутылки — пол усыпан осколками. Слоник лежал недвижно, раскинувшись. Глаза закрыты. На клоунски пестром лице пугающе выделялись белые веки. Рот приоткрылся, видно, как жадно глотает он ароматный, хвойный воздух. Не понять: потерял он сознание или нет. Над ним склонился доктор Митра, пощупал пульс на левой руке. В правой, окровавленной, полковник сжимал ножку бокала.

Митра сказал:

— По-моему, он просто оступился, упал и ушибся.

— Ничего серьезного?

— Думается, нет.

Старик что-то пробормотал.

— Чуть-чуть погромче, старина!

— Домой,— отчетливо произнес тот.— Везите домой, а не в больницу! К чертовой матери больницу!

— А зачем вас в больницу? Вы здоровее здорового.

Слоник открыл глаза: на чумазом лице они и впрямь были как у шахтера.

— Люс, ты здесь, а, Люс?

— Здесь, дорогой.

— Вези домой. Не надо в больницу.

Он попытался сесть. Доктор Митра сначала воспротивился было этому, но потом сам же и помог Слонику приподняться.

— Простите, что так вышло,— сказал тот,— выпил чуток лишнего, вот и все. А тут еще поскользнулся. Нехорошо получилось. Очень нехорошо. При дамах, и так опозориться... надо ж! — И он досадливо крякнул.

Мало-помалу любопытные разошлись. Остались только Люси, Митра, Малютка, Куку да кое-кто из прислуги. Слоник закрыл глаза, помотал головой, собираясь с силами. Затем открыл один глаз, потом другой, воззрился на свой костюм, будто видел его впервые. Начал оттирать рукой штанину, потом внимательно оглядел ладонь.

— Что ж у вас в приглашении написано: «Малютка и Куку празднуют Холи»? — Он посмотрел на супругов.— Так где же праздник? По-моему, кроме меня, никто и не праздновал, хотя праздник-то ваш, индийский. Пустите-ка,— он стряхнул с плеча руку доктора Митры,— а то еще испачкаете мой дивный костюм.

Час спустя доктор Митра повез супругов Смолли в «Сторожку».

— Не очень-то вы свой праздник почитаете, а? — спросил Слоник.— Так, болтовня одна. Да повод напиться до чертиков. Как у нас на Рождество. Или на Пасху. Даже на Пасху больше смахивает. Правда, Люс? Праздник плодовитой семьи. Я, помнится, еще во времена допотопные, попал впервые на Холи и сдуру-то спрашиваю командирскую жену: «Это что, благотворительное общество представление дает? И для кого же средства собирают?» Ну и она мне целую лекцию прочитала, что такое Холи. Ее, брат Митра, с толку не собьешь. А когда Люс впервые Холи увидела, я, чтобы не оскорбить ее слух, что-то промямлил, что праздник весны, говорю. И что бы вы думали! На банкете встает моя пташка и начинает чирикать, в честь весны тост поднимает. А все молчат. Такая мерзкая, неловкая пауза. Мемсахиб, что сидела во главе стола вся прямо изъерзалась от смущения, а гостям только и оставалось сидеть да помалкивать, они-то знали, что и как нужно сказать... Люс, о чем это бишь я говорил?

— Ты рассказывал доктору Митре о моей оплошности, хотя ему это вряд ли интересно.

— Еще как интересно. Он потом сам не раз об этом расскажет на каких-нибудь званых обедах. Верно, старина? Расскажешь, брат Митра?

— Не знаю, право не знаю.

— Э, да ты никак надулся? Пошел тогда в задницу. Туда тебе и дорога. Нам всем туда дорога.— И Слоник устало запрокинул голову.

Он совершенно невыносим! Люси взглянула в зеркальце над водителем и отвела глаза, чтобы не встретиться со взглядом доктора Митры. Как безобразно муж себя ведет! Какие мерзкие слова употребляет. Люси еще не могла успокоиться после бестактного упоминания о ее давней-предавней оплошности. Случилось это в противном Махваре, а «чирикала» она при всеобщем молчании, потому что, упомянув праздник Холи, сказала: «Не понимаю только, почему все в красных тонах. По-моему, весне больше подходит зеленый». Слоник мог бы заранее объяснить ей все толком, да не объяснил. Потому и попала она в столь глупое положение. Тогда за столом враз наступила тишина, как и сейчас, в машине доктора Митры. До Люси постепенно дошла символика и значение пурпурных и алых тонов, столь отчетливо запечатлевшихся сегодня на костюме Слоника (и, очевидно, на сиденье машины): они обозначали месячные у женщин и следы первой брачной ночи.

Вернулись домой они раньше времени. Невыносимо было видеть, что их не ждали. Ибрагим на веранде любезничал с Миной (она, правда, тут же убежала), Блохса сидела рядом. Увидев хозяина в шутовском наряде, собака ощетинилась, оскалилась и зарычала. Подойди Слоник поближе, она тоже ударилась бы в бегство.

— Скажите мне честно, доктор,— спустя полчаса спросила Люси, провожая господина Митру к машине.— Он упал, потому что перепил, или опять отказало сердце?

— Будь что серьезное, разве я бы оставил его сейчас? Не беспокойтесь. Спиртного ему пока не давайте. Звоните, если что. Завтра я забегу.

— Но вы не ответили мне, доктор.

— Разве? Ведь больница в двух шагах, а я тем не менее отвез его домой и оставляю на ваше попечение. Чем это не ответ? Лучше, по-моему, не ответишь. Дома ему вольготнее.

— Еще бы.

— Возможно, я выпишу ему новое лекарство. Подождем до завтра.

Ей не терпелось спросить: сколько еще осталось жить Слонику? Год? Меньше или больше? Или, может, смерть уже на пороге? Но нажитая с годами мудрость подсказала, что не следует задавать вопросы, на которые нет точного ответа, да и, по правде говоря не хочется его слышать. Она вернулась в спальню. Слоник спал. Лицо и руки не удалось отмыть дочиста, красноватые пятна от пудры еще остались. Грязный костюм валялся в корзине для дхоби. В ее печаль вдруг вкралось озлобление. В конце концов, это их, а не наш праздник. Слоник прав. Им бы и разодеться по-шутовски.

К Пасхе Слоник обрел прежнее жизнелюбие. В понедельник после Вербного воскресенья он объявил, что вечером к нему в гости придет Билли-бой. Люси с Ибрагимом отправились в кино. Люси пошла из-за того, чтобы не менять заведенного порядка. Останься она дома, и муж заподозрит, что она неспокойна за его здоровье. Хотя поводов для беспокойства с каждым днем все меньше. Ничего крепче пива он не пил, да и то очень умеренно. Люси потом не могла припомнить, какой смотрела фильм. На экране ей виделись лишь ужасные сцены: вот она возвращается домой, а там побывала Смерть, опустел семейный очаг; виделся ей и отчий дом, зловещий мрак под лестницей.

Вернувшись домой, она увидела, что дверь заперта, и разволновалась. Дала ключи Ибрагиму и велела ему войти первым. В гостиной горел свет. На ее секретере записка. Неужели от доктора Митры?

Нет, от Слоника: «Ушел с Билли-боем в кабаре «Шираза». Вернусь к полуночи».

— Все в порядке, Ибрагим. Я иду спать. А ты уж дождись сахиба.

Ночью она услышала, как на улице поют — то возвращались Слоник и Билли-бой. Она выключила лампу у постели. В гараже залаяла Блохса. Пение тотчас оборвалось. Должно быть, Билли-бой помчался домой. Вот Слоник вошел, запер за собой дверь. Лампа у его постели горела, и Люси, смежив веки, наблюдала за мужем.

— Люс, ты спишь? — окликнул он. По голосу судить — трезвый.

Она перевернулась на другой бок и накрылась с головой.

* * *

— Ну и дерут же за пиво в этом кабаре! — посетовал он утром за завтраком.— Кроме пива, я ничего в рот не брал. Зато Билли-бой был пьян в стельку. Задаст ему мадам сегодня жару!

— С чего это ты надумал идти в «Шираз»?

— С Билли-боем со скуки сдохнешь. Вот с чего. Таких зануд я еще не видел. Впрочем, в кабаре он преобразился.

— Надо же!

— Ну, как тебе картина?

— Я уж ее толком и не помню. Извелась вся: пришла домой, а тебя нет!

Слоник выпил апельсинового сока и принялся за яйцо.

— В конце недели Пасха,— заметил он.

— По-моему, ты уже давным-давно забыл о таких праздниках.

Он нарезал хлеб маленькими продолговатыми кубиками и стал обмакивать в яйцо.

— Новый поп объявился. Билли-бой говорит: черен, что твоя шляпа. Просит величать себя «отцом». Приедет на пасхальную службу.

— Осторожно: капаешь яйцом на рубашку.

— Может, сходим в церковь в воскресенье? Как ты насчет этого?

Люси доела яйцо — тоже символ грядущей Пасхи.

— Так ты и впрямь хочешь, чтобы мы вместе пошли в церковь на Пасху?

— А что, этот день не хуже других. Пойдем поглазеем.

— Церковный двор стал много чище и опрятнее.

— Мне до него дела нет. Я предлагаю пойти поглазеть на новоявленное преподобие. Как знать, Люс, может ему придется предавать наши останки огню или земле. Поэтому хотелось бы взглянуть на этого субчика.

— Слоник, ты верен себе.

— Что, кощунствую?

— Да нет, верен этим жутким словечкам! Впрочем, и помыслам своим ты тоже верен.

— Ишь ты! — крякнул Слоник.

* * *

Второго апреля они пошли на воскресную утреннюю службу. Люси заметила, что прихожан больше, чем обычно, а увидев отца Себастьяна, изумленно и зачарованно уставилась на него. Хорошо, что муж не настоял, чтоб они пошли к восьмичасовому причастию. Но вот священник громко и звонко произнес первые фразы из Библии, открывающие утреннюю службу, и Люси поразилась красоте слов — помнится, ее отец произносил их скороговоркой; а еще ее поразило, до чего же подходит ритмика индийского произношения к ритму слов. Она открыла глаза и увидела, что у отца Себастьяна они закрыты — он читал по памяти.

«Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим»[1].

[1] Евангелие от Луки, 15, 18—19, из притчи о блудном сыне.

* * *

— Возлюбленные братья и сестры, сколько строк в Священном писании указуют нам нашу неправедность, грехи, коим числа нет, дабы мы их признали и покаялись,— на одном дыхании продолжал отец Себастьян, и служба целиком поглотила и сердце, и душу, и ум Люси. Перед первым гимном она встала и покосилась на Слоника: как хорошо, что он рядом. Сосредоточенно наморщив лоб, он запел вместе со всеми. В жизни он не мог правильно взять ни одной ноты, однако сейчас Люси это не раздражало, наоборот, она удивлялась и радовалась тому, что муж поет, а не мычит, по обыкновению, себе под нос.

Отец Себастьян построил службу на одном из пасхальных гимнов, а не на псалме, как обычно; и Люси казалось, что святой отец частенько посматривает на нее, будто силится вспомнить, где он мог ее видеть. А мог ее видеть он на фотографиях, присланных ему мистером Булабоем еще с неделю назад. Мистер Булабой сдержал слово и подарил Люси фотографии; две-три из них — в том числе и ту, где она стоит с мали у могилы Мейбл — Люси отослала Саре Лейтон. Мужу фотографии она еще не показывала, ни словом не обмолвилась она и о Саре и мистере Тернере, хотя он вот-вот приедет в Дели. Люси надеялась, что он привезет ей голубой оттеночный шампунь. Как только мистер Тернер напишет о дне приезда в Панкот, Люси непременно пойдет в парикмахерскую к Сюзи и не пожалеет последнего пакетика с заветной голубой краской на свои седины. А Слонику она решила пока ничего не говорить, потому что он начнет ворчать: мол, связалась с незнакомым человеком. А ворчать Слонику вредно. Стоило ему несколько дней провести в покое — и он переменился: и выглядит лучше, и в церковь с нею пошел, и внимательнее стал.

Слоник вдруг громко крякнул и ухмыльнулся; Люси вздрогнула, череда ее мыслей прервалась. Хоть бы в церкви постеснялся! Но оглядевшись, она вдруг увидела, что вокруг много улыбчивых и смеющихся лиц. Да и сам отец Себастьян улыбался. Так что в мужниной ухмылке нет ничего предосудительного. Вся служба проходила весело. Люси вслушалась и сама заулыбалась. Но еще приятнее стало, когда к концу проповеди отец Себастьян посерьезнел, даже посуровел. Люси все же считала, что в церкви не пристало смеяться. Не смогла принять она и другое: во время молитвы при упоминании Святой Девы Марии она чуть преклонила голову, но отец Себастьян буквально бросился ничком на пол и продолжал бормотать молитвы себе под нос. Встал он лишь на последней весьма символической фразе: «А на третий день он восстал из мертвых». Прихожане зашушукались, закачали головами. Пропев гимны, Люси подумала, что, хотя они и будили в ее душе светлую, полузабытую радость, было в них что-то и детски наивное. Странная получилась служба: умная и тонкая проповедь пополам с немудреными гимнами, приправленная едва ли не католическими обрядами. Прихожане расходились, улыбаясь, точно посмотрели кинокомедию. И Слоник улыбался.

Выйдя во двор, он остановил ее:

— Подожди!

Многие прихожане тоже не спешили уходить.

— А кого ждать-то?

— Святого отца, кого ж еще!

Люси ушам своим не поверила. Слоник изумил ее уже тем, что вообще пришел в церковь. А теперь задержался, чтобы поговорить со священником! Люси отошла в сторону перекинуться словом с капитаном Сингхом и его супругой, хотя они были едва знакомы — Сингхи в гарнизон прибыли недавно. Однажды они виделись на банкете офицерских жен, еще раз — на празднике Холи у Куку и Малютки Менектара. Люси даже не знала, что они христиане. Интересно, их крестили

во младенчестве или взрослыми? Судя по фамилии, они из сикхов[1] или раджпутов[2].

Появился отец Себастьян. На ходу он переговаривался с Сюзи. Мистера Булабоя не видно. Люси даже в церкви его не приметила. Прихожан обходил, собирая пожертвования, мистер Томас. Люси не хотелось самой подходить и знакомиться с отцом Себастьяном, разве что он сам узнает ее по фотографиям. Вот Сюзи представила ему Слоника, сама же Люси продолжала прерванную беседу с супругами Сингх. И тут же услышала, как муж окликнул ее.

Делать нечего, придется подойти.

— Познакомьтесь, это моя жена,— представил он Люси.— Я только что сказал отцу Себастьяну, что нам очень понравилась служба. Все очень живо и непосредственно. Я вообще-то не часто беседую со священниками. А сейчас дай, думаю, подойду. Как знать, вдруг в следующий раз и не получится.

— Для беседы время всегда найдется,— улыбнулся отец Себастьян.

— А я не только время имею в виду.— И тут же Слоник перевел разговор:— Вы остановились в семье Менектара?

— Нет. Меня до завтра приютила мисс Уильямс.

— А значит, завтра дневным поездом в Раппур. А на той неделе к нам заглянете? Надеюсь, вы будете нас навещать чаще, чем старина Амбедкар.

— К сожалению, в следующее воскресенье у меня служба в Нансере.

— Жаль. У меня как раз день рождения десятого, в понедельник. У нас обычно собираются знакомые. Рады были бы видеть и вас. Когда к нам в следующий раз?

Вмешалась Сюзи:

— Отец Себастьян проведет у нас службу лишь двадцать третьего. А до этого у вас, святой отец, кажется, все дни заняты.

— Ну, на еду-то у вас время остается! — перебил ее Слоник.— Вот и заезжайте к нам перекусить. Не получится в воскресенье, оставайтесь до понедельника.

— У меня и понедельник уже расписан, тем не менее спасибо вам большое.— Он взглянул на Люси.— Мне и впрямь хотелось бы заглянуть к вам когда-нибудь.

— Зачем «когда-нибудь»? Давайте сейчас договоримся. Приходите к нам на обед в понедельник, двадцать четвертого.

— К сожалению, на обед меня уже пригласили.

— Ну, тогда отужинайте с нами. Живем мы «У Смита», Биллибой покажет. Простите, мистер Булабой. Это я прозвал его так — Билли-бой.

Отец Себастьян замялся, снова взглянул на Люси. Что ей оставалось сказать?

— Приходите, когда вам удобно, мистер Себастьян.

— Благодарю вас, миссис Смолли. Благодарю вас, полковник. С удовольствием отужинаю с вами.

— Ну вот и прекрасно. Значит, договорились. Пошли, Люс, отца Себастьяна и другие люди ждут.

* * *

— Вот уж Билли-бой, наверное, бесится,— сказал Слоник жене по дороге домой.— Он говорил, что Сюзи поначалу всей своей протестантской душой этому новому преподобию воспротивилась. А теперь она Билли-боя и близко к своему святому отцу не подпускает; кстати, где-то он утром был. Небось сидел в ризнице да желчью исходил: по-

[1] Сикхи — последователи сикхизма — секты в индуизме, превратившейся в XVI—XVII вв. в самостоятельную религию. Главным образом распространена в Пенджабе.

[2] Раджпуты — каста в Северной Индии.

чему это Себастьян не у него в гостинице, а дома у Сюзи скоротал ночь.

— Слоник, опять ты за свое!

— А что? Что тут такого? «Скоротать ночь» — литературное выражение. А с кем скоротать — про то святым отцам отчитываться не обязательно.

Люси встала как вкопанная. А Слоник продолжал идти и, лишь пройдя несколько шагов, обнаружил, что жены рядом нет. Он обернулся:

— Пошли! Чего ждешь? Я есть хочу до смерти после всей этой свистопляски.

Люси глубоко вздохнула и медленно-медленно выдохнула.

— Если для тебя церковная служба — свистопляска, то, скажи на милость, кто тебя за язык дергал приглашать беднягу священника на ужин двадцать четвертого? Ты пристал к нему как репей. Ты не давал ему и рта раскрыть. И теперь же сам так унизительно говоришь о службе. А ужином-то, между прочим, заниматься мне. Как ему не хотелось приходить ни двадцать четвертого, ни в другой день. Но ты прямо клещами вцепился. Бедняга небось подумал, что ты и впрямь нуждаешься в помощи. Я по его лицу поняла: наверное, решил, что приглашают не просто из любезности и не для того, чтоб зануде старику было с кем почесать язык. Отец Себастьян решил, что истинно нужен тебе.

— Конечно, нужен, разве нет?

Слоник повернул и в одиночку тяжело зашагал по дороге, Люси побрела следом. Впереди нее шел худой, жалкий старик, с которым невыносимо, но еще невыносимее без него. Зачем вообще жить, если его не будет рядом? На перекрестке он остановился, подождал жену — вдвоем не так опасно переходить улицу, по которой снуют машины.

* * *

В понедельник после Пасхи подошел день рождения Слоника. Ему исполнился семьдесят один год. В Англии этот возраст — еще не глубокая старость.

Гостей Слоник не пригласил, однако получил с посыльным поздравительные открытки от четы Менектара, Шринивасан, Митра и от Билли-боя. Перед завтраком Ибрагим повесил Слонику на шею гирлянду росистых и душистых цветов, а Люси — гирлянду поменьше.

Люси тоже поздравила мужа открыткой и подарила шариковую паркеровскую ручку в пару к его перьевой. Ручку эту она заказала еще с месяц тому назад у часовщика и ювелира (а заодно фармацевта и галантерейщика) Гуляб-Сингха.

По случаю дня рождения супруги поцеловались. Слоник вышел на веранду, и там его встретила Мина тоже с гирляндой цветов. Слоник тут же опять скрылся в доме. На столе стыло вареное яйцо к завтраку. Наверное, заперся в туалете и плачет, решила Люси и не пошла следом за мужем, а подозвав Мину и Ибрагима, сунула им денег — бакшиш — для гостиничной прислуги, для них самих и чтоб не обошли мали. Очевидно, это он поставил на стол букет бархотцев.

За завтраком Люси вспомнилось, как прошел первый день рождения Слоника в Мадпуре — в тот день они как раз переезжали на новое место. Махараджа прислал корзину с фруктами, меж ними золотые часы для юбиляра и золотой браслет для супруги. Оба подарка пришлось, извинившись, возвратить.

Слоник все не выходил на веранду. Уже принесли почту: еще пара открыток Слонику, множество счетов и письмо. Адресовано Люси. Она отнесла его на кухню и там прочитала. Письмо пришло из Дели и написано, судя по дате, четыре дня назад.

«Уважаемая миссис Смолли!

Миссис Перрон любезно дала мне Ваш адрес и номер телефона и сказала, что Вы с полковником Смолли любезно согласились уделить мне некоторое время, если я окажусь в Панкоте. Несколько дней назад я прибыл в Дели и двадцать четвертого вылетаю в Ранпур. Двадцать пятого я завершу там дела, и в моем распоряжении будет пять дней до тридцатого, когда я должен вылететь в Калькутту. В это время я бы и смог Вас навестить. Из Ранпура я Вам позвоню, скажу, какого числа я приеду. Надеюсь провести в Вашем обществе день-другой и не сомневаюсь, что знакомство с Вами окажется приятным. Сара сказала мне, что в Панкоте две гостиницы, и если мне не удастся заказать себе место из Ранпура, Вы, надеюсь, не откажетесь помочь мне устроиться «У Смита». Мне кажется, даже название это располагает к уюту больше, нежели «Шираз». С нетерпением жду нашей встречи. Сара передала со мной для вас кое-что.

С искренним приветом, Дэвид Тернер».

* * *

— Кроме открыток что-нибудь есть? — осведомился Слоник.

Люси замялась:

— Только счета.

— К чертовой матери счета.

— Верно. Туда им и дорога. Особенно сегодня.

— Слышь, Люс?

— Да, дорогой?

— А не пойти ли нам вдвоем на обед в «Горный зал»?

Когда Слоник заговаривал с ней так, у Люси переворачивалась вся ее старая доверчивая душа.

— Ну что ты! Такая роскошь! А вдруг там встретятся знакомые, разобиженные тем, что их не пригласили на «легкий ужин».

— Ничего, перебьются. А что сегодня идет?

— Где идет?

— Ну, в кино. Сегодня же понедельник. Ты всегда ходишь по понедельникам в кино. Сегодня, пожалуй, и я бы сходил.

— А как же Билли-бой?

— Перебьется.

— Ну тебе же скучно в кино. А мне не хочется, чтобы ты скучал. Мы можем пообедать тихо-спокойно дома, а на ужин пойдем в «Горный зал».

— Не хочу я тихо-спокойно обедать дома. А вот в кино хочу!

— Значит, так и поступим. Сегодня же твой день.

Люси послала Ибрагима в кино купить два билета, какой бы фильм ни шел. Ибрагим сел на велосипед и уехал, а Люси пошла гулять с Блохсой. Зашла в «Шираз» и заказала в «Горном зале» укромный столик на вечер. А вернувшись, застала Слоника на коленях у его любимой клумбы с каннами, он вилкой рыхлил землю, а мали обрезал кустарник в другом конце сада. Люси ничего не могла понять. Слоник поднял глаза.

— А, Люс, привет! Удачный ли сегодня был день?

— Да он еще только начался,— ласково ответила она.

— Ну и что же? Я хочу сказать: удачен ли он был до сих пор?

— День просто на диво! А удачен ли он для тебя?

— Да вот, вилка ни к черту не годится.

— А где ты ее взял?

— На кухне.

— Не припомню, чтобы на кухне я держала садовые принадлежности.

— Да я этой вилкой когда-то в цветочных горшках землю рыхлил. Была вилка как вилка, а сейчас хоть выбрасывай.

— Особенно не увлекайся. На солнце так припекает. Пойдем-ка в дом, я налью тебе пива.

В гостиной она задержалась, обхватив шею руками.

* * *

В кинотеатре Слоник заснул. Пробуждался он от хохота в зрительном зале, одобрительно крякал, дабы жена думала, что и ему фильм нравится. Люси была довольна, что они попали на комедию. Правда, она уже видела этот фильм с Дорис Дей и Джеймсом Гарнером. Дорис Дей вопреки воле мужа становится рекламной звездой, и благодарные владельцы фирм в одночасье, чтобы ошеломить сюрпризом, сажают сад подле ее дома и устраивают бассейн. Но ошеломляют они Джеймса Гарнера, мужа Дорис Дей. Он заворачивает по привычке на дорожку к дому, въезжает прямо в бассейн, и медленно-медленно машина тонет, а лицо у Джеймса Гарнера и впрямь совершенно ошеломленное. Слонику очень понравился этот кадр. По дороге домой он, вспоминая его, всякий раз усмехался. Нужно, говорит, посоветовать Билли-бою так же наскоро вырыть бассейн во дворе у гостиницы, пока толстуха сидит в клубе за карточным столом. А к ночи вернется и прямо с коляской — плюх!

А назавтра Слоник вновь предстал в старом обличье: ворчливым и мрачным.

* * *

После дня рождения Слоника наступил следующий понедельник, обычный, семнадцатое апреля. Мистер Булабой и Слоник уединились вечером за бутылочкой, а Люси пошла в кино и в бог знает который раз посмотрела «Привет, Долли». Песенка из фильма привязалась, и целую неделю Люси повсюду напевала ее.

— Может, пора с Долли и распрощаться! — не выдержал супруг, когда Люси собиралась в церковь — то было воскресенье, двадцать третьего апреля.— Не забудь, напомни отцу Себастьяну, что завтра мы его ждем на ужин.

— Непременно. К которому часу его пригласить?

— К половине восьмого. Как у нас заведено.

— Значит, в половине восьмого мы начнем с того, что предложим гостю выпить. А дальше? Вдруг он вообще не пьет?

— В жизни не встречал священника, который бы не пил, как лошадь. И что означает это твое — «а дальше»?

— Ужинаем ли мы дома или в ресторане «У Смита»?

— Надо подумать.

— Когда все обдумаешь, не забудь сказать мне. И хорошо бы решить уже сегодня. Завтра утром я буду очень занята.

— Чем это?

— Я же вчера говорила. Мне нужно подкрасить волосы и сделать прическу.

— Для кого? Для отца Себастьяна, что ли?

— Не только.— Люси улыбнулась.— Ну, я пошла. Не скучай.

## *Глава двенадцатая*

Воскресенье, 23 апреля, обернулось сущим бедствием для мистера Булабоя. А о субботе лучше вообще не вспоминать — ад кромешный! В субботу Лайла дошла до рукоприкладства. Наорала на него, посмела толкнуть, и все на глазах Прабу, повара, и Мины.

Началось с того, что позвонил юрист из Ранпура. Трубку поднял мистер Булабой, так как единственный в гостинице телефон находился в его крошечном «кабинете». Даже в комнате у Лайлы не было аппарата. Она терпеть не могла телефон. Когда ей случалось брать трубку, она орала так, будто собеседник на Северном полюсе. Втиснувшись

в каморку «Дирекции», она принялась по обыкновению кричать. Мистер Булабой ждал за дверью. Юрист сообщил ему, что мистер Панди дневным рейсом вылетает в Панкот, для того чтобы срочно обсудить какие-то дела. Потом юрист попросил к телефону лично Лайлу.

Видно было, что каждое его слово приводит Лайлу в неописуемую ярость. Ее многочисленные подбородки тряслись, усы топорщились.

— Жулье! Жулье! — только и повторяла она, добавляя, правда, что-то по-пенджабски. Потом остервенело бросила трубку, с трудом выбралась из каморки и набросилась на мужа:— Дурак! Набитый дурак!

И как толкнет его!

Это на глазах-то прислуги!

Толкнула она его пребольно. Но еще больнее ударило унижение.

— Ты чего толкаешься? — прокричал он вслед массивным телесам, проплывшим обратно в спальню.

— Тебе, дураку, еще мало!— гаркнула она и хлопнула дверью. Уже из спальни она зычно крикнула Мину. Та прибежала, по обыкновению приложив ладонь к губам: смешно, будто издалека зовет. Мистер Булабой вбежал в свой утлый кабинетик и тоже хлопнул дверью. Стекло жалобно зазвенело. Из спальни вышла Мина и остановилась перед каморкой. Мистер Булабой поднял верхнюю стеклянную панель.

— Что нужно?

— Хозяйка требует.

Он опустил стекло, хлопнув еще громче, и сделал вид, что разбирает бумаги. Выждал некоторое время, хотя и вечность не смогла бы исцелить его от стыда и злобы. В жизни она на него не поднимала руки, а тут — на тебе! Наконец, он пошел к ней в спальню. Лайла сидела на кровати, широко расставив колени, вывалив огромный живот, понурив голову и опершись локтями о колени. Но вот она медленно подняла на мужа взгляд.

— Лицо фирмы! Доброе имя! А я, дура, его слушала!

— Какое лицо? Какое имя?

— И ты еще спрашиваешь! Наглец! Кто мне все уши прожужжал: дескать, мы должны сохранить доброе имя нашей гостиницы! Кто, я спрашиваю? Кто вообще завел разговор о нашей репутации?! И вот, пожалуйста, дорого же нам обошлось это «доброе имя»! Вместо выгодных условий мне предложили черт-те какие. А все ты: «сохраним лицо фирмы», «сохраним наше доброе имя» — вот и досохранялись. Дурак! Боже, какой дурак!

— И не стыдно тебе мужа так называть?

— Не стыдно. Потому что он дурак.

— Если я дурак, то и ты не умнее. Я ведь лишь просил, чтобы в твоих переговорах с консорциумом не пострадало наше доброе имя. Это вполне понятно. А им лишь бы посмеяться над тобой. Прислали договор, а ты, по своей жадности, давай выговаривать лучшие условия. А они знай себе смеются: хуже прежних условия поставили. Так чем же я виноват? В том, что ты жадная? Вини в этом лишь себя. Ничего, в консорциуме все тебе под стать. Один жадней другого. Только мне до этого дела никакого нет! Я всего лишь директор. Беда моя в том, что я женился на жадине, а она, к сожалению, еще и хозяйка гостиницы. Ей ничего не стоит оскорбить мужа на глазах у прислуги: толкнуть что есть сил. Я этого не позволю!

— Тебя мало толкнуть, тебя надо вышвырнуть вон! Понял?! Вон! Я увольняю тебя. По контракту я обязана уведомить тебя за месяц.

— Мужа нельзя уволить, Лайла.

— Что правда, то правда. С мужем можно только развестись. А вот уволить директора — раз плюнуть.

— Да мне-то что! Увольняй сколько хочешь. Через месяц-другой

здесь уже ничего не останется. Ты же спишь и видишь, как избавиться от гостиницы. Так что мне на работу плевать, как тому хиппи, что торчал в Панкоте с месяц и ночевал на базаре на голой земле. Только и он дурак. Вообразил, что в Индии все живут духовной жизнью. Такие дураки со всего света к нам стекаются, понавешают на себя побрякушек, накурятся опиума до одури, начитаются об индуизме. Но их доля куда завиднее: над ними не измывается жадная толстуха жена, которой все бы вокруг снести и понаставить бетонных коробок, как на Западе.

Еще слово — и он свалится замертво. Мистер Булабой повернулся и пошел прочь.

— Ну-ка, подойди!

— Меня ждут дела!

— По делу я тебя и зову. Пока ты еще на службе и будь любезен: займись делами. Напиши, к примеру, уведомление полковнику Смолли, чтоб съезжал. Скажи: дескать, невозможно продлить договор на будущий год, и аренда «Сторожки» истекает в июне. Посоветуй ему подыскать другое жилье. Укажи, что в с первого июля, в связи с реорганизацией нашей гостиницы, номера сдаются с еженедельной оплатой без гарантий на продление срока.

— Зачем писать о «реорганизации»? Так и напишу: «В связи со сносом».

— Напишешь так, как я сказала! Пока ведется реорганизация, они с женой могут переехать в «Шираз».

— Ну и шутки у тебя! «Шираз» им не по карману!

— По карману или нет — не моя забота. Меня это не касается. Небось, когда англичане здесь хозяйничали, им и в голову не приходило, как мы живем. Так что мы квиты.— И она ожесточенно шлепнула себя по груди.

— Я не стану писать такое письмо старому другу.

— А я приказываю, чтобы дирекция отправила уведомление! Приказываю, чтобы директор собственноручно его и написал! И чтоб отдал мне на подпись. Я лично прослежу, чтобы уведомление было послано!

— Но таким письмом мы доведем полковника до второго инфаркта.

— А что, разве я еще и за здоровье его отвечаю?!— вскинулась миссис Булабой.— Он тоже дурак дураком: не понял намека в прошлогоднем письме. Времени у него было предостаточно, чтобы о жилье побеспокоиться. Я ждать больше не стану. Пока ему не послано уведомление, я не могу подписывать новый договор с консорциумом: в договоре предусматривается, что у меня не останется никаких обязательств перед постояльцами. Это твоя вина, а не моя. Рано или поздно им пришлось бы съезжать, а ты дотянул до последнего.

— Что же ты собираешься делать?— тихо спросил мистер Булабой. Кажется, его загнали в угол.— Что же станется со «Сторожкой»?

— Тебя это не касается. И я лично с ней ничего не собираюсь делать. Это уже заботы консорциума. И мне думается, для тебя у них работы не найдется. Так что считай, что тебе повезло с женой, она, хоть и жадина, зато при деньгах. Была б еще богаче, если б за дурака замуж не вышла. Напишешь уведомление сегодня же. Копию я покажу мистеру Панди, как только он приедет.

* * *

— Готово письмо?— спросила она позже.

Мистер Булабой лишь покачал головой: занят был очень, минутки свободной не нашлось.

— Чтоб завтра утром написал!

— Завтра не получится. Завтра у Дирекции выходной. Завтра воскресенье.

— Хорошо. Напиши вечером.

— Вечером меня ждут дела в церкви. С утра до вечера у Дирекции выходной.

— Больше я напоминать тебе не буду. Но если утром в понедельник, прежде чем я подпишу договор, у мистера Панди не окажется копии уведомления, он повезет обратно в Ранпур и мое заявление о разводе с тобой.

— Неповиновение жене — еще не повод для развода. Если тебе нужно уведомление, напиши сама.

— Это твоя работа. Тебе за это платят!

— За подобные «уведомления» следовало бы платить больше: а мне, с тех пор как я женился на хозяйке, жалованье не прибавили.

— Так это ты жадина! Тебя поят, кормят, дают деньги на развлечения. Более того, тебе еще от меня ласка достается. Так вот и близко к моей постели не подходи, пока уведомление не напишешь. А там видно будет. А что до повода к разводу, так я уж найду что написать.

Мистера Булабоя пробрала дрожь, а миссис Булабой злорадно рассмеялась.

— К примеру, твои похождения в Ранпуре. Что ж, по-твоему, я и знать ничего не знала? Просто я мыслю трезво: что путного можно ждать от мужа, если он сексуальный маньяк! Напишешь уведомление, может, я и прощу тебе Ранпур. Глядишь, скоро начнем развлекаться в Бомбее или Калькутте. Консорциум планирует открыть гостиницу и в Гоа. Вот уж где тебе раздолье! В Гоа любовь на каждом углу! Там эти белые хиппи никого не стесняются. А сколько там церквей! Больше, чем домов! И туристов с Запада видимо-невидимо, все жаждут увидеть Индию «в натуре». Вот хиппи увидели и неплохо устроились.

И толстуха захохотала. Кровать заходила ходуном. Живот заколыхался, груди запрыгали. Мистер Булабой чувствовал себя нищим попрошайкой с протянутой миской; может, ему, голодному и убогому, и бросят грош, но для этого надо непременно подольститься к благодетелю и ублажать его. «Что же делать?» — растерянно думал он, выйдя из спальни. «Не хочу я ни в какое Гоа. Хочу жить здесь, жить долго-долго. И потом люди в церкви, указывая на стертые плитки пола у алтаря, будут говорить: «Здесь стоял на коленях Фрэнсис Булабой. Это его следы».

* * *

Но даже в церкви не нашел он утешения. В семь часов утра в воскресенье, 23 апреля, он отправился туда на велосипеде. Встал на колени, помолился; скоро появится и Сюзи с цветами. Он знал, что отец Себастьян приехал ночным поездом из Ранпура и что, скорее всего, снова заночует у Сюзи. До чего ж хотелось мистеру Булабою, чтобы отец Себастьян остановился «У Смита», как в былые времена — Том Нарайан. Ведь отец Себастьян — истинный пастырь, в коем нуждается церковь, такой не станет искать ночлега в самом богатом и знатном доме. Но священник тем не менее предпочел домик Сюзи и ее общество мистеру Булабою и его гостинице.

* * *

Уже восемь часов, а Сюзи все нет. Мистер Булабой встревожился. В девять часов он уже мерил беспокойными шагами тропинку от ворот к церковному крыльцу. Конечно, раньше одиннадцати служба не начнется, но Сюзи никогда так не задерживалась. Мистер Булабой уже начал строить всякие предположения, как, нако-

нец, в десять часов Сюзи появилась вместе с отцом Себастьяном. Приехали они в экипаже, буквально утопая в цветах. Отец Себастьян, как всегда, улыбался. Рядом с его черным лицом лицо Сюзи кофейного цвета казалось едва ли не белым.

Она, оказывается, ездила на вокзал встречать святого отца, а потом они вместе позавтракали. Теперь же (опять-таки вместе) принялись убирать церковь цветами, а мистер Булабой оказался не у дел. Он все же потом подошел к отцу Себастьяну и предложил уединиться в ризнице и обсудить финансовые вопросы. Однако священник безмятежно бросил:

— Я у вас до вторника, а сегодня такое чудное утро, давайте же выйдем на солнышко. Мне хотелось бы вас кое о чем расспросить.

Сюзи следом за ними не пошла, хотя мистер Булабой великодушно позвал ее:

— Пойдем с нами. На солнце так хорошо.

— Некогда, мне еще кое-что нужно здесь сделать.

— Скажите-ка,— начал священник, когда они вышли во двор (интересно, а что ж это Сюзи нужно еще сделать?)— а вот та дама, англичанка, что приходила к нам на Пасху с мужем, полковником...

— Смолли,— подсказал мистер Булабой.

— Да, именно. Не она ли случаем на фотографиях церковного двора?

— Да, она и есть.

— В статье, о которой я упоминал, я помещу эту фотографию и еще одну, ту, где удачно получился интерьер. Часто ли миссис Смолли бывает в церкви?

— В последнее время не очень. Правда, с января ее муж тяжело болеет.

— Ах, вот оно что. Завтра вечером они пригласили меня на ужин.

Для мистера Булабоя это явилось новостью. В понедельник Слоник даже не обмолвился о предстоящем визите, лишь заметил, что «познакомился с новым священником». Ясно, подумал мистер Булабой, снова обошлись без меня.

Не спеша они вернулись в церковь. Мистер Булабой проверил, на месте ли молитвенники и сборники гимнов. Из ризницы до него донесся смех Сюзи и отца Себастьяна. Мистер Булабой воззрился на алтарь.

— Господи, даже здесь я лишь администратор.

И пока не пришло время звонить в колокол, он просидел в уединении.

* * *

Люси услышала колокольный звон, когда направлялась экипажем в церковь. Ей вспомнились «Посвящения» Донна[1]: «Не торопись узнать, по ком звонит колокол. Ибо он звонит по тебе». Печальные и прекрасные слова отнюдь не огорчили Люси. Всякий раз, вспоминая их, она мысленно видела заключительные кадры фильма: Грегори Пек увозит Ингрид Бергман на лошади. Фильм тот не очень понравился Люси. Ей и запомнился-то лишь конец. Подъехав к церкви, Люси расплатилась с возницей. Прихожане все прибывали. На будущей неделе, может в четверг, она приведет сюда мистера Тернера. Он представлялся ей простым и доступным. С ним будет приятно потолковать о самом обыденном, о том, что интересует ее и по сей день: о фильмах, пьесах, легкой музыке.

— Я, знаете ли, всю жизнь прожила затворницей, мистер Тернер. В наше время в Индии кино, театр, концерты были не в почете именно потому, что все эти развлечения не на открытом воздухе.

[1] Джон Донн (1572—1631)— английский священник, поэт.

Вы небось назовете меня заурядной обывательницей. Ведь аристократы и те, кто к ним примазываются, непременно должны заниматься каким-то спортом под открытым небом, иначе им и жизнь не в радость. Я же — затворница и находила удовольствие в «затворнических» развлечениях, кино и театр помогли мне прожить не одну, свою, а множество жизней.

Она улыбнулась и кивнула супругам Сингх; вошла в церковь, выбрала одну из задних скамей, встала подле нее на колени и начала молиться.

Она может перевоплотиться во что и в кого угодно. Закрыв глаза, она вдруг увидела себя под сенью пальм. Она — Рене Адоре и стремглав бежит за грузовиком: уезжает на фронт ее возлюбленный Джек Гилберт — из «Большого парада», то был один из немногих старых немых фильмов, которые она видела. Вспомнился еще один — «Седьмое небо», ее привела на него девушка, похожая на Клару Боу. А «Большой парад» она смотрела с братьями-близнецами Считалось, что этот фильм учит мужеству. Как жалели братья, что не удалось им повоевать в первой мировой, как старались они восполнить этот пробел, строя из себя этаких «славных малых». Они потешались, глядя, как сестра плачет: на экране Рене Адоре прощалась с Джеком Гилбертом, цеплялась ему за руки, за сапоги, бежала за грузовиком, увозившим его и других солдат на фронт. Потом она отставала, и следовали прекрасные заключительные кадры: все дальше и дальше, все меньше и меньше фигурка героини. Одна-одинешенька на грязной дороге. Как ненавидела Люси близнецов за то, что смеялись над ней, подтрунивали, когда шла сцена в окопе: Джек Гилберт пощадил раненого немца, а потом заговорил об ужасах и жестокостях войны. «Да сам-то еще и пороха не нюхал!» — громко на весь зал бросил Дэвид. На него даже зашикали. Как ненавидела его тогда Люси за то, что он осмеял Джека Гилберта, точнее, даже не его, а Тула, ибо Гилберт в своей пехотной солдатской форме до умопомрачения напоминал ей Тула.

Люси открыла глаза, села на скамью; скоро начнется служба.

Тул — это первый мужчина, разбудивший девичью душу. Люси вспомнилось, как она трепетала, сидя на заднем сиденье «роллс-ройса», пока машина везла их в церковь. И так каждое воскресенье летом 1919 и 1920 и 1921 годов. Было ей в ту пору соответственно четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет, а близнецы — тремя годами старше. Ее просто зачаровал затылок Тула. Ничто прежде так не будоражило ее. Братья же вечно смеялись над его фамилией, рифмовали с чем-то неприличным и до поры непонятным ей.

В прежние времена в Панкоте после службы из церкви выходили сначала офицеры по старшинству, рядовые же сидели на местах, дожидаясь, когда наступит и их черед; и порой Люси виделся среди них Тул. Она запоминала его, и долго после этого в воображении ее он был все время рядом. Она не отдавала себе отчета, почему так получается, почему столько лет Тул безраздельно владеет ее душой.

Во время первой мировой войны Тул служил денщиком-шофером при сэре Персивале. Близнецы говорили, что Тулу досталось «теплое» местечко: ведь дядя Перси ни разу не ездил на фронт. Люси в душе не могла примириться с этим. Конечно же, Тул воевал и терпел лишения, прежде чем попал в денщики к дяде Перси. И конечно же, ему не терпелось опять в окопы, а роль прислуги была постыла, однако — что поделаешь!— приходилось возить дядю Перси в штабной машине, чистить его сапоги. Потом был заключен мир, и оба они вернулись в Пирс-Куни.

Тул был из местной крестьянской семьи, батрачившей на дядю Перси. Люси казалось, даже по затылку Тула видно, сколь ему горько, что после войны не изменилось его зависимое положение.

Но все же водить машину лучше, чем ходить за плугом. Тул даже радовался, что специальность, полученная в армии, пригодилась ему и после войны, и его наняли шофером, ведь в те годы с работой было трудно.

Машину он водил уверенно и предельно осторожно. По крайней мере, так казалось Люси. Еще Люси случалось увидеть его в гараже (бывшей конюшне): засучив рукава, он либо лежал под машиной, либо, подняв ее капот, ковырялся в двигателе. Он беспрестанно протирал машину, чистил до блеска. Сверкавший под лучами летнего солнца капот завораживал Люси. И внутри на плисовых чехлах сидений ни пылинки, ни соринки. В окошках, казалось, не было стекол — до того чисты. Все это Люси примечала, так сказать, во вторую очередь. В первую же — конечно, самого Тула, в коричневой униформе с высоким тугим воротничком, со множеством пуговичек спереди; а сзади расходились от поясницы к плечам швы-полоски. Форма облегала его очень плотно, до чего ж ему в ней жарко и тесно, думала Люси, ведь его загорелой шее и рукам (в коричневых перчатках) привычнее и приятнее солнце и ветер.

Тул разговаривал мало. Близнецы иногда расспрашивали его об устройстве машины, и он коротко отвечал. Люси не понимала ни смысла, ни самих слов, зато близнецы оставались довольны, их забавлял выговор Тула; особенно как он произносил слово «цилиндры», и они нарочно задавали вопросы так, чтобы ему не миновать этого слова в ответе. Говорили они с ним задиристо и свысока, словно молодые господа.

Люси казалось, Тул догадывается, что мальчишки шутки ради заставляют его произносить слово «цилиндры», в котором сочно, как у каждого сомерсетца, раскатывались согласные. Иногда ему удавалось избежать коварного слова. Тул был простак, но не дурак. Замечал он и то, что братья посмеиваются над его фамилией, нарочито часто произнося ее. А порой Люси чувствовала, что Тул их презирает, хотя ничем не выказывает этого. К ней же всегда относился любезно и галантно (открывал перед ней дверцу машины, предоставляя братьям выбираться самим). Другое дело — близнецы. Их (хотя и в разной степени) он недолюбливал и понимал их положение: дети бедной родственницы его хозяина. Их приглашали только для того, чтобы скрасить унылую жизнь болезненного хозяйского отпрыска, чтоб тот хоть в малой степени научился общению (ведь ему предстоят годы суровой учебы в Итоне). Пока же из-за бесчисленных болезней его переводили из одной приготовительной школы в другую, а чаще всего (не считая каникул) он находился дома, под материнским крылышком. Тул был уже не мальчик, поэтому отлично понимал, что, привечая детей кузины в своем доме на лето, хозяин лишь бросает подачку дальней своей родственнице, выросшей, правда, под крышей его дома. Затем она полностью оправдала свое предназначение: удачно вышла замуж за священника и, хотя Господь не послал ей богатства, зато наградил двумя молодцами-сыновьями, а потом вдогонку она принесла еще и дочку. Конечно же, простому священнику не по карману посылать всех троих летом на отдых, а дядюшка Перси принимал их во благо своего больного дитяти, которого как своего пестовала мать Люси. Больной мальчик, однако, выдержал впоследствии тяготы Итона, успешно окончил Оксфорд и погиб в окопах.

Сызмальства Люси приучили писать дядюшке Перси открытки на Рождество и ко дню рождения. Мама, очевидно, надеялась, что столь знатное родство еще принесет им немало благодеяний. Но вскоре все закончилось. В 1921 году они в последний раз съездили на каникулы к дяде. Следующей весной старый вдовец и сам приказал долго жить, а имение его перешло к племяннику, рассудившему, что бедные родичи ему ни к чему. Малышка Люси нимало

об этом не жалела. Наоборот, скорее радовалась. Ведь каникулы в 1921 году начались так замечательно, а закончились ужасно. Посреди лета пропал Тул. Вместо него на службу взяли невзрачного, плюгавого человечка. Был он омерзителен: за льстивой и подобострастной личиной таилась душа наглеца и спесивца. Почему исчез Тул, оставалось загадкой, об этом не упоминали. Но однажды Люси подслушала разговор братьев.

Оказывается, у Тула в деревне была девушка; братья, не признавая слово «любовь», говорили, что Тул с ней «шашни завел». Но девушка оказалась ему не ровня, из фермерской семьи, и отец уже выбрал ей жениха из такой же семьи. Девушка мечтала выйти замуж за Тула, а Тул мечтал жениться на ней. И вот они оба пропали, один за другим. Уже несколько лет спустя один из близнецов, Марк, по натуре более мягкий, чем брат Дэвид, в грустную минуту поведал Люси, что сталось с Тулом и девушкой. В ту пору Марк сам тосковал о девушке, которую они никак не могли поделить с братом. Мать же, полагая, что это недостойная ее сыновей пара, отвадила девушку от дома.

Марк сказал Люси тогда в саду:

— Помнишь Тула? Так вот, он той девушке немало горя принес. Ты уже не маленькая, Люс, понимаешь, о чем я. Обещал, правда, жениться, у него ведь квартирка своя над гаражом была, жалованье приличное, работа хорошая, да и хозяин неплохой. И жил бы он припеваючи: выпускались все новые и новые моторы, а Тул в них разбирался как никто. И вот приходит он раз домой к невесте, чтобы с родителями ее переговорить. А девушки-то и нет. Отправили ее к родным в Корнуэлл. Встретили Тула отец невесты, жених да отец жениха и избили до полусмерти. А потом отвезли на милю от деревни и бросили на обочине. Сколько часов он без памяти там провалялся, никто не знает. А вернулся в деревню, сложил вещи и поутру — к дяде Перси. Увольняться. Денег, конечно, не взял: раз не предупредил хозяина об уходе, значит, подвел его. Он решил поехать в Корнуэлл и найти девушку. И с тех пор как в воду канул. Думаю, что он ее нашел-таки,— закончил рассказ Марк.— И наверное, они уехали куда-нибудь вместе. Да, вот мне бы его решимость.

— А откуда ты все узнал?— спросила тогда Люси.

— Да этот слизняк, что после него работать стал, рассказывал. Ну и подонок! Бывало, положит руку мне на колено, улыбнется этак гаденько и приговаривает: «Ты на девочек себя не трать». Прости, сестренка, что об этом речь завел.

Встал и ушел. Ушел навсегда, как и Тул. Больше Люси не разговаривала с Марком по душам. Работал он в страховой компании, а выходные дни проводил с Дэвидом (тот был бухгалтером), копаясь в моторах своих машин или лежа под ними. Свои «шарабаны» они покупали по дешевке у богатых друзей. По воскресеньям двое здоровенных парней (им было уже под тридцать), втиснувшись в свой очередной «шарабан» и оглушая ревом мотора, отправлялись на свидания к девушкам. Матери, конечно, девушки не нравились, и в дом она их не приглашала. И вот однажды, в воскресенье, «шарабан» взревел в последний раз и унес лихих ездоков на свидание с Костлявой: их машина врезалась на дороге в другую.

* * *

— Да пребудет с нами милость Господа нашего, Иисуса Христа! Да не иссякнет любовь Божия и да осеняет нас Дух святой во веки веков. Аминь.

— Аминь!— перекрестилась Люси. Служба закончена, а она все это время думала о своем. Чисто механически выполняла нужные

ритуалы: то поднималась со скамьи, то опускалась на колени, пела гимны, то сидела, присмирев, вспоминая Пирс-Куни и давнюю пору.

Благословив паству, отец Себастьян не ушел. Он стоял скрестив руки на груди. Никто не осмелился покинуть церковь раньше святого отца. Воцарилось напряженное молчание. И вдруг раздался звук. Отец Себастьян улыбнулся, воздел руку. А звук, точнее однаединственная нота, парил над прихожанами. У Люси даже перехватило дыхание, столь давним, полузабытым прилетел в церковь этот звук и словно ветром всколыхнул прихожан.

Звучал орган! Вот полилась знакомая мелодия, но название уже не припомнить. Гимн, свободный, звонкий, понесся ввысь. Иногда орган срывался, еще бы, он так долго молчал! Но главное — сейчас он снова заиграл! Люси подняла голову. Подле фортепьяно никого нет. Значит, наверху, за органом — Сюзи.

Вот музыка достигла кульминации, отец Себастьян с большим крестом в руках покинул алтарь и медленно пошел по проходу под звуки гимна и изумленный шепот прихожан, они кланялись, кивали святому отцу, а он шествовал к западному выходу.

* * *

На крыльце он задержался; держа крест в левой руке, правой пожимал руки прихожан. Орган все играл. Люси выбралась из церкви не сразу. Отец Себастьян пожал руку и ей.

— Миссис Смолли, если не ошибаюсь?— спросил он.

— Нет, отец Себастьян, не ошибаетесь. Какая чудесная заутреня! Каким это чудом вдруг заиграл орган?

— Немного уменья, побольше веры и... игра мисс Уильямс.— Очевидно, на завтрак отец Себастьян ел чеснок.— Ведь это вы сфотографированы у церкви?

— Да, на двух-трех фотографиях. Так мы ждем вас завтра. Муж очень просил напомнить. В половине восьмого, хорошо?— И, окончательно расчувствовавшись, прибавила:— И Сюзи берите с собой. Я ее знаю с пеленок.

## *Глава тринадцатая*

По дороге домой она пожалела, что так опрометчиво пригласила Сюзи. Остается лишь надеяться, что завтра утром, когда они увидятся в парикмахерской, Сюзи откажется от приглашения, сославшись на занятость. За все время их знакомства они ни разу не наносили друг другу визитов и не были накоротке: Сюзи обращалась к Люси не иначе как «миссис Смолли», а к Слонику — «полковник Смолли», хотя для обоих супругов она была просто «Сюзи». Она не позволяла ни малейшей фамильярности, при том что у супругов больше не осталось таких давних знакомств в Панкоте; Сюзи частенько доводилось бывать в «Сторожке», но лишь по делам, так сказать, профессиональным, и их дом она знала не хуже своего собственного.

Люси пожалела о приглашении, и тут же ей стало стыдно. Хотя первый урок, преподанный ей в Индии, был таков: нельзя водить дружбу с полукровками; Люси быстро научилась распознавать по мелочам, по малозаметным черточкам в совершенно белых на первый взгляд людях, которые без зазрения совести называют себя белыми, индийскую кровь. Ей втолковывали, что евразийцы (или англо-индийцы, как стали их потом называть) очень преданы англичанам, что они составляют надежную прослойку средних и мелких чиновников. Особенно много их на железной дороге. Эти люди тяжко тосковали по родине, которую они никогда не видели и вряд ли когда увидят. Они довольно успешно противостояли взяточни-

честву и подкупу, до которого необъяснимо падким оказалось местное население. А если принять во внимание такую национальную индийскую черту, как леность, то и впрямь без евразийцев управлять такой огромной страной было бы куда труднее.

Хорошие работники и надежные люди — этого у них не отнять. Но присуще им и другое: протяни палец — всю руку отхватят. И еще: они-то, конечно, неповинны, что уродились полукровками, но своим существованием они как бы связывают белых и цветных, а связь эта долгие годы отнюдь не поощрялась.

Большинство полукровок — плоды любовных связей (сколь печальных, столь и порицаемых) между женщинами-индианками или полукровками и нижними чинами британской армии. Занять каждую минуту солдатской жизни — дело трудное, и при случае солдаты берут этот труд на себя. Да и что ожидать от мужчин, служащих родине и королю в Индии, причем немало лет. Жизнь есть жизнь. На беду, многие из этих связей были внебрачными, а случалось, что индийская жена временно заменяла супругу, оставшуюся в Англии. Как бы ни разнились причины появления на свет детей-полукровок, их становилось все больше, так как полукровки старших поколений вступали в браки меж собой. И жизнь у таких семей, по мнению Люси, невеселая, очень обособленная и до смешного нарочитая, проанглийская. Люси всякий раз бывала растрогана до слез, когда ей рассказывали про какого-нибудь солдата, который женился на девушке-полукровке и увез ее в Англию; или о солдате, который влюбился и в местную девушку, и в Индию и даже остался на сверхсрочную службу или, демобилизовавшись, осел в Индии.

Таким-то мужчиной и был, по всей вероятности, отец Сюзи. Люси помнила, как много лет назад овдовевшая миссис Уильямс говаривала: «Лен так любил Индию». У миссис Уильямс кожа была почти что белая (и отец и мать у нее полукровки), однако она никогда не пыталась отмежеваться от себе подобных. Ее старшая дочь, Люсиль, напротив, убеждала всех, что она белая, и убеждала так удачно, что вышла замуж за американского солдата в Калькутте (в ту пору она была певичкой, чем и зарабатывала на жизнь). Она с мужем уехала в Штаты. Одному Богу известно, что сталось потом. Сюзи об этом не говорила, наверное сама не знала, а по редким письмам можно лишь строить смутные догадки. Вдруг у нее родился темнокожий ребенок — и обман раскрылся. Наследственность порой может сыграть злую шутку. Как, например, с Сюзи: красотой, как некоторые девушки-полукровки, она не блистала. Более того, кожей она была темнее мистера Булабоя.

Сюзи выучилась парикмахерскому ремеслу буквально с детства. Люси помнила ее еще тонконогой пигалицей в клетчатой юбочке, белой блузе и белых гольфах, черные волосы заплетены в косу с белой лентой (белый цвет подчеркивал темную кожу девочки; впрочем, мать и не пыталась это скрыть). Сюзи с матерью появились «У Смита» в начале войны, там же были расквартированы и Люси со Слоником. Малышка сразу же принялась помогать матери, все подмечала, на лету схватывая навыки парикмахерского дела.

В ту пору миссис Уильямс принимала не только в «салоне» — в комнате, где стояло несколько столиков с зеркалами,— но могла прийти и на дом. Последнее было, конечно, весьма удобно, но мемсахиб и самим случалось наведываться к миссис Уильямс, особенно накануне больших празднеств: банкета или бала в Летней резиденции или у командира гарнизона. Тогда миссис Уильямс едва успевала управляться. Как ловко она работала! Как спорилось все у двух девушек-евразиек, нанятых в подмогу. Как толково миссис Уильямс обучила свою маленькую худышку дочь.

В конце войны поговаривали, что миссис Уильямс сколотила кое-какой капиталец. Но пришел сорок седьмой год, за ним — сорок восьмой, дамы-англичанки уехали на родину, в Панкоте появилось больше индийских женщин, они привыкли сами мыть и укладывать волосы, а стричься и вовсе не стриглись. Многие по робости да невежеству и на глаза-то никому не показывались, скрываясь по старинке дома за занавеской на женской половине.

Закончилась армейская служба Слоника, и он с Люси уехал в Бомбей, где полковника ждала жизнь новая, штатская. В ту пору миссис Уильямс была еще жива. Когда же супруги Смолли в 1961 году вновь возвратились в Панкот, они ее уже не застали. Дело перешло к Сюзи, причем оно процветало: молодые индианки и их мамы хотели шагать в ногу со временем. Сюзи открыла салон на базаре, назвав его своим именем. Она быстро приноровилась к изменениям в моде и вкусам клиенток. Женщины постарше по-прежнему ходили к ней на дом. Салон отпугивал Люси, ей бывало там очень неуютно. Все хоть и модно, и современно, но на виду, клиентки могут свободно переговариваться. Люси к такому не привыкла. Новомодные дамы болтали о Дюссельдорфе, Базеле, Риме, Каире, Москве, Париже, а Люси нечего было сказать. Разве знала она, в каком аэропорту лучше беспошлинные магазины? Разве могла она по достоинству оценить ассортимент известных фирм? Лишь однажды, лет десять тому, заглянула она в такой магазин и купила для Слоника стилтонского сыра. Она и в Вашингтоне никогда не была. А роскошная фирма «Сакс» на Пятой авеню в Нью-Йорке — для нее пустой звук.

— Приходите-ка лучше ко мне домой, миссис Смолли,— предложила Сюзи, когда Люси во второй раз заглянула в салон,— а если хотите, я сама к вам в «Сторожку» наведаюсь. Мне, знаете ли, и самой все это сборище не по душе. Но за границей так принято, значит, и нашим подавай: чтоб и посплетничать, и кофейку попить, и журналы полистать. Чтоб все как в Лондоне.

Итак, Сюзи стала раз в месяц приходить в «Сторожку»; все необходимое для работы она приносила с собой. Люси бывала ей рада: та тоже любила кино и мелодии прежних лет, с удовольствием слушала, каким был Лондон в пятидесятом году, делилась новостями о жизни сестры, когда из Штатов приходило письмо. Потом в Панкот приехала семья Блакшо, и к Люси присоединилась Фиби. Но вскорости они уехали, и встречи с Сюзи вновь обрели былую прелесть: беседовать с Сюзи куда интереснее, чем с Фиби Блакшо, та всю жизнь прожила на чайных плантациях и говорила лишь о них. К тому же она не очень-то привечала Сюзи, говорила с ней сухо и свысока. Та ни словом, ни делом не выказывала досады, а продолжала как ни в чем не бывало работать, переходя от одной женщины к другой.

Примерно через месяц после отъезда Фиби Блакшо Сюзи, придя в «Сторожку», заглянула в зеркало, куда смотрелась Люси, и шепнула:

— Миссис Смолли, а вам не кажется, что волосы лучше не красить?

Люси пристальнее вгляделась в свое отражение: темно-каштановые крашеные волосы ей и впрямь не шли: неумело молодящаяся старуха, да и только.

— А что бы вы посоветовали, Сюзи?

— У вас чудесные волосы, миссис Смолли. Мягкие, шелковистые, в любую прическу легко уложить. Но от краски они портятся. И кожа у вас чудесная, белая, точно фарфор, каштановые волосы ее не очень-то выгодно выделяют.

— Но седина меня просто убивает!

— А вы и не будете седой! Вы будете кипенно-белой. А пока

все волосы не побелели, мы их обесцветим, подстрижем, завьем и чуточку подсиним.

— Подсиним?

— Ну да! Это выгодно подчеркнет и голубизну глаз. Одна американка привезла голубой оттеночный шампунь и оставила мне целых две коробки. Эти американцы деньгам счета не знают!

С той поры Люси стала подсинивать волосы. В первый «сеанс» Сюзи даже убрала зеркало, чтобы Люси не видела, как все делается, и дала ей взглянуть в него, когда завершила работу. Люси только ахнула: «Ну и молодец же Сюзи!» Даже Слоник одобрительно проворчал: «Боже праведный! Да тебя, Люс, просто не узнать. Что же это Сюзи с тобой сделала?» — но, видно, и ему понравилось.

— Знаете, полковник, такие волосы с голубизной идут только английским дамам! — заверила его Сюзи.— Только у английских дам такие тонкие черты лица и такая дивная кожа. Они обычно не слишком высоки и не слишком толсты.

Бедная Сюзи: волосы Люси-мем с той поры стали нежно-голубыми, зато руки Сюзи на их фоне казались еще грубее и чернее. Черные дни настали и для ее салона.

Люси думала, что домик Сюзи — ее собственный, оставшийся от родителей, но оказалось, что она лишь арендует его. Старый хозяин умер, а новый (живший в Ранпуре) возобновил с Сюзи договор при условии, что работать в домике она не будет. А комната, где помещался ее «салон», конечно же, тоже принадлежала ему. Спустя два года он приобрел лицензию и открыл в новой гостинице «Шираз» свой парикмахерский салон. А Сюзи попросил немедленно освободить комнату, где она принимала своих клиенток. Он задумал устроить в этой комнатке лавку дорогих сувениров (полудрагоценные камни из Джайпура, меха, шелка, поделки умельцев из деревень, затерянных в горах Панкота). А чтобы задобрить Сюзи (а также признавая ее мастерство и репутацию, из чего тоже можно извлечь скорую прибыль), хозяин разрешил ей принимать в домике одного-двух постояльцев (что Сюзи делала и без разрешения, по уговору с туристической фирмой) и работать парикмахером у него в салоне «Шираза», правда, не на первых ролях, ибо заправлял в салоне молодой человек необыкновенно приятной наружности (конечно, не всякому нравятся индийские мерки красоты, думала Люси) по имени Саши. Он утверждал, что прошел выучку в моднейших салонах Лондона. Носил он брюки цвета мокрого асфальта, сапожки на высоком каблуке, рубашку с рюшем, обнажавшую волосатую грудь, на которой поблескивал дешевый медальон на цепочке.

Разумеется, Сюзи страдала от своеволия Саши. А сколь велики были ее страдания, Люси не знала, да и не пыталась узнать. Ее вполне устраивало, что Сюзи брала с нее меньше, так как принимала рано, до работы в парикмахерской «Шираза»: подстригала, мыла ей голову, подсинивала волосы, сушила. Вся процедура должна была заканчиваться к половине десятого. В это время (уже официально) парикмахерская открывалась, спустя несколько минут появлялись верткие молодые помощницы Саши и готовили все необходимое, чтобы около десяти их патрон мог принять первых посетительниц; обычно это были элегантные стюардессы из индийской авиакомпании. Переночевав в «Ширазе», они перед полетом через Ранпур в Калькутту или Дели приводили себя в порядок.

* * *

Конечно, Сюзи — очень надежный друг. И не стоит жалеть, что она пригласила ее на ужин вместе с отцом Себастьяном.

Когда Люси вернулась домой, Слоник сидел на веранде. Сегодня или самое позднее завтра ей придется рассказать про фотографии, про Сару, про усопшего полковника Лейтона и про грядущего мис-

тера Тернера. Слоник, по всей видимости, дремал. Блохса, лежавшая поодаль,— тоже. Она приоткрыла было один глаз, но, увидев хозяйку, закрыла. Что-то не видно Ибрагима. Уже без четверти час. По воскресеньям в ресторане «У Смита» подавали кур; Люси очень проголодалась. Неужто Ибрагима услали за обедом? Тогда уж добавки не попросишь, да и порции меньше, чем в ресторане. Она налила немного джина с тоником, на цыпочках подошла к Слонику и села рядом — ждать, пока он проснется. Но едва она села, как заметила, что Слоник не спит. Он свесил голову, но глаза открыты и смотрит в упор на Люси.

— Привет, дорогой. Ну как, немного вздремнул?

Он не ответил. Люси пригубила из бокала.

— Хочешь немного джина? Самую-самую малость, по случаю воскресенья.

— Почему это по случаю воскресенья?

— Просто по воскресеньям в ресторане подают кур. А джин очень подходит к курице. И потом, ты так хорошо себя вел.

— Не буду я есть кур. Хочу яичницу с гренками.

— Ой, как скучно: яйца на завтрак, яйца на обед. Привычка не из лучших. Может, Слоник, ты не здоров?

— При чем здесь: здоров — не здоров? Просто я буду есть на обед яичницу с гренками. Кстати, ты — тоже. И готовить ее мы будем дома.

Люси заметила привычное злорадное выражение на лице мужа. Значит, нужно вести себя предельно осторожно.

— Ну что ж,— спокойно сказала она. — А яйца у нас дома есть?

— Ибрагим скоро принесет.

Люси еще раз глотнула джина. Да, сегодня на Слоника нашла блажь. В животе у нее урчало от голода.

— Раз хочется, конечно же, ешь на здоровье яичницу. Но я, честное слово, крепко проголодалась и, пожалуй, закажу себе курицу.

— Сегодня не получится. Ты не пойдешь в ресторан, и Ибрагим не принесет тебе обед. С этим покончено.

Люси ответила не сразу:

— Я пока не стану возражать тебе, хотя и могла бы. Но ответь мне ради бога: почему?

— Потому что я так решил.

Люси снова промолчала.

— А в чем, собственно, связь между твоими решениями и моими желаниями?

— В том, что в этом доме, пропади он пропадом, хозяин пока я.— Он немного выждал и продолжал: — Верно я говорю? Или, может, что не так?

— Верно, Слоник, все верно. Я и не отрицаю. Ты хозяин в доме. Но я — хозяйка. И обычно хозяйке решать, что, когда и кому есть, а хозяину остается лишь смириться, если, конечно, сам он не любитель ходить за продуктами и готовить. Мне думается, ты не из таких любителей. Я помню, как однажды ты тушил мясо и делал к нему соус. А уж если пойдешь купить еды на день — истратишь денег на неделю. Видела я и как ты яичницу готовишь. Лучше уж я сама, по крайней мере съедобно будет. Да и следить за тем, чтоб хозяин был сыт, пристало хозяйке дома. Ну, а сейчас, Слоник, я все-таки пойду в ресторан. Потом до пяти вздремну. А принесет Ибрагим яйца, так уж и быть, пожарю тебе яичницу и на ужин. Может, и сама тебе компанию составлю, а может, поужинаю «У Смита», или в клубе, или в «Ширазе».

— А деньги у тебя на все это есть?

— Нет. Но на обеды из гостиничного ресторана нам хватает, это мы и с дирекцией обговорили. И от этой договоренности я нико-

им образом не хочу отказываться, разве что ты купишь новую плиту да наймешь повара. Я не для того осталась в Индии, чтобы на старости лет бегать по магазинам и стоять у кухонной плиты. Ты вечно разглагольствовал о том, сколько у нас преимуществ перед теми, кто уехал на родину и вынужден обходиться без прислуги, хотя и денег вдоволь. Вернись мы в Англию, я бы с радостью взялась за любую работу. Но мы остались здесь, и мне совсем не в радость кухарничать. А вон и Ибрагим вернулся.

Она окликнула Ибрагима, тот подошел прямо к веранде, до черного хода и кухни дойти не успел. Люси протянула руку — рука чуть дрожала. Не нужно бы ей принимать слова супруга так близко к сердцу. Но в последнее время и у нее нервы сдают.

— Спасибо, Ибрагим.— Она взяла у него пакет с яйцами.— Я сама управлюсь. А ты иди обедай. Сахиб давал тебе денег на яйца?

Ибрагим помотал головой. Люси спросила, сколько она должна, открыла кошелек и расплатилась с Ибрагимом. Он внимательно посмотрел на нее, потом на полковника, церемонно поклонился и вышел. Люси отнесла пакет с яйцами на кухню, включила самую «быструю» горелку, хотя с электрическими плитами не угадать: то вода закипает через минуту, то через полчаса. Вытащила из холодильника масло, понюхала. Не очень свежее, но для яичницы подойдет, по крайней мере яйца не подгорят. Нашла сковородку — давно не чищена. Вышла на веранду.

— Хочешь омлет? Учти, сковороду я чистить не буду.

— Я тоже.

— Естественно. Ну, теперь ты сам видишь — как непросто самим вести хозяйство.

— Я вижу куда больше, чем тебе кажется,— проворчал Слоник.— А в ресторан ты больше не пойдешь. И я не пойду. И думать забудь.

Люси села, отставив от себя грязную сковороду.

— Почему? Я еще раз спрашиваю: почему? Только не отвечай снова, что ты так решил, и все. Подумай хоть разок, прежде чем говорить. Подумай хотя бы о том, что на завтра мы пригласили к ужину отца Себастьяна. Яичницей ведь не станешь его угощать. Может, ты предложишь ему выпить у нас, а на ужин мы пойдем в «Шираз» или в клуб — тогда дело другое. Хотя мне думается, что там обстановка для него не очень привычная. Выбор у нас, к сожалению, невелик: либо потчевать его в ресторане, либо заказывать еду в том же ресторане, а угощать дома. И раз уж напомнила тебе об этом, скажу еще, что сегодня утром я попросила его взять с собой и Сюзи Уильямс, если она не занята. Значит, ужин будет на четверых.

— Сюзи Уильямс?! Господи, ты с ней знакома больше тридцати лет и ни разу не приглашала к нам ни на обед, ни на ужин.

— Тем уместнее пригласить ее сейчас. Завтра утром в парикмахерской я еще раз позову ее к нам. И давай больше не будем об этом. Нам с тобой нужно решить, где устроить ужин. А если ты сейчас по обыкновению хмыкнешь или заведешь разговор о яичнице, я запущу в тебя вот этой сковородой.

— Давай, чего ждешь!

— Жду, пока ты хмыкнешь.

Что он с удовольствием и исполнил дважды. А Люси бросила в него сковородкой, которая, на удивление, отскочила от Слоника, словно он был сделан из резины. Блохса залаяла, поднялась на ноги и заковыляла в гараж, от греха подальше. Загомонили испуганные вороны и черной дугой взмыли в небо. Люси встала и ушла в дом приготовить себе еще джина с соком.

За всю жизнь она лишь однажды ударила мужа. Было то в смутные времена в Бомбее, и колотила она его свернутым в трубку

журналом. Ее не столько возмутила сплетня о связи Слоника с миссис Поппадум, сколько отказ Слоника от предложения фирмы, где он работал, вернуться на родину и последний до пенсии год проработать в Англии. Тогда кроме пенсии от фирмы он сохранял бы и пенсию от индийского правительства. Выбора у Слоника практически не было: откажись он — и останется просто без работы. Что он и предпочел.

— Через год мне шестьдесят! — орал он, вырывая журнал из ее онемевшей руки.— И я не хочу свой юбилей встречать в каком-то захолустье. И я не потерплю шантажа!

«Какое-то захолустье» в Англии и предлагала Слонику фармацевтическая фирма, пустившая корни и в США и в Голландии. Она производила и сельскохозяйственные удобрения. Поглотив меньшую фирму по рекламе и доставке товаров (80 лет на индийском рынке!), она приняла на работу Слоника (после ухода в отставку) директором-исполнителем, положив ему жалованье, казавшееся Люси баснословным по сравнению с армейским. Кроме того, фирма оплатила их поездку домой в 1950 году — как деловую командировку,— и в будущем работа эта сулила еще больше. Так что Люси всерьез задумалась, а не остаться ли в Индии подольше. И лишь потом увидела она, как переменился характер Слоника после выхода в отставку. Муж стал сорить деньгами, пристрастился к азартным играм, спиртному, недоплачивал подоходный налог, с введением в Бомбее «сухого закона» к Слонику стали присматриваться таможня и полиция. И наконец, появилась, судя по всему, даже любовница — миссис Поппадум.

В глубине души Люси не верила в их связь. О таких женщинах, как миссис Поппадум, Слоник, увы, мог лишь мечтать. Сигрид Поппадум — молодая, красивая шведка, строившая глазки всякому мужчине (в этом Люси не сомневалась), только бы досадить своему плюгавому, похожему на ежа мужу-индийцу (она была у него уже третьей женой). Он — лицо влиятельное, и благодаря ему многие правительственные контракты заключались с фирмой, где служил Слоник. Туда же мистер Поппадум определил и своего племянника, выучившегося в Штатах. Несмотря на молодость, ему доверили высокий пост. Жена владельца фирмы, навестившая мужа в Бомбее, сказала Люси: «Мой Солли очень во многом полагается на индийцев, верит в них; вам, англичанам, этого как раз не хватало».

Сейчас прошло уже много лет, Люси поняла, что бедный старый Слоник был обречен, как только хозяин фирмы увидел его: ясно, что перед ним армейский недоумок, бывший сахиб, и непонятно, почему прежние хозяева фирмы взяли его на службу, ведь кругом столько толковых молодых людей ищут работу. Тогда-то Люси казалось, что Слоник сам роет себе яму, жалуясь, что эта язва, племянничек Поппадума, метит на его, Слоника, место. И что верить владельцу фирмы нельзя ни на грош. Однако Слоник и пальцем не пошевелил, чтобы шеф оценил его по достоинству. Скорее наоборот: все делал себе же во вред.

Даже сегодня, сидя за второй порцией джина с лимонным соком, Люси не могла успокоиться: с одной стороны, она корила себя за то, что запустила в мужа сковородкой; с другой — и по сей день не могла простить ему давних выходок. Взять хотя бы скандал в Тадже, когда Слоник — опять же дурачась — укусил миссис Поппадум за ухо, разлил вино и площадно выругался, отчего молодая шведка зашлась от смеха, а ее муж смертельно обиделся. Прочие же высокие гости лишь натянуто улыбнулись; Люси помнила такие улыбки: английские сахибы и мем-сахибы одаривали ими тех, кто совершал оплошность на людях. Чтобы придать такой улыбке больше выразительности, следовало чуть растянуть губы, опустив уголки, и на секунду-другую потупить взор. Потом как ни в чем не бывало поднять

глаза на собеседника и заговорить о чем-либо другом. «Ничего не изменилось,— думала Люси,— на смену старым, английским генералам, пришли новые сахибы и мем-сахибы из разных стран, и для них полковник с супругой где-то далеко на нижних ступеньках иерархической лестницы, едва ли выше, чем полукровки во времена раджей».

«Да все они вместе взятые не стоят моего Слоника»,— подумала она тогда. Сейчас же лишь слабое эхо тех дум долетело до нее. И все же на душе стало неспокойно. Таких глупцов, как Слоник, поискать! Не проживешь на белом свете, если говоришь и делаешь только то, что хочется. Нельзя так, нельзя. Нужно учитывать и время и обстоятельства. А у Слоника давным-давно притупилось чувство времени. Он бился с ветряными мельницами. И неразумный гнев его (в случае поражения) подобен гневу ребенка.

Впрочем, в одном Слоник прав: его и впрямь шантажировали, по сути дела принуждая отправляться на родину, доживать год до выхода на пенсию там. В противном случае его просто бросали на произвол судьбы в Индии, задобрив смехотворно жалкой суммой — компенсацией за потерянную работу. И Слоник выбрал последнее.

Ее мнения он даже не спросил. Она не хотела мириться с этим, плакала, колотила его свернутым в трубку журналом. Но до какого разума пыталась она докричаться, ведь Слоник — суть своеволие и гневливость, строптивость и тупость! И на что же потратили они полученную сумму? На нелепое и дорогое путешествие по Индии, пока наконец не остановились в Панкоте. «Бросим последний прощальный взгляд — и дальше»,— заверял Слоник. Однако прощание затянулось по сей день. Выброшены на ветер и остальные деньги: компенсация за выход в отставку. Как случилось, что деньги так быстро потратились?

А от Слоника она так и не дождалась никаких письменных гарантий относительно ее будущего, случись ей его пережить. Даже не гарантий, а четкого ответа: на что ей надеяться, если Слоник умрет в одночасье? Бумагу эту он так и не составил. Она допила джин и вышла из кухни, полная решимости снова потребовать прямого ответа. Но, проходя через гостиную, заметила клочок бумаги, торчащий из-под телефона. На нем что-то крупно написано, так что очки не понадобятся. Писал Слоник: «Дэвид Тернер, Раппур 34105».

Вошел и сам Слоник со сковородкой в руке. Молча последовал на кухню и начал греметь посудой. Включил воду. Уронил сковороду. Выругался. Люси сама подошла к нему.

— Ради бога уйди отсюда, угомонись и перестань смотреть волком. Это просто глупо. Я сделаю тебе эту дурацкую яичницу.

— Я и сам в состоянии приготовить себе дурацкую яичницу. Не такой уж я дурак! И не потерплю, чтоб меня выставляли идиотом.

— Помилуй бог, кто же тебя выставляет идиотом?

— Ты, например. Вот, кстати, и доказательство.— Он кивнул на записку и взял другую сковороду. — Из-за тебя я в идиотском положении оказался, скажешь, не так? Говорит, можно ли миссис Смолли? Вышла, говорю. А вы полковник Смолли? — спрашивает и тут же представляется: меня зовут Дэвид Тернер. Я никак в толк не возьму. Переспросил. Тернер, говорит, я Тернер, Дэвид Тернер, друг Гая и Сары Перрон. Я ему: вы, наверное, ошиблись номером, не знаю я никаких Перронов, наш номер Панкот, 542. Нет, номер правильный, говорит. Ну и пришлось мне его номер записать.

Смешной Слоник стоит у раковины, опустив под струю сковороду, и очень укоризненно смотрит на Люси. Попав на ободок сковороды, вода брызнула во все стороны и, конечно, на зеленую рубашку Слоника. Он швырнул сковороду в раковину, она упала плашмя и его снова обдало водой — не закрыл кран.

Люси присела на табурет и, зажав руками рот, изо всех сил сдерживалась, чтобы не расхохотаться.

Слоник схватил полотенце, вытер рубашку; потом взял стакан, налил джина, добавил лимонного сока и гордо удалился, оставив Люси посреди учиненного им разгрома: приготовить яичницу ему так и не удалось. Люси вымыла раковину, вытерла сковороду, поднесла руку к плите — нагрелась ли. Увы, едва-едва теплая. Бросила на сковороду масла, взбила два яйца, приготовила соль, перец и молоко; налила себе еще джина и пошла в комнату к мужу.

Села подле него.

— Я собиралась рассказать о мистере Тернере сегодня или завтра, просто я думала, он позвонит позже. Хочешь, расскажу сейчас же.

— Нет нужды. Он сам все объяснил.

— Ну, вот и хорошо.— Она вздохнула, положила руку со стаканом на колени, осторожно скрестила ноги.— Сегодня один из тех дней, когда мне нужна безграничная терпимость. Терпимость к себе. Нельзя поддаваться отчаянию и безысходности, видя, как все меньше и меньше я вслушиваюсь и вдумываюсь в то, что мне говорят.— Люси усмехнулась.— Знаешь, удивительно, но я вдруг представила себе эту сцену так: звонит незнакомый молодой человек, Слоник коротко и резко говорит с ним, записывает номер телефона; потом начинает злиться и на себя, и на весь белый свет: вдруг он напрасно оборвал разговор, думая, что звонит какой-то полоумный, но в дурацкое положение попал он сам, а все из-за того, что дура-жена вовремя не предупредила. Ну как, оценил мое необыкновенное аналитическое мышление?

— Ирония тебя не красит.

— Да меня уже ничто не красит. Ничто, я это уже поняла. Ну, раз ты все знаешь про мистера Тернера, но капризничаешь и не хочешь рассказать мне о вашем разговоре поподробнее, пойду и позвоню ему сама.

— Как бы не так!

Люси чуть призадумалась.

— Ты хочешь сказать, что его не будет сегодня дома? Или что-нибудь в этом роде?

— Я хочу сказать, что, пока у тебя нет номера его телефона, позвонить ты не сможешь.

Люси медленно прикрыла глаза.

— Ты прав, Слоник. Я снова забыла надеть очки. Я прочла в записке лишь ранпурский номер, написан он крупно, той маленькой шариковой ручкой, которую я подарила тебе ко дню рождения. Наверное, там и помельче было что-то написано, да я внимания не обратила. Может, по телефону в Ранпуре можно позвонить лишь завтра или послезавтра, а сейчас мистер Тернер, верно, еще в пути.

— Он не в пути. Он в Дели.

— Так он звонил из Дели?

— Сказал, что в Дели. Значит, оттуда и звонил.

— Я знаю, что он был в Дели. Он оттуда написал мне, что в Ранпур приедет, по всей вероятности, во вторник, тогда и позвонит. Потому-то я тебе и сказала, что он должен позвонить позже.

— Так что ж ты суетишься?

— По привычке, наверное. Моя маленькая слабость. Так же, как и у тебя: вечно ты мои слова пропускаешь мимо ушей. Поэтому попробуем выяснить, зачем он оставил ранпурский телефон: должны ли мы ему позвонить, или он позвонит сам. Приедет ли он в Панкот и когда. Может, заказать ему место в гостинице.

— Так что же ты хочешь выяснить вначале?

— Мне все равно. Все вопросы очень простые. Но если тебе трудно выбрать, давай сначала прикинем, когда же он приедет в Панкот.

— В среду утром.

— Прекрасно. Значит, утренним поездом из Ранпура. Выходит, в Ранпуре он должен быть не позже вечера во вторник.

— Он будет там во вторник утром.

— И если мне захочется, я смогу позвонить ему в Ранпур. Или он позвонит нам. Единственное, что нам осталось выяснить: зачем ему созваниваться с нами. Попробуем угадать. Может, попросит нас заказать ему номер в гостинице? Может — раз уж ты так любезно и долго разговаривал с ним,— ты сам предложил ему свои услуги, и ему останется лишь узнать, в какую гостиницу ехать на такси с вокзала: к «Смиту» или в «Шираз».

— Он сказал, что «У Смита» было бы лучше, Сара много рассказывала ему об этой гостинице.

— Этого я и ждала от него. Видишь, он поезд предпочитает самолету. Ему хочется, чтоб все было по старинке. Надолго ли приезжает?

— На два дня.

— Как я и предполагала. Слоник, нам, конечно, неудобно предлагать наш кров, но он все же гость, и все расходы мы должны взять на себя. И по очереди, а то и вместе должны быть с ним, показать ему Панкот, позаботиться, чтоб он всегда был сыт. Он друг наших друзей, точнее нашей подруги, понимаешь?

Слоник, по обыкновению, лишь крякнул.

— Это ты Сару в подруги-то записала? Помнится, раньше ты добром ее не поминала. Говорила, что у нее не все дома.

— Было время, она дала мне повод так думать. Зато потом я стала ее уважать: столько бед выпало на долю ее семьи, а она все перенесла. Но сейчас у нас разговор не об этом. Надеюсь, ты еще ничего не сказал Ибрагиму?

— Ничего не сказал.

— Он бы тут же разболтал все Мине, а мне б хотелось преподнести ей сюрприз. У мистера Тернера для нее подарок от Сары и ее сестры Сюзан.

— А тебе он везет голубой шампунь.

Люси даже зарделась.

— Ну надо же! Как кстати! Скажу Сюзи, пусть наш последний пакетик не жалеет, а то мы только половинкой каждый раз обходимся, чтоб растянуть подольше.

— Может, все-таки вернемся к делу?

— Вот и хорошо, что ты от него не отмахиваешься. А дело в том, что я пока не знаю, сможем ли мы заплатить и за номер мистера Тернера, и за питание в клубе или ресторане «Шираза». Это много дороже, чем мы платим в ресторане «У Смита». Хотя ты заявил, что больше ни разу туда не пойдешь, не закажешь обедов на дом. Я уже готова завтра, чтобы ублажить тебя, пойти на кухню и самой приготовить кое-какой ужин для отца Себастьяна и Сюзи. Что ж, попытка не пытка. Но с мистером Тернером я так поступить не смогу. Он мой гость, и я обязана уделять ему как можно больше внимания. И пока он гостит у нас, придется тебе либо заказывать обеды на дом, либо вместе с ним ходить в ресторан. И если ты откажешься, мистеру Тернеру это покажется весьма странным. И уж совсем бог весть что о нас подумает, если я скажу ему, что Слоник постановил (не объяснив, не обосновав) больше не ходить в ресторан и не заказывать обеды на дом и предлагает вам питаться в одиночку, а сам (вместе со мной) будет неукоснительно придерживаться яичной диеты, готовя на кухне в «Сторожке».

Слоник не ответил, он лишь не отрываясь смотрел на жену. Она допила джин и поднялась.

— Ты куда?

— Делать тебе омлет.

— Не надо. Я уже расхотел есть.

— А я не расхотела и потому пойду сейчас в ресторан, хотя для

обеда припоздала, и закажу себе курицу. А ты к вечеру сообщишь мне, по карману ли нам кормить мистера Тернера в ресторане и оплатить счет за номер «У Смита». Есть ли у нас деньги, нет ли — я понятия не имею. Между прочим,— Люси с сомнением коснулась броши на груди,— ты до сих пор так толком и не сказал мне, что ожидает меня, останься я одна. Помнишь, я просила недавно. Ты же видишь, как мне трудно. Слоник, я всю жизнь старалась как могла угождать тебе, не прекословить. Я уже старуха, и мне не стыдно, что, кроме вот этого платья, приличной одежды у меня больше нет. Ты тоже пообносился. Я не сетую о годах прожитых, но я страшусь лет грядущих, кто знает, сколько осталось жить. А страшно во многом оттого, что я не знаю, чем ты живешь; ты не делил со мной ни надежд, ни опасений, а лишь вымещал на мне злобу, даже не рассказывая, что ее порождало. У меня всегда было ощущение, что виновата я. Мы прожили сорок лет, и, согласись, очень жестоко выставлять меня виновницей всех твоих бед.

— Почему ты плачешь?

— Я не плачу, а если б и плакала, у меня хватает причин. Последний раз спрашиваю: сделать тебе яичницу?

— Я же сказал — не надо! Расхотелось!

— Тогда и мне расхотелось идти на кухню.— И Люси стала спускаться с крыльца.

— Ты куда?

— В ресторан, обедать, да мистеру Тернеру номер заказать. Не оставлять же гостя холодным и голодным, даже если его ужаснет допотопная постель, завтрак отобьет аппетит, а ванная — охоту мыться.

Люси все теребила брошь на груди. Другой рукой она, как козырьком, защищала глаза от слепящего солнца. Так дошла она до гостиницы. Хромоногий и кривой мали, некогда помогавший бывшему садовнику, сидел на корточках подле чахлой клумбы. Траву вдоль дорожки не мешало бы подстричь. Люси вошла в дом, в нос ударил запах сырости и затхлости. Запах этот, казалось, проник всюду: пахло от плетеных кресел, линялых, из грубого льна, чехлов на продавленных диванах, от пальм в кадках, от скатертей в ресторане. Занят был лишь один столик, двое посетителей встрепенулись, когда вошла Люси: видно, они нарочно сбежали из «Шираза», чтобы спокойно, с глазу на глаз, поговорить о делах. Но, бросив на Люси беглый взгляд, возобновили разговор и обед. Люси села на привычное место и позвонила в медный колокольчик. Скоро к ней подковылял старик официант Прабу.

— Доброе утро, Прабу. Мне, пожалуйста, джина с лимонным соком и курицу.

— Сахиб не придет?

— Сегодня нет.

Прабу отошел, а Люси задумалась: «Сколько лет сижу за этим столиком, за это время гостиница все оседала и оседала. Незаметно для глаза. Все глубже врастала в землю. Наверное, на полметра уже опустилась». Кто-то вошел в ресторан и, едва заметно поклонившись, прошмыгнул мимо Люси; она признала стряпчего мистера Панди. Он скрылся у себя в номере. Люси принесли джин. Как бы ей сегодня не перебрать. Впрочем, не все ли равно! Даже приятно, если на душе веселее станет.

Принесли и курицу. Порция такая, что впору не одну голодную семью накормить. Подали кувшин воды. Она попросила его унести: на кувшине грязные пятна. Не успела она прожевать кусок, как раздался рев, точно заговорил вулкан. Дверь в ресторан распахнулась: огромной бледно-розовой волной, шлепая деревянными сандалиями, прокатила злобным вихрем миссис Булабой; с пачкой бумаг в руках она ворвалась в комнату стряпчего, грохнув дверью. Немного погодя

рев стих. Минуты через две миссис Булабой снова показалась в ресторане и предстала перед Люси.

— Миссис Булабой,— начала та,— понимаете, в среду к нам приедет гость. Будьте любезны, оставьте для него номер.

— Я уже сказала полковнику Смолли, чтобы не беспокоил меня подобными вопросами. Обратитесь завтра в дирекцию. У меня и без того дел по горло. Вы лучше скажите, где садовые ножницы. Вы их нашли?

Миссис Булабой огромной горой нависла над столиком, словно пришли в движение старые Гималаи, где обитали индуистские боги и богини.

— Какие ножницы?

— Садовые. Садовые ножницы! — Миссис Булабой воздела руку и показала: чик-чик.— Вот какие! — перешла она на крик.— Я по своей доброте разрешила вашему мали пользоваться косилкой, ножницами, брать воду из нашего бака. А сегодня утром прошу своего мали подрезать кусты, а он мне и говорит: дескать, ножниц нет, их утащил куда-то мали полковника Смолли. Я не позволю растаскивать гостиничный инвентарь!

— Миссис Булабой, я и знать ничего не знаю о ваших ножницах,— ответила Люси, хотя и догадалась, где искать пропажу: Джозеф унес их на церковный двор.

— Вы знать ничего не знаете, полковник не знает! Полковник вообще договорился до того, что якобы понятия не имеет о вашем мали. Дескать, мали — это забота хозяйская. Подумать только! Да что ж я, спятила, что ли? Или все вокруг спятили?! Кто же, как не ваш мали уже с месяц пользуется моим инвентарем?!

— Миссис Булабой, по-моему, лучше поговорить об этом в другом месте и в другое время. Вы же видите, я обедаю.

— Я вообще больше не желаю об этом говорить. Некогда мне на пустяки время тратить. Но чтоб садовые ножницы были на месте! У меня и поважнее дела есть, и пререкаться из-за садовых ножниц я не собираюсь!

И она поплыла прочь, оставляя шлейф сандалового аромата, он въедался в душу Люси, как и дерзкие, обидные слова ее. Захлопнулась дверь за миссис Булабой, Люси налила в стакан воды и продолжала нарочито спокойно есть. На двух мужчин за соседним столиком она и не взглянула. Будь там англичанин, непременно бы вмешался, не дал бы миссис Булабой договорить, встал бы, подошел к столику, спросил: «Миссис Смолли, если не ошибаюсь? Меня зовут Смит. Мы в прошлом году встречались на празднике в парке. Могу ли я быть вам полезен?» И по ее взгляду понял бы, насколько она признательна, насколько увереннее и спокойнее она себя чувствует под опекой джентльмена, способного укротить пыл миссис Булабой, поставить ее на место, пристыдить и отослать прочь.

Но все это из других времен, из другой, далекой страны. Она взялась за стакан, но побоялась, что рука дрогнет и выдаст ее — те двое непременно следят за ней. Как приятно им убедиться еще раз, что времена переменились к лучшему, за прежние унижения отплачивают сторицей.

Вот один из них окликнул официанта, и Люси вздрогнула. Подошел Прабу, подал счет, который посетители тщательнейше проверили. Потом, достав толстую пачку денег, отсчитали несколько мелких купюр. Когда они ушли, Люси тоже попросила счет, подписала его, попросила принести кофе в гостиную. Долго сидела она в плетеном кресле, неторопливо пила кофе. Как объяснить мужу появление мали, ведь ему уже что-то известно: миссис Булабой и ему устроила скандал. Бедный Слоник! Бедный милый Слоник! Надо же, он не рассердился из-за мистера Тернера. Сразу же пошел заказать ему номер. И его оскорбили так же, как только что ее; только его задело еще больнее:

он взялся спорить, чей мали работал у них в саду. Бедный Слоник! Бедный глупый Слоник! Как он ярится, как портит все своей яростью. Как он переменчив и непредсказуем. Люси наклонила голову, опершись локтями на ручки кресла, закрыла лицо руками и улыбнулась. Ибо и смешного в Слонике предостаточно.

## *Глава четырнадцатая*

В «Сторожку» она вернулась в четыре часа. Сидя на корточках у веранды, ее поджидал Ибрагим.

— Полковник-сахиб ушел гулять с Блохсой,— объявил он.

Все было готово к чаю. По следам на кухне Люси определила, что на обед Слоник сварил себе яйцо. Джина в бутылке, с тех пор как она ушла, не убавилось. И яиц в холодильнике предостаточно. В шкафу — пряности и приправы, две банки томатного супа, хлеб, молоко. Да и масло, оказывается, совсем не прогоркло.

— Ибрагим, вечером ты свободен. Когда сахиб вернется домой, я сама напою его чаем, а на ужин приготовлю омлет. Нет, начать лучше с супа. Пиво у нас еще осталось? — Она заглянула в холодильник.— Сегодня-то мы управимся, а вот завтра придется потрудиться как следует: ужин на четверых придумать. Но это даже занятно. Я встану пораньше — мне ведь в парикмахерскую нужно успеть. А тебя я по-утру пошлю на базар, купить все для салата и еще курицу. Мы ее поджарим и подадим холодной. Да, не забудь майонез у Джалал-ад-дина. Может, еще анчоусов? Получится хорошая закуска, сварим вкрутую яйца и подадим к анчоусам. И еще помидоры. А горчица? Есть ли горчица? Ничего, если нет у нас, найдется у Джалал-ад-дина. И конечно, купи консервированной кукурузы, сахиб ее очень любит. Кстати, где у нас, Ибрагим, мелкие тарелки для закусок?

Он открыл шкаф и показал.

— Их нужно помыть. О господи, ну и денек завтра!

— Простите, мем-сахиб?

— Что такое, Ибрагим? Ах да, я совсем забыла про соль.

— С курицей трудно будет.

— Ерунда! Их на базаре полным-полно.

— Да, но ее сначала нужно зарезать. А потом ощипать.

— Так в чем же трудность? Торговец тебе ее и ощиплет.

— Ведь ее еще и пожарить надо. А наша плита не годится. В ней все в угли превращается.

— Ну уж, так прямо и все! — не вслушиваясь, пробормотала Люси, достала стакан и налила себе немного джина. Ибрагим протянул ей бутылку лимонного сока и облизнул пересохшие губы. Люси взяла еще один стакан, налила джина и протянула ему.

— Мем-сахиб, но нам же нельзя,— сказал он, принимая стакан.

— Бог простит нас. Будем здоровы, Ибрагим.

— Салам! — Глаза у него подобрели.

— Я очень признательна тебе, Ибрагим, ты так о нас заботишься.

В глазах у него — бездонное море доброты.

— Видишь ли,— продолжала она на ходу: откроет один шкафчик, нагнется и заглянет в другой, проверит, есть ли то, есть ли это.— Сахиб вдруг, неизвестно почему, решил отказаться от услуг гостиничной кухни и ресторана. И какое-то время нам придется готовить самим. Мне, откровенно говоря, ресторан тоже изрядно надоел. Так завтра мы могли б придумать какую-нибудь легкую закуску. Запеченные бутерброды с сыром, например.

— Лучше запечь анчоусы. А яйца на закуску не нужны. Они не идут к анчоусам. Живот потом пучит.

— Вот это совет ценный. А что же будем делать с курицей?

Люси резко выпрямилась, ее качнуло, пришлось ухватиться за шкаф. Тут же подскочил Ибрагим, придвинул табурет, усадил.

— Мем-сахиб, не беспокойтесь насчет курицы. Ибрагим все сделает как надо.

— Спасибо. Извини, что тебе еще забот прибавилось. Но нам с полковником-сахибом вдруг выпало принимать гостей. Ой, глупая я, глупая, загодя суетиться — только все испортить.

Ибрагим принес ей стакан воды и проводил до спальни.

— Я вздремну, и слабость пройдет. Мне просто необходимо быть в наилучшем виде. Завтра на ужин к нам придут гости, и у тебя будет много работы. А на днях приедет еще один гость, из Англии. Завтра утром я напишу тебе, что купить. А пока не мог бы ты отыскать садовые ножницы? Наверное, мали унес их на церковный двор, а миссис Булабой мне за это выговорила.

Как в тумане видела она лицо Ибрагима, вот он усаживает ее на постель, помогает снять туфли, потом, когда она уже легла, до нее донесся шорох: Ибрагим задернул шторы.

* * *

Проснулась она затемно. Сначала ей показалось, что уже глубокая ночь, но в гостиной горел свет, да и постель Слоника пустовала. Оказывается, она спала одетой, и кто-то укрыл ее легким одеялом. Она потянулась за часами на тумбочке. Почти восемь. Значит, проспала она без малого четыре часа. Надела туфли, зашла в ванную, ополоснула лицо, причесала растрепанные волосы, провела надушенным пальцем по вискам.

— Слоник? — окликнула она и вошла в гостиную.

С веранды заглянул Ибрагим.

— Сахиба нет.

— А где он? Что случилось?

— Ничего, мем-сахиб, не волнуйтесь. Сахиб приходил домой, попил чаю и снова ушел. Он оставил записку.— Ибрагим подошел к секретеру и взял конверт, на котором значилось «для Люси».— Приготовить чаю и вам?

Люси взяла очки, села у секретера, включила лампу, перевернула конверт и увидела надпись на обороте.

«Хотел поужинать в клубе, заказал столик, когда ходил гулять. Тебя не добудился. Ушел. Столик заказан на 8 вечера, буду ждать тебя до половины девятого, может еще и успеешь. Если не встретимся, жди к одиннадцати. В конверте то, что ты просила: я ясно написал о твоем материальном положении на случай, если ты останешься одна». Подпись — «С», время — 7.30. Наверное, одеялом ее укрыл Ибрагим.

Ножичком слоновой кости она вскрыла конверт. В нем — два густо исписанных листка. Прочитав, она тут же принялась перечитывать.

— Вот и чай, мем-сахиб.— Ибрагим поставил поднос на кашмирский резной деревянный столик.— Нанять ли для вас коляску?

— Зачем?

— Чтоб мем-сахиб успела в клуб к сахибу.

— Не нужно, Ибрагим. Настроение у меня для клуба неподходящее.

— Приготовить вам ужин дома?

— Нет. Я очень плотно пообедала, а завтра рано вставать, так что сегодня больше есть не стану. Подай, пожалуйста, мне завтра чай не к семи тридцати, а ровно к семи. А сахибу — в обычное время. В четверть девятого мне нужно уходить.

— Хорошо, мем-сахиб... Да, совсем забыл.

— Что, Ибрагим?

— Садовые ножницы на месте, у хозяйского мали.

— Ах да, я тоже про них забыла. Спасибо тебе.

— А что, сахиб уже знает про Джозефа?

— Понятия не имею. Может, знает. А тебе-то что?

— Прабу сказал, сегодня мем-сахиб Булабой скандалила из-за садовых инструментов. Сначала накричала на полковника-сахиба, потом на вас, мем-сахиб. А сахибу сказала, что Джозеф не ее мали, а его.

— Ну и что же? Сказала так сказала. Все равно она ведь неправа. Джозеф — твой мали.

— Я его уволил.

— За что?

Ибрагим заложил руки за спину.

— Мне нечем ему платить, ведь мем-сахиб не дает мне для него денег, да и обещанной прибавки к жалованью пока нет. А если сахиб узнает правду и скажет, что на сад не даст ни гроша, тогда мем-сахиб не сможет заплатить Джозефу, хотя платить бы не вам, а госпоже Булабой. И тогда лучше всего для Джозефа, если я рассчитаюсь с ним и уволю, а сад пусть зарастает.

— Мне, Ибрагим, кажется, что бы сахиб ни говорил о деньгах, ему не захочется, чтобы сад зарастал. И потом: это ведь не только сад миссис Булабой или сахиба, но еще и мой. И сегодня на ночь не стоит заводить о нем разговор. Приготовь-ка лучше сахибу на ночь какао, вдруг ему захочется. Мне не нужно.

* * *

Ибрагим ушел. Люси выпила совсем остывший чай, потом принялась составлять список завтрашних покупок Ибрагиму — нужно чем-то занять себя. Закончив со списком, она принесла стопку пластинок, завела старый проигрыватель и стала в одиночку (с воображаемым партнером) танцевать: вальс сменился фокстротом, фокстрот — куикстепом. Потом сварила себе чашечку кофе, накинула пальто, села, не зажигая света, на веранде, обняла ладонями горячую чашку.

— Блохса! Блохса! — тихонько позвала она. Собака не откликнулась. Значит, Ибрагим запер ее на ночь в гараже. «...царице Савской ты подобна, вернись, малютка» [1],— прошептала она.

Яркие огни «Шираза» достигали сада «Сторожки» и делили его пополам, оттого в середине казалось еще темнее. Слева тускло светились окна «У Смита». Сейчас по ночам в Панкоте несравненно больше освещенных улиц, чем раньше. И звезды от этого стали казаться дальше. И холмы не так отчетливо выделяются на горизонте, впрочем, может, она просто стала хуже видеть. С гор потянуло холодом, Люси пробрала дрожь. Она вернулась в дом, сварила себе еще кофе. Как хотелось, чтоб зазвонил телефон.

Пока закипала вода, она снова перечитала записку Слоника:

«Ты просила меня ясно высказаться по поводу дальнейшей жизни, если ты овдовеешь. От «Фонда офицерских вдов» ты будешь получать фунтов девятьсот в год да еще по королевскому указу фунтов шестьсот, итого набежит тысячи полторы (с поправкой со временем на разницу в ценах). От дядюшкиного капитала после моей смерти тебе ничего не достанется. Да и, как ты знаешь, Люс, в последние лет десять мне и самому по этим процентам все меньше и меньше доставалось. Во-первых, из-за девальвации, а во-вторых, потому, что какой-то идиот из совета попечителей неудачно поместил основной капитал. И с 1964 года я получал меньше двух сотен. Я хотел кое-что скопить в лондонском банке, но мне мало-помалу почти все перевели в Бомбей. Там у меня на счете фунтов пятьсот, может еще около двухсот в Лондоне. Страховка у меня небольшая, всего две тысячи, но, учитывая многолетние накопления, сумма, поди, уже удвоилась. Одним словом, Люс, денег тебе хватит, чтобы уехать на родину, коли ты надумала, хотя я тебе и не советую, здесь жизнь дешевле. Конечно, и в Англии с голоду не умрешь, там же полным-полно всяких благотворитель-

[1] Строка из стихотворения Джорджа Уидера (1588 — 1667) «Любил я девушку».

ных обществ вроде «Обездоленных дворян». Потом есть еще бесплатные лечебницы и дома для престарелых. Белому бедняку все-таки легче, наверное, прожить в Англии, чем в Индии. Хотя по меркам среднего индийца мы — люди зажиточные. Но не по меркам индийского офицерства. Прости, Люс, я, по-твоему, крепко запустил наши финансовые дела. Наверное, диву даешься, куда девались деньги, которые изредка нам перепадали. Я, по правде, и сам ума не приложу! Компенсацию (три тысячи), которую я получил, уйдя в отставку после объявления независимости (а для службы в английской армии я уже был слишком стар), мы истратили на поездку в Англию, ведь дорогу фирма оплатила только мне. Говорю это не в оправдание. Я, Люс, и впрямь дурак. Помнишь, мы выгодно продали в Индии старику Загребущему (как я его звал) машину, что привезли из Англии, тогда еще можно было подзаработать на перепродаже, не нарушая закона. Но эти «левые» деньги впрок не пошли. Заплатил он мне крупными купюрами, а они в кармане не залеживаются. Много денег просадил я на ипподроме, сама знаешь. В ту пору едва ли не все англичане привозили в Индию машины — пошлиной на родине они не облагались, раз вывозишь за рубеж. Индийцы охотно перекупали их, так как в ту пору на машины у них была очередь. Но не таким простофилям, как я, заниматься спекуляцией. Пока я охал да ахал над своим сказочным богатством, всякий, у кого есть деловая хватка, пустил бы его в оборот. Частично компенсация пошла на уплату взносов в «Фонд офицерских вдов», где я тогда чуток задолжал. Нет, Люс, я вообще-то платил аккуратно, понимал, что вся твоя надежда на этот фонд. Много потратили мы, разъезжая по Индии, прежде чем осели в Панкоте. Знаю, ты считаешь, что я здорово сглупил, оставшись в Индии. Когда Индия получила независимость, мне было сорок шесть — негоже мужчине в этом возрасте в отставку подавать. Однако и поздно все заново начинать бог знает где. В Англию в мои-то лета мне просто нечего было и соваться, а в Индии отставка сулила меньше зол. Я и по сей день уверен, что мы правильно поступили, оставшись здесь жить. Собственно, «жить» — слишком громко сказано. Мы лишь существуем, как и прочие наши сверстники, соответственно воспитанные, заурядных способностей, не бедняки, но и не богатеи, у которых большие деньги никогда не водились, богатого наследства им никто не оставлял. Но вот подходит время, они бросают работу и оказываются в таком же положении, где бы они ни жили. И мне еще повезло оказаться в Индии, не потому, что это какая-то особая страна, а потому, что для меня она не просто место службы, где мне двадцать пять лет выплачивали жалованье (срок, конечно, немалый, хотя я был вправе рассчитывать и на больший). Но в один прекрасный день власть предержащие мне и говорят: «Хватит, Смолли, ты здесь больше не нужен, нам всем отсюда пора уматывать. Жаль, что тебе 46, а не 36 или 56». В то время я только об этом и думал: ведь в Индию я вложил не деньги (которых не было), не способности (которых у меня с гулькин нос), не свой труд (от которого Индии ни на йоту не стало легче), а единственное, что только мог вложить,— душу. Моя ошибка в том, что я ожидал проценты от своего вклада, того, что, казалось, мне причитается. А получил шиш, и с тех пор — не ругай меня, Люс,— я веду себя как последний дурак. Невиданно затянувшееся ребячество. Бесконечная игра в Холи. С глазу на глаз признаться тебе в этом не могу. Писать и то заставляю себя. Так по-дурацки меня воспитали. И не вздумай отвечать на это письмо! Ни к чему! Пожалуйста, ничего не пиши. Ты всю жизнь была мне хорошей женой. Люс. Прости, что не говорил тебе об этом вслух. Когда допишу эту чертовщину, перечитывать не стану — иначе порву! Суну в конверт, и — с глаз долой, из сердца вон! И ничего не хочу слышать об этом письме! Заикнешься — наговорю гадостей! Впрочем, и без того наговорю еще! Уж такой у меня характер. Целую. Слоник».

* * *

Она зашла на кухню. Почти вся вода в чайнике выкипела, хватило лишь на полчашки кофе. Она захватила его на веранду, там же и села, закутавшись в пальто. Из «Горного зала» ресторана в «Ширазе» долетала музыка — играл оркестр. На небе мерцали звезды. Вот оркестр примолк, и она услышала вой шакалов в холмах. Допив кофе, вернулась в дом, опустила жалюзи, дверь оставила незапертой — вдруг Слоник забыл ключ. Сполоснула чашку, проверила: приготовил ли Ибрагим все для какао господину. Потом вошла в спальню, разделась и легла в постель. Письмо Слоника она положила под подушку и выключила свет.

Скоро ей исполнится шестьдесят семь. Если она овдовеет, дай бог, чтобы ее доход составил полторы тысячи фунтов в год. Да тысячи две — в банке, не считая мужниной страховки. На дорогу в Англию хватит, а что дальше? Она забылась, проснулась — сон больше не приходил. Включила свет, посмотрела на часы. Начало двенадцатого. Снова принялась считать, пересчитывать, прикидывать. Потом, видно, заснула. Разбудили ее голоса в саду: разговаривали Слоник, доктор Митра и его супруга. Господи, неужели он пригласил их заночевать?! Очевидно, они провожали его домой, и он предложил им зайти. Через минуту она вздохнула облегченно: гости откланялись, Слоник запер за ними дверь и пошел на кухню варить какао.

На душе у Люси сделалось покойно-покойно. Она повернулась к стене, чтобы не мешал свет из гостиной. Уже засыпая, она нащупала конверт, в нем — единственное за долгую супружескую жизнь письмо от Слоника со словами любви.

## *Глава пятнадцатая*

В понедельник 24 апреля в семь пятнадцать утра Люси закончила чаепитие — поднос ждал ее у постели. А в это время в гостинице мистер Булабой услышал, как из номера 1 (спальни миссис Булабой) донесся то ли рык, то ли стон. Пятнадцать минут спустя Люси на цыпочках проследовала в ванную и там оделась, чтобы не разбудить Слоника. Он долго ворочался ночью и заснул лишь под утро. Поэтому Люси предупредила Ибрагима, чтоб чай сахибу не подавал раньше четверти девятого, когда она уйдет в парикмахерскую «Шираза». Пока она объясняла Ибрагиму, что купить, мистер Булабой на цыпочках шмыгнул в комнату миссис Булабой; приказ явиться передала ему Мина. Он тоже провел беспокойную ночь, припоминая все загадочные вчерашние перипетии и обиды, понесенные им от отца Себастьяна, мистера Томаса и Сюзи. Войдя в комнату жены, он застал ее в привычном состоянии: она лежала ничком на постели и тихо стонала. После субботнего скандала они не разговаривали.

— Не послать ли, Лайла, за доктором Раджендрой?

— Не надо,— одними губами изобразила она.

— Тогда, может, за доктором Тапоревалой? — мистер Булабой облизнулся.— Или за доктором Бхаттачарией?

Она лишь простонала в ответ, потом прошелестела:

— Ты написал Уведомление?

— Сейчас напишу.

— Поторопись. И принеси мне. Я подпишу.

— Лайла, дорогая, стоит ли тебе утруждать себя всякими пустяками? Я-то здесь для чего?

— Вот и я порой себя о том же спрашиваю.

— Лайла, Уведомление нужно напечатать.

— Разумеется.

— А машинка будет стрекотать.

— Что ж, каждому свой крест нести!

Минуту спустя мистер Булабой уже сидел в своей клетушке. Он вставил в древний «ремингтон» два листка бумаги (второй — для копии — потоньше), переложил их копиркой и начал:

«24 апреля 1972

Многоуважаемый полковник Смолли!»

Из номера мистера Панди донеслись звуки радио. Мистер Булабой подскочил к двери, влетел в соседнюю комнату, выключил радио, показав жестом, что у миссис Булабой мигрень, и удалился к себе.

Написать Уведомление — значит окончательно и с позором капитулировать перед Лайлой. Да, собственно, он уже капитулировал. Хотя писалось ему ох с каким трудом. Все равно что подписываешь смертный приговор давнему другу. А для него самого это тоже приговор — к пожизненному заключению. И об этом не забывал мистер Булабой, когда, запинаясь, печатал отрывистые, сухие фразы. Они со Слоником оба жертвы. Ему самому уготована роль болонки при Лайле. Высунув язык, будет он носиться вслед за ней по всей Индии, а то и за море, будет вилять хвостом, пока в один прекрасный день она не выгонит его. Так, может, это станет милосердным избавлением? Сегодня утром мистер Булабой был уже готов в это поверить.

Какая досада, что ему не сказали в церкви про орган. Ведь сколько лет он пытался его починить. Даже собирал деньги. А мистер Томас знал, что его починили. И Сюзи знала. И вчера, когда орган заиграл, мистеру Булабою обрадоваться бы, ан нет, его самолюбию нанесли сокрушительный удар.

— Мы хотели сделать вам, Фрэнсис, сюрприз,— сказал тогда отец Себастьян,— скромная награда за ваши былые труды.

Почему за «былые»?

— Вы очень добры,— ответил он тогда и увидел, как они улыбаются. Жалостливо, как показалось ему. Постепенно открылась история чудесного «воскресения» органа. Починили его с помощью отца Себастьяна, он, видно, разбирался в музыкальных инструментах. И не так уж безнадежно тот был сломан, как уверяли паству (кто «уверял»?). Был у святого отца и знакомый мастер в Калькутте. Он приехал, остановился у Сюзи. Мистер Томас дал ему запасной ключ от церкви. За десять дней мастер и впрямь совершил чудо, а Сюзи потом несколько дней репетировала, играла.

— Мы хотели сделать вам сюрприз,— повторила она слова отца Себастьяна.— Господи, как мы только не таились! Каждую минуту боялись, что вы застанете нас за работой. Детишкам мистера Томаса наказали следить за вами днем и задержать подольше, если вы направляетесь в церковь. А другой мальчонка должен был немедля бежать в церковь, предупредить мастера, брата Джона. А по ночам, когда приходила играть, я поручала Джозефу приглядеть за входом: вдруг вам вздумается проверить, не утащил ли какой злоумышленник нашу церковь!

Оба рассмеялись. Значит, и Джозеф знал про орган. Не знал лишь он, приходский староста.

— Должно быть, починка стоила немалых денег,— выдавил он из себя, стараясь изобразить счастливую улыбку на лице, ведь они все уверены, что осчастливили его.

— Отец Себастьян — член комитета по субсидиям на ремонт и благоустройство.

— И к тому же,— вставил священник,— не для всех деньги — самое главное. Орган отремонтировали почти даром, бескорыстно. Брат Джон сказал, что ремонт несложный. Он с помощником его быстро наладил. Мы надеемся, что он приедет на Троицу и нам поиграет.

— Как чудесно он играет,— вздохнула Сюзи.— Я ему и в подметки не гожусь. Баха он исполнял так, словно сам не от мира сего, даже

не сравнить с тем, как играл наш бедный мистер Мейбрик, он учил меня органу, когда я была еще крохой и ноги не доставали до педалей.

«Вот и я тоже не от мира сего»,— подумалось мистеру Булабою. И снова мысль эта пришла в голову, когда он заканчивал Уведомление. «С искренним уважением». «Я здесь никому больше не нужен. В органах я ничего не смыслю, играть не умею, верю всякому, кто говорит, что орган неисправен. А орган, о котором я имею некоторое понятие, увы, в починке не нуждается, но только портит мне жизнь, спрятать бы его куда подальше».

Восемь часов утра: в былые времена, когда мистер Булабой с гордостью управлял процветающей гостиницей, это был час заезда — только успевай поворачиваться.

* * *

— Я сейчас уйду, а тебе вот дополнительный список. Купить у Джалал-ад-дина еще консервов, кто знает, может, за ужином пригодятся. Вот тебе деньги; и, пожалуйста, на обратном пути возьми извозчика, всех покупок тебе не дотащить. Если денег не хватит, пусть Джалал-ад-дин запишет, на неделе расплачусь.

— Мем-сахиб, а как насчет спиртного?

— Да, конечно, надо бы купить еще, но пусть об этом сахиб позаботится. Вернусь я около половины одиннадцатого, и все с ним обговорим. Ты же, как только я уйду, напои его чаем, накорми завтраком и потом уже иди за покупками. Встретимся мы в половине одиннадцатого, выясним, что у нас есть и чего не хватает, отправим хозяина погулять с Блохсой и купить выпивку.

Люси заглянула в сумочку: денег заплатить Сюзи хватит. Она захватила с собой легкий платок: вдруг на обратном пути подует ветер, новая прическа может пострадать. Уложив все в сумочку, спустилась с крыльца и остановилась.

«Канны цветут вновь (подумала она), какие необычные цветы». Фраза эта была из «Выхода на сцену»: Кейти Хепберн узнаёт, что Андреа Лидз покончила с собой, так как роль, о которой она мечтала, досталась Кейти. Известие это настигает актрису перед самым выходом на сцену. И она выходит и играет блистательно, как никто от нее не ожидал.

— Ибрагим! — позвала Люси.

— Иду, мем-сахиб! — откликнулся тот.

— Надо бы канны сегодня полить. Бедняжки совсем засохли, истосковались по воде.

— Я прикажу мали.— И долго смотрел вслед хозяйке. Она свернула к запасному выходу, он выводил прямо к громаде «Ширазa». Снова остановилась подле клумбы с петуниями, потрогала цветы. Потом Ибрагим вернулся в дом, поставил кипятить воду, принялся готовить завтрак. В половине девятого отнес чай к постели хозяина и раздвинул шторы. Выпустил Блохсу из гаража, она приплелась на веранду и снова легла. Потом Ибрагим нарезал хлеб, вскипятил воду и поставил ее на медленный огонь, иначе яйцо для сахиба переварится. Да разве с этой плитой угадаешь?

А мистер Булабой десятью минутами позже появился в своем «кабинете». Видно было, что его крепко отругали и заставили перепечатать Уведомление.

«Пропади все пропадом,— чертыхался он мысленно.— Мне и самому-то здесь не жить, так чего ради беспокоиться о супругах Смолли?»

«Уважаемый полковник Смолли!

Довожу до Вашего сведения, что и гостиница и флигель подлежат реорганизации под началом новых владельцев, в связи с чем «Сторожка» с 1 июля сдается для проживания с еженедельной оплатой и без гарантии на продление срока. Я считаю необходимым известить Вас

заблаговременно, чтобы Вы успели подыскать в самое ближайшее время новое жилье.

Примите настоящее письмо в качестве уведомления о том, что, возможно, уже с 30 июня «Сторожку» придется освободить.

*Владелица гостиницы Л. Булабой, с приветом».*

Как долго писалось это короткое письмо. Несколько раз мистер Булабой начинал заново. К девяти часам он наконец поставил точку. Оставалось переписать набело и отдать первый экземпляр миссис Булабой на подпись, а второй — мистеру Панди, тот днем захватит его с собой в Ранпур.

* * *

— Завтрак готов, сахиб.— Ибрагим взошел на веранду и поставил поднос на стол.

Сахиб, одетый, но еще небритый, стоял в саду около клумбы с каннами. Блохса путалась у него под ногами.

— Отвяжись от меня, наконец! — прикрикнул Слоник и отпихнул ее ногой.— Ибрагим!

— Слушаю, сахиб?

— Какого черта канны не политы?

— Вот и мем-сахиб о том же спросила. Мали говорит, что из хозяйского бака воды утром взять не удалось, пришлось разыскивать старый бак, а он протекает. Сейчас мали его чинит. А починит — и канны польет.

Сахиб с трудом взобрался на веранду, снова отшвырнув с дороги собаку.

— Зачем целый бак для одной клумбы канн? Воду, между прочим, можно и в ведре принести, или оно тоже прохудилось? А почему это из нового бака воды не достать?

Ибрагим уклонился от ответа, ему не хотелось рассказывать о том, чьи это садовые инструменты и чей мали. Он лишь пробормотал:

— Может, новый еще хуже старого протекает. Вас ждет завтрак, сахиб.

— Вижу, не слепой. А где мем-сахиб?

— В парикмахерской. Вернется к половине одиннадцатого. К завтраку вроде все подано: чай, поджаренные хлебцы, повидло, яйцо — я его четыре минуты варил. Принести ли газету?

— А что еще в почте?

— Ничего, сахиб.

— Как? Даже счетов нет? Без утренней почты и завтрак не в радость. Ну-ка, ленивец, напиши хоть ты мне письмо. А еще лучше — убери отсюда эту треклятую собаку да своди ее погулять.

— Слушаюсь, сахиб. После завтрака я непременно пойду с ней погулять. А пока запру в гараже.

— Я сказал: сейчас же иди с ней гулять! Да заодно на базаре мне мыльного крема для бритья купи. И мигом — домой!

— Да, сахиб, непременно. Я схожу с Блохсой погулять. Только на базар с ней не пойду. Она — собака глупая, без поводка будет рыскать по сторонам, за другими собаками увяжется. Хлопот с ней не оберешься, у нее ж одни кобели на уме.

— Тогда возьми поводок!

— Сахиб, дело в том, что я сейчас не смогу погулять с Блохсой даже с поводком. Мне нужно купить на базаре живую курицу. А Блохса не собака, а шайтан, курица раскудахчется, не уймешь: как я ее домой донесу?

— Я тебя не за курицей, за мыльным кремом посылаю.

— Я вас, сахиб, понял. Курицу мне мем-сахиб наказала купить.— Он вытащил список покупок.— И еще много кой-чего. Рук не хватит все донести. Мем-сахиб даже сказала, чтоб я на извозчике домой возвращался. Я просто не представляю, как это я со всеми свертками да

корзинками в коляске поеду, да еще и собака — либо со мной рядом на сиденье, либо трусит следом.— Он улыбнулся, ожидая, что Слоник оценит положение и ответит улыбкой. Но сахиб не улыбнулся. Он лишь сказал:

— Покажи мне список.

— Это все покупки к ужину,— напомнил Ибрагим.— Да для гостя-англичанина.

Слоник-сахиб внимательно прочитал список.

— Мем-сахиб и денег тебе дала?

— Да, сахиб.

— Давай их сюда.

Ибрагим послушно протянул деньги.

— Все. Забудь об этом. Бери Блохсу, иди с ней гулять и принеси мне мыльного крема.— Слоник налил себе чаю.— Все!

Все. Разговор окончен. Можно проваливать. Убираться ко всем чертям.

— Простите, сахиб...

— Я сказал: все — и чтоб собака больше у меня под ногами не путалась.

Шайтан, выругался про себя Ибрагим, что сахиб, что мой свояк — все дерьмо. Уж как тогда в Лондоне, в доме на Финсбери-парк, сестра умоляла Ибрагима взять ее с собой обратно в Индию, как плакала. У него тогда кончилась гостевая виза, и нужно было уезжать. А свояк — дерьмо, иначе и не назовешь. В доме у него двенадцать постояльцев, с каждого он по восемь фунтов брал, а туалет — один на всех. И попробуй пожалуйся! Порой в доме жило и больше двенадцати человек, а это противозаконно. Уж где там только не ютились! А свояк, чтоб ему пусто было, все угрожал выселить, жулик, каких мало, к жене хуже, чем к прислуге относился. Вот и полковник-сахиб такой же. Хуже любого мусульманина или брахмина. Да все они хороши!

— Я сказал: все! — грозно повторил сахиб.

— Ибрагим не глухой, сахиб.

— Тогда проваливай и прихвати это сучье отродье. Не забудь про мыльный крем.

— Сахиб, сперва, наверное, нужно все купить, а потом уж с собакой гулять. Да и мем-сахиб сказала, что сахиб сам с собакой прогуляется, когда за выпивкой пойдет.

Словно по взмаху невидимой злой волшебной палочки, Блохса вдруг заскулила и завертелась юлой. Слоник-сахиб вскочил с кресла, схватил собаку за ошейник и потащил ее в гараж. Заперев ее, он бросил:

— Ты уволен!

Ибрагим вздохнул и заложил руки за спину.

— Хорошо, сахиб. Но сначала я все-таки схожу за покупками для мем-сахиб, потом вы меня уволите и заплатите за три недели.

Дальнейший ход событий немало удивил его. Слоник-сахиб вытащил из кармана брюк бумажник, отсчитал купюры, бросил их на стол.

— Ну, а теперь проваливай. Да поживей. Собирай манатки — и проваливай!

Ибрагим поначалу не стал брать денег.

— Полковник-сахиб, почему вы так со мной поступаете? Что, по-вашему, мне делать, если госпожа приказывает одно, а господин — другое? Госпожа велит идти на базар, купить курицу, ощипать, начинить приправами и с помощью Аллаха зажарить. Подавать ее холодной с салатом, закусками и запеченными бутербродами с анчоусами. Господин велит погулять с собакой и купить мыльный крем. Я могу управиться и с тем и с другим, но не одновременно! Чьих приказов мне слушаться?

— Служил бы в армии, знал бы чьих! — закричал Слоник.— По-

следний приказ — самый главный. Последний — понял?! А ты его только что слышал. Убирайся!

Ибрагим собрал со стола деньги. Лучше побыстрее уйти от греха подальше.

— А перед тем как я уберусь, можно один вопрос: как мем-сахиб управится одна и приготовит ужин на четверых?

— Нет, никаких вопросов. Ибрагима это не касается. Больно высоко себя ставишь. Все: я тебя рассчитал. Убирайся. Проваливай. Чтоб духу твоего здесь не было.

Ибрагим ушел. Взглянул на часы: девять пятнадцать. Чуть задержался в доме: вдруг сахиб закричит, что яйцо переварилось? Нет, тихо, лишь Блохса все скулит. Ибрагим пошел искать Джозефа, ему тоже придется собирать вещи. «Я не хочу, чтобы сад пришел в запустение, и постараюсь, чтоб до этого не дошло»,— вспомнились ему слова мем-сахиб. Не беда, что его рассчитали, восстановят в одну минуту.

— Ведь, в конце концов, мали-то мой,— пробормотал Ибрагим.— Раз меня выгнали, значит, и его.

За домиком он столкнулся с Миной. Она протянула ему конверт, адресованный полковнику Смолли.

— Беда, ох, беда,— покачала она головой.

— Вот и хорошо. На меня, моя ласточка, тоже беда свалилась: снова уволили.— Он куснул ее за ухо, ущипнул за грудь, склонился и стал шепотом пересказывать свои злоключения, Мина лишь хохотнула, прижалась к нему, разбудив его плоть, и была такова. А Ибрагим, слегка понурясь, вернулся к хозяину.

— Вам письмо, сахиб. Только что передали.

— Я же сказал тебе: убирайся! Деньги получил и уматывай к чертовой бабушке.

— Письмо от Дирекции,— сказал Ибрагим и положил письмо на стол. — Больше не побеспокою. Свой последний долг выполняю. Видно, и впрямь разверзаются небеса и грядет конец света Так написано. Салам алейкум.

Блохса прямо-таки рвалась из-за двери гаража. Ибрагим немного постоял в доме. До него донесся возглас сахиба: «Сука! Сучье отродье!» Скрипнуло кресло: видно, хозяин поднялся, сейчас пойдет к миссис Булабой и задаст ей жару. Ибрагим улыбнулся и вышел черным ходом; Джозефа он нашел за гаражом, тот чинил старый бак.

— Бросай работу! — объявил он мали. — Нас уволили. Раз меня рассчитали, значит, тебя тоже.

Через пятнадцать минут оба уже сидели на корточках у входа в «Шираз», рядом узлы с одеялами и символическими пожитками. Скоро выйдет Люси-мем, и можно начинать переговоры о восстановлении на службе.

* * *

Мистер Булабой в ужасе шарахнулся от клумбы с каннами; на ней лежал полковник Смолли, глаза открыты, лицо побагровело, в вытянутой руке зажато письмо: будто чужеродный стебель вдруг поднялся на клумбе и выпустил нежданный-негаданный белый цветок. Мистер Булабой опрометью кинулся прочь. Вбежал в дом — никого. Остановился было у гаража, за дверью все выла несчастная собака. С жалобой на нее он и пришел к полковнику. Блохса стала биться о дверь. Мистера Булабоя обуял страх. Он повернулся, но перед глазами вновь оказалось распростертое тело на клумбе. Мистер Булабой понесся через весь сад к гостинице, влетел в комнату жены, вытолкал оттуда Мину, захлопнул за нею дверь и подошел к постели, где огромной жирной гусеницей извивалась его жена.

— Любовь моя,— прошептал он,— Лайла, любовь моя. Он умер! Он умер! — И не успела она и рта раскрыть, как он прильнул к ее

губам и обвил руками шею, не то стремясь задушить ее, не то — изъявить любовь. Всем телом он прижал ее к постели, чтобы унять ее конвульсивные движения, но Лайла оказалась сильнее: мистер Булабой сначала оказался в воздухе, потом — на полу, причем упал он тяжело, со стуком. Жена села в постели.

— Кто умер?

Мистер Булабой рассказал о том, что видел, и как мог живописал.

— Где Уведомление? — Она надвинулась на мужа, жарко дыша ему в лицо.

— У него в руке.

Она схватила его за рубашку.

— Принеси его!

— Кого — его?

— Письмо, идиот! Раз полковник умер, незачем посылать Уведомление!

На верхней усатой губе у нее проступил пот. Капелька скатилась с подбородка и упала на прозрачную ткань, чисто символически прикрывавшую грудь. «Я и впрямь пропащий,— подумал мистер Булабой.— Я у нее под пятой. Какой я христианин! Я — язычник-индуист, а Лайла — моя богиня. Почти каждую ночь приношу я ей жертву, а бог Шива дает мне силы». Он закрыл глаза, чтобы не видеть своего божества, попытался вызвать другой образ, но тщетно.

— Лайла, я не могу обобрать мертвого.

Постель заскрипела, зашуршала — Лайла встала, оттолкнув мужа могучим бедром.

— Дурак! — бросила она и пошла к двери.

— Лайла, вернись! Опомнись!

Но ее уже не было в комнате. Шатаясь, мистер Булабой последовал за ней и вдруг встал как вкопанный. Она же струсила! А раз струсила, значит, не так уж она умна и сама. Струсила! Куда девалась ее хозяйская хватка. По крайней мере, трое знали о письме: Мина его относила, Ибрагим передавал хозяину, мистер Панди ждет не дождется копии Уведомления. А в нем лишь предложение подыскать другое жилье. Конечно, известие это доконало старика, но разве кто виноват?

Мистер Булабой вовсю припустил за женой, но душа его уже ликовала:

«Теперь я знаю, чем тебя пронять! Что, испугалась? Еще бы! Сдрейфила! Так кто ж из нас дурак, а, Лайла, любовь моя?»

* * *

Доктор Митра дважды осмотрел тело своего бывшего пациента, которого и сегодня зашел навестить. Он увидел, как навстречу, колыхаясь обильными телесами, плыла миссис Булабой, за ней семенил ее плюгавый муж.

— Слава богу, что вы здесь, доктор,— еще издали возопила толстуха. Подойдя ближе, она долго не могла отдышаться. — Муж увидел его минуту назад и всполошился. Ему показалось, что полковник мертв, но, может, он просто без сознания и нуждается в помощи.

— Боюсь, что мертв.

Миссис Булабой заохала, сжала кулаки, словно собиралась бить себя в грудь. Муж ее стоял позади, нервно теребя пальцы и не сводя взгляда с пустой руки Слоника.

— Боюсь, исход был предрешен. И он сам это чувствовал.— Доктор поднялся на ноги. Письмо лежало у него в кармане.

Миссис Булабой круто повернулась к мужу и на этот раз хватила-таки себя кулаком в грудь.

— Это из-за письма! — простонала она.— Почему ты не передал его лично! Почему не подготовил полковника заранее! Тоже мне, друг называется! Мог бы осторожно ему обо всем рассказать. Да что там! Я и сама виновата! Разве тебе можно такое дело доверить!

Она понурилась, прикрыла рукой глаза и, тяжело переваливаясь, отошла.

— Ну что ж, мистер Булабой, помогите мне отнести его в дом. Похоже, там никого нет. Я сразу же позвоню в больницу. Не знаете ли, где миссис Смолли? Хорошо бы и ее уведомить.

— Это неправда! — вдруг выкрикнул мистер Булабой.

Доктор Митра сделал вид, что не понял, о чем сокрушается мистер Булабой.

— Боюсь, что правда. Пойдемте, поможете мне. Не оставлять же тело здесь.

* * *

— Ну, вот и все, миссис Смолли. Выпейте-ка кофейку, полистайте журналы. Сушилка не обжигает?

— Нет, все замечательно. Я очень рада, что вы придете к нам вечером. Ужин, правда, будет скромный. Чем богаты, тем и рады.

— Мать говаривала: «Не в богатстве счастье». Я так жду сегодняшнего вечера, да и отец Себастьян тоже.

Люси закрыла глаза, так приятно веет теплом из-под колпака сушилки. Добрее, добрее нужно быть к ближнему своему, внушала она себе. В конечном счете «ближние» для нее — индийцы-христиане, да полукровки вроде Сюзи. Велик ли выбор?

Она допила кофе, взглянула в зеркало: уже появились первые парикмахерши, помощницы маэстро Саши, молоденькие, хорошенькие. Значит, половина десятого. Она стала перелистывать журнал, положив на колени: вот со страниц на нее смотрит Тул, теперь в обличье Стива Мак-Куина. Снимок из «Пари-матча» — наверное, кто-то из туристов журнал оставил. Она перелистала его, стараясь понять заголовки. К языкам у нее способностей не было. Ее первая французская книжка в школе называлась «Голубая книга». Люси даже помнила первое предложение: «On m'appele Jet» [1]. Про котенка. Про черного, беззаботного котенка. Учительницу французского звали мисс Джаб. Или просто Жаба. Ее терпеть не могли. И вдруг она заболела. Никто не знал чем. Скорее всего, у нее была какая-то женская болезнь. И вдруг все школьницы стали присылать ей в больницу цветы. И Люси послала целую корзину, нарвала в отцовском саду: сирень, розы-столистницы (и белые и алые, они так хорошо пахнут), веточка жимолости, люпин, пион. Родители Риты Чалмерс заказали букет у цветочника. Рита Чалмерс все в жизни делала красиво. Вышла замуж в богатую семью, у них был свой «роллс-ройс». Интересно, счастлива ли Рита? О своей школьной подруге Люси не вспоминала уже много лет, равно как и об учительнице французского, о корзине с цветами. Помнится, как пугалась ее суеверная мать, если снились цветы: «Непременно кто-нибудь вскорости умрет».

Люси закрыла журнал, и с обложки на нее уставился Мак-Куин. Увы, взгляд этот предназначался не ей. Тул. Жив ли ты, Тул? Был ли ты счастлив? Удалась ли тебе жизнь? И если ты нашел ту девушку, не пожалели ли вы оба потом? Я почти забыла, каков ты, помню лишь твой затылок. И так во всем: и любовь и счастье в жизни никогда не поворачивались ко мне лицом. А если и поворачивались, то мне никак было не разглядеть — словно яркое солнце слепило. Слоник, ты помнишь зеленую сумочку? Помнишь, как она блестела на солнце и я щурилась? Какой ты запомнишь меня? Какой я тебе представляюсь? И важно ли тебе это? Ты говоришь, я была тебе хорошей женой. Объясни. Ты называл меня «Люс». Что это: твоя

[1] Меня зовут Черныш *(франц.)*.

ласка? Или всего лишь удобная короткая кличка? Прости. Я не буду больше задавать глупых вопросов. Сорок лет я тебя мучила ими — больше не буду. Ты написал мне письмо, в нем — любовь. Я хранила это письмо под подушкой всю ночь.

Всю ночь!

* * *

— Миссис Смолли, все готово.

Люси встрепенулась.

— Уже?

Сушильный колпак уже убрали, сейчас Сюзи снимала бигуди. Еще не совсем проснувшись, Люси потрогала пальцем свою прядь.

— Что-то мне кажется, Сюзи, волосы еще не просохли. А простудиться мне совсем не хочется.

— Не простудитесь, миссис Смолли. Просто сегодня мы положили чуть больше краски, и волосы лучше не пересушивать. Зато какой цвет! С ума сойти! — Это говорила не Сюзи. Люси пристальнее вгляделась в зеркало. Сюзи по-прежнему снимала бигуди, а отвечал Люси молодой мастер Саши. Он внезапно появился за ее креслом. Вот Сюзи сняла все бигуди и отошла, Люси обратила внимание, что несколько девушек смотрят в ее сторону. С чего бы это?

— Сюзи, солнышко, я сам причешу миссис Смолли, а ты будь умницей, принеси-ка еще кофе.

Сюзи отошла. Около группы девушек она задержалась, одна из них что-то сказала ей и чуть не под руки вывела Сюзи из салона. А Саши работал умело. Красиво работал. Руки его проворно укладывали прядь за прядью, а рот не закрывался ни на мгновенье. Странно, раньше он вообще почти не замечал Люси.

— А что, Сюзи нездорова? — спросила она.

— Сюзи? Нет-нет, что вы. Какие у вас чудесные волосы, миссис Смолли. Как-нибудь придумаем вам новую прическу.

— Спасибо. Не слишком ли я стара для всего нового?

«Да и не по карману мне новое. Мне только на услуги Сюзи денег хватает, да и то потому, что она стрижет со скидкой, до начала рабочего дня. Сюзи, доброй душе, конечно, далеко до манер и выучки этого молодого человека. Я при нем даже теряюсь».

— Ну вот и все, миссис Смолли. Нравится? — Он поднес зеркало, чтобы Люси поближе рассмотрела свою прическу.

— Очень нравится. Лишь бы сохранилась хоть ненадолго. Очень красиво. У вас настоящий талант.

Он протянул ей душистое полотенце.

— Прикройте им глаза, а я покрою волосы лаком.

Люси кивнула. Он несколько раз прыснул из аэрозольного флакона, Люси обдало резким запахом, волосы точно сковало невидимым ледком. Он в последний раз прошелся ловкими пальцами по прическе. Люси отдала ему полотенце и посмотрела в зеркало.

Старуха. Старуха с великолепно уложенными волосами нежно-фиалкового цвета. Под яркими лампами салона на бледном лице Люси выделялись морщины, мешки под глазами. Старая миссис Смолли. Куда исчезла прежняя крошечка Люси? Состарились, потеряли выразительность глаза. Не спасали даже фиалковые волосы. Шея худая, дряблая. Молодой индиец любовался произведением своего искусства и больше ничего не замечал. А произведение и впрямь удалось. Настоящий шедевр. В зеркале их взгляды встретились.

— Спасибо. Вы очень любезны. Простите, мне пора, да и у вас работы по горло. Потому-то я и прихожу пораньше. Скажите Сюзи, пусть даст мне счет.

Она открыла лежавшую на коленях сумочку. Узловатые, с выступающими венами пальцы плохо слушались. Под руку попалось

письмо Слоника, она собиралась еще раз прочитать его, пока сушит волосы.

— Со счетом успеется, миссис Смолли,— ответил он, прибирая столик: сполоснул приборы, вытер, расставил все по местам — можно принимать очередного клиента. Подошла Сюзи, принесла чашечку кофе, поставила на столик. Саши отошел. Люси видела в зеркале, как он отозвал из салона всех девушек, чтобы оставить Сюзи наедине с ней.



## *Глава шестнадцатая*

День пошел на убыль, пошли на убыль и ее силы: невмоготу все сердобольные и соболезнующие соседи. «Сторожка» словно попала в осаду. Неизвестно откуда черпала Люси силы. Люди шли несколько часов подряд. Телефон не умолкал. Кто-то брал трубку, отвечал. И тут же раздавался новый звонок. И снова кто-то отвечал. На столе в гостиной высилась стопка писем: их приносили слуги и передавали Ибрагиму.

У Слоника, оказывается, так много друзей.

Ее навестили супруги Менектара, супруги Шринивасан, доктор Митра поначалу пришел один, потом — вместе с женой. На кухне Сюзи и отец Себастьян заваривали кофе и чай. А мистер Томас обносил всех, кто приходил. Никто, правда, не засиживался, однако Люси просила каждого остаться. Кое-кто прислал цветы. Она просматривала визитные карточки, не вчитываясь в имена, но помнила, что цветы нужно сложить в одном месте: завтра они понадобятся. Пришел секретарь клуба со старушкой-вдовицей, ведавшей библиотекой.

— Простите, но, по-моему, мы до сих пор не вернули вам книгу мистера Мейбрика. Давным-давно нужно было вернуть. Обещаю, я об этом не забуду.

— Пойдемте с нами, Люси,— предложила Куку Менектара; опускались сумерки, люди расходились,— переночуете у нас, а то и поживете сколько захотите.

— Спасибо, Куку, но, право же, мне лучше здесь, вы меня поймете.

Куку поцеловала ее и шепнула на прощанье:

— Если передумаете, позвоните, и мы заедем за вами.

И Шринивасаны приглашали ее к себе, и Сингхи (они особенно тронули Люси).

Последними уходили супруги Митра. Впрочем, не совсем последними: остались и отец Себастьян, и Сюзи, и Ибрагим; все они еще суетились на кухне.

Доктор Митра спросил:

— Вам не понадобится помощь? А то поехали к нам.

— Нет, я чувствую себя хорошо, и мне хочется остаться здесь.

— На тумбочке у постели я оставил вам таблетку. Примите на ночь. Вам нужно выспаться. Сюзи говорит: если хотите, она останется с вами.

— Спасибо. Все в порядке. Обо мне позаботится Ибрагим. Когда Слоник болел последний раз, Ибрагиму приходилось ночевать в гостиной. Бедный Ибрагим. На нем лица нет — весь день на ногах.

* * *

— Меня, отец Себастьян, беспокоит только одно,— сказала Люси, когда они остались в гостиной вдвоем.

Она включила электрический камин. Ибрагим пошел за дровами, чтобы разжечь настоящий камин. Сюзи все еще возилась на кух-

не, домывала посуду. Отец Себастьян отнес ей тарелку горячего супа и рюмку бренди.

— Слоник очень тревожился: где же его похоронят? Он очень любил эти места. Нельзя ли его прах после кремации оставить на время в часовне, а потом похоронить на церковном кладбище. Он говорил: в юго-западном уголке есть место.

Отец Сабастьян кивнул, но промолчал.

«А потом,— подумала Люси,— я поставлю у изголовья небольшую каменную плиту. И на ней будет одно-единственное слово.— Она улыбнулась: — «Слонику». До чего ж смешное прозвище!»

— Выпейте-ка бренди, миссис Смолли.

— Завтра вы еще побудете здесь?

— Да, я останусь до среды.

— А завтра какой день?

— Вторник.

Вторник. Что-то она собиралась сделать во вторник. Люси выпила бренди.

— Отец Себастьян, я, пожалуй, сейчас лягу спать. Спасибо вам. Вы уделили мне столько времени! И вам, Сюзи, спасибо.

Сюзи проводила ее в спальню, включила свет и в комнате и в ванной.

Люси села на кровать мужа, над ее собственной была опущена москитная сетка.

— Конечно, все дело в письме,— обратилась она к Сюзи, деловито сновавшей по комнате,— письмо-то его и доконало. Такое потрясение. Доктор Митра так и не пустил меня попрощаться. И письмо не хотел показывать, но я настояла: уж я-то должна знать, о чем оно!

— Да не беспокойтесь вы так из-за этого письма.— Сюзи как могла пыталась утешить ее.— Пока у меня есть крыша над головой, есть дом и у вас.— Она замолчала, покосилась на Люси.— Люди вроде нас с вами должны держаться друг друга.

Люси протянула было к ней руку, но Сюзи уже отошла, найдя себе какую-то работу.

— Хотите, я останусь сегодня с вами? — предложила Сюзи.

— Спасибо вам за все, может, вы попросите Ибрагима переночевать в доме, как в тот раз, когда болел Слоник? И тогда мне будет спокойно. А сейчас я, пожалуй, лягу спать. Что-то я продрогла и устала.

— Не забудьте принять лекарство. Я вам принесу какао в постель.

Люси разделась в ванной. Оставила там свет и забралась под одеяло. Сюзи принесла ей какао.

— Миссис Смолли, с вами еще и Мина побудет. Они с Ибрагимом разожгли камин в соседней комнате, если что, позовите. Свет выключать?

— Только люстру. Свой ночничок я выключу сама, а у постели Слоника пусть горит, хорошо?

* * *

От таблетки снотворного уже слипались глаза. Люси выключила ночник на тумбочке, легла лицом к стене, чтобы не мешал свет от постели Слоника, закрыла глаза. «Любимый мой, единственный мой»,— прошептала она и уснула.

Проснулась она, дрожа от холода. Часы показывали половину четвертого. Напрасно она легла спать так рано. Действие снотворного кончилось. Она встала. Накинула халат, сунула ноги в шлепанцы, увидела пустую постель Слоника, и разом ударили вчерашние воспоминания. Она выключила ночник у него на тумбочке и вышла в гостиную. Там было темно, лишь проникал скудный свет из спаль-

ни. Люси осторожно сделала шаг, другой. Свернувшись калачиком по сторонам потухшего камина, под одеялами спали двое, Мина и Ибрагим. Тихонько пройдя мимо, Люси едва не вскрикнула — у стены спит еще кто-то!

Это Джозеф. Их трое.

Конечно, очень трогательно, но плакать нельзя, говорила она себе. Если заплачу, остановиться уже не смогу, а это, право же, нехорошо. Сколько дел нужно обдумать и сделать! Она постояла в темной кухне, глаза привыкли ко мраку, и она разглядела на столе бутылку бренди и стакан, скорее всего грязный, да не все ли равно. Захватив бутылку и стакан, она осторожно, чтобы не разбудить свою стражу, двинулась в обратный путь.

В спальне она налила себе бренди, села на постель Слоника, засмотрелась сквозь москитную сетку на огонек ночника у постели. Вдруг вспомнила, что собиралась сделать во вторник. Отхлебнула изрядно бренди. Нужно позвонить в Ранпур мистеру Тернеру и отменить визит. Или лучше попросить кого-нибудь из надежных друзей, вроде доктора Митры: пусть позвонит и расскажет, что произошло. Мистер Тернер, конечно, огорчится, но не обидится. Может, напишет ей из Калькутты. А она ответит, что, поскольку он еще пробудет в Индии некоторое время, им стоит поддерживать переписку, и, как знать, может, они и встретятся позже, когда Люси оправится от удара.

Да, удар тяжкий. Она еще раз отхлебнула бренди — слишком крепко. Зашла в ванную, добавила холодной воды. Перестаралась. Вернулась в комнату, долила бренди. И снова пришлось идти в ванную: затошнило, стало крутить в животе. Она наклонилась над раковиной — однако ее не вытошнило; в животе же бурлило, она подошла к «трону», села; стакан с бренди поставила рядом на пол. Непроизвольно она вдруг застонала и тут же зажала рот рукой. Ни к чему будить слуг. А на низкую створчатую дверь она забыла повесить полотенце (значит, занято). Впрочем, не все ли равно. Услышь Ибрагим ее стон, он не бросится опрометью в ванную, раз постель ее пуста, сообразит, пошлет Мину, и та окликнет Люси, спросит, все ли в порядке.

Теперь она одна, можно снова крючок на двери повесить. Слоник его в свое время снял по той же причине, по которой поставил два «трона»: дескать, раз живешь в Индии, в любую минуту может приспичить. А что делать, если приспичит обоим разом? Поэтому, если уж у них в доме одна ванная, пусть хоть будет два унитаза, и никаких крючков и запоров. Однажды мрачные прогнозы Слоника сбылись: супруги съели что-то несообразное их желудкам. Люси прежде клялась и божилась, дескать, ни за что не унизится и не сядет рядом со Слоником на «трон». И вот, нужда заставила. Сидели они, сидели, и вдруг Слоник как засмеется, а следом и Люси. Сидят на «тронах» и заливаются.

И сейчас, вспоминая, она тоже едва слышно рассмеялась, протянула руку — захотелось найти руку мужа и посмеяться вместе.

— Вы здесь, мем-сахиб? — услышала она женский голос. Это Мина. Стоит чуть поодаль от створчатых дверей — не видно ни ног, ни головы.

— Не беспокойся, Мина. Спасибо. Все в порядке. Ложись спать, отдыхай. Я и сама через минуту лягу.— Люси откашлялась: пусть Мина слышит, что хозяйка владеет собой. Некоторое время спустя Люси выпила еще бренди, и вдруг ее пронзила мысль: нельзя отказать мистеру Тернеру, ведь он везет подарок Мине от Сары, Сюзан и малыша тех давних лет, которого она, Мина, вынянчила. Нельзя думать только о себе, укорила себя Люси. Бог с ним, с голубым шампунем, больше она не будет подкрашивать волосы. Но подарок Мина должна получить, это куда важнее. Для нее это целое событие:

значит, маленькую няню-айя помнят. Утром нужно передать с ней записку мистеру Булабою, пусть оставит номер для мистера Тернера; и еще позвонить в Раппур и сказать, что она ждет гостя. А о несчастье — ни слова. Он приедет в среду, Слоника уже похоронят, и, как знать, может, Люси будет не так тоскливо и страшно в присутствии молодого человека. Может, господь посылает ей утешение.

И еще раз она отпила из стакана. Ох, как трудно ей придется. Нужно держать себя в руках, гуляя с гостем по Панкоту, показывая все местные достопримечательности. Ведь каждый уголок в городе напоминает о Слонике. На церковное подворье она не пойдет — это выше ее сил. Да и гостю будет неловко: еще позавчера он говорил с полковником по телефону, а сегодня тот уже на кладбище.

— Я нарочно умолчала обо всем по телефону,— скажет она,— по правде говоря, мне необходимо сейчас с кем-то поговорить, с незнакомым человеком даже проще. Пойдемте, я покажу вам нашу «Сторожку». Сначала — сад. Хотя показывать особенно нечего, ни в саду, ни в доме. Он очень любил сад. Здесь ведь и впрямь хорошо, правда, мистер Тернер? У нас чудесный садовник-мали. Пока не построили «Шираз», нам из сада была видна почти вся Клубная улица. После обеда мы и по ней пройдем. Заглянем в Розовый Дом, может, Куку Менектара напоит нас чаем, а потом мы поедем в клуб и выпьем чего-нибудь покрепче. Мы возьмем экипаж, так вы лучше рассмотрите долину.

Раньше мы со Слоником везде ездили экипажем. А Слоник — такой упрямец: как приедем, сразу отпускает возницу. То ли всякий раз надеялся, что кто-нибудь нас подвезет на обратном пути, то ли боялся, что возница не приедет к назначенному часу. Помню, раз мы остались с носом. Знаете, это даже символично: все уехали, а мы со Слоником остались, стоим в кромешной тьме и ждем: может, кто заберет нас оттуда. Так и не дождались.

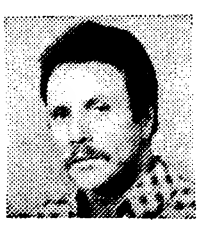
Она выпила еще. Откинулась на поднятую крышку стульчака, головой прислонилась к стене, взглянула на пустой соседний «трон» и закрыла глаза.

«Помнится, Слоник, мы ездили с тобой на приемы и вечера, ты бывал так галантен: брал меня под руку при входе в зал, помогал выйти из экипажа. А когда все разъезжались и ждали, кто машину, кто коляску, ты тоже брал меня под руку. Так мы и стояли. Рядом, как и наши «троны». А что теперь, Слоник? Поставят рядом наши урны с прахом?

Нет-нет, Слоник, я не плачу. Мне нельзя плакать. Завтра мне нужно хорошо сыграть на людях. И послезавтра, в среду. И в четверг.

Только одно хочу понять, Слоник: ты и вправду считал меня хорошей женой? Если вправду, почему ж тогда ты меня бросил? Бросил меня здесь? Одной мне страшно, Слоник. Я знаю, нельзя поддаваться слабости и пускать в душу страх... но ведь теперь я «в слезах, одна и меж чужих хлебов». И до той поры встречать мне рассветы и закаты одной. Невыносимо. Но плакать я не буду и вынесу все, пока еще не знаю как. Слоник, возьми меня за руку и уведи отсюда, умоляю тебя, Слоник, возьми меня с собой! Слоник! Слоник! Ты ушел и обрел дом, а меня бросил здесь на чужбине!»

---



**БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (род. в 1946 г.)

Советский переводчик с английского. В его переводах публиковались произведения английских, американских и австралийских писателей, среди них повести «Колесо на крыше» М. Де Йонга, «Сеяла Хэн лебеду» К. С. Причард («ИЛ», 1979, № 12), «Непокорная» Ф. Д. Дэвисона, «Дева и цыган» Д. Г. Лоуренса («ИЛ», 1986, № 3), роман «Год французов» Т. Фланагана, рассказы Дж. Апдайка, Ф. Скотта Фицджеральда, К. Маккалерс, В. Ихимаэра и др.

# РАУЛЬ СУРИТА

*Перевод с испанского и вступление ЕВГ. ЕВТУШЕНКО*

## Когда ледники раскаляются

Они прекрасны — ледники чилийских кордильер, когда крошечная тень самолета скользит по их нетронутой белизне, а ты прижимаешься к иллюминатору восхищенно и печально, ибо знаешь, что там, внизу, особенно отвратительный на фоне такой красоты, какой-то жалкий выскочка уже столько лет правит страной Габриэлы Мистраль и Пабло Неруды. Пиночет любит облачаться в белоснежный генеральский мундир, подделываясь под целомудренную белизну кордильер. Ледники раскаляются от гнева, когда это видят. Конечно, когда-нибудь не станет ни Пиночета, ни его хунты, а кордильеры останутся. Природа, в конце концов, выплевывает из себя все то, что оскорбляет ее красоту. Эта мысль, словно тайный родник под сугробами горных невад, скрыта в поэзии чилийца Рауля Суриты. Он вообще поэт особого склада — одновременно и скрытный и беззащитно открытый. Такая скрытная открытость — результат инстинктивной самозащиты в постоянной борьбе с цензурой, с казарменной идеологией. Хочешь не хочешь, а бывает так, что нужда заставит быть метафоричным. Русским поэтам это хорошо известно — вспомним хотя бы лермонтовские «Жалобы турка». Пиночет, правда, осторожен с писателями и вообще с известными людьми более, чем с простыми смертными. Пабло Неруда был убит только морально, а не физически. Когда Виктору Харе отрубили руки, он не был так знаменит, как это случилось после его убийства. Пиночет, стараясь выглядеть либералом, в последнее время создал даже довольно ловкую полугласность. Но полугласность — это еще не гласность, и работать в условиях полугласности писателю ох как нелегко. Полугласность — это своего рода полукляп во рту. Полугласностью слишком медленно издыхающий режим балансирует разгоны демонстраций, убийства в темных закоулках.

Усложненность Суриты не только тактический камуфляж — это и его художественный строй. В стихах Суриты нет ничего лозунгового, прокламационного, плакатно политического. Сурита никогда не претендовал на отношение к поэзии, как к «бомбе и знамени». Но мы стали слишком примитивно понимать гражданственность поэзии, принимая за нее декларации на общественные темы. Протест не всегда открытая публицистика. Протест может быть размышлением о том, о чем размышлять не положено. Протест против безоговорочно-диктаторского «Надо!» может выражаться не только в устном или письменном негодовании, но в неисполнении, или в наоборотном действии. Протест не всегда крик. Протест может быть и молчанием, и стоном, и шепотом. Участие в демонстрации протеста на несколько часов или на несколько минут не уменьшает значения протеста ежедневно демонстрируемой нравственностью, неучастием в моральной купле-продаже.

---

**РАУЛЬ СУРИТА — RAUL ZURITA** (род. в 1951 г.)

Чилийский поэт. Автор книг стихов «Чистилище» («Purgatorio», 1979) («Преддверие рая» («Anteparaiso». Santiago de Chile.Editores Asociados Ltda., 1982), из которой взяты публикуемые стихи. Составил подборку Рауль Сурита.

Чилийская литература, трагически разорванная надвое, несмотря на духовную сломленность некоторых литераторов, в целом выдержала испытание электрошоком пиночетовского путча, и поэзия Суриты — одно из подтверждений тому. Сопротивление нации солдафонско-бюрократическому режиму невозможно без хранительства культуры как таковой и без хранительства культуры совести. Белоснежные метафоры Суриты, посвященные шествию кордильер, кровоточат. Это поэзия, обладающая кричащей чувствительностью плоти, с которой содрана кожа. Скрытность этой поэзии — только в скрываемости собственной боли, а не чужой. До крови закушенные губы, прячущие крик боли, больше говорят о боли, чем сам крик.

Если говорить о качестве поэзии Суриты, то он держит марку традиций великой чилийской поэзии. Он не прост для прочтения, а тем более для перевода. Несмотря на то, что у меня был в руках и оригинал, и прекрасный подстрочник Б. Дубина, я все зубы обломал над этим нерифмованным, непунктуационным, а иногда и антиграмматическим стихом и в чем-то, сознаюсь, опростил его. А вот когда я познакомился лично с Раулем, я был приятно поражен, как необыкновенно прост в человеческом общении этот такой сложный поэт. У истинно талантливых людей нет времени на искусственное «сложничание» в жизни, которая и без того так сложна, что в полном объеме ее, видимо, нельзя выразить ни самыми сложными, ни самыми простыми стихами.

# *Кордильеры*

**(Фрагменты)**

## *CI*

Уже смеркалось, когда, коснувшись плеча моего,
он приказал мне:
«Иди и убей для меня твоего сына».
«Идем,— я ответил с улыбкой,— но, случаем, ты не шутишь?»
«Ладно... Если не хочешь, конечно, дело твое,
но помни — кто я,
чтобы после жалеть не пришлось...»
«Согласен,— услышал я собственный голос,—
но где бы хотелось тебе,
чтоб я совершил убийство?»
И тогда, будто ветер со мной заговорил своим воем,
он сказал:
«Далеко, в чилийских затерянных кордильерах...»

## *CII*

С лицом окровавленным я постучал к нему в дверь:
«Вы мне могли бы помочь...
У меня есть друзья там...— понимаете — там, за гра...»
«Убирайся отсюда,— он мне отвечал,—
иначе тебе покажу я дорогу коленом...»
«Кстати,— заметил я,— разве не помните вы —
ведь Иисуса отвергли тоже...»
«Ты — это не он,— был ответ,—
уходи, или я проломлю твою дурью башку!
Я тебе не отец...»
«Но, позвольте,— настаивал я,—
те люди, которые там — понимаете — там, за гра...
это дети не чьи-нибудь — ваши...»

© Editores Asociados Ltda., 1982

«Согласен,— ответил он, смягчаясь.— Вот ты и веди
в обетованную землю их всех...»
«Да, но где же эта земля?» — я спросил,
и тогда, будто светом со мною заговорила звезда,
он сказал:
«Далеко, в чилийских затерянных кордильерах...»

## CIII

Внезапно очнувшись во сне, я услышал сквозь ночь:
«Слушай, Сурита,— сказал он,— возьми поскорее жену и сына
и удирай отсюда — иначе конец...»
«Не говори чепухи,— я ответил,— дай мне доспать спокойно:
мне снилось, что горы восстали,
мне снилось шествие гор»...
«Забудь эти глупости,— он был настойчив,—
не думай, что время — твоя принадлежность.
Тиран уже близко...»
«Послушай,— я отвечал,— ты вспомни,
что столько лет меня держишь в потемках,
и мне не пытайся рассказывать сказки.
Я не Иосиф, чтобы бежать в Египет».
«Ступай по дороге, если не хочешь бежать,
Сама дорога подскажет, где истина скрыта».
«Хорошо,— я ответил ему, чуть не плача,—
но где же она воссияет над миром?»
И тогда, будто распятье во мгле изнутри озарилось,
он мне сказал:
«Далеко, в чилийских затерянных кордильерах...»

## *Шествие кордильер*

I. И тогда кордильеры сдвинулись с места

II. Вздрагивающие и белые... о, до чего же белые
ледяные вершины Анд

III. Они отделялись одна от другой... они похожи
были на раны, открывавшиеся мало-помалу,
так, что и снегом их не залечить

IV. И тогда, поднявшиеся, словно их сдвинула единая мысль,
с тех же самых ледников,
с тех же самых скал,
с тех же самых обрывов,
начали свое шествие без правил
потрясшие сами себя
чилийские кордильеры...

## *Кордильеры тирана*

*Против андских кордильер*
*с запада, словно ночь,*
*наступают кордильеры тирана.*

I. Кордильеры тирана белыми быть не могут

II. Потому что снегу не дотянуться, чтобы покрыть
эти закатные горы,

стоящие против андских кордильер на страже,
словно черный барьер, ожидающий,
когда эти Анды взорвутся к черту,—
кордильеры тирана рядами стоят,
прижимаясь плечом к плечу

III. Ибо они против Анд собрались,
будто войска заката

IV. Поэтому снег и не покрывает
их, кордильеры тирана.
Их вершины настолько черны,
что похожи на ночь гор
Опоясавшись черным перед снегами Чили,
ледниками, словно шипами, пронзив ночь,
они, кордильеры тирана,—
как будто кровавый венец,
насильно возложенный кем-то на Анды

V. Поэтому снег, увенчавший вершины Анд, стал снегом из крови
горизонт опоясавшим кровью

VI. И только смерть оказалась венцом,

VII. И тогда все увидели кордильеры тирана,
уже коронованные,
огромные, словно черное окаменевшее знамя,
в которое нас завернули, как будто в закат

## *Скважины неба*

Зажимая пальцами раны,
я двадцать четыре раза увидел твой лик, святая Тереса,
на двадцати четырех вершинах Анд,
благослови меня, женщина,— мне удалось сказать,—
ибо во мне открываются белые скважины неба

I. Так смотрите: эти полые андские кордильеры — скважины
горизонта

II. Далеко, за алыми небесами пастбища, еще дальше, гораздо
дальше, за чудовищными снегами

III. Там, где замирают горы и белый горизонт становится еще белее,
там, где замирает ветер с ледника. О, до чего же
белые эти скважины неба!

IV. Подталкивая нас к этим белым лугам, где все пейзажи в одно
слепились: «Этот калейдоскоп и есть Чили — говорили, смеясь,
те, кто не видел скважин неба — эти андские кордильеры,
высосавшие сами себя...» — и тыкали пальцами в ниши,
открывающиеся до горизонта...

## *Скважины неба IV*

Глаза продирая от снега,
увидел я Микеланджело,
рискованно что-то рисующего
на соборных лесах
им расписываемых Анд.

«Забудь все это...— сказал я ему,—
все эти горы приговорены».
«Не мешай,— он ответил,—
я напишу и твое лицо
на перевернутых вершинах неба — ущельях»

I. «Горизонт в трауре!» — кричали перевернутые вершины, пробивая небеса

II. «Мы не вершины, а мы трясины!» — отвечали андские кордильеры со своих самых холодных снегов. Заморожены вершины неба, заморожены перевернутые горы

III. «Заморожены тела умерших на заре»,— кричат обледеневшие вершины неба, врезаясь в Анды

«Заморожены снега, заморожено небо на заре»,— отвечают горы, умирая в засасывающих трясинах

## *Снега Аконкагуа*

(Смерть)

I. Так посмотрите же на вершины Анд!

II. С их ветром и снегом, они как никто величавы, разрывая небо о свои заснеженные вершины

Касаясь белых горизонтов и равнин, так что сном кажутся эти Анды, раскинувшиеся над Сантьяго, высоченные и больные, купая в смерти необъятные латиноамериканские небеса

III. Поэтому так сладка смерть на снегу

IV. Ибо, к сожалению, ледник — и есть вся эта жизнь между холодными горизонтами гор

V. Поэтому они и вздымаются, такие латиноамериканские, перед небом и дремлют, величественные от снегов

И они вздымаются выше холода и тишины, упирая взор в неоглядную белизну Анд, по другую сторону снегов, в которых купаются мертвые, гораздо дальше того места, где видим себя сами падающими точно так, как ледник на равнины

VI. Когда восстают снега и хребты — это всего лишь сон кордильер

VII. В котором жизнь отбеливается в смерти, когда уцелеет лишь сон потерянных горизонтов и нетающих ледников

VIII. Когда, бредя словно смерть по сугробам, все андские кордильеры вытянут в небе величественно все потерянные ледники

## *Эпилог*

И только тогда я спрятал свое лицо,
и себя закрыл целиком: теперь я был снегом.

# *Утопии*

**(Фрагменты)**

Как будто во сне, когда все погибло,
Сурита шепнул мне, что буря уляжется вскоре,
ибо он видел на дне этой ночи звезду. И внезапно
скрюченному в беспомощной лодке
мне примерещилось, будто бы свет
снова глаза мои наполняет.
Этого было достаточно. И появилось виденье:

## *Взморья Чили I*

То не были судьбы чилийцев,
рыдающих, удаляясь.
Это взморья начали превращаться
в пробоины их глазниц.
Это не были взморья, что перед ними открылись,—
это небо у них в глазах рассветало,
как будто не в них, а во всей исстрадавшейся Чили
закричали разверстые раны,
омытые морем...

I. Обливаясь слезами, он сбросил одежду в воду

II. Если бы вы его видели голым — скорченного,
дрожащего, сжавшегося в комок,
гнойные струпья свои прикрывающего руками

III. Он показался бы вам только духом, бесплотным духом
когда сам себя он пытался обнять,
мертвенно-бледный,
пока постепенно цвет неба, как будто бы дым,
не ушел из его умирающих глаз...
Это не взморья сейчас открылись,
но все раны, излившиеся на взморья,
исходящие белой болью.
Это было как будто бы благословенье,
в умирающих чьих-то зрачках

IV. Потому что и то, чего не было никогда,
рассветало над взморьями этими

V. Это было как будто рассвет наших собственных ран,
открывшихся на побережье

VI. Это было сиянье всех взморий, которые так недавно
нас поздравляли с промытым зрением глаз и души

## *Взморья Чили VII*

Многие могут назвать такую страну Утопией,
потому что ее обитатели живут тем, что делятся всем —
мыслями, рыбой, хлебом.
Они обитают в хижинах на берегу,
и чаще, чем с так называемыми живыми,
общаются со святыми и духами,
которые служат у них сторожами,
чтобы утишить все ураганы.
Все здесь молчат, но в те дни, когда
буря грохочет, молчанье на лицах
громче, чем гул разъяренного моря,
и вслух молиться не надо,
ибо вселенная вся — их собор

I. Пустынные взморья Чили вздымались, как будто виденья,
которые нам промывают зрачки

II. Чили была нашим ребенком, кричащим «Прощай!» с этих взморий,
а мы — горизонтом, который его провожает,
пронзая до слез глаза

III. И то, что вдали, уже не было взморьем, а лишь одиноким виденьем,
где мертвые нам бросали «Прощай!»,
пригвождая нас взглядами,
нас, возрожденных, тепленьких, как ягнят,
под этим растроганным небом,
где родина наша, рыдая,
опять целовала своих возвратившихся к ней сыновей.
И это не взморья открылись перед ними, но их собственные раны,
разросшиеся до того, что стали взморьем.
И Чили вдруг сбросила одежды,
и в сиянии и великолепии
перед всеми предстали оплаканные пасынки судьбы

## *Взморья Чили XIV*

Сияющий, он увидел горящее перед глазами взморье, похожее на
сновиденье, пока и камни не растворились в сплошном океане слез

И Чили исчезла в этих потоках слез, пока не остался всего лишь
один клочок — зеленый, мокрый, как будто его
ослепило проклятье, глаза лишившее света...

I. Чили повыцвела в его зрачках

II. Поэтому слезы накапливались до поры,
пока не слились в сфантазированную зелень отчизны

III. Поэтому даже вздохи порой обращались в краски,
когда исчезала память об этой, отобранной зелени Чили

Все слезы Чили накапливались до поры,
пока не исчезли зеленые долины...
Во сне придумывали себе взморья,
где могли бы останки свои укрыть...

IV. Вся отчизна была возрождением из останков

V. Поэтому даже холмы запрыгали под радостный крик отчизны

VI. И вся Чили снова зазеленела,
когда по ней заструились слезы,
заливая долины
вместе со стонами в них

И наша исчезнувшая отчизна возрождалась, как будто взморье,
и даже воскресшие камни вставали, крича от счастья...

## *И мы снова увидели звезды*

Когда одни корчились рядом с другими на дне беспомощной лодки,
мне вдруг примерещилось, будто бы буря, и ночь, и я
стали одним целым и что мы выживем,
ибо в нашем лице выживет само Мирозданье.
Это был только миг, потому что буря опять разразилась —
на этот раз у меня в душе, и страх до того возрос,
что след Утопии стерся в миг.
Это был один-единственный миг, но даже если я и погибну,
то этот единственный миг никогда не забуду!

■

---

**ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (род. в 1933 г.)
Советский поэт, автор многих книг стихов. Дважды был в Чили (в 1969 и 1972 гг.), где перед многотысячной аудиторией читал свои стихи вместе с Пабло Нерудой. Чилийский поэт одно из своих стихотворений посвятил Евгению Евтушенко. После военно-фашистского переворота в Чили Е. Евтушенко был включен хунтой Пиночета в черный список «нежелательных иностранцев». Е. Евтушенко участвовал в международной конференции в Мадриде, посвященной защите демократии в Чили.

# ФРАНЦ КАФКА

# *Замок*

РОМАН

*Перевод с немецкого Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ*

## 13
## Ханс

А через некоторое время в дверь тихо постучали. «Варнава!»— вскрикнул К., бросил метлу и в два прыжка подскочил к двери. Фрида смотрела на него, испугавшись при этом имени, как никогда. У К. так дрожали руки, что он не сразу справился со старой задвижкой. «Сейчас открою»,— бормотал он вместо того, чтобы узнать, кто стучит. Оторопев, он увидел, как в широко распахнутую дверь вошел не Варнава, а тот мальчик, который уже прежде пытался заговорить с К. Но К. вовсе не хотел вспоминать об этом. «Что тебе тут нужно? — спросил он.— Занятия идут рядом». «А я оттуда»,— сказал мальчик, спокойно глядя на К. большими карими глазами и стоя мирно, руки по швам. «Что же тебе надо? Говори скорее!»— сказал К. немного наклонясь, потому что мальчик говорил совсем тихо. «Чем я могу тебе помочь?»— спросил мальчик. «Он хочет нам помочь! — сказал К. Фриде и спросил мальчика: — Как же тебя зовут?» «Ханс Брунсвик,— ответил мальчик,— ученик четвертого класса, сын Отто Брунсвика, сапожного мастера с Маделяйнегассе». «Вот как, значит, ты Брунсвик»,— сказал К. уже гораздо приветливее. Выяснилось, что Ханс так расстроился, увидев, как учительница до крови расцарапала руку К., что уже тогда решил за него заступиться. И сейчас, под страхом сурового наказания, он самовольно, как дезертир, прокрался сюда из соседнего класса. Вероятно, главную роль сыграло мальчишеское воображение. Оттого он и вел себя с такой серьезностью. Сначала он стеснялся, но потом присмотрелся и к Фриде и к К., а когда его напоили вкусным горячим кофе, он оживился, стал доверчивей и начал настойчиво и решительно задавать им вопросы, как будто хотел как можно скорее узнать самое важное, чтобы потом самому принять решение и за К. и за Фриду. В нем было что-то властное, но при этом столько детской наивности, что они подчинились ему наполовину в шутку, наполовину всерьез. Во всяком случае, он поглотил все их внимание, работа совсем остановилась, завтрак затянулся. И хотя мальчик сидел за партой, К.— наверху, на кафедре, а Фрида — рядом, в кресле, но казалось, будто Ханс, как учитель, проверяет и оценивает их ответы, а легкая улыбка его мягкого рта как бы говорила о том, что он понимает, что все это только игра,

Продолжение. Начало см. в № 1.

однако он тем серьезнее вел себя при этом и, может быть, улыбался не игре; просто детская радость озаряла его лицо. Позже он признавался, что уже видел К., так как тот однажды заходил к Лаземану. К. ужасно обрадовался. «Ты тогда играл у ног той женщины?»— спросил он. «Да,— сказал Ханс,— это моя мама». Тут его стали расспрашивать о его матери, но он рассказывал неохотно и только после настойчивых уговоров, сразу было видно, что он еще совсем мальчишка, хотя иногда, особенно по его вопросам, напряженным, встревоженным, слушателям казалось, что говорит энергичный, умный, прозорливый человек; может быть, они предчувствовали, что таким он станет в будущем, но Ханс тут же без всякого перехода опять превращался в маленького школьника, который многих вопросов вообще не понимал, другие истолковывал неверно и, к тому же, от детского невнимания к собеседникам говорил слишком тихо, хотя ему несколько раз на это указывали, и тогда он, словно из упрямства, вообще отказывался отвечать на многие настойчивые вопросы, причем умолкал без всякого стеснения, чего никак не сделал бы взрослый человек. Выходило так, будто, по его мнению, задавать вопросы позволено только ему, а вопросы других лишь нарушают какие-то правила и заставляют его терять время. Тогда он надолго умолкал и сидел, выпрямившись, опустив голову и выпятив нижнюю губу. Фриде это очень нравилось, и она часто задавала ему такие вопросы, которые, как она надеялась, заставят его замолчать, иногда ей это и удавалось, что очень сердило К. В общем, они мало что узнали. Мать часто болела, но какой болезнью — осталось неясным, ребенок, сидевший на коленях у фрау Брунсвик,— сестрица Ханса, зовут ее Фрида (Хансу, очевидно, не нравилось, что ее звали так же, как женщину, задававшую ему вопросы), жили они все в Деревне, но не у Лаземана, туда они только пришли в гости, купаться, потому что у Лаземана была большая лохань для купанья, и малышам, к которым Ханс себя не причислял, доставляло особенное удовольствие там плескаться; о своем отце Ханс говорил с уважением или страхом и только когда его не спрашивали о матери; по сравнению с ней отец, как видно, для него мало значил, но, в общем, на все вопросы о семье, как ни старались К. и Фрида, ответа они не получили. О ремесле отца они узнали, что он самый лучший сапожник на Деревне, равных ему не было, Ханс повторял это, отвечая и на другие вопросы,— отец даже давал работу другим сапожникам, например отцу Варнавы, причем в этом случае Брунсвик делал это из особой милости, о чем и Ханс заявил, особенно гордо вскинув голову, за что Фрида, вскочив, расцеловала его. На вопрос, бывал ли он в Замке, он ответил только после многих настояний, причем отрицательно, а на тот же вопрос про свою мать и вовсе не ответил. В конце концов К. устал, и ему эти расспросы показались бесполезными, тут мальчик был прав, да и что-то постыдное было в том, чтобы обиняком выпытывать у невинного ребенка семейные тайны, и вдвойне постыдно так ничего и не узнать. И когда К., наконец, спросил мальчика, чем же он им хочет помочь, он не удивился, узнав, что Ханс предлагает помочь им тут, в работе, чтобы учитель с учительницей их больше не ругали. К. объяснил, что такая помощь им не нужна, учитель ругается из-за своего плохого характера, и даже при самой усердной работе от ругани не избавиться, сама по себе работа не трудная, и сегодня только по чистой случайности она не доделана, впрочем, на К. эта ругань не действует, не то что на школьников, он ее не замечает, она ему почти безразлична, а кроме того, он надеется, что скоро и вовсе избавится от учителя. А раз Ханс хочет только помочь им против учителя, то большое ему спасибо, но пусть он лучше спокойно возвращается в класс, надо только надеяться, что его не накажут. И хотя К. вовсе не подчеркивал, а скорее бессознательно давал понять, что ему не нужна только такая помощь, Ханс отлично это понял и прямо спросил, не нужна ли К. помощь в чем-нибудь другом. А если сам он ничем помочь не может, то попросит свою мать, тогда все непременно удастся. Когда у отца бывают неприятности, тот всегда просит маму о помощи. А мама уже спрашивала про К., вообще-то она почти не выходит из дому, и то, что она была у Лаземанов,— исключение. Но сам Ханс часто ходит к Лаземанам играть с их детьми, и мать его однажды уже спрашивала, не приходил ли туда снова тот землемер. Но маму нельзя было зря волновать — она такая усталая и слабая,— поэтому он просто сказал, что землемера он не видел, и больше о нем разговоров не было; но когда Ханс увидел его тут, в школе, он решил с ним заговорить, чтобы потом передать матери. Потому что мать больше всего любит, когда ее желания выполняют без ее просьбы. На это К., подумавши, отвечал, что никакой помощи ему не надо, у него есть все, что ему требуется, но со стороны Ханса очень мило, что он хочет

ему помочь, и К. благодарит его за добрые намерения; конечно, может случиться, что потом он в чем-то будет нуждаться, тогда он обратится к Хансу, адрес у него есть. А сейчас он, К., сам мог бы чем-нибудь помочь, ему жаль, что мать Ханса болеет, тут, как видно, никто ее болезни не понимает, а в таких запущенных случаях часто самое легкое недомогание может дать серьезные осложнения. Но он, К., немного разбирается в медицине и — что еще ценнее — умеет ухаживать за больными. Бывало, что там, где врачи терпели неудачу, ему удавалось помочь. Дома его за такое целебное воздействие называют «горькое зелье». Во всяком случае, он охотно навестит матушку Ханса и побеседует с ней. Как знать, быть может, он сумеет дать ей полезный совет, он с удовольствием сделает это, хотя бы ради Ханса. Сначала у Ханса от этих слов заблестели глаза, что побудило К. стать настойчивее, но он ничего не добился; Ханс на все вопросы довольно спокойно ответил, что к маме никому чужому ходить нельзя, ее надо очень щадить, и хотя в тот раз К. с ней почти ни слова не сказал, она несколько дней пролежала в постели, что, правда, с ней случается довольно часто. А отец тогда даже рассердился на К., и уж он-то, конечно, никогда не разрешит, чтобы К. навестил мать, он и тогда хотел отыскать К. и наказать его за его поведение, однако мать его удержала. Но главное — то, что мать сама ни с кем не желает разговаривать, и К. тут вовсе не исключение, а наоборот, ведь она могла бы, упомянув его, выразить желание его видеть, но она ничего не сказала, подтвердив этим свою волю. Ей только хотелось услышать про К., но встречаться с ним она не хотела. Кроме того, никакой болезни у нее, в сущности, нет, она отлично знает причину своего состояния, даже иногда говорит об этом: она просто плохо переносит здешний воздух, а уехать отсюда не хочет из-за мужа и детей; впрочем, ей уже стало гораздо лучше, чем раньше. Вот примерно и все, что узнал К., причем Ханс проявил немалую изобретательность, ограждая мать от К.— от того К., которому он, по его словам, хотел помочь; более того, ради столь доброго намерения — оградить мать от К.— Ханс начал противоречить своим собственным словам — например, тому, что он прежде говорил о ее болезни. Все же К. и теперь видел, что Ханс к нему относится хорошо, но готов забыть об этом ради матери: по сравнению с матерью, все оказывались неправы, сейчас это коснулось К., но, наверно, на его месте мог бы оказаться, например, и отец Ханса. К. захотел это проверить и сказал, что, разумеется, отец поступает очень разумно, ограждая мать от всяких помех, и если бы К. об этом хотя бы догадывался, он ни за что не посмел бы заговорить тогда с матерью, и просит Ханса передать семье его извинения. Но вместе с тем он никак не поймет, почему отец, так ясно зная, по словам Ханса, причину болезни, удерживает мать от перемены места и отдыха, вот именно — удерживает, ведь она только ради него и ради детей не уезжает, но детей можно взять с собой, ей и не надо уезжать надолго, уже там, на замковой горе воздух совсем другой. А расходы на такую поездку никак не должны страшить отца, раз он лучший сапожник в Деревне; наверно, у него или у матери есть родные или знакомые в Замке, которые ее охотно приютят. Почему же отец ее не отпускает? Не стоило бы ему так пренебрегать ее здоровьем. К. видел мать только мельком, но именно ее слабость, ее ужасающая бледность заставили его заговорить с ней; он и тогда удивился, как отец мог держать больную женщину в таком скверном воздухе, в общей бане и прачечной и сам все время кричал и разговаривал, ничуть не сдерживаясь. Отец, должно быть, не понимает, в чем тут дело; но если даже в последнее время и наступило какое-то улучшение, то ведь болезнь эта с причудами; в конце концов, если с ней не бороться, она может вспыхнуть с новой силой, и тогда уж ничем не поможешь. Если К. нельзя поговорить с матерью, может быть, ему стоит поговорить с отцом и обратить его внимание на все эти обстоятельства.

Ханс слушал очень внимательно, почти все понял, но в том, чего не понял, почувствовал скрытую опасность. И все же он сказал, что с отцом К. поговорить не сможет, отец его невзлюбил и, наверно, будет с ним обращаться как учитель. Говоря о К., он робко улыбался, но об отце сказал с горечью и грустью. Однако, добавил он, может быть, К. удастся поговорить с матерью, но только без ведома отца. Тут Ханс призадумался, уставившись в одну точку, совсем как женщина, которая собирается нарушить какой-то запрет и ищет возможности безнаказанно совершить такой поступок, и наконец сказал, что, наверно, послезавтра можно будет это устроить, отец уйдет в гостиницу, там у него какая-то встреча, и тогда Ханс вечером зайдет за К. и отведет его к своей матери, конечно, если мать на это согласится, что еще очень сомнительно. Главное, она ничего не делает против воли отца, во всем ему

подчиняется, даже в тех случаях, когда и Хансу ясно, насколько это неразумно. Теперь Ханс действительно искал помощи у К. против отца; выходило так, что он себя обманывал, думая, что хочет помочь К., тогда как на самом деле хотел выпытать, не может ли этот внезапно появившийся чужак, на которого даже мать обратила внимание, помочь им теперь, когда никто из старых знакомых ничего сделать не в состоянии. Каким, однако, скрытным и бессознательно лукавым оказался этот мальчик! Ни по его виду, ни по его словам нельзя было заметить, и только из последующих нечаянных признаний, выпытанных с намерением или мимоходом, можно было это понять. А теперь в долгом разговоре с К. он обсуждал, какие трудности придется преодолеть. При всех стараниях Ханса они были почти непреодолимы; думая о своем и вместе с тем словно ища помощи, он, беспокойно моргая, смотрел на К. До ухода отца он не смел ничего сказать матери, иначе отец узнает и все провалится, значит, надо будет сказать ей попозже, но и тут, принимая во внимание болезнь матери, придется сообщить ей не сразу, неожиданно, а постепенно, улучив подходящую минуту; только тогда он может испросить у матери согласие, а потом привести к ней К.; но вдруг тогда будет уже поздно, вдруг возникнет угроза возвращения отца? Нет, все это никак невозможно. Но К. стал доказывать, что это вполне возможно. Не надо бояться, что не хватит времени на разговор,— короткой встречи, короткой беседы вполне достаточно, да и вовсе не надо Хансу заходить за К. Тот спрячется где-нибудь около дома и по знаку Ханса сразу придет. Нет, сказал Ханс, нельзя ждать и дома; тут снова сказалось бережное отношение Ханса к матери, потому что без разрешения матери К. пойти туда не может, нельзя Хансу вступать с К. в какие-то соглашения, скрыв их от матери: Ханс должен зайти за К. в школу, но не раньше, чем мать обо всем узнает и даст разрешение. Хорошо, сказал К., но выходит, что это действительно опасно, возможно, что отец застанет его в доме, а если даже нет, то мать так будет бояться, что не разрешит К. прийти; значит, тут опять всему виной отец. Но Ханс стал возражать, и так они спорили без конца.

Уже давно К. подозвал Ханса к себе на кафедру, поставил его между колен и время от времени ласково поглаживал его по голове. И хотя Ханс иногда упрямился, все же эта близость как-то способствовала их взаимопониманию. Наконец они договорились так: Ханс прежде всего скажет матери всю правду, но для того, чтобы ей было легче согласиться на встречу с К., ей скажут, что он поговорит с самим Брунсвиком, правда не о матери, а о своих делах. И это было правильно: во время разговора К. сообразил, что Брунсвик, каким бы злым и опасным человеком он ни был, собственно говоря, не может быть его противником, потому что, судя по словам старосты, именно он был вожаком тех, кто, пусть из политических соображений, требовал приглашения землемера, и прибытие К. в Деревню было для Брунсвика желанным; правда, тогда не очень понятно, почему он так сердито встретил его в первый день и так плохо, по словам Ханса, к нему относится, но, может быть, Брунсвик был обижен именно тем, что К. в первую очередь не обратился за помощью к нему, и может быть, тут произошло еще какое-нибудь недоразумение, которое легко исправить двумя-тремя словами. А если так случится, то К., несомненно, найдет в Брунсвике защиту против учителя, а может быть, против самого старосты, и тогда откроются все эти административные жульничества,— как же их еще иначе назвать? — при помощи которых и староста и учитель не пускают его к начальству в Замке и заставляют служить в школе; а если заново из-за К. начнется борьба Брунсвика со старостой, то Брунсвик, конечно, перетянет К. на свою сторону. К. станет гостем в доме Брунсвика, и все силы, которыми располагает Брунсвик, назло старосте окажутся в распоряжении К., и, как знать, чего он этим сможет добиться, и, уж конечно, он тогда часто будет бывать около той женщины; такие мечты играли с К., а он играл с мечтами; между тем Ханс, думая только о своей матери, тревожно смотрел на молчащего К.— так смотрят на врача, думающего, какое бы лекарство прописать тяжелобольному. Ханс был согласен, чтобы К. поговорил с Брунсвиком насчет должности землемера, хотя бы потому, что тогда мать будет защищена от нападок отца, да и вообще речь шла о крайней необходимости, которая, надо надеяться, не возникнет. Ханс только спросил, каким образом К. объяснит отцу свой поздний приход, и в конце концов согласился, хотя и несколько насупившись, чтобы К. сказал, что его привели в отчаянно невыносимые условия работы в школе и унизительное обращение учителя и поэтому он забыл всякую осторожность.

Когда наконец все было обдумано и появилась хоть какая-то надежда на удачу,

Ханс, освободившись от тяжелых дум, повеселел и стал болтать по-ребячески, сначала с К., а потом с Фридой — та все время была занята какими-то своими мыслями и только сейчас включилась в общий разговор. Между прочим, она спросила Ханса, кем он хочет быть, и, не долго думая, тот сказал, что хотел бы стать таким человеком, как К. Но когда его начали расспрашивать, он не смог ничего ответить; а на вопрос, неужели он хочет стать сторожем в школе, он решительно сказал: нет. Только после дальнейших расспросов стало ясно, каким окольным путем он пришел к этому желанию. Теперешнее положение К.— жалкое и презренное — было незавидным, это Ханс хорошо понимал, для такого понимания ему вовсе не надо было сравнивать К. с другими людьми, из-за этого он и хотел избавить свою мать от встречи и разговора с К. Однако он пришел к К., сам попросил у него помощи и был счастлив, когда К. согласился; ему казалось, что и другие люди так же отнеслись бы к К.— ведь мать Ханса сама расспрашивала о К. Из этого противоречия у Ханса возникла убежденность, что хотя К. и пал так низко, что всех отпугивает, но в каком-то, правда, очень неясном, далеком будущем он всех превзойдет. Именно это далекое в своей нелепости будущее и гордый путь, ведущий туда, соблазняли Ханса, ради такой награды он готов был принять К. и в его теперешнем положении. Самым детским и вместе с тем преждевременно взрослым в отношениях Ханса и К. было то, что он сейчас смотрел на К. сверху вниз, как на младшего, чье будущее еще отдаленней, чем будущее такого малыша, как он сам. И с какой-то почти грустной серьезностью он говорил об этом, вынужденный отвечать на настойчивые вопросы Фриды. И только К. развеселил его, сказав, что понимает, почему Ханс ему завидует — он завидует чудесной резной палке, лежавшей на столе,— Ханс все время рассеянно играл с ней. А К. умеет вырезать такие палки, и если их план удастся, он сделает Хансу палку еще красивее. Ханс до того обрадовался обещанию К., что можно было подумать, уж не из-за палки ли он вернулся, он и попрощался с ним весело, крепко пожав К. руку со словами: «Значит, до послезавтра!»

## 14

## Упреки Фриды

Едва Ханс успел уйти, как учитель распахнул двери и, увидев К., спокойно сидящего за столом с Фридой, крикнул: «Извините, что помешал! Скажите, однако, когда же вы тут наконец уберете? Мы там сидим, как сельди в бочке, занятия страдают, а вы тут прохлаждаетесь в гимнастическом классе, да еще выгнали помощников, чтобы вам было посвободнее! Ну, а теперь вставайте-ка, пошевеливайтесь!— И обращаясь к К.:— А ты неси мне завтрак из трактира «У моста»!» Правда, кричал он свирепым голосом, но слова были относительно мирные, несмотря на грубое само по себе тыканье. К. уже готов был выполнить приказ и, только чтобы заставить учителя высказаться, спросил: «Да ведь я, кажется, уволен?» «Уволен или не уволен, неси мне завтрак»,— сказал учитель. «Уволен или не уволен — вот что я хочу знать»,— сказал К. «Что ты тут болтаешь? — сказал учитель.—Ты же не принял увольнения?» «Значит, этого достаточно, чтобы не быть уволенным?»— спросил К. «Для меня — нет,— сказал учитель,— а вот для старосты, по непонятной причине, достаточно. Ну, а теперь беги, иначе и вправду вылетишь». К. был очень доволен: значит, учитель уже поговорил и со старостой, а может быть, и не поговорил, а просто представил себе, какого тот будет мнения, и это мнение оказалось в пользу К. Он уже собрался было идти за завтраком, но только он вышел в прихожую, учитель кликнул его назад. То ли он хотел испробовать, послушается ли К. его приказа, то ли ему пришла охота еще покомандовать, и он с удовольствием смотрел, как К. торопливо побежал, а потом по его приказу, словно лакей, так же торопливо вернулся назад. Со своей стороны К. понимал, что слишком большая уступчивость превратит его в раба и мальчика для битья, но он решил до известного предела спокойно относиться к придиркам учителя, потому что хотя, как оказалось, учитель и не имел права уволить его, но превратить эту должность в невыносимую пытку он, конечно, мог. Но именно за эту должность К. сейчас держался больше, чем когда-либо. Разговор с Хансом пробудил в нем новые, по всей видимости, совершенно невероятные, безосновательные, но уже неистребимые надежды, они затмили даже надежду на Варнаву. Если он хотел им следовать — а иначе он не мог,— то ему надо было собрать все силы, не за-

ботиться ни о чем другом — ни о еде, ни о жилье, ни о местном начальстве, даже ни о Фриде, хотя основой всего была именно Фрида и его интересовало только то, что имело отношение к ней. Ради нее он должен стараться сохранить эту должность, потому что это устраивало Фриду, а раз так, значит, нечего было жалеть, что приходится терпеть от учителя больше, чем он терпел бы в иных обстоятельствах. И все это было не так уж страшно, все это были будничные и мелкие жизненные неприятности — сущие пустяки по сравнению с тем, к чему стремился К., а приехал он сюда вовсе не для того, чтобы жить в почете и спокойствии.

И потому с той же поспешностью, с какой он побежал было в трактир, он по новому приказу, так же торопливо, готов был взяться за уборку комнаты, чтобы учительница со своим классом могла бы опять перейти сюда. Но убирать надо было как можно скорее, потом К. должен был все же принести завтрак учителю — тот уже сильно проголодался. К. уверил его, что все будет сделано по его желанию, учитель некоторое время наблюдал, как К. торопливо убрал постель, поставил на место гимнастические снаряды и моментально подмел пол, пока Фрида мыла и терла кафедру. Учителя как будто удовлетворило их рвение, он еще указал К., что за дверями лежат дрова для топки — к сараю он, очевидно, решил его не допускать,— и потом, пригрозив, что скоро вернется и все проверит, ушел к своим ученикам.

Фрида некоторое время работала молча, потом спросила К., почему он теперь во всем так слушается учителя. Спросила она явно из сочувствия, от хорошего отношения, но К., думая о том, что Фриде, хотя она раньше и обещала, не удалось избавить его от самодурства и команд учителя, ответил ей коротко, что, раз он взялся за эту работу, значит, он и должен делать все как полагается. Снова наступило молчание, но потом К., вспомнив именно после этого короткого разговора, что Фрида давно уже погрузилась в какие-то грустные мысли, особенно во время разговора с Хансом, внеся дрова в комнату, спросил ее прямо, о чем она так задумалась. Медленно подняв на него глаза, она сказала, что ни о чем она определенно не думает, только вспоминает хозяйку и некоторые ее справедливые слова. А когда К. стал настаивать, она сначала отнекивалась и только потом ответила подробно, не бросая при этом работы, правда, не от излишнего усердия, потому что работа ничуть не двигалась вперед, а лишь для того, чтобы не смотреть К. в глаза. И она рассказала К., что сначала слушала его разговор с Хансом спокойно, но некоторые фразы К. заставили ее встрепенуться, глубоко вникнуть в суть его слов, и как после этого его слова все время подтверждали те предостережения, которые ей делала хозяйка, хотя она никак не хотела верить в их справедливость. Рассердившись на эти общие фразы и ее плаксивый голос, который больше раздражал, чем трогал его, а больше всего разозлясь на то, что хозяйка трактира снова вмешивалась в его жизнь уже через воспоминания Фриды, так как лично ей до сих пор это не удавалось,— К. швырнул на пол охапку дров, уселся на нее и уже всерьез потребовал полной ясности. «Очень часто,— начала Фрида,— уже с самого начала хозяйка пыталась вызвать у меня недоверие к тебе, хотя она вовсе не утверждала, что ты лжешь, наоборот, она говорила, что ты простодушен, как ребенок, но настолько отличаешься от всех нас, что, даже когда ты говоришь откровенно, мы с трудом заставляем себя поверить тебе, но если нас заранее не спасет добрая подруга, то горький опыт в конце концов выработает у нас привычку верить тебе. Она и сама поддалась этому, хоть и видит людей насквозь. Но, поговорив с тобой в последний раз, тогда, в трактире «У моста», она наконец — тут я только повторяю ее злые слова — раскусила твою хитрость, и теперь тебе уже не удастся ее обмануть, как ты ни старайся скрыть свои намерения. Впрочем, ты ничего не скрываешь, это она твердит все время, а потом она мне еще сказала: ты постарайся при случае как следует вслушаться в то, что он говорит,— не поверхностно, мимоходом, нет, ты прислушайся всерьез, по-настоящему. Она и сама так сделала, и вот что она выведала насчет меня. Ты ко мне подобрался — она употребила именно это подлое слово — только потому, что я случайно попалась тебе на пути, в общем, понравилась тебе, а кроме того, ты считал, что любая буфетчица заранее готова стать жертвой любого гостя, стоит ему только протянуть руку. Кроме того, как узнала моя хозяйка от хозяина гостиницы, ты хотел там переночевать, неизвестно почему, а это можно было сделать только благодаря мне. Одного этого уже было тебе достаточно, чтобы в ту же ночь стать моим любовником, но чтобы наши отношения принесли для тебя еще больше пользы, нужно было что-то более значительное, и значительным был Кламм. Хозяйка утверждает, что ей неизвестно, чего

тебе нужно от Кламма, она только утверждает, что еще до того, как ты со мной познакомился, ты так же настойчиво стремился к Кламму, как и сейчас. Разница была только в том, что раньше у тебя надежды не было, а теперь ты решил, что нашел во мне верное средство попасть к Кламму, причем скоро и даже слишком скоро. И как я перепугалась — правда, только на минутку и без особых оснований,— когда ты сегодня сказал, что, если бы не наша встреча, ты бы совсем тут растерялся. Почти теми же словами об этом говорила и хозяйка, она тоже считает, что только с тех пор, как ты со мной познакомился, у тебя появилась определенная цель. Вышло это потому, что ты решил, будто ты завоевал меня, любовницу Кламма, и тем самым как бы получил драгоценный залог, за который можно взять огромный выкуп. И ты стремился лишь к одному — сторговаться с Кламмом насчет этого выкупа. И так как я сама для тебя — ничто, а этот выкуп — все, ты в отношении меня пойдешь на любые уступки, но в отношении выкупа будешь упрямо торговаться. Поэтому тебе безразлично, потеряю ли я место в гостинице, безразлично, придется ли мне уйти с постоялого двора «У моста», безразлично, что мне надо будет делать всю черную работу при школе. Нет у тебя для меня ни ласки, ни даже свободной минутки, ты меня бросаешь на помощников, ревности ты не знаешь, единственное, что ты во мне ценишь,— это то, что я была любовницей Кламма, поэтому по своему недомыслию ты стараешься, чтобы я не забыла Кламма и не слишком сопротивлялась, когда настанет решающий момент; однако ты и против хозяйки сражаешься, считая, что она одна может отнять меня у тебя, потому ты и раздул вашу ссору до крайности, чтобы нас с тобой попросили покинуть постоялый двор, а то, что я, насколько это зависит от меня, останусь твоей собственностью при любых обстоятельствах, в этом ты ничуть не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты себе представляешь как коммерческую сделку на равных. Ты учитываешь все, лишь бы взять свое; захочет Кламм вернуть меня — ты меня отдашь; захочет, чтобы ты остался со мной,— ты останешься; захочет, чтобы ты меня выгнал,— ты и выгонишь; однако ты готов и ломать комедию; если окажется выгодным — ты притворишься, что любишь меня, постараешься побороть его равнодушие ко мне тем, что станешь себя унижать, чтобы устыдить его: вот какой, мол, человек, занял его место, или тем, что передашь ему мои признания в любви к нему — ведь я тебе и правду о нем так говорила — и попросишь его взять меня снова к себе, конечно, взяв с него сначала выкуп; а если ничего не поможет, ты просто начнешь клянчить от имени супругов К. Если же ты потом увидишь, сказала мне в заключение хозяйка, что ты во всем ошибся — и в своих предположениях, и в своих надеждах, и в том, как ты себе представлял и самого Кламма, и его отношение ко мне,— тогда для меня настанет сущий ад, потому что тогда я действительно стану твоей собственностью, с которой тебе не разделаться, и к тому же еще собственностью совершенно обесцененной, и ты со мной начнешь обращаться соответственно, потому что никаких чувств, кроме чувства собственника, ты ко мне не питаешь».

Напряженно, стиснув губы, К. слушал Фриду, вязанка дров под ним рассыпалась, и он почти что очутился на полу, но не обратил на это никакого внимания, только сейчас он встал, сел на подножке кафедры, взял Фридину руку, хотя она и сделала слабую попытку отнять ее, и сказал: «В твоих словах я никогда не мог отличить твое мнение от мнения хозяйки». «Нет, это только мнение хозяйки,— сказала Фрида.— Все, что она говорила, я выслушала, потому что я ее уважаю, но впервые в жизни я с ней никак не согласилась. Все, что она сказала, показалось мне таким жалким, таким далеким от всякого понимания наших с тобой отношений. Больше того, мне кажется, что на самом деле все прямо противоположно тому, что она говорила. Я вспомнила то грустное утро после первой нашей ночи, когда ты стоял подле меня на коленях с таким видом, словно все потеряно. И так оно потом и случилось: сколько я ни старалась, я тебе не помогала, а только мешала. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, и врагом могучим, чего ты до сих пор недооцениваешь. Из-за меня, твоей постоянной заботы, тебе пришлось бороться за свое место, ты потерпел неудачу у старосты, должен был подчиниться учителю, сносить помощников, и — что хуже всего — из-за меня ты, быть может, нанес обиду Кламму. Ведь то, что ты теперь упорно хочешь попасть к Кламму,— только бессильная попытка как-то его умиротворить. И я себе сказала: наверно, хозяйка, которая, конечно, все это знает лучше меня, просто хотела меня избавить от самых страшных угрызений совести. Намерение, конечно, доброе, но совершенно излишнее. Моя любовь к тебе помогла бы мне все перетерпеть, она бы и тебе, в конце концов, помогла выбиться если не тут, в Деревне, то

где-нибудь в другом месте, свою силу моя любовь уже доказала — она спасла тебя от семейства Варнавы». «Значит, тогда ты так думала наперекор хозяйке,— сказал К.,— но что же с тех пор изменилось?» «Не знаю,— сказала Фрида, взглянув на руку К., лежавшую на ее руке,— может быть, и ничего не изменилось: когда ты так близко и спрашиваешь так спокойно, я верю, что ничего не изменилось. Но на самом деле...— Тут она отняла руку у К., выпрямилась и заплакала, не закрываясь, открыто подняла она к нему залитое слезами лицо, словно плачет она не о себе и потому скрываться нечего, плачет она из-за предательства К., оттого ему и пристало видеть ее горькие слезы.— На самом деле,— продолжала она,— все, все изменилось с той минуты, как я услыхала твой разговор с мальчиком. Как невинно начал ты этот разговор, расспрашивал о его домашних, о том о сем, казалось, словно ты снова вошел ко мне в буфет, такой приветливый, искренний, и так же по-детски настойчиво ищешь мой взгляд. Все было как прежде — никакой разницы,— и я только хотела, чтобы хозяйка была тут же и, слушая тебя, все же попыталась бы остаться при своем мнении. Но потом вдруг, сама не знаю, как это случилось, я поняла, зачем ты завел разговор с мальчиком. Ты завоевал его доверие — а это было нелегко — своими сочувственными словами, чтобы потом без помехи идти к своей цели, а мне она становилась все яснее. Твоей целью была та женщина. С виду ты как будто тревожился о ней, но за этими словами скрывалась одна забота — о твоих собственных делах. Ты обманул эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышалось мне в твоих словах; мне казалось, будто рядом со мной сидит хозяйка и все мне объясняет, и хотя я изо всех сил стараюсь ее отстранить, но сама ясно вижу всю безнадежность своих усилий, причем ведь обманывали-то уже не меня,— меня теперь и обманывать не стоило! — а ту чужую женщину. А когда я, собравшись с духом, спросила Ханса, кем он хочет быть, и он ответил, что хочет стать таким, как ты, то есть уже совершенно подпал под твою власть, разве тогда уже была какая-нибудь разница между нами — славным мальчуганом, которого обманывали тут, и мной, обманутой тогда, в гостинице?»

«Все твои слова,— начал К., который, слушая привычные попреки, уже успел овладеть собой,— все твои слова в некотором смысле правильны, хотя они и нелогичны, только очень враждебны. Это же мысли хозяйки, моего врага, и это меня утешает, даже если ты думаешь, что они твои собственные. Очень это поучительно, от хозяйки можно многому научиться. Мне в лицо она этого не сказала, хотя в остальном меня не особенно щадила; видно, она поручила это оружие тебе, понадеявшись, что ты его применишь в особенно тяжелую или особенно решающую для меня минуту. И если я злоупотребляю тобой, то она уж определенно тобой злоупотребляет. А теперь, Фрида, подумай сама: даже если бы было так, как говорит хозяйка, то все было бы очень плохо только в одном случае — если ты меня не любишь. Тогда, только тогда и вправду оказалось бы, что я завоевал тебя хитростью, с расчетом, чтобы потом торговать своей добычей. Может быть, я по заранее задуманному плану нарочно появился перед тобой под руку с Ольгой, чтобы вызвать в тебе жалость, а хозяйка, должно быть, забыла и это поставить мне в счет моих провинностей. Но если такого гнусного поступка не было, если не хитрый хищник тебя тогда рванул к себе, но ты сама пошла ко мне навстречу, как я — к тебе, и мы нашли друг друга в полном забвении, а если так, Фрида, что же тогда? Тогда, значит, я веду не только свое, но и твое дело, тут никакой разницы нет, только враг может нас разделять. Так оно и во всем, и по отношению к Хансу тоже. Но ты сильно преувеличиваешь разговор с Хансом из-за твоей большой обидчивости, ведь даже если наши с ним намерения не вполне совпадают, то все же особого противоречия между ними нет, кроме того, наши разногласия от Ханса не укрылись, и если ты так думаешь, то ты очень недооцениваешь этого осторожного человечка, но даже если он ничего не понял, никакой беды, надеюсь, от этого не будет».

«Так трудно во всем разобраться, К.,— сказала Фрида, вздыхая,— никакого недоверия к тебе у меня, конечно, не было, а если я чем-то и заразилась от хозяйки, то с радостью от этого откажусь и на коленях буду просить у тебя прощения — да я все время так и делаю, хоть и говорю злые слова. Правда только в одном: ты многое от меня скрываешь, ты уходишь и приходишь неизвестно откуда и куда. Помнишь, когда Ханс постучал, ты даже воскликнул: «Варнава!» О, если бы ты хоть раз позвал меня с такой же любовью, с какой ты, неизвестно почему, выкрикнул это ненавистное имя! Если ты мне не доверяешь, как же тут не возникнуть подозрениям? Так я

могу совсем подпасть под влияние хозяйки, ты словно подтверждаешь все ее слова своим поведением. Не во всем, конечно; я вовсе не хочу доказывать, что ты во всем подтверждаешь ее слова: прогнал же ты ради меня своих помощников. Ах, если бы ты знал, как жадно я ищу хорошее во всем, что ты говоришь и делаешь, как бы ты меня ни огорчал». «Прежде всего, Фрида,— сказал К.,— я от тебя совершенно ничего не скрываю. Но как меня ненавидит хозяйка, как она старается вырвать тебя у меня, какими подлыми способами она этого добивается, и как ты ей поддаешься! Скажи, в чем я скрытничаю? Что я хочу попасть к Кламму, ты знаешь; что ты мне в этом ничем помочь не можешь и что мне придется добиваться этого своими силами, ты тоже знаешь; а что мне до сих пор ничего не удавалось, ты видишь. Неужели мне надо рассказывать все бесполезные попытки, и без того слишком унизительные для меня, и тем самым унижаться вдвойне? Неужто хвастаться, как я мерзну на подножке кламмовских саней, без толку дожидаясь его целый день? Я спешу к тебе, радуясь, что не надо больше думать о таких вещах, а ты снова мне о них напоминаешь. А Варнава? Конечно же, я его жду. Он посыльный Кламма, и не я назначил его на эту должность». «Опять Варнава?— крикнула Фрида.— Никогда не поверю, что он хороший посыльный». «Может, и твоя правда,— сказал К.,— но другого мне не дали, он единственный». «Тем хуже,— сказала Фрида,— тем больше ты должен остерегаться его». «К сожалению, он до сих пор мне не подавал повода,— с улыбкой сказал К.— Приходит он редко, все, что он приносит, ничего не значит, ценно только то, что это идет непосредственно от самого Кламма». «Но послушай,— сказала Фрида,— выходит, что даже Кламм уже не цель для тебя, может быть это и тревожит меня больше всего. Плохо было, когда ты все время стремился к Кламму, минуя меня, но гораздо хуже, если ты сейчас как будто отходишь от Кламма, этого даже хозяйка не могла предвидеть. По словам хозяйки, моему счастью, весьма сомнительному, но все же настоящему, придет конец в тот день, когда ты поймешь, что твоя надежда на Кламма напрасна. А теперь ты даже и этого дня не ждешь, вдруг появляется маленький мальчик, и ты начинаешь бороться с ним за его мать, не на жизнь, а на смерть». «Ты правильно восприняла мой разговор с Хансом,— сказал К.— Так оно и было. Неужели ты настолько забыла всю свою прежнюю жизнь (конечно, кроме хозяйки, от этой никуда не денешься), что не помнишь, как приходиться бороться за всякое продвижение, особенно когда подымаешься из самых низов? Как надо использовать все, в чем кроется хоть малейшая надежда? А та женщина — из Замка, она сама так сказала, в первый день, когда я заблудился и попал к Лаземану. Что могло быть проще, чем попросить ее совета или даже помощи; и если хозяйка с такой точностью видит все препятствия, мешающие попасть к Кламму, то эта женщина, наверно, знает туда дорогу, она же сама пришла по ней сюда». «Дорогу к Кламму?»— спросила Фрида. «Конечно, к Кламму, куда же еще? — сказал К. и вскочил с места: — А теперь уже давно пора принести завтрак». Но Фрида с настойчивостью, вовсе не соответствующей такому пустяковому поводу, стала умолять его остаться, как будто только своим присутствием он мог подтвердить все утешительные слова, сказанные ей. Однако К. напомнил ей об учителе, указав на дверь, которая ежеминутно могла с грохотом распахнуться, и обещал вернуться как можно скорей, ей даже затапливать печь не надо, он все сделает сам. В конце концов Фрида молча сдалась. Во дворе, утопая в снегу,— дорожку давно надо было расчистить, удивительно, до чего медленно шла работа! — К. увидел, что один из помощников, полумертвый от усталости, все еще стоял, вцепившись в ограду. Только один, а где же второй? Может быть, К. хоть одного из них наконец вывел из терпения? Правда, у этого еще запала было достаточно, это сразу стало ясно, когда он при виде К. пуще прежнего стал размахивать руками и закатывать глаза. «Вот примерная выдержка! — сказал себе К. и тут же добавил: — Но так можно и замерзнуть у забора!» Однако К. не подал виду и погрозил помощнику кулаком, чтобы тот не вздумал подойти, и помощник испуганно отскочил подальше. Но тут Фрида распахнула окно, чтобы проветрить комнату, прежде чем затопить, как она договорилась с К. Помощник немедленно перенес на нее все внимание и стал подкрадываться к окну, словно его неудержимо тянуло туда. С растерянным лицом, явно терзаясь жалостью к помощнику и с беспомощной мольбой глядя на К., Фрида протянула руку из окна, но трудно было разобрать, звала ли она или отгоняла помощника, так что тот не поддался искушению и ближе не подошел. Тут Фрида торопливо захлопнула наружную раму, но осталась у окна, держа руку на задвижке с застывшей улыбкой, склонив голову набок и не отводя глаз. Понимала ли она, что

скорее привлекает, чем отталкивает этим помощника? Но К. больше не стал оборачиваться, лучше было сделать все как можно скорее и сразу вернуться сюда.

## 15
## У Амалии

К вечеру, когда уже стемнело, К. наконец расчистил дорожку и крепко утрамбовал снежные навалы по обе ее стороны — на этот день работа была закончена. Он стоял у ворот в одиночестве, вокруг не было видно ни души. Помощника он давно выставил и отогнал подальше; тот скрылся где-то, за садиками и домишками, найти его было невозможно, и с тех пор он не появлялся. Фрида осталась дома, то ли она уже взялась за стирку, то ли все еще мыла кошку Гизы: со стороны Гизы это было проявлением большого доверия поручить Фриде такую работу, правда весьма неаппетитную и неподходящую; и К., наверно, никогда не позволил бы Фриде взяться за нее, если бы не приходилось после их служебных промашек налаживать добрые отношения с Гизой. Гиза одобрительно следила, как К. принес с чердака детскую ванночку, как согрели воду и, наконец, осторожно посадили кошку в ванну. Затем Гиза оставила кошку на Фриду, потому что пришел Шварцер, тот, с которым К. познакомился в первый вечер, поздоровался с К. отчасти смущенно из-за событий, случившихся в тот вечер, а отчасти — весьма презрительно, как и полагалось здороваться со школьным служителем, после чего удалился с Гизой в соседнюю комнату. Там они до сих пор и сидели. В трактире «У моста» К. слышал, что Шварцер, хоть он и сын кастеляна, давно поселился в Деревне из-за любви к Гизе; он по протекции добился у общины места помощника учителя, но выполнял он свои обязанности, главным образом присутствуя на всех уроках Гизы, причем либо сидел за партой среди школьников, либо у ног Гизы на кафедре. Он никому не мешал, дети давным-давно к нему привыкли, что было вполне понятно, так как Шварцер детей не любил и не понимал, почти с ними не разговаривал, заменяя Гизу лишь на уроках гимнастики, а в остальном довольствовался тем, что дышал одним воздухом с Гизой, ее близостью, ее теплом. Самым большим наслаждением для него было сидеть рядом с Гизой и править школьные тетрадки. И сегодня они занимались тем же. Шварцер принес большую стопку тетрадей: учитель отдавал им и свои, и пока было светло, К. видел, как они работают за столиком у окна, сидя неподвижно, щека к щеке. Теперь виднелось только мерцание двух свечей за стеклом. Серьезная, молчаливая любовь связывала этих двоих; тон задавала Гиза; хотя она сама при всей тяжеловесности своего характера иногда могла сорваться и выйти из границ, от других в другое время она не потерпела бы ничего подобного, и Шварцер, живой и подвижный, должен был подчиняться ей — медленно ходить, медленно говорить, подолгу молчать; но видно было, что за это его сторицей вознаграждает присутствие Гизы, ее спокойная простота. Причем Гиза, может быть, вовсе и не любила его, во всяком случае никакого ответа на этот вопрос нельзя было прочесть в ее круглых серых в полном смысле слова немигающих глазах, где как будто вращались одни зрачки. Видно было, что она терпит Шварцера без возражений, но чести быть любимой сыном кастеляна она не признавала и спокойно носила свое пышное, полное тело независимо от того, смотрел на нее Шварцер или нет. Напротив, Шварцер ради нее приносил себя в жертву, живя в Деревне; посланцев своего отца, приходивших за ним, он выставлял с таким возмущением, словно вызванное их приходом беглое напоминание о Замке и о сыновнем долге уже наносило чувствительный и непоправимый урон его счастью. А ведь, в сущности, свободного времени у него было предостаточно, потому что Гиза, в общем, показывалась ему на глаза только во время уроков и правки тетрадей, причем не из какого-либо расчета, а потому, что она любила свои удобства и предпочитала одиночество, чувствуя себя счастливее всего, когда могла дома в полной свободе растянуться на кушетке рядом с кошкой, которая не мешала, потому что почти не могла двигаться. И Шварцер большую часть дня шатался без дела, но и это было ему по душе, так как всегда была возможность — и он широко ею пользовался — пойти на Лёвенгассе, где жила Гиза, подняться до ее мансарды, постоять у всегда запертой двери, послушать и торопливо удалиться, установив, что в комнате неизменно царит необъяснимая и полная тишина. Все же иногда — но только не при Гизе — последствия этого странного образа жизни сказывались на нем в нелепых вспышках внезапно проснувшегося

чиновничьего высокомерия, хотя и весьма неуместного в его теперешнем положении; да и кончалось это обычно не очень хорошо, чему и К. был свидетель.

Удивительно было только то, что многие, во всяком случае на постоялом дворе «У моста», говорили о Шварцере с некоторым уважением, даже когда речь шла скорее о смешных, чем о значительных поступках, причем эта уважительность распространялась и на Гизу. И все же было неправильно со стороны Шварцера думать, что он как помощник учителя стоит много выше, чем К.,— такого преимущества у него вовсе не было: для учителей в школе, особенно для учителя вроде Шварцера, школьный сторож — очень важная персона, и нельзя было безнаказанно пренебрегать им, а если уж причиной пренебрежения было чье-то служебное положение, то, во всяком случае, надо было дать возможность и другой стороне свободно проявлять свое отношение. При первом удобном случае К. собирался это обдумать, а кроме того, Шварцер еще с первого вечера был перед ним виноват, и вина эта ничуть не уменьшалась оттого, что все события следующих дней, в сущности, подтвердили правоту Шварцера в том, как он принял К. Никак нельзя было забыть, что этот прием, может быть, и задал тон всему последующему. Из-за Шварцера все внимание властей уже с первых минут было обращено на К., когда он, совсем чужой в Деревне, без знакомых, без пристанища, измученный дорогой, беспомощный, лежал там на соломенном тюфяке, беззащитный против нападок любых чиновников. А ведь, пройди та ночь спокойно, все могло бы обойтись почти без огласки; во всяком случае, о К. никто ничего не знал бы, никаких подозрений он не вызывал бы, и каждый, не задумываясь, приютил бы его у себя, как и всякого другого путника; все увидели бы, что он — человек полезный и надежный, об этом заговорили бы в округе, и, наверно, он вскоре устроился бы где-нибудь хотя бы батраком. Разумеется, власти узнали бы об этом. Но тут была бы существенная разница: одно дело, когда переполошили из-за него среди ночи центральную канцелярию, или того, кто оказался там у телефона, потребовали немедленного решения — правда, с притворным подобострастием, но все же достаточно назойливо, да еще через Шварцера, не пользующегося особым благоволением верхов, а другое дело, если вместо всей этой суматохи К. пошел бы на следующий день в приемные часы к старосте, постучал бы, как положено, представился бы в качестве странника, который уже нашел пристанище у одного из местных жителей и, возможно, завтра с утра отправился бы в путь, если только, что маловероятно, не нашел бы здесь работу — разумеется, всего на несколько дней, дольше он оставаться ни в коем случае не намерен. Примерно так все обошлось бы, не будь Шварцера. Администрация занялась бы тогда его делом, но спокойно, по-деловому, без того, чтобы заинтересованное лицо проявляло нетерпение, что особенно ей ненавистно. Правда, К. тут ни в чем виноват не был, вся вина лежала на Шварцере, но Шварцер был сыном кастеляна и внешне держался вполне корректно, значит, вина падала на К. А какой смехотворный повод вызвал все это? Быть может, немилостивое настроение Гизы, из-за которого Шварцер без сна шатался в ту ночь и потом выместил свои неприятности на К.? С другой стороны, однако, можно было сказать, что К. очень многим обязан такому поведению Шварцера. Только благодаря этому стало возможным то, чего К. самостоятельно никогда бы не достиг и что со своей стороны вряд ли бы допустило начальство — а именно то, что К. с самого начала без всяких ухищрений, лицом к лицу, установил прямой контакт с администрацией, насколько это вообще было возможно. Однако выиграл он от этого немного, правда, К. был избавлен от необходимости лгать и действовать исподтишка, но он становился почти беззащитным и, во всяком случае, лишался какого бы то ни было преимущества в борьбе, так что он мог бы окончательно прийти в отчаяние, если бы не сознался себе, что между ним и властями разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь существенно в свою пользу он никогда не смог бы. Впрочем, эти мысли служили К. только для самоутешения, Шварцер по-прежнему оставался у него в долгу, и, может быть, повредив ему тогда, он теперь мог бы ему помочь, а такая помощь понадобится К. в любых мелочах, на первых же шагах — вот и сейчас, когда и Варнава, по-видимому, снова от него отступился.

Из-за Фриды К. весь день не решался навести справки у Варнавы в доме; для того, чтобы не принимать его в комнате при Фриде, он все время работал в саду, задержавшись там и после работы в ожидании Варнавы, но тот не пришел. Теперь оставалось хоть на минутку зайти к его сестрам, хотя бы спросить с порога и сразу

вернуться назад. И, воткнув лопату в снег, он побежал бегом. Задыхаясь, он добежал до дома Варнавы, коротко постучав, рванул дверь и, не замечая, что делается в горнице, спросил: «А Варнава все еще не вернулся?» — и только тогда увидел, что Ольги нет, а старики снова сидят в другом конце у стола в каком-то оцепенении, еще не понимая, что происходит у дверей, они только медленно повернули головы; Амалия, лежавшая у печи под одеялами, при появлении К. испуганно привскочила и, схватившись рукой за лоб, словно старалась прийти в себя. Если бы Ольга была дома, она сразу ответила бы на вопрос и К. смог бы тотчас же уйти, а тут ему пришлось подойти к Амалии, протянуть ей руку, которую она молча пожала, и попросить ее успокоить встревоженных родителей, удержать их на месте, что она и сделала, бросив им несколько слов. К. узнал, что Ольга колет дрова во дворе, Амалия очень устала — она не сказала, по какой причине,— и потому прилегла, а Варнава хотя еще и не пришел, но скоро должен прийти, он никогда не останется ночевать в Замке. К. поблагодарил за сведения, теперь ему можно уйти. Но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу, однако у него, к сожалению, не было времени. Тогда Амалия спросила, говорил ли он уже сегодня с Ольгой; он с удивлением ответил «нет» и спросил, хочет ли Ольга сообщить ему что-нибудь особенное? Амалия с некоторым раздражением поджала губы, молча кивнула К., явно желая с ним попрощаться, и снова улеглась. Лежа, она оглядела его, словно удивляясь, что он еще тут. Взгляд у нее был холодный, ясный, неподвижный, как всегда; и направлен этот взгляд был не прямо на то, что она разглядывала, но скользил чуть-чуть, почти незаметно, однако достаточно определенно мимо того, на что она смотрела; это очень мешало, и казалось, что причиной тому была не слабость, не застенчивость, не притворство, а постоянная, вытесняющая все другие чувства тяга к одиночеству, которую она не скрывала. К. припомнил, что его как будто взгляд ее удивил и в первый вечер, более того: все нехорошее впечатление, которое на него тогда произвела эта семья, зависело от взгляда Амалии, хотя в самом этом взгляде ничего плохого не было, он только выражал гордость и ясную в своей откровенности отчужденность. «Ты всегда такая грустная, Амалия,— сказал К.— Что тебя мучает? Ты можешь рассказать? Никогда я еще не видел такой деревенской девушки. Только сегодня, только сейчас мне это пришло в голову. Ведь ты родом из Деревни? Ты родилась тут?» Амалия ответила утвердительно, словно К. задал ей только последний вопрос, потом сказала: «Значит, ты все же подождешь Ольгу?» «Не знаю, зачем ты все время спрашиваешь одно и то же,— сказал К.— Остаться я не могу, меня дома ждет невеста».

Амалия приподнялась на локте — о невесте она ничего не слышала. К. назвал имя. Амалия ее не знала. Она спросила, знает ли Ольга про обручение. К. думал, что знает, ведь Ольга видела его с Фридой, и, кроме того, такие вести быстро распространяются по Деревне. Однако Амалия уверила его, что Ольга ничего не знает и что она будет очень несчастна, потому что она, кажется, влюблена в К. Открыто она об этом не говорила, потому что она очень сдержанна, но любовь всегда выдает себя невзначай. К. был уверен, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хоть и печальная, озарила ее мрачно нахмуренное лицо, превратила молчание в слова, отчужденность — в дружелюбие, словно открыв путь к тайне, открыв какое-то скрытое сокровище, которое хотя и можно снова отнять, но уже не совсем. Амалия сказала, что она не ошибается, больше того, ей хорошо известно, что и К. питает склонность к Ольге и что, приходя сюда под предлогом ожидания каких-то известий от Варнавы, он на самом деле приходит только ради Ольги. Но теперь, когда Амалия все знает, он уже не должен себя ограничивать и может приходить чаще. Только об этом она и хотела ему сказать. К. покачал головой и напомнил, что он обручен. Но Амалия вовсе не хотела вникать в историю обручения, тут решающим было непосредственное ее восприятие — ведь К. пришел к ним один; она только спросила, где К. познакомился с той девицей — он же всего несколько дней живет в Деревне. К. рассказал о вечере в гостинице, на что Амалия коротко заметила, что она возражала против того, чтобы Ольга повела его туда. И она призвала в свидетели саму Ольгу, та вошла с вязанкой дров, свежая, раскрасневшаяся от морозного воздуха, такая бодрая и сильная, словно работа возродила ее после обычного тяжелого сидения в комнате. Она бросила дрова, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К. обменялся взглядом с Амалией, но та как будто не хотела сознаться, что ошиблась. Слегка задетый таким отношением, К. стал рассказывать о Фриде гораздо подробнее, чем собирался, описал, в каких трудных условиях она ста-

рается вести хозяйство в школе, и так забылся, торопясь все рассказать — ведь он хотел поскорее вернуться домой,— что на прощание даже пригласил обеих сестер к себе в гости. Конечно, он тут же с перепугу запнулся, в то время как Амалия, не дав ему вымолвить больше ни слова, заявила, что принимает приглашение; тут к ней невольно присоединилась и Ольга. Но мысль о том, что нужно уйти как можно скорее, неотступно сверлила К., ему было неспокойно от пристального взгляда Амалии, и потому он решился, не таясь, сознаться, что пригласил он их необдуманно, из личной симпатии, но, к сожалению, должен это отменить, так как между семьей Варнавы и Фридой существует какая-то непонятная, но сильная вражда. «Вовсе это не вражда,— сказала Амалия, встав с постели и отшвырнув одеяло,— и не так уж это серьезно, просто она подлаживается к общему мнению. А теперь уходи, иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И не бойся, что мы придем в гости, я с самого начала говорила об этом в шутку, со зла. Но ты можешь ходить к нам чаще, тебе никто не помешает, а предлог у тебя найдется — скажешь, что ждешь вестей через Варнаву. А я тебе еще облегчу задачу, объяснив, что, если Варнава даже и принесет для тебя какие-нибудь известия, все равно он не сможет прийти в школу, чтобы тебе их передать. Не может он столько бегать, бедняга, придется тебе самому прийти сюда и справиться». К. еще ни разу не слыхал, чтобы Амалия так много и связано говорила, да и слова ее звучали по-другому, было в них какое-то высокомерие, и это ощутил не только К., но и Ольга, хотя она и привыкла к сестре. Ольга стояла в стороне, по-прежнему неуклюже расставив ноги и слегка сутулясь; она не спускала глаз с Амалии, смотревшей только на К. «Но ты ошибаешься,— сказал К.,— ты сильно ошибаешься, считая, что для меня ожидание Варнавы — только предлог. Уладить отношения с властями — самое главное, да, в сущности, и единственное мое желание. И в этом мне должен помочь Варнава, на него я возлагаю почти все надежды. Правда, один раз он уже очень разочаровал меня, но тут я больше виноват, чем он, потому что поначалу я был настолько сбит с толку, что решил, будто все можно уладить просто небольшой прогулкой, а когда выяснилось, как невозможно невозможное, я во всем обвинил его. Это повлияло на меня даже в моем суждении о вашей семье, о вас. Все это прошло, мне кажется, что я и вас теперь лучше понял, и вы...— К. запнулся, ища подходящее слово, но, найдя его не сразу, удовольствовался первым попавшимся: — Вы как будто гораздо доброжелательнее, чем другие жители Деревни, насколько мне пришлось с ними сталкиваться. Но ты, Амалия, опять сбиваешь меня с толку, хоть для тебя служба твоего брата что-то и значит, но его значение для меня ты преуменьшаешь. Может быть, ты не посвящена в дела Варнавы, тогда это хорошо, но, может быть, посвящена — а у меня именно такое впечатление,— тогда это плохо, потому что тогда это значит, что твой брат меня обманывает». «Успокойся,— сказала Амалия.— Ни во что я не посвящена, я ни за что не соглашусь, чтобы меня посвящали в эти дела, ни за что не соглашусь, даже ради тебя, хотя я многое для тебя готова сделать, ведь, как ты сам сказал, мы люди доброжелательные. Но дела моего брата только его и касаются, и знаю я о них только то, что случайно, против воли где-нибудь услышу. Зато Ольга может дать тебе полный отчет, он ей все поверяет». Тут Амалия отошла, пошепталась с родителями и вышла на кухню; она даже не попрощалась с К., словно знала, что ему придется надолго тут остаться и прощаться с ним не надо.

## 16

Слегка растерявшись, К. остался, и Ольга, подсмеиваясь над ним, потянула его к скамье у печки — казалось, что она и вправду рада, что может посидеть с ним вдвоем, но радость эта была тихой и, уж конечно, ничуть не омрачена ревностью. Именно благодаря такому полному отсутствию ревности, а потому и всякого напряжения К. почувствовал удовольствие; приятно было смотреть в эти голубые глаза, не влекущие, не властные, а полные робкого спокойствия, робкой настойчивости. Казалось, что все предостережения Фриды и хозяйки не только не насторожили его, но заставили быть внимательнее ко всему, что сейчас происходило, и разбираться лучше. И он рассмеялся вместе с Ольгой, когда она спросила, почему он именно Амалию назвал доброжелательной, у Амалии много качеств, но уж доброжелательности в ней нет. На это К. возразил, что похвала, конечно, относится к ней, к Ольге, но Амалия

такая властная, что не только присваивает себе все хорошее, что говорится в ее присутствии, но и каждый готов ей добровольно отдать пальму первенства. «Это правда,— сказала Ольга уже серьезнее,— тут больше правды, чем ты думаешь. Амалия моложе меня, моложе Варнавы, но в семье все решает она, и в хорошем и в дурном; правда, ей приходится нести и хорошее и дурное больше, чем другим». К. сказал, что это преувеличение, ведь только что Амалия сама сказала, что она, к примеру, совершенно не интересуется делами брата, зато Ольга все о них знает. «Ну как бы тебе объяснить? — сказала Ольга.— Амалии нет дела ни до Варнавы, ни до меня, в сущности, ей нет дела ни до кого, кроме родителей, за ними она ухаживает день и ночь, вот и сейчас она спросила, чего им хочется, и пошла на кухню готовить для них, ради них заставила себя встать, а ведь она с обеда нездорова, все лежала тут на скамье. Но хотя ей до нас и нет никакого дела, мы от нее зависим, как будто она старшая в доме, и если бы она нам захотела дать совет в наших делах, мы бы непременно послушались ее, но она не вмешивается, мы ей чужие. Вот ты, видно, в людях разбираешься, и пришел ты со стороны, разве ты не заметил, до чего она умная?» «Я заметил, до чего она несчастная,— сказал К.,— но как тут согласовать ваше уважение к ней с тем, что Варнава, например, бегает с поручениями, тогда как Амалия этого не одобряет? Более того — презирает». «Да если бы он знал, что сможет делать что-нибудь еще, он давно бросил бы работу посыльного, она ему совсем не по душе». «Разве он не обучен ремеслу сапожника?»— спросил К. «Конечно, обучен,— сказала Ольга,— попутно он и работает у Брунсвика, и стоит ему захотеть, у него и работы будет вдоволь, и заработок отличный». «Ну вот,— сказал К.,— значит, ему это и заменит службу посыльного». «Заменит службу посыльного?— удивилась Ольга.— Да разве он стал посыльным ради заработка?» «Возможно,— сказал К.,— но ведь ты только упомянула, что эта служба его не удовлетворяет?» «Да, не удовлетворяет, и по очень многим причинам,— сказала Ольга,— но все же это служба при Замке, во всяком случае так можно предполагать». «То есть как это? — сказал К.— Вы даже в этом сомневаетесь?» «Как сказать,— проговорила Ольга,— в сущности, нет. Варнава бывает в канцеляриях, со слугами встречается как равный, видит издали некоторых чиновников, ему поручают сравнительно важные письма, дают всякие устные поручения, все это немало, и мы можем гордиться тем, чего он достиг в такие молодые годы». К. утвердительно кивнул, о возвращении домой он уже не думал. «У него и ливрея особая?»— спросил он. «Ты про куртку? — сказала Ольга.— Нет, куртку ему сшила Амалия, еще до того, как он стал посыльным. Но тут мы затронули больное место. Ему уже давно следовало бы получить не ливрею — их в Замке не выдают,— однако, во всяком случае, одежду из канцелярии ему давно обещали, но в таких делах Замок всегда тянет, и хуже всего, что не знаешь, почему они тянут; может быть, это значит, что дело оформляется, а может быть, это значит, что оформление еще и не начиналось, что, скажем, Варнава все еще проходит испытательный срок, а может случиться, что оформление давно закончено, но по каким-то причинам получен отказ и Варнава никогда никакой одежды не получит. А узнать точно ничего нельзя, во всяком случае, узнаешь не сразу, а через много времени. Тут в ходу поговорка, может, ты ее слышал: административные решения робки, как молоденькие девушки». «Это неплохо подмечено,— сказал К., восприняв эти слова с большей серьезностью, чем Ольга.— Неплохо подмечено. У этих решений, наверно, можно найти сходство с девушками и в другом». «Возможно,— сказала Ольга,— правда, я не понимаю, о чем ты говоришь. Может, ты это даже сказал одобрительно. Но Варнава очень беспокоится насчет этой формы, а так как мы с ним все заботы делим, то беспокоюсь и я. Почему же ему не выдают на службе форму? — тщетно спрашиваем мы себя. Но все это далеко не так просто. Например, у чиновников как будто вообще нет никакой служебной формы. Насколько нам известно и судя по рассказам Варнавы, чиновники ходят в обычных, правда очень красивых, костюмах. Впрочем, ты и сам видел Кламма. Конечно, Варнава не чиновник, он даже не чиновник самой низшей категории, да он и не мечтает стать им. Но даже старшие слуги, которых мы, правда, тут, в Деревне, почти не видим, по словам Варнавы, формы не носят. Можно было бы сказать, что это тоже утешение, но ведь и оно обманчиво, разве Варнава из высших слуг? Нет, даже при самом лучшем к нему отношении этого не скажешь, он вовсе не старший слуга; уже одно то, что он возвращается в Деревню и даже живет здесь, доказывает обратное, ведь старшие слуги еще больше держатся особняком, чем чиновники, и, может быть, это правильно, может быть, они даже важнее некоторых чиновников,

этому тоже есть подтверждения: работают они меньше, по словам Варнавы, приятно смотреть, когда эти отборные, высокие и сильные мужчины медленно проходят по коридорам. Варнава точно вьется около них. Словом, и речи нет, что Варнава — один из старших слуг. Правда, он мог бы считаться одним из низших слуг, но те носят служебную форму, во всяком случае когда спускаются в Деревню, да и то на них не настоящая ливрея; к тому же в одежде у них много всяких различий, но все же по платью сразу узнаешь, что это — слуга Замка, впрочем, ты их сам видал в гостинице. Самое заметное в их одежде то, что она очень плотно облегает тело, ни крестьянин и ни ремесленник такой одежды носить бы не мог. А вот у Варнавы такой одежды нет, и это не то чтобы стыдно или унизительно, нет, это можно было бы перенести, но нас, особенно в грустные часы — а их у нас с Варнавой бывает немало,— нас это заставляет сомневаться во всем. Служит ли он на самом деле в Замке? — спрашиваем мы себя, да конечно, он бывает в канцеляриях, но являются ли канцелярии частью Замка? И даже если канцелярии принадлежат Замку, то те ли это канцелярии, куда разрешено входить Варнаве? Он бывает в канцеляриях, но они — только часть канцелярий, потом идут барьеры, а за ними другие канцелярни. И не то чтобы ему прямо запрещали идти дальше, но как он может идти дальше, раз он уже нашел своих начальников, и они с ним договорились, и отправили его домой. Кроме того, там за тобой постоянно наблюдают, по крайней мере так всем кажется. И даже если бы он прошел дальше, какая от этого польза, если у него там никаких служебных дел нет и он там будет лишним? Но ты не должен представлять себе эти барьеры как определенные границы. Варнава всегда твердит мне об этом. Барьеры есть и в тех канцеляриях, куда он ходит, но есть барьеры, которые он минует, и вид у них совершенно такой же, как у тех, за которые он еще никогда не попадал, поэтому вовсе не надо заранее предполагать, что канцелярии за теми барьерами существенно отличаются от канцелярий, где уже бывал Варнава. Но в грустные часы именно так и думается. И тогда одолевает сомнение, и никуда от него не денешься. Да, Варнава разговаривает с чиновниками, Варнаве дают поручения. Но какие это чиновники, какие это поручения? Теперь он, по его словам, прикреплен к Кламму и получает поручения от него лично. А ведь это очень много, даже старшие слуги так высоко не подымаются; может быть, это даже слишком много, вот что пугает. Подумай только — иметь дело непосредственно с самим Кламмом, говорить с ним лично! Ведь это так и есть. Ну да, так оно и есть, но почему тогда Варнава сомневается, что чиновник, которого называют Кламмом, действительно и есть Кламм». «Слушай, Ольга,— сказал К.,— ты, видно, хочешь пошутить, иу разве можно сомневаться, как выглядит Кламм, ведь его внешность всем знакома, я сам его видел». «Нет, конечно, К.,— сказала Ольга,— вовсе это не шутки, а серьезная моя тревога. Но рассказываю я тебе об этом вовсе не для того, чтобы облегчить душу и переложить тягость на тебя, а потому, что ты спрашивал о Варнаве, и Амалия поручила мне все тебе рассказать, да я и сама считаю, что и тебе это будет полезно. И еще я это делаю ради Варнавы, чтобы ты не возлагал на него слишком больших надежд, не то потом ты в нем разочаруешься, а он от этого будет страдать. Он такой чувствительный, обидчивый: например, сегодня он не спал всю ночь оттого, что ты вчера вечером был им недоволен, ты как будто сказал, что для тебя очень плохо иметь только такого посыльного, как Варнава. От этих слов он совсем лишился сна. Ты-то сам, наверно, не заметил, как он был взволнован, посыльные из Замка обязаны владеть собой. Но ему нелегко, даже с тобой ему трудно. Ты, конечно, считаешь, что требуешь от него немногого, ты к нам пришел со своими сложившимися понятиями о службе посыльного и по ним ставишь свои требования. Но в Замке совсем другие понятия о службе посыльных, они никак не вяжутся с твоими, даже если бы Вариава целиком жертвовал собой ради службы, а он, к сожалению, иногда готов и на это. Конечно, надо было бы подчиниться, тут и возразить ничего нельзя, если бы мы не сомневались: действительно он служит посыльным или нет? Разумеется, при тебе он никак не смеет высказывать сомнение, для него это значило бы подорвать свое собственное существование, грубо нарушить законы, которым он, по его мнению, еще подчиняется, и даже со мной он не может говорить свободно, я и ласками и поцелуями выманиваю у него все мысли, да и то он сопротивляется, никак не хочет сознаться, что он и правду сомневается. В чем-то он кровно похож на Амалию. Никак мне всего не скажет, хоть я одна у него в поверенных. И о Кламме мы иногда говорим, я-то Кламма еще не видела, сам знаешь — Фрида меня недолюбливает и никогда не позволила бы мне на него взгля-

нуть, но, конечно, в Деревне его с виду знают, кое-кто и видел, все о нем слышали, и из этих встреч, из этих слухов, а также из всяких непроверенных косвенных свидетельств создалось представление о Кламме, и в основном, наверно, оно соответствует действительности. Но только в основном. Это представление непрестанно меняется; наверно, даже больше, чем меняется сама внешность Кламма. Он выглядит совершенно иначе, когда появляется в Деревне, чем когда оттуда уходит; иначе — до того, как выпьет пива, и совсем иначе потом; когда бодрствует — иначе чем, когда спит; иначе — в беседе, чем в одиночестве, и что, конечно, вполне понятно, он совсем иначе выглядит там, наверху, в Замке. Но даже в Деревне его описывают по-разному: по-разному говорят о его росте, о манере держаться, о густоте его бороды, вот только его платье все, к счастью, описывают одинаково — он всегда носит один и тот же черный длиннополый сюртук. Но в этих разногласиях ничего таинственного, конечно, нет; и понятно, что разное впечатление создается в зависимости от настроения в минуту встречи, от волнения, от бесчисленных степеней надежды или отчаяния, в которых находится тот, кому, правда лишь на минуту, удается видеть Кламма. Я тебе пересказываю только то, что мне так часто объяснял Варнава, и, в общем, если человек лично и непосредственно не заинтересован, то он на этом может успокоиться. Но мы успокоиться не можем — для нас жизненно важный вопрос: говорил ли Варнава с самим Кламмом или нет». «Для меня тоже не меньше, чем для вас»,— сказал К., и они еще ближе пододвинулись друг к другу на скамье.

Хотя невеселый рассказ Ольги и расстроил К., однако ему было на руку, что тут он соприкоснулся с людьми, судьба которых хотя бы внешне очень походила на его судьбу, поэтому он мог примкнуть к ним, мог найти с ними общий язык во многом, а не только в некоторых вещах, как с Фридой. И хотя постепенно у него пропадала всякая надежда на успешный исход миссии Варнавы, однако, чем хуже приходилось Варнаве там, наверху, тем ближе становился он ему тут, внизу. К. и предполагать не мог, чтобы в самой Деревне у людей могла возникнуть такая тоска и неудовлетворенность, как у Варнавы и его сестры. Правда, все было далеко не так ясно и в конце концов могло оказаться совсем не так, нельзя было сразу поддаваться внешней наивности Ольги или доверять искренности Варнавы. «Варнава хорошо знает все, что говорится о внешности Кламма,— продолжала Ольга,— он собрал для сравнения много, пожалуй даже слишком много, всяких высказываний о внешности Кламма, даже однажды сам видел Кламма в Деревне, через окно кареты, и все же,— как ты это объяснишь?— когда он пришел в одну из канцелярий Замка и ему показали среди множества чиновников одного, сказав, что это Кламм, он его не узнал и долго потом не мог привыкнуть, что это и был Кламм. Но если спросить Варнаву, чем тот человек отличается от обычного представления о Кламме, Варнава тебе ничего не сможет ответить, вернее, он ответит, даже опишет того чиновника в Замке, но его описание во всем совпадает с тем, как обычно нам описывают Кламма. «Ну послушай, Варнава,— говорю я ему,— чего же ты сомневаешься, чего ты мучаешься?» И тогда он, в явном смущении, начинает перечислять все особые приметы того чиновника в Замке, но, кажется, будто он их скорее выдумывает, чем описывает, да кроме того, все это такие мелочи — ну, например, это касается особой манеры кивать головой или расстегнутых пуговиц на жилете, так что невозможно принимать эти мелочи всерьез. Но по-моему, гораздо важнее, как Кламм общается с Варнавой. Варнава очень часто мне это описывал, обрисовывал. Обычно Варнаву проводят в огромную канцелярию, но это не канцелярия Кламма, вообще это не чья-то личная канцелярия. Это комната, разделенная по длине от стенки к стенке общей конторкой, причем одна часть комнаты так узка, что два человека с трудом могут разминуться — и там размещаются чиновники, а в другой части, в широкой, находятся просители, зрители, слуги и посыльные. На конторке лежат раскрытые большие книги, за ними стоят чиновники и читают. Причем они читают не одну и ту же книгу, а обмениваются, но не книгами, а местами, и Варнаву больше всего удивляет, как им приходится при таком обмене протискиваться друг мимо друга, из-за тесноты помещения. Впереди, вплотную к конторке, приставлены низенькие столики, и за ними сидят писари, которые по желанию чиновников пишут под их диктовку. Варнава всегда удивляется — как это происходит? Никакого точного приказа чиновник не отдает, да и диктует он негромко, даже почти нельзя заметить, что идет диктовка, скорее кажется, что чиновник читает по-прежнему, только при этом что-то нашептывает, а писарь слушает. Часто чиновники диктуют так тихо, что писарь с места никак расслышать не может, и ему приходится все время вскакивать, выслуши-

вать диктовку, быстро садиться и записывать, а потом снова вскакивать, и так без конца. Как это все странно! Даже понять трудно. Правда, у Варнавы времени для наблюдения сколько угодно, он ведь иногда часами, даже целыми днями стоит там, в половине для посетителей, и ждет, пока его заметит Кламм. Но даже когда Кламм его увидит и Варнава вытянется во фронт, это еще ничего не значит, потому что Кламм может снова отвернуться от него к своей книге и забыть о нем. Часто так и бывает. Но что же это за должность посыльного, если она не имеет никакого значения? Меня тоска берет, когда Варнава с утра заявляет, что идет в Замок. И поход этот, вероятно, никому не нужен, и день, вероятно, будет потерян, и все надежды, наверно, напрасны. К чему все это? А тут накапливается сапожная работа, никто ее не делает, а Брунсвик торопит». «Ну, хорошо,— сказал К.,— пусть Варнаве приходится долго ждать, пока он получит поручение. Это понятно. Там, как видно, излишек служащих, не каждому удается получать поручения ежедневно, на это вам жаловаться не стоит, с каждым так бывает. Но ведь в конце концов Варнаве дают поручение, мне самому он уже доставил два письма».

«Может быть, мы и неправы,— сказала Ольга,— и зря жалуемся, особенно я, ведь я-то знаю все только понаслышке, и мне, девушке, не понять всего, что понимает Варнава, а он к тому же многое, очень многое скрывает. Но ты послушай, что делается с этими письмами, например с письмами к тебе. Эти письма Варнава получает не от самого Кламма непосредственно, а от писаря. В любой час, в любой день — потому-то эта служба, хоть и кажется легкой, на самом деле очень утомительная — писарь вспоминает о нем и подзывает к себе. Кажется, что Кламм тут ни при чем, он спокойно читает себе свою книгу; правда, иногда в ту минуту, как входит Варнава, Кламм протирает пенсне — впрочем, он это делает и так довольно часто — и, может быть, смотрит на Варнаву, если только он вообще что-нибудь видит без пенсне, в чем Варнава очень сомневается; обычно Кламм при этом зажмуривает глаза, кажется, что он заснул, и протирает стеклышки во сне. В это время писарь ищет у себя под столом в груде писем и документов письмо, адресованное к тебе, так что письмо вовсе не написано сию минуту, наоборот, судя по состоянию конверта, письмо очень старое и уже давно там завалялось. Но если письмо старое, зачем они заставляли Варнаву ждать так долго? Да и тебя тоже? И письмо ждало долго и, должно быть, уже устарело. А из-за этого про Варнаву идет худая слава, будто он плохой, медлительный посыльный. Писарю, конечно, легко, он просто дает Варнаве письмо, говорит: «От Кламма для К.» — и отпускает Варнаву. И тогда Варнава мчится домой, задыхаясь, спрятав под рубаху, ближе к телу, долгожданное письмо, и мы с ним садимся вот тут, на эту скамейку, как сейчас, и он мне все рассказывает, и мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого, да и это немногое сомнительно; у него пропадает желание передавать письмо по адресу, но и спать ему неохота, тогда он берется сапожничать и просиживает за верстаком всю ночь. Вот какие дела, К., вот в чем моя тайна, теперь ты уже не станешь удивляться, что Амалия об этом ничего знать не хочет». «А как же с письмом?» — спросил К. «С письмом? — переспросила Ольга.— Ну через некоторое время, если я буду очень наседать на Варнаву — а ведь проходили дни, недели,— он наконец возьмет письмо и отправится передавать его по назначению. В таких внешних делах он очень от меня зависит. Ведь мне легче взять себя в руки, после того как забудется первое впечатление от его рассказа; а он не в состоянии это сделать, наверно, оттого, что знает больше меня. А тогда я могу ему сказать: «Что же ты, в сущности, хочешь, Варнава? О какой карьере, о какой цели ты мечтаешь? Неужто ты дойдешь до того, что ты нас — а главное, меня — должен будешь совсем покинуть? Уж не к этому ли ты стремишься? И не зря ли я об этом думаю, но ведь иначе мне никак не понять, почему ты так ужасно недоволен тем, чего ты уже достиг? Оглянись же вокруг, посмотри: разве кто-нибудь из наших соседей поднялся так высоко? Правда, у них положение другое, чем у нас, и нет никаких оснований стремиться выйти за пределы своего хозяйства, но даже без всяких сравнений надо признать, что у тебя все идет отлично. Препятствий, конечно, много, много сомнений, разочарований, но ведь это только и значит — и нам это давно известно,— что тебе ничего не достается даром, что ты должен каждую мелочь брать с бою, но тем больше у тебя оснований гордиться, а не впадать в уныние. А кроме того, ведь ты борешься и за нас! Разве это тебе безразлично? Разве это не придает тебе новых сил? А что я стала счастливой, нет, даже немного высокомерной, оттого, что у меня такой брат, разве это не придает тебе уверенности? Честное слово, ты ме-

ня разочаровываешь, но не в том, чего ты добился в Замке, а в том, чего я добилась в отношении тебя! Ты имеешь право заходить в Замок, ты постоянный посетитель канцелярий, проводишь целые дни в одном помещении с Кламмом, тебя официально считают посыльным, ты рассчитываешь получить форменное платье, тебе поручают передачу важных документов, вот кто ты такой, вот что тебе разрешено, а ты приходишь домой, и вместо того, чтобы нам с тобой обняться, плача от счастья, ты при виде меня как будто совсем падаешь духом, во всем ты сомневаешься, тебя только и тянет к сапожному верстаку, а письмо, этот залог нашего будущего, ты откладываешь в сторону». Все это я ему говорю, и бывает, что после ежедневных уговоров он со вздохом берет письмо и уходит. Но должно быть, мои слова тут ни при чем, просто его снова тянет в Замок, а не выполнив поручения, он туда явиться не смеет». «Но ведь ты во всем права, ты ему все говоришь правильно,— сказал К.— Ты на удивление верно все схватила. Поразительно, до чего ты ясно мыслишь». «Нет,— сказала Ольга,— ты обманываешься, и, может быть, я так же обманываю и его. Чего он, в сущности, достиг? Пусть ему позволено заходить в какую-то канцелярию, но это даже и не канцелярия, скорее прихожая канцелярии, может быть, даже и не прихожая, а просто комната, где велено задерживать всех, кому нельзя входить в настоящие канцелярии. Да, он говорит с Кламмом, но Кламм ли это? Может быть, это кто-нибудь похожий на Кламма? Может быть, если уж до того дошло, это какой-нибудь секретарь, который немножко похож на Кламма и старается еще больше походить на него, напускает на себя важный вид, подражая сонному, задумчивому виду Кламма. Этим чертам его характера подражать легче всего, тут его многие копируют; правда, в остальном они благоразумно воздерживаются от подражания. А человек, которого так часто жаждут видеть и который так редко доступен, принимает в воображении людей самые разные облики. Например, у Кламма тут, в Деревне, есть секретарь по имени Мом. Да? Ты его знаешь? И он тоже держится всегда в стороне, но все же я его уже видела не один раз. Молодой, плотный господин, верно? И на Кламма, по всей вероятности, совершенно непохож. И все же тебе могут попасться на Деревне люди, которые станут клясться, что Мом и есть Кламм, и никто другой. Так люди сами создают себе путаницу. А почему в Замке все должно быть по-другому? Кто-то сказал Варнаве, что вон тот чиновник и есть Кламм, и действительно, между ними можно найти какое-то сходство; однако Варнава постоянно сомневается: есть ли это сходство? И все подтверждает его сомнения. Чтобы Кламм толкался тут, в общей комнате, заложив карандаш за ухо, среди всяких чиновников? Ведь это так невероятно! Иногда Варнава — конечно, при хорошем настроении — говорит как-то по-детски: да, этот чиновник очень похож на Кламма, и если бы он сидел в своем кабинете и на двери стояло его имя, я бы вовсе не сомневался. Конечно, это ребячество, но понять его можно. Разумеется, еще понятнее было бы, если бы Варнава, придя туда, наверх, расспросил бы побольше людей, как все обстоит на самом деле, ведь, по его словам, там, в комнате, людей достаточно. И если даже на их сведения нельзя положиться так, как на слова того, кто без всякой просьбы указал ему на Кламма, то по крайней мере среди множества этих сведений можно было найти какую-то зацепку, как-то сравнить их. Это не я придумала, это придумал сам Варнава, но он не решается выполнить этот план из страха, что он вдруг невольно нарушит какие-то неизвестные ему предписания и потеряет из-за этого место, он не решается ни с кем заговорить, настолько он неуверенно чувствует себя, и вот эта, в сущности, жалкая неуверенность проливает для меня больше света на его служебное положение, чем все его рассказы. Каким угрожающим, каким неустойчивым ему все должно там казаться, если он боится открыть рот даже для самого безобидного вопроса. Стоит мне только об этом подумать, и я себя обвиняю в том, что пускаю его одного в эти незнакомые мне помещения, где происходит такое, от чего он, человек скорее храбрый, чем трусливый, начинает дрожать от страха».

«Вот тут, как мне кажется, ты коснулась самого главного,— сказал К.,— в этом-то и дело. После твоего рассказа я, по-моему, ясно понял все. Варнава слишком молод для такой должности. И ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез без оговорок. Оттого, что он там, наверху, пропадает от страха, он ничего толком рассмотреть не может, а когда его все-таки заставляют здесь отчитываться, то ничего, кроме путаных выдумок, не слышат. И я ничуть не удивляюсь. Трепет перед администрацией у вас тут врожденный, а всю вашу жизнь вам его внушают всеми способами со всех сторон, а вы этому еще сами способствуете как только можете. Однако по существу я тут не возражаю: если администрация хороша, почему бы и не относиться к ней с трепетом

и уважением? Только нельзя такого неученого малого, как Варнава, который никогда не выезжал за пределы своей Деревни, сразу посылать в Замок, а потом требовать от него правдивых сообщений и каждое его слово толковать как откровение, да еще от этого толкования ставить в зависимость всю свою судьбу. Ничего ошибочнее быть не может. Правда, и я тоже не хуже тебя впал из-за него в заблуждение и не только стал на него надеяться, но и терпел от него разочарования, а ведь все было основано лишь на его словах, то есть, в сущности, и вовсе безосновательно». Ольга промолчала. «Мне нелегко,— сказал К.,— подрывать твое доверие к брату, ведь я вижу, как ты его любишь, чего ты от него ждешь. Но приходится так говорить хотя бы ради твоей любви и твоих ожиданий. Ты пойми: ведь тебе все время что-то мешает — хоть я и не знаю что,— именно мешает увидеть как следует если не достижения, каких Варнава добился, то по крайней мере то, что ему подарено судьбой. Ему разрешено бывать в канцеляриях, или, если хочешь, в прихожей. Пусть это будет прихожая, но ведь там есть двери, и они ведут дальше, есть загородки, и за них можно пройти, если хватит сноровки. А вот для меня, например, и эта прихожая, по крайней мере пока что, совершенно недоступна. С кем Варнава там разговаривает, я не знаю; может быть, тот писарь и самый ничтожный из служащих, но даже если он и самый ничтожный, он может провести к вышестоящему, а если не может провести, то хотя бы может назвать его имя, а если даже имени назвать не может, то хотя бы укажет на кого-нибудь, кто это имя знает. Мнимый Кламм, вероятно, не имеет ничего общего с настоящим Кламмом, и только ослепленный волнением Варнава находит какое-то сходство. Возможно, что это самый мелкий из чиновников, а скорее даже и вовсе не чиновник, но ведь какое-то задание у своей конторки он выполняет, что-то из своей большой книги вычитывает, что-то шепчет писарю, что-то думает, когда, пусть изредка, его взгляд останавливается на Варнаве, и даже если все это одна видимость и сам чиновник и его деятельность решительно никакого значения не имеют, то все же кто-то его туда поставил, и с определенной целью. В общем, я хочу сказать: что-то тут есть, что-то Варнаве предоставлено, во всяком случае хоть что-то ему дано, и только сам Варнава виноват, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страхов и безнадежности. А ведь я тут исхожу из самого неблагоприятного положения, которое даже маловероятно. Есть же у нас на руках письма — правда, я им доверяю мало, но все же больше, чем словам Варнавы. Пусть это будут письма старые, ненужные, никакой цены не имеющие, вынутые наугад из кучи таких же старых писем, именно наугад, так же бессознательно, как канарейки на ярмарке для кого угодно вынимают наугад билетики с «судьбой», но если это даже так, то все же письма имеют какое-то отношение к моей работе, они явно адресованы мне, как подтвердил староста и его жена, письма эти написаны Кламмом собственноручно, хотя, может быть, и не в мою пользу. И пусть эти письма, опять-таки по словам старосты, и частные и малопонятные, но все-таки они имеют серьезное значение». «Это тебе сказал староста?» — спросила Ольга. «Да, он так сказал»,— ответил К. «Непременно расскажу Варнаве,— торопливо проговорила Ольга,— его это очень ободрит. «Но ему вовсе не нужно никакого ободрения,— сказал К.,— ободрить его — значит сказать ему, что он прав, что пусть он продолжает делать все по-прежнему, но ведь именно так он ничего и не достигнет. Можешь сколько угодно подбодрять человека с завязанными глазами — пусть смотрит сквозь платок, все равно он ничего не увидит, и только когда снимут платок, он увидит все. Помощь — вот что нужно Варнаве, а вовсе не подбадривания. Ты только подумай: все эти учреждения там, наверху, во всем их недоступном величии,— я-то думал до своего приезда, что хоть приблизительно представляю их себе, какая наивность — значит, там эти учреждения, и с ними сталкивается Варнава, никто, кроме него, только он один, жалкий в своем одиночестве, и для него еще много чести, если он так и сгинет там, проторчав всю жизнь в темном углу канцелярии». «Ты только не думай, К.,— сказала Ольга,— что мы недооцениваем всю трудность задачи, которую взял на себя Варнава. Уважения к властям у нас предостаточно, ты сам так говорил». «Да, но это не уважение,— сказал К.— ваше уважение не туда направлено, а относиться так — значит унижать того, кого уважаешь. Какое же это уважение, если Варнава зря тратит дарованное ему право посещения канцелярий и в безделье проводит там целые дни или, спустившись вниз, бесславит и умаляет тех, перед кем он только что дрожал, или если он, то ли от усталости, то ли от разочарования, не относит тотчас же письма и не выполняет без задержки доверенные ему поручения. Нет, тут уж никакого уважения нету. Но мало упрекать его, я и тебя должен упрекнуть, Ольга, этого не избежать. Ты сама, несмотря

на весь свой трепет перед администрацией, все же послала в Замок Варнаву — такого молодого, такого слабого и одинокого, во всяком случае ты его не удержала».

«Твои упреки,— сказала Ольга,— я повторяю себе уже издавна. Конечно, не за то я себя упрекаю, что я послала его туда, не я его посылала, он сам туда пошел, но я, вероятно, должна была любыми средствами — силой, хитростью, уговорами — удержать его от этого. Да, я должна была его удержать, однако, если бы сегодня снова настал тот день, тот решающий день, и если бы я чувствовала горе Варнавы, горе нашей семьи, как тогда и как чувствую сейчас, и если бы Варнава, ясно представляя себе всю ответственность и опасность, снова, с ласковой улыбкой, осторожно отвел бы мои руки и ушел бы, я бы и сегодня не смогла его удержать, несмотря на все, что случилось с тех пор, да и ты бы на моем месте вел себя так же. Ты не знаешь нашего горя, поэтому ты так несправедлив к нам, и особенно к Варнаве. Тогда мы надеялись больше, чем сейчас, но и тогда очень большой надежды у нас не было, только горе было большое, таким оно и осталось. Разве Фрида ничего тебе о нас не рассказывала?» «Только намеками,— сказал К.,— ничего определенного. Но при одном вашем имени она начинала волноваться».— «И хозяйка тебе ничего не рассказывала?» — «Нет, ничего».— «И никто не рассказывал?» — «Никто».— «Ну конечно, как же они могли хоть что-нибудь рассказать толком. Каждый про нас что-то знает, то ли правду, насколько она людям доступна, то ли какие-то распространившиеся, а по большей части выдуманные слухи, люди нами занимаются больше, чем надо, но рассказать все прямо никто не расскажет, люди боятся и рот открыть про такое. И тут они правы. Трудно выговорить все это даже перед тобой, К., и ведь может так случиться, что ты, выслушав меня, уйдешь и знать нас больше не захочешь, хотя как будто тебя это и не должно касаться. И тогда мы тебя потеряем, а ведь ты, должна сознаться, теперь значишь для меня чуть ли не больше, чем служба Варнавы в Замке. И все же меня весь вечер мучают сомнения, все же ты должен знать, иначе ты никак не поймешь наше положение и по-прежнему — что мне больнее всего — будешь несправедлив к Варнаве, да и у нас с тобой не будет полного понимания, а это необходимо, не то ты ни нам помочь не сможешь, ни нашей очень важной помощи не получишь. Остается один вопрос: хочешь ли ты вообще все знать?» «Почему ты спрашиваешь? — сказал К.— Если это необходимо, то я хочу знать все, но почему ты так спрашиваешь?» «Из суеверия,— сказала Ольга,— ты будешь с головой втянут в наши дела, хоть ты и ни в чем не виноват, как не виноват и Варнава». «Да рассказывай же скорее! — сказал К.— Ничего я не боюсь. От твоих женских страхов все кажется хуже, чем оно есть».

*(Окончание следует)*

# Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

# ИЩУТ «УТРАЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ»

## О так называемом альтернативизме в США

Мысль об «утраченном будущем» стала характерной метой западной и, в частности, американской жизни где-то не позднее середины 70-х годов. Тому был целый ряд причин.

Первую из них помогло выявить контркультурническое движение молодежи. Экзистенциальным, скажем так, чутьем молодые люди ощутили, что будущее, вычисленное для них идеологами «технологического рая», не является естественным и желаемым с точки зрения запросов и потребностей человека. Никакой позитивной программы контркультура выдвинуть не смогла (и быстро пошла на убыль), но по крайней мере показала, что затащить человечество в т а к о е будущее (даже если бы его удалось осуществить) было бы совсем не так уж просто.

Вторая, еще более важная причина — «вдруг» обозначившиеся «пределы роста». Были высказаны разные точки зрения по вопросу о том, долго ли способна еще выносить природа напор человека при нынешних методах хозяйствования — алармистские, более сдержанные, успокаивающе-оптимистические. Сейчас, впрочем, мало кто отрицает, что промышленно-техническая экспансия в ее нынешнем виде может продлиться от силы еще несколько десятилетий. Уже сегодня некоторые отрасли промышленности буксуют из-за нехватки природного сырья или иных причин экологического характера. А это значит, что надежды на то, что «всем хватит всего», несбыточны и следует искать новую в технологическом отношении модель будущего.

Не забудем и об угрозе фантастически страшной войны, уже не первое десятилетие маячившей на горизонте, но к концу 70-х опасно приблизившейся.

Вот откуда возникло интеллектуальное и одновременно практическое движение, которое в США зовется альтернативизмом, а в Западной Европе движением «зеленых». При всей близости есть между ними и некоторые отличия (в частности, движение «зеленых» более политизированное). По этой причине, видимо, целесообразнее ограничиться в данной статье альтернативизмом в том виде, в каком он существует в США. При том, что движение это довольно пестрое и неоформленное, можно и нужно говорить о некоторых его основных тенденциях.

Альтернативисты нередко сами считают себя продолжателями дела, начатого трудовыми коммунами времен контркультуры (каковых, заметим, было много меньше, чем нетрудовых — объединявших хиппи, живших на случайные доходы). Пожалуй, это верно только отчасти. Те поворачивались к обществу спиной, стремясь как можно полнее от него отмежеваться. Альтернативисты же, напротив, выступают с широкой программой, адресованной «городу и миру». Содержание ее вкратце можно выразить так: д р у г а я технология, д р у г о й образ жизни, д р у г а я среда обитания, д р у г а я мораль.

### Технология «с человеческим лицом»

Сначала о технологии.

Незачем, наверно, напоминать, сколь уязвимы для критики (за некоторыми исключениями, в основном новейшего происхождения) современные промышленно-технические системы — они заглатывают исполинские рационы невосполнимых запасов природного топлива и сырья, отравляют и разрушают биологическую среду, скучивают множество людей в чудовищно разросшихся городах, а в капиталистических странах еще и создают постоянно возрастающее число «лишних» людей, которые не находят применения своей рабочей силе. Но разве существует на свете какое-то радикальное средство преодоления накапливающихся день ото дня трудностей? Идеологи альтернативизма отдают себе отчет в том, что сей огнедышащий дракон есть условие большего или меньшего благосостояния для сотен миллионов и миллиардов жителей планеты и нет решительно никакой возможности в два счета чем-то его «заменить».

«Заменить» нельзя, но потеснить это «необходимое зло» и со временем свести его к минимуму можно — такова позиция

альтернативистов. Современная промышленность, с их точки зрения, удовлетворяет множество искусственно созданных потребностей (примеры приведены ниже). От них следует отказаться. Кроме того, в ее нынешнем развитии есть момент самодвижения, то есть в целом ряде случаев реализуется то, что является технически возможным, но не является необходимым с точки зрения человека. Это самодвижение надо пресечь.

Речь идет, следовательно, о сокращении и о полном свертывании ряда производств. Известный английский экономист (немецкого происхождения) Фриц Шумахер (ныне уже покойный), один из инициаторов альтернативизма, считает, что бояться этого не следует: рост не является самоцелью. «Цифры,— пишет он,— ничего не значат, если они не поют»[1]. К этому можно добавить, что петь «умеют» и скромные цифры, а не только те, что со шлейфом из нулей. Главная задача, согласно Шумахеру, состоит сейчас не в том, чтобы больше производить, а в том, чтобы меньше разбазаривать.

Сокращение крупного производства, развивают свои идеи альтернативисты, должно быть возмещено нарастанием экономической активности, опирающейся на другую технологию. В ее основе традиционные инструменты и традиционные навыки в сочетании с некоторыми современными изобретениями. Альтернативисты утверждают, что пришла пора вернуться на сцену кустарям, что кустарное производство в целом ряде отраслей или подотраслей может быть (и уже является) вполне конкурентоспособным и уж во всяком случае оно не имеет всех тех отрицательных последствий, к каким ведет крупное производство. Равным образом и небольшие участки земли можно обрабатывать без помощи или почти без помощи современных машин. Выращивать овощи или фрукты, смастерить стол или стул и даже тачать сапоги можно научиться самому, а продукты своего труда реализовать или на рынке, или, еще лучше, путем натурального обмена — среди соседей, каждый из которых может стать умельцем в том или ином деле.

За последние сто лет, пишет Шумахер, люди в индустриальных странах утратили множество полезных производственно-бытовых навыков. Взамен они стали узкими специалистами, обладателями различных «ноу-хау»[2], не имеющих никакой ценности за воротами предприятия. И в этом смысле — придатками индустриальной системы, которая, в свою очередь, в огромной степени зависит от постоянно убывающих источников энергии и сырья, а значит, далеко не столь надежна, как это было принято думать еще в недавнем прошлом.

«Простые технологии» или технологии «с человеческим лицом», как их называет Шумахер, не требуют значительного количества энергии. Нехитрый (по меркам близкого будущего) гелиоаппарат или ветряк, установленный на крыше дома, принадлежащего ремесленнику или фермеру, способен удовлетворить большую часть его производственных и бытовых потребностей. А поскольку ему не надо ехать до места работы, он может сэкономить и на поездках (и не только горючее, но также и время, заодно и нервы сбережет), а то и вообще обойтись без автомобиля. «Простые технологии» делают оптимальным поселение в несколько сот или тысяч жителей, в пределах которого до любого пункта легко добраться пешком, в крайнем случае на велосипеде. А развитие таких средств коммуникации, как, скажем, видеофон и телевиденне с обратной связью, делает излишними многие деловые, а то и развлекательные поездки. В этих условиях автомобиль перестает быть предметом необходимости, а это значит, что резко сокращается потребность в жидком топливе, не говоря о том, что чище становится воздух.

Благодаря «простым технологиям» уже сейчас возможно (если верить альтернативистам) появление некоего второго, параллельного общества. Директор вашингтонского Института глобальных проблем Лестер Браун, один из его пропагандистов, окрестил его «самоопорным». Согласно Брауну, «по самому своему определению самоопорное общество позволяет надеяться на то, что оно является более надежным, менее зависимым от внешних сил»[3]. Каждый должен полагаться на себя и тех, кто рядом с ним, на силу своих рук и природную смекалку, на тот промысел или клин земли, который «бог послал». И не так страшен энергетический или иной какой-нибудь кризис, способный больно ударить по крупной промышленности. И вроде бы не грозит безработица. Напротив, «самоопорное общество», как утверждают альтернативисты, способно вобрать всю массу безработных, которую породит немнуемое, на их взгляд, сокращение крупного производства.

Что касается этого последнего, то альтернативисты не ограничиваются здесь советами и рекомендациями по его сокращению (или констатациями неизбежности этого сокращения), но настаивают на преобразовании крупного производства на основе более экономного материально-сырьевого баланса. Особенно решительно выступают они за «чистую» энергетику — использование таких видов энергии, как водная, ветряная и, более всего, солнечная. Альтернативисты — настоящие солнцепоклонники, только что не в религиозном смысле, а в техническом. Они возлагают на «днёвное светило» великие надежды (пока, впрочем, не вполне ясно, в какой мере эти надежды технически оправданы), полагая, что оно совершенно обновит земную экономику.

Реконструкции крупной промышленности, как считают альтернативисты, должны сопутствовать радикальные изменения в ее

---

[1] E. F. Schumacher. Good Work. London, 1980, p. 125.

В основу этой книги положены лекции, прочитанные автором в США. *(Здесь и далее прим. авт.)*

[2] Умение обращаться с тем или иным аппаратом или агрегатом.

[3] L. Brown. Building a Sustainable Society. New York, 1984, p. 280.

отношениях с сельским хозяйством. А именно — должен быть положен конец исторически сложившемуся преобладанию городского производителя над сельским. В «войне бульдозера с плугом», пишет Браун, наметился перелом: от обороны плуг переходит к наступлению. «Ножницы цен» (между промышленной и сельскохозяйственной продукцией) имеют тенденцию к сокращению и в дальнейшем могут быть ликвидированы полностью; равным образом и постоянное до сих пор снижение занятости в сельском хозяйстве сменилось прямо противоположной тенденцией. Согласно Брауну, это лишь некоторые из признаков, свидетельствующих, что начался обратный приток крови от города к деревне (или ее американским эквивалентам: ферме, маленькому городку).

Сельскому хозяйству будущего альтернативисты предсказывают значительно меньшую зависимость от промышленного оснащения, чем сейчас,— более редкое обращение ко всякого рода механизмам, а употребление химикалиев представляют сведенным до минимума. Нынешнее положение в сельском хозяйстве, особенно земледелии и лесоводстве, они находят в чем-то просто неудовлетворительным, в чем-то — драматическим. Там, где агрокультура в высокой степени механизирована, человек утрачивает живой контакт с землей, отмечает Шумахер; она, то есть земля, любит ласку человеческих рук и не любит грубого, «нечувствительного» отношения к ней, на какое только и способна машина. Браун, в свою очередь, подчеркивает, что бережное отношение к земле не только сохраняет ее для будущих поколений, но и позволяет брать у нее более того, что она дает сейчас. И ставит в пример некоторые страны Дальнего Востока, где, по его мнению, получает распространение наиболее перспективная технология обработки земли, отводящая очень большое место ручному труду. Что касается лесоводства, то альтернативная программа выдвигает требование о том, чтобы незамедлительно начать в больших масштабах лесопосадки — для восстановления экологического равновесия, а также ввиду предполагаемого возрастания доли древесины в топливно-сырьевом балансе.

Агроном и лесник — ведущие фигуры общества XXI века, каким оно представляется альтернативистам. Пожалуй, в чем-то они близки французским физиократам XVIII века, полагавшим, что земля — единственный источник богатства, а земледельческий труд — единственно производительный. Не делая столь крайних выводов, они все же именно в земледелии видят голову, которая первой просунется в мир «новой цивилизации» и потянет за собою туловище — всю экономику. Впрочем, в отличие от физиократов, альтернативисты предпочитают не углубляться в вопросы теории, оставаясь на более им знакомой почве эмпирии.

## «Малое — это прекрасно»

Другой образ жизни. Больше мышечной работы, больше работы на свежем воздухе, меньше поездок (на автомобиле, автобусе, поезде, самолете), больше пешей ходьбы. Ближе к земле, а значит, ближе к природным ритмам, к естественной среде обитания. В итоге — больше физического здоровья, меньше вредных нагрузок на психику.

Но самое главное — меньше потреблять. Довольствоваться тем, что действительно необходимо. Уметь находить радость в простом и малом. Шумахер: «Человек мал, стало быть, малое — это прекрасно»[4]. Сказанное надо понимать и в том смысле, что окружающий рукотворный мир должен быть — человеческих масштабов.

По возможности все делать самому. Или самим — в рамках местной общины (community). Альтернативисты считают, что разделение труда внутри небольшой местной общины позволяет ей обеспечить себя большей (или, во всяком случае, большой) частью необходимых ей товаров и услуг и тем самым свести к минимуму закупки на рынке. Даже лечить многие болезни, по их убеждению, можно самим, не прибегая к помощи врачей.

Некоторые идеологи альтернативизма призывают вернуться к библейской простоте и невзыскательности. Так, видный специалист по экономической географии Уоррен Джонсон преподает своим читателям урок «традиционной мудрости»: «полнота жизни» совсем не обязательно связана с обилием материальных благ. Не ожидая, впрочем, что подобная проповедь сама по себе может возыметь серьезный успех, Джонсон утверждает, что возвращение к простоте и невзыскательности перестает быть вопросом выбора, что если не сегодня, то завтра, во всяком случае, оно станет для массы населения суровой необходимостью. Ибо нынешний кратковременный рост производства не должен вводить в заблуждение относительно того, что впереди — спад, а значит, и снижения уровня жизни тоже избежать не удастся.

Характеризуя мир завтрашнего дня, Джонсон прибегает к хорошо нам знакомому понятию «дефицит» (scarcity) — только не в смысле временных нехваток, вызванных неполадками в механизме экономики, а в смысле нехваток глобальных, обусловленных ограниченностью природных ресурсов или их трудной доступностью. Дефицит будет определять контуры нового образа жизни, утверждает Джонсон, предлагая, однако, не столько огорчаться, сколько радоваться по этому поводу. «В конце концов,— пишет он,— дефицит есть самое универсальное условие человеческого существования, благодаря ему существуют такие универсальные качества, как верность, благородство и сотрудничество. По мере того как мы будем приближаться к дефициту, мы заново научимся ценить эти качества — они позволят нам жить в условиях дефицита, и жить хорошо. Гений прошлых времен состоял в том, чтобы совершать многое посредством малого. Жизнь была проще, менее сосредоточена на материальных сторонах и вместе с тем богаче и полнее».

[4] E. F. Schumacher. Small is Beautiful. London, 1974, p. 133.

Здесь[5], впрочем, автор уже касается вопросов этики, о которых — ниже.

Апелляция к библейским или иным давно минувшим временам имеет скорее полемический характер. Потребительскую горячку пытаются вышибить клином примеров, взятых из художественной или религиозной литературы, искусства и т. д. Практически речь идет прежде всего о том, чтобы покончить с дутыми потребностями. Реклама постоянно разжигает в американцах желание купить то, что покупать необязательно или вовсе не нужно, обновить то, что еще может послужить очень долго, и тому подобное. Альтернативисты же предлагают им психологически остыть, ужаться, научиться соизмерять приобретения с реальными своими нуждами, а главное, отказаться от привычки «равняться на Джонсов». Во-вторых, речь идет о таких потребностях, которые вызваны нынешним образом жизни и естественно отпадут в иных условиях. К примеру, живя и работая в маленьком городке, каким его рисуют альтернативисты, можно прекрасно обойтись без автомобиля и некоторых других вещей.

Перемены в образе жизни включают и расширение местного самоуправления. Шумахер настаивает на «максимальной децентрализации авторитета и ответственности» — в экономической, культурной и отчасти политической сферах[6]. Один из весомых аргументов в ее пользу — все более явная неэффективность управления из того или иного центра, будь то государство или гигантская монополия типа ТНК. Экономист и социолог Брюс Стоукс пишет по этому поводу (в книге с характерным названием «Помогая самому себе: местные решения глобальных проблем») следующее: «Многие частные и общественные институты выросли до таких размеров, что перестали быть действенными, чувствительными механизмами для решения проблем. Исходя из предпосылки, что большее всегда есть лучшее, они расширялись из года в год и ныне достигли величины, зачастую мешающей им успешно функционировать»[7].

Альтернативисты не отрицают необходимость «разумного планирования» на государственном уровне А на участии государства в программе защиты природы даже настаивают (справедливо полагая, что только ему — или даже мировому сообществу в целом — под силу отвести угрозу экологической катастрофы). И все же акцент делается ими на самоуправлении, на инициативе, исходящей снизу.

## Как в эпоху «фронтира»

Другая среда обитания. Чтобы понять, какое значение придают данной проблеме альтернативисты, надо взять в расчет традиционный «архитектуроцентризм» Запада, внимание, какое там обычно уделяется организации жилого пространства.

Альтернативисты ставят в вину конструктивизму, наложившему отпечаток на всю современную архитектуру, его оторванность от человека. Функционалисты и конструктивисты, совершившие революцию в архитектуре в 10—20-х годах нашего века, ориентировались на некую идеальную массу прозрачных друг для друга людей, живущих сообразно с какими-то очень позитивными, но весьма туманно представляемыми нормами коллективизма. Более того, некоторые из новаторов полагали, что как раз архитектура-то и призвана идеалы эти осуществить, что если выстроить хорошо продуманные «хрустальные города», то соответствующая жизнь в них наладится как бы сама собой. То есть тут была явная переоценка возможностей архитектуры, в своем роде утопия (ее разделяли и некоторые советские архитекторы 20-х годов).

Но и недооценивать эти возможности тоже не следует, хотя сейчас о влиянии архитектуры на жизнь приходится говорить преимущественно в негативном смысле: в условиях функционально-конструктивистского «тотального порядка» слишком часто люди ощущают себя «не в своей тарелке».

Конструктивисты исходили из абстрактных форм, освобожденных от всего «слишком человеческого» (в начале века кто-то назвал это «романтизмом ratio»). Отсюда характерные для современной архитектуры геометризм, сухая чертежность, преобладание прямых углов и «чистых» плоскостей, в общем достаточно «неуютных» для глаза и еще для какого-то шестого чувства. (Это не значит, разумеется, что конструктивизм и производные от него направления не оставили после себя и интересных, порою блестящих работ, вошедших в историю архитектуры — как ее этап.)

Основные требования, предъявляемые альтернативистами к архитектуре: а) она должна быть соизмерима с миром человека; б) она должна ориентироваться не на массу, неисчислимую, «как песок», а на местную общину, относительно небольшую по своей численности, достаточно устойчивую и более или менее спаянную: демографическая стабильность и высокая степень оседлости — черты общества будущего, каким его видят альтернативисты.

Критикуя конструктивизм и связанные с ним стили, альтернативисты идут дальше: они не приемлют самый принцип «организации сверху» в архитектуре и строительном деле. Принцип этот далеко не нов (среди тех, кто ему следовал, были, для примера, Петр Великий, строивший Петербург, и барон Османн, перестраивавший Париж в прошлом веке), только конструктивисты нашли для него крайнее выражение — придумали «централизованную типизацию». Весьма спорная в эстетическом отношении, последняя имела как будто веские оправдания инженерного и экономического порядка. Альтернативисты подвергают критике и эту сторону, утверждая, что в условиях большого города едва ли не любая, в том числе и постав-

---

[5] W. Johnson. The Future Is Not What It Used to Be. New York, 1985, p. X.

[6] E. F. Schmacher. Good Work, p. 29.

[7] B. Stokes. Helping Ourselves: Local Solutions to Global Problems. New York, 1981, p. 15.

ленная по типовому проекту, постройка ныне становится нерентабельной.

Но это все о том, как не надо. А как надо? Кристофер Александер и Бернард Рудофский, лидеры альтернативной архитектуры в США, пропагандируют традиционную народную архитектуру, лучшие образцы которой они находят у самых разных народов. Многое в этой архитектуре, равно как и в строительной технике, они считают заслуживающим продолжения — и прежде всего фундаментальность («на века» строилось) и тщательную продуманность в смысле удобства обитания, опирающуюся не на скороспелые расчеты, а на опыт многих поколений. В книгах «Строить на века» Александера и «Архитектура без архитекторов» Рудофского приведены многочисленные примеры удачных во всех отношениях построек, и в частности гармонически сочетающихся (особенно в сельской местности) с окружающей природной средой, зачастую как бы «продолжающих» ее (так в средние века замок или крестьянский дом порою вырастал как «продолжение» холма или скалы).

Традиционная народная архитектура привлекает их и своей соизмеримостью с миром человека, своей «непринужденностью», присутствием в ней элемента случайного в хорошем смысле слова. Дом с прилегающей к нему территорией всегда был местом, которое поколение за поколением любовно обустраивали, вкладывая в унаследованное что-то свое. Рудофский полагает, что даже человек каменного века был в этом отношении, что называется, на высоте. «Парадоксальным образом,— пишет он,— в устройстве своего обиталища тогда проявляли больше воображения, чем мы находим у нынешнего городского дикаря»[8].

Альтернативисты не отвергают напрочь индустриальных методов строительства, но главной своей задачей считают пробуждение строительной инициативы снизу. Уже сейчас тысячи энтузиастов в разных концах Америки, будто вернувшись в эпоху «фронтира», своими руками сооружают себе жилища — как правило, на окраинах или за пределами существующих населенных пунктов[9]. Не оставлены, так сказать, на произвол судьбы и большие города; У. Джонсон, например, сулит своим читателям не только сельский, но и городской «ренессанс». В архитектурно-планировочном отношении это должно означать «обживание», «очеловечение» уже созданного, включая перестройку и достройку существующих зданий.

Пожалуй, особенно четко взгляды альтернативистов на архитектуру выражает одно высказывание классика конструктивизма Ф. Л. Райта (только в смысле более глубоком, чем тот, который вложен в него автором), а именно, что архитектурные формы «не надеваются», что общество должно вырабатывать их изнутри.

Конечно, среда обитания — это не только архитектурная среда, это и воздух, которым дышишь, и вода, которую пьешь, и почва, в которую опускаешь семена, и еще многое другое. Иначе говоря, это также или, вернее, в первую очередь (учитывая нынешнюю ситуацию) экологическая проблема. Альтернативисты и ставят ее на первое место. И если здесь упоминается об этом мимоходом, то лишь потому, что в этом плане альтернативизм выступает как часть более широкого — мирового экологического движения.

## Не было бы счастья...

Другая мораль. Конкретно речь идет, во-первых, о том, чтобы вернуть труду его этическое содержание, в значительной мере утраченное в наши дни, чему виною, полагают альтернативисты, с одной стороны, обилие нетворческих, отупляющих душу профессий, а с другой — распространение потребительских и сибаритских настроений. Потребность в возвращении к ручному труду они мотивируют не только и даже как будто не столько экологическими и технологическими соображениями, сколько воспитательными. Шумахер напоминает, что труд, если он осмыслен и «прочувствован», есть не просто суровая необходимость, но и радость — самая большая из всех доступных человеку; и что одна такая черта, как трудолюбие, уже во многом определяет характер личности.

Во-вторых, речь идет о том, что «параллельная экономика» должна способствовать укреплению семьи. Работа на земле или же на дому, объединяющая членов семьи вокруг одного и того же дела, должна укрепить семейные узы, сильно ослабевшие за последнее время. Крепость же семейных уз есть существенная основа (хотя еще не гарантия) нравственного поведения вообще.

В-третьих, надежды возлагаются на возрожденне местной общины (тоже заметно истаявшей, а в больших городах кое-как сохранившейся едва ли не в одних только кварталах, населенных национальными меньшинствами), которая, однако, должна получить новую закваску.

Альтернативисты делают акценты на том, сколь важную роль играла в прошлом в Америке местная община, связывавшая друг с другом и в известной мере «усмирявшая» даже таких индивидуалистов, каковыми были покорители Запада. «У наших предков,— пишет Джонсон,— как правило, вся жизнь проходила в общении с другими людьми, в совместных с соседями трудах и посиделках, церковных и благотворительных собраниях, торговых ассоциациях, клубах, пикниках и семейных встречах. Такого рода активность не вмещалась в учебники истории, но на наше житье-бытье оказала влияние куда большее, нежели деяния Джексона Каменная Стена[10] или Джона Пирпойнта Моргана»[11]. В целом влияние это, согласно Джон-

---

[8] B. Rudofsky. The Prodigious Builders. London, 1977, p. 11.

[9] Об одном из таких энтузиастов рассказано в очерке Н. Покровского «Пойдем со мной!», «ИЛ», 1986, № 12.

[10] Знаменитый в США военачальник, генерал армии южан в период Гражданской войны 1861 — 1865 гг.

[11] W. Johnson. Указ. соч., p. 116.

сону, было позитивным: «гены дружелюбия» получали преимущество перед «генами эгоизма».

(О том, как проходила жизнь в маленьком городке в Америке, скажем в XIX веке, мы можем составить некоторое представление хотя бы по художественной литературе. И, глядя на эту жизнь глазами американских же авторов, найдем в ней немало и ханжества, и духовной узости, и попыток подставить ножку соседу. Но и добрую сторону найдем тоже. Все, как говорится, познается в сравнении. Если сравнивать с нынешней жизнью в тех же географических и социальных координатах, то дружелюбия, сострадательности, конечно, больше обнаружится в той.)

Возрождение и преобразование местной общины мыслится альтернативистами на новой основе коллективной «самопомощи». «Инициативы по линии самопомощи,— пишет Стоукс,— способны породить новое чувство общинности, поскольку там, где в одиночку ничего не добиться, людям придется трудиться совместно. Этика личного интереса, задающая тон в нынешнем обществе, может быть таким образом смягчена пробудившейся заботой об интересах коллектива»[12]. (Заслуживающая внимания трезвость: никаких чрезмерных надежд. Не ждут, что будет хорошо, а только — что будет лучше.)

И в этом плане не обойдены большие города: для них тоже «проектируется» возрождение местных общин, хотя бы и в менее отчетливой форме. Имеется в виду преобразование городской среды в направлении большей «ячеистости» — объединении по месту жительства, роду занятий, по национальному, религиозному и иным признакам (подчеркивается, впрочем, что это должен быть непременно добровольный процесс, что те, кто этого хочет, смогут сохранить нынешний, сугубо индивидуальный образ жизни). В рамках подобных — хотя бы и очень «приблизительных» — объединений люди, имея множество точек соприкосновения, должны друг друга знать, друг другу доверять, принимать друг в друге участие и уметь сплачиваться, когда надо дать отпор тем или иным «внешним» силам, посягнувшим на благо общины в целом или отдельных ее членов.

Прогнозисты из группы «Оксфорд аналитика» в статье «Наше следующее десятилетие», опубликованной не так давно в газете «Вашингтон пост», отмечают (имея в виду в первую очередь альтернативное движение), что «среди американцев получила развитие общая жизненная позиция, близкая к тому складу ума, который в Европе был когда-то характерен для городской общины, защищенной крепостными стенами»[13]. Альтернативизм действительно стремится воспитать чувство привязанности к постоянному месту обитания, к «пенатам» и кругу людей, которых принято называть «своими». Но психология «защищенных крепостными стенами» может включать в себя и неприязнь ко всем остальным как чужакам и супостатам. Правда, в книгах идеологов альтернативизма встречаться с подобного рода узостью взглядов не доводилось; как раз напротив: в них обращает на себя внимание открытость навстречу всему остальному миру, понимание того, что сегодня не может быть жизнеспособной никакая этическая система, которая не учитывала бы нынешнюю глобальную взаимозависимость всего и вся.

У альтернативистов нет на сегодня определенной этической системы, а есть только ряд эмпирических решений. Но есть и надежда, что практика сама подведет к твердому взгляду на то, каким человеку быть. Что опыт «самопомощи» (понятый, по выражению Стоукса, как «обучение этике») подскажет. А главным образом подскажет экологическая ситуация. Джонсон, например, полагает, что, так сказать, гнев, которым может ответить (или уже отвечает) биосфера на продолжающееся ограбление ее человеком, есть не просто досадное обстоятельство, с которым приходится — хочешь не хочешь — считаться, гнев этот благодетелен для человека, ибо дает ему счастливый шанс стать лучше. Не будь такого шанса, едва ли удалось бы поднять планку нравственности, опустившуюся сейчас до критически низкого уровня.

Почти по пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло.

## Планету унаследует кроткий

Мыслить глобально — значит определить свое отношение к угрозе войны. Альтернативисты выступают как самые решительные противники войны и милитаризма, справедливо полагая, что прочный мир и последовательное всеобщее разоружение — «условия, без которых не может быть будущего». Чтобы сберечь планету для последующих поколений, мало не допускать войны; акцент делается на том, что и в мирное (не заключить ли это слово в кавычки?) время гонка вооружений может привести к последствиям, сопоставимым с теми, что способна вызвать термоядерная война. Военная промышленность — главный пожиратель топливно-сырьевых ресурсов, заглатываемых ею с аппетитом Гаргантюа, а следовательно, и главный фактор, толкающий мир навстречу экологической катастрофе. Надо идти по пути, ведущему к ликвидации военной промышленности, к отказу от воинской силы как таковой.

Нелепо размахивать мечом, убеждают альтернативисты, когда почва начинает уходить из-под ног едва ли не в буквальном смысле. Цитирую Брауна: «Проблема безопасности сегодня может возникнуть не столько в плане отношений между нациями, сколько в плане отношений человечества с природой... Государства расходуют огромные суммы на танки и самолеты, чтобы защитить свою территорию и отстоять суверенитет, но мало или вообще ничего не тратят на то, чтобы уберечь от разрушения пахотный слой почвы, дающий им пропитание. Национальные обо-

[12] B. Stokes. Указ. соч., p. 18.

[13] "The Washington Post", march 29, 1987, p. C — 3.

ронные системы беспомощны перед лицом новых подобных угроз»[14].

В то время как разведывательные службы разных стран пристально следят за военными приготовлениями соседей, продолжает Браун, нигде практически нет такой разведки, такой системы раннего или даже не очень раннего предупреждения, которая оповещала бы об опасных нарушениях экологического баланса. И Браун предлагает высокую бдительность, проявляемую государствами в отношении друг друга, начинать «переключать», пока еще не поздно, в сторону общей для всех угрозы.

Как устранить угрозу войны? Ответ такой: надо всем преодолеть национальную замкнутость и самомнение. Главное средство — активная «просветительская» работа, которая должна побудить каждого отдельного индивида, каждую «малую группу» к посильным для них миротворческим действиям. «Разрядка снизу» — так они это называют.

«Сказать, что планету унаследует кроткий,— пишет Джонсон,— значит всего лишь констатировать правду истории»[15]. Не знаю, кому принадлежат заключенные в кавычки слова (у нас о чем-то подобном писал некогда Тютчев), но правда истории действительно такова, что самые свирепые воители, вдоволь накуражившись, по существу никаких следов, кроме недоброй памяти, на Земле после себя не оставляли, а эстафету жизни продолжали те, кому сподручны орала, а не мечи.

## Кто виноват?

Кто виноват (поскольку речь идет о факторах идейного порядка) в том, что цивилизация в какой-то момент стала развиваться по пути, который может привести ее к гибели, если вовремя не сменить курс? Вопрос отнюдь не академический.

В 1967 году американский историк Линн Уайт выступил со статьей «Исторические корни экологического кризиса», положившей начало спору, продолжающемуся по сей день[16]. Уайт утверждал, что христианство (так же, впрочем, как и иудаизм, преемником которого оно явилось в том аспекте, который здесь затронут), поставив человека выше природы, тем самым дало изначальный толчок последующему движению в сторону агрессивного, «инструментального» к ней отношения. Оппоненты возражали, что в Ветхом и в Новом завете можно найти и уроки бережного отношения к природе; например, Ною бог приказал ввести в ковчег в с е х «представителей» животного мира («из всех животных и от всякой плоти по паре»), вне зависимости от того, будет ли от них человеку какой-то прок или прока не будет, или даже будет вред.

На нынешней стадии этого спора полет критических стрел сместился преимущественно в сторону протестантской версии христианства и, с другой стороны, в сторону дохристианского, языческого образа мыслей. Оба направления критики мы находим и у авторов-альтернативистов. Так, например, профессор экологии Хью Шекспир и уже знакомый нам Джонсон корень зла усматривают в «западном духе» или «западном складе ума», сложившемся еще в дохристианские времена — как специфическом признаке, объединившем этнические общности, населявшие западную оконечность Евразии. Дух этот отличают инициативность, дерзость и крутость; христианство лишь отчасти усмирило его, отчасти же пошло у него на поводу.

Реформация, с точки зрения этих авторов, означала, что неугомонный западный дух еще больше высвободил себя от наложенной на него христианской узды. Мистический коллективизм, представление о «лепоте» мира, присутствовавшие в католичестве, были отброшены. Связав напрямую человека с богом, протестантство санкционировало конкурентную борьбу и «волю к власти» (в самом широком смысле этого понятия), в том числе и к власти над природой.

Одновременно распространилась и такая точка зрения, что, поскольку речь идет об экологическом сознании, христианство в любой его версии проигрывает, если сравнивать его с некоторыми восточными религиями, одухотворяющими природу и внушающими по отношению к ней глубокий пиетет.

Будучи эмпириками по преимуществу, альтернативисты не могут похвалиться оформившейся системой взглядов. Идеологического «интеграла» у них пока нет. Есть только сознание, что он необходим, что нужна, как выражается Браун, «метафизическая реконструкция», переосмысливание каждого элемента в цепочке «человек — культура—вселенная», отвечающая реальностям конца XX века.

В своем «метафизическом» поиске альтернативисты находят для себя определенные точки опоры в прошлом. Во-первых, у них есть в этом плане свои авторитеты. Торо, Толстой и Ганди — наиболее часто цитируемые из них. Во-вторых, они призывают опираться на «традиционную мудрость», каковы бы ни были ее происхождение и национальная принадлежность. Замечу сразу, что очень широкое и емкое понятие «традиционная мудрость» содержит в себе такие стороны, какие сегодня представляются по меньшей мере спорными. Но есть в ней и много незаслуженно забытого. И пожалуй, в первую очередь это сам «механизм» мышления, в наш стремительный век начинавший казаться столь же «допотопным», как и ветряные мельницы. Неспешное, органическое вызревание идей, имеющих жизненное приложение. Коллективный, из поколения в поколение, ум да совет. Осмотрительность: семь раз отмерь, один отрежь.

## Вопросы, вопросы...

Первый вопрос, вероятно, уже возникший у читателя: насколько силен альтернативизм? По разным оценкам, число аме-

[14] L. B r o w n. Указ. соч., p. 362.

[15] W. J o h n s o n. Указ. соч., p. 98.

[16] Уточню, что спор об отношении человека к природе философы начали значительно раньше, но он практически не достигал слуха широкой публики.

риканцев, целиком разделяющих альтернативную программу в том или ином ее варианте, составляет от трех до семи миллионов человек. Гораздо больше тех, кто разделяет ее лишь отчасти или же только еще прислушивается и присматривается. Есть и данные экономического порядка: «неформальная экономика» дает от 5 до 10 процентов валового национального продукта (эти данные менее показательны, так как понятие «неформальная экономика» — более широкое, чем «альтернативная экономика», она включает, например, гангстерские подпольные синдикаты, то есть нечто весьма от нее далекое).

Истеблишмент демонстрирует целый спектр отношений к альтернативному движению — от глухой враждебности до «гибкого реагирования». Но вот что примечательно: в сфере прогностики и футурологии альтернативизм сегодня задает тон, а господствовавшие еще недавно «технологические оптимисты» или ведут оборонительные бои, или идут ему на уступки.

Главной тому причиной, очевидно,— его трезвость, понимание, что происходит разрушение природы и, с другой стороны, разрушение человека и что мир вовсе не находится на пороге «технологического» или любого иного рая, что, напротив, скорее всего наступают трудные времена. (Каковое обстоятельство, впрочем, не должно обескураживать — для рая ли создан человек?) И даже, например, проблемы пропитания могут стать первостепенными не только для стран «третьего мира», но и для развитых стран. Ибо, как писал еще Гесиод:

...Далеко Громовержец источники пищи
запрятал,
В гневе на то, что его обманул Прометей
хитроумный.

Кстати говоря, это, пожалуй, очень актуальный сегодня поэт — Гесиод. В сравнении с велеречивым Гомером или позднейшими блестящими афинянами, «приземленный» беотиец выглядит чересчур прозаическим — озабоченный примитивными заботами, хозяйственными и нравственными. Но и мы сегодня — увы! — тоже поставлены перед разнообразиыми «грубыми» вопросами (даже уборка мусора вчера была делом мусорщиков, а сегодня чуть ли не философы вынуждены о ней размышлять!). И ведь, несмотря на чрезвычайную сложность нашей цивилизации и все искусственные системы жизнеобеспечения, мы в конечном счете нисколько не меньше, чем в гесиодовские времена, зависим от первоначальных стихий — земли, воздуха и воды.

Ну а «проект» обновления, с которым выступили альтернативисты, нет ли в нем элементов утопии? Да, уж наверное, без них не обошлось. Трудно представить, каким образом некоторые части этого «проекта» могли бы быть реализованы в обществе, где принцип прибыли остается господствующим, а любые отрицающие его нравственные течения до сих пор разбивались об него, как волны о скалу. И еще одно соображение. Если то позитивное, что есть (а оно есть) в альтернативной программе, провести в жизнь, то на деле (за вычетом некоторых бесспорных вещей — например, экологического равновесия) оно может оказаться совсем не таким позитивным, каким представляется сейчас. Мы знаем из истории, как это бывает: какая-нибудь хорошая, многообещающая идея долго стучится в дверь, а когда ей наконец отворяют и она получает возможность для самореализации, то выходит что-то не совсем то или даже совсем не то, что ожидалось.

И все же задумаемся над составом идей, исповедуемых альтернативным движением. Люди, «придавленные шкафом», книжные философы, первым делом, наверное, поставят вопрос: «по линии» какого «изма» надо это рассматривать, с чем связать? Связать есть с чем: например, с некоторыми утопическими учениями прошлого века и начала нынешнего и, с другой стороны, с традициями американского популизма. Но не это сейчас главное. Главное — есть ли тут живая вода. Полагаю, живая вода есть, и взята она, так сказать, не только из американского колодца.

В альтернативизме важно его внимание к человеку — не сконструированному сообразно с нуждами каких-то далеко идущих предначертаний, а реальному, «простому».

Считается, что сверху всегда виднее, хотя на практике все чаще выходит так, что каждая глядящая сверху пара глаз видит один только свой узкий участок деятельности. Так уж сегодня складывается.

Ведь и снизу тоже многое видно. И компетентность в тех или иных специальных областях отнюдь не делает излишней ту способность ума, что людей выручала издревле и по-латыни именуется: ingenium vulgare, «обыкновенная смекалка».

Пожалуй, мы как-то упускаем из виду, что силы, до сих пор сковывавшие в нашей стране инициативу снизу,— порождение не только отечественной истории, но в какой-то мере также и современной цивилизации, в организационно-техническом смысле этого понятия. Возьмем такую вещь, как диктат производителя. Я, правда, не экономист, чтобы авторитетно об этом судить, но, по-моему, даже, так сказать, невооруженным глазом видно, что диктат производителя имеет место и на Западе, только там он принимает более «хитрые» формы, а у нас — более откровенные и подчас шаржированные. Или другое: централизованная «доставка» культуры, которую на местах должны принимать готовенькой, навязываиие оптового и гуртового, оставляющее (если вообще что-то оставляющее) для подлинной самодеятельности тесный «пятачок»,— это и наше и «ихнее».

С культурой проблема, может быть, все-таки попроще, а вот диктат производителя — вещь наисерьезнейшая, за его спиной — гигантский промышленный аппарат, в известной мере живущий по своим собственным законам. Чтобы покончить с диктатом производителя, следовало бы, в частности, пересмотреть структуру потребностей, которая сейчас отчасти ориентирована на промышленность, а не на человека, осознавшего, скажем так, свои действительные нужды. К сожалению, у нас по-

ка еще редки голоса, призывающие к такому пересмотру [17].

Внимание к человеку требует возвращения чувства меры («человек есть мера всех вещей»), утраченного в погоне за реальными или мнимыми достижениями. Разве не показательно, что вкус к «малому» пропагандируют именно в США? То есть стране, где всегда существовал культ «самого большого», где свято верили в «неограниченные возможности» и т. д. и т. п. И вот сейчас американский гигант, привыкший, что ему все по плечу (до Луны, до Марса достать может!), встречает на своем пути «мальца», который не только проповедует скромность и кротость, но и дерзает говорить ему, гиганту: «Я — твоя судьба». И ведь не смахнешь его просто так с дороги, не та ныне обстановка.

У нас был свой гигантизм, но он включал в себя и гигантизм американского, промышленно-технического типа. Задачи — масштабные, движение к цели — бурное, соответственно и шаг — широкий, а что попадалось под ноги, разные «мелочи жизни», то зачастую с легким сердцем затаптывалось. Но теперь, как сказал бы Герцен, «горные хребты достигли предельной высоты и дальше вулканическим напором идти нельзя» [18]. Дальше, очевидно, требуется кропотливое обживание новообразованных ландшафтов, если угодно, практика «малых дел» (коль скоро этот термин покажется кому-то скомпрометированным его историческим контекстом, его легко заменить другим).

Гигантизм не только сформировал облик мира, в котором мы живем, он глубоко проник в души, и нужна серьезная психологическая перестройка, чтобы суметь попасть в иной ритм бытия, проникнуться иным жизнеощущением. Закончилась эпоха — открывается другая. История человечества продолжается, очередной виток ее спирали указывает путь к возвращению, на новом уровне, к большей устойчивости, к обществу, в котором динамизм (промышленно-технический) и демонизм (человеческий) были бы укрощены силою разума.

На этом пути и самый ритм перемен должен быть иным. Альтернативисты, думаю, недаром возлагают осуществление своей программы на плечи не одного, не двух — нескольких поколений.

Заслуживает сочувствия и их стремление водрузить «на престол» этику, пожертвовав ради нее, когда это необходимо, соображениями экономической выгоды. Равно как и их оценка того или иного вида труда с точки зрения его духовной «отдачи», а не только рентабельности или нерентабельности. У человека есть более высокие цели, нежели выгода. В третьем томе «Капитала» ясно говорится о «развитии человеческих сил» как «самоцели» (в четвертом томе Маркс пишет о «развитии богатства человеческой природы как самоцели») [19].

Вероятно, есть в альтернативном движении и перегибы. Картина вкалывающих до седьмого пота охотников (охота пуще неволи!), чей труд вкладывается порою в изделия, которые все-таки проще купить в магазине, при всей своей трогательности способна и вызвать сомнение в разумности подобного образа действий — во всяком случае, если видеть в нем какое-то универсальное средство оздоровления общества.

Но не будем торопиться со своими заключениями. Место ручного труда в мире, где существует сверхизобилие механической силы, еще нуждается в уточнении.

Что представляется едва ли не бесспорным, так это польза, которую способны принести в настоящем и будущем многие традиционные профессии. Как пишет академик Н. Моисеев, «потери «тайны профессии» и мастерства, которые накапливались веками, могут оказаться для людей опасными: мы не знаем, что нас ожидает в будущем» [20]. Человек, владеющий каким-нибудь полезным рукомеслом, а уж тем более тот, кого зовут «мастер на все руки», тверже, сравнительно с другими, ходит по земле. И общество, в котором каждый из его членов если «не без ума, так и не без промысла», более устойчиво в экономическом (а может быть, и не только в экономическом) смысле.

Имеет, как уже было сказано, свои оправдания и акцент на «малых группах», но и тут не обошлось без перегиба. В «оптике» альтернативистов внимание привлекает очень крупный масштаб и очень малый — проблемы «малых групп» и проблемы глобальные. Недооценивается (хотя и не отрицается) значимость национальных общностей и государственных образований.

Заметен известный «перехлест» и в том, какое место отводится «традиционной мудрости». Впрочем, это касается не только альтернативистов. Нынче для многих на Западе наибольшую цену имеет то, что, как считают, прошло проверку временем: есть за данной традицией или за данным учением пара тысяч лет, значит, это нечто почтенное и заслуживающее внимания.

Но может быть, contraria contrariis curantur — «противное излечивается противным»?

Альтернативисты выступают как критики и преобразователи современной цивилизации с ее технико-организационной стороны. В этом их сила, и в этом их слабость. Сила — потому, что упомянутая сторона до сих пор воспринималась как нечто «богоданное» (для кого — дьяволом данное): города растут и растут, техника беспрестанно множится и усложняется, человека (живого человека!) уже не видно за «плодами рук его», природа тушуется тоже — хорошо это или плохо, но «так надо» и

---

[17] Вот один из них: «Я разделяю утверждение, что цивилизованность не в удовлетворении потребностей, а в их разумном ограничении»,— пишет видный советский хозяйственник Герой Социалистического Труда И. Кочевых («Коммунист», 1987, № 13, с. 59).

[18] А. И. Герцен. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М., 1958, с. 484.

[19] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II., с. 387; т. 26, ч. II, с. 123.

[20] Н. Н. Моисеев. Компьютеризация, ее социальные последствия. «Вопросы философии», 1987, № 9, с. 105.

«никуда от этого не уйдешь». Альтернативисты имели смелость сказать, что так не надо и что уйти можно и нужно.

Слабость же их состоит в явной недооценке тех требований, которые предъявляют каждому обществу его, так сказать, «макрохарактеристики»: тип экономических отношений, социальный и политический строй. Недооценка эта практически бьет по альтернативистам, поскольку в своей деятельности они постоянно сталкиваются со множеством препон, чинимых им буржуазным обществом и государством. На горьком, как говорится, опыте они познают, сколь трудно изменить лицо жизни одними только «домашними» средствами.

Думается, что как раз в условиях социализма следовало бы дать зеленую улицу тому позитивному, что несет в себе альтернативизм. Тем более что в его программе ощутимы, на мой взгляд, и социалистические тенденции. Эмпирики, идущие от жизни, порою находят решения, близкие к тем, что подсказаны логикой мирового развития. Так, ощупью пришли к идее артельности, кооперативного товарищества — очевидно в чем-то перекликающейся с нашим нынешним курсом на кооперацию, в основу которого положена ленинская идея, опирающаяся на русскую народную традицию [21].

Многое из того, что мы видим на Западе, мы примеряем на себя — и тогда, когда следует это делать, и тогда, когда не следует. Здесь же как раз тот случай, когда творческое освоение чужого опыта не только желательно, но и необходимо. Возможно, что некоторые оценки, «проставленные» альтернативному движению в настоящей статье, нуждаются в серьезной корректировке. Думаю, однако, что есть в нем неоспоримое: это и добрые побуждения, и зерна разумных идей. Что же касается корректировки, то, очевидно, она станет возможной тогда, когда мы будем знать об альтернативизме значительно больше того, что знаем сейчас.

---

[21] Мысль о связи ленинской идеи кооперации с многовековой традицией народной жизни высказана М. Антоновым в статье «Так что же с нами происходит?», «Октябрь», 1987, № 8.

◆

# Советская литература за рубежом

**БОЛГАРИЯ**

Роман МУХТАРА АУЭЗОВА «Племя молодое». Партиздат.
Роман ОЛЕГА КУВАЕВА «Правила бегства». Издательство «Народна култура».
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Солнечное затмение». Издательство «Отечество».
«Избранное» ГРИГОРИЯ ПОЖЕНЯНА. Издательство «Народна култура».
Сборник ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «Ничего особенного» Издательство «Отечество».
Книга КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Современники». Издательство «Народна култура».

**ВЕНГРИЯ**

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Игра». Издательство «Магветё».
Повесть ВАЛЕРИЯ МЕДВЕДЕВА «Баранкин, будь человеком!». Издательство «Мора».
Повести ПАВЛА НИЛИНА «Испытательный срок», «Интересная жизнь». Издательство «Европа».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар». Издательство «Магветё».
Стихотворения ВИКТОРА СОСНОРЫ. Издательство «Европа».

**ГДР**

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть АРКАДИЯ ГАЙДАРА «Тимур и его команда». Издательство «Киндербухферлаг».
Рассказы МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Ферлаг дер национ».
Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Еще заметен след...». Издательство «Фольк унд вельт».
Рассказы ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО «Рыцари и еще 57 историй». Издательство «Киндербухферлаг».
«Испанский дневник» МИХАИЛА КОЛЬЦОВА. Издательство «Милитерферлаг».
Повесть ЮРИЯ КОРИНЦА «Там, вдали за рекой». Издательство «Фольк унд виссен».
Сборник рассказов АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «Епифанские шлюзы». Издательство «Фольк унд вельт».
Рассказы для детей МИКОЛАСА СЛУЦКИСА. Издательство «Киндербухферлаг».
«Повесть о Ходже Насреддине» ЛЕОНИДА СОЛОВЬЕВА. Издательство «Фольк унд вельт».
Книга ВАСИЛИЯ СУХОМЛИНСКОГО «Сердце отдаю детям». Издательство «Фольк унд виссен».
Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Смерть Вазир-Мухтара». Издательство «Фольк унд вельт».

**ДАНИЯ**

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Пядь земли». Издательство «Гюльдендаль».
Роман ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА «В августе сорок четвертого...». Издательство «Спутник».

**ИСПАНИЯ**

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды». Издательство «Планета».
Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Жизнь Клима Самгина». Издательство «Фундаментос».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Альфагуара».
Книга ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Люди, годы, жизнь». Издательство «Планета».

**НИДЕРЛАНДЫ**

Повесть ВАСИЛИЯ БЕЛОВА «Плотницкие рассказы». Издательство «Арбейдерсперс».
Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Вдовий пароход». Издательство «Верелдбиблиотек».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар» и «Сибирские повествования». Издательство «Арбейдерсперс».

**ПОЛЬША**

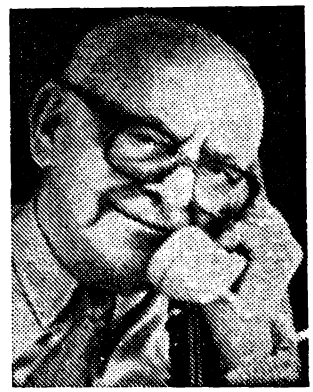
Повесть ДМИТРИЯ БИЛЕНКИНА «Марсианский прибой». Издательство «Искры».
Повесть АНДРЕЯ БИТОВА «Путешествие к другу детства». Издательство «ПИВ».
Повесть ЯНКИ БРЫЛЯ «Рассвет, увиденный издалека». Издательство «Выдавнитство литерацке».
Повесть ВЛАДИМИРА ДРОЗДА «Одинокий волк». Издательство «ПИВ».

АРМАНД ХАММЕР
при участии Нейла Линдона

# ХАММЕР

**Главы из книги**

*Авторизованный перевод с английского*
*ГАЛИНЫ САЛЛИВАН*



## Первые годы после революции

Сегодня даже в Советском Союзе осталось не так уж много людей, которые бы помнили Москву лета 1921 года, еще не оправившуюся от потрясений революции и гражданской войны. А в мире наберется не больше десятка иностранцев, посетивших Россию в то время, и я уверен, что никому из них не довелось сотрудничать так тесно, как мне, с советскими руководителями в период перехода России от «военного коммунизма» к нэпу. Другие, как Джордж Кеннан, приезжали позже и оставались дольше или же, как покойный Аверелл Гарриман, приезжали позже и уезжали раньше. Не знаю, кто еще может как очевидец рассказать о решающем лете 1921 года, когда Ленин спас революцию, резко изменив экономический курс партии. Мои воспоминания о том времени ярки и четки, как бывает только, когда человек воспринимает происходящее со всем напряжением душевных сил. Как сказал Вордсворт о французской революции, жить на ее заре было счастьем, встретить ее еще и молодым — было истинным даром небес. Жизнь в тогдашней Москве никак нельзя было назвать даром небес, однако на всей земле едва ли сыскалось бы более интересное место.

В Москве на Рижском вокзале меня встретил человек по имени Лев Вольф — представитель англо-американского отдела Наркомата иностранных дел. Он сказал, что его начальник Григорий Вайнштейн получил обо мне письмо и будет рад меня видеть.

Вольф, жизнерадостный розовощекий человечек, помог мне погрузить багаж на дряхлый грузовик, на котором он приехал меня встречать. Мы устроились сверху, лязгнули передачи, и мы бодро загромыхали по мостовой.

В Москве царила полная разруха. Прохожих почти не было видно, на мостовых и тротуарах зияли выбоины. Дома с облупившейся штукатуркой и наполовину сорванными крышами, казалось, вот-вот развалятся. На фасадах виднелись следы пуль. Чуть ли не из каждого окна торчал конец жестяной печной трубы, и стены покрывали безобразные разводы черной копоти. Магазины не работали, их витрины были разбиты или заколочены досками.

Ближе к центру прохожих стало боль-

© 1987 by Dr. Armand Hammer

**АРМАНД ХАММЕР (ARMAND HAMMER;** род. в 1898 г.)
Американский промышленник и общественный деятель. Президент и Председатель Совета директоров нефтехимической компании «Оксидентл петролеум корпорейшн». Врач по образованию, бизнесмен Хаммер начал устанавливать деловые связи с Советской Россией еще в первые годы ее существования, неоднократно содействовал налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с Советским Союзом в области экономики, культуры, здравоохранения. Автор книги «В поисках сокровищ Романовых» («The Quest of the Romanoff Treasure», 1936). В 1978 году в связи с 80-летием Арманд Хаммер награжден советским орденом Дружбы народов.
Мы публикуем главы из его автобиографической книги «Хаммер», вышедшей в 1987 году («Hammer». Armand Hammer with Neil Lyndon. New York, G. P. Putnam's Sons) и готовящейся к выпуску в русском переводе издательством «Прогресс».

ше, иногда навстречу попадалась ломовая подвода или ветхая извозчичья пролетка. Люди, казалось, были закутаны в лохмотья, почти ни на ком не было чулок или настоящей обуви. Дети же все — босые. Никто не улыбался, все словно бы давно не умывались и выглядели подавленными. Изредка встречались более опрятно одетые люди в военной форме или кожаной куртке, галифе и высоких сапогах, но лица у них тоже были бледные и измученные. Казалось, Вольф был единственным в Москве жизнерадостным розовощеким человеком.

На площади у Большого театра, где в запущенном сквере играли бледные, хилые ребятишки, мы свернули к высокому облезлому зданию, раньше — лучшей московской гостинице «Метрополь», где теперь находился Наркоминдел.

Было около часа дня, но ни Вайнштейна, ни его заместителя на месте не оказалось.

— Они, возможно, придут попозже,— сказал Вольф и с улыбкой добавил:— Нарком иностранных дел Чичерин предпочитает работать по ночам, поэтому его сотрудникам приходится спать днем.

— Что? — переспросил я, думая, что он шутит.— Работает по ночам? Но неужели он принимает посетителей, иностранных дипломатов, тоже ночью?

— Да, конечно,— ответил Вольф.— Иногда он принимает днем, но обычное время — между часом ночи и четырьмя утра.

Он посоветовал мне пройтись по городу, чтобы убить время. К сожалению, он не может составить мне компанию, но если я заблужусь, мне достаточно только сказать: «Метрополь».

Вольф сводил меня в Государственное казначейство, где в обмен на доллары я получил большой лист бумаги с отрезными купонами. Вольф с гордостью объяснил, что это — новое изобретение советского времени, позволяющее экономить на стоимости печатания денег.

Платя за покупку, вы просто отрезали нужное количество купонов — каждый соответствовал примерно десяти центам. Короче говоря, пригодились ножницы, которыми я предусмотрительно запасся.

Гуляя по улицам, я обнаружил, что покупать было абсолютно нечего, кроме мелочи вроде пуговиц, тесьмы да яблок, что продавались с лотков. Ну и еще можно было почистить ботинки. На каждом углу сидело по чистильщику. У большинства гуталина не было, и они обходились тем, что, поплевав на ботинок, старательно полировали его тряпочкой до блеска. За эти услуги расплачивались купонами.

Трамваи все еще были бесплатными. Их было очень мало, и люди облепляли их, точно мухи кусок сахара.

Когда я вернулся с прогулки, Вайнштейн был уже у себя и принял меня очень любезно. Это был худощавый человек лет пятидесяти, с бородкой, немного косивший. До революции он был редактором рабочей социалистической газеты в Нью-Йорке. Вайнштейн сказал, что надеется через несколько дней связать меня с Наркоматом здравоохранения, где с радостью примут мое предложение безвозмездно экипировать медицинскую бригаду для работы в голодных районах. Затем он позвонил в гостиницу «Савой» и попросил Вольфа проводить меня и устроить в номере.

Никогда в жизни я не видел гостиницы, которая меньше заслуживала бы названия «Савой». Сгибаясь под тяжестью багажа, мы поднялись по грязным каменным ступенькам в отведенный мне номер. Там были кровать — с матрацем, но без простыней и одеяла,— стол, покрытый скатертью в грязных разводах, два колченогих стула, буфет, и ничего более. На деревянном полу не было ковра, обои свисали со стен мокрыми лохмотьями. Однако на столе стоял новенький шведский телефон последней модели.

Когда Вольф ушел, я быстро перекусил кое-чем из своих рижских запасов. Столовой в гостинице не было, но Вольф сказал, что через пару дней Наркомат иностранных дел выдаст мне талон на «паек», по которому я смогу получать хлеб, мясо и овощи на одном из государственных продовольственных складов, если они там будут.

Я позвонил. Прошло много времени, прежде чем появилась бедно одетая девушка. Жестами я попросил ее убрать комнату, вытрясти ужасный на вид матрац и постелить привезенные мною простыни и одеяло. Девушка смотрела на меня, не двигаясь с места. Я предложил ей полоску купонов, но она отрицательно покачала головой. Вдруг ее взгляд упал на куски мыла в открытом саквояже, и она разразилась потоком русских слов. Я сообразил, что мыло — более надежная валюта, чем купоны, и жестами дал понять, что она получит кусок, если приведет комнату в порядок. Тут уж девушка сделала что могла и ушла, торжествующе унося с собой мыло.

К моему номеру примыкала полуразрушенная ванная, конечно, без воды, но зато со множеством крыс. Правда, горячую воду можно было набрать из титана в кухонном закутке в конце коридора, там некоторые постояльцы и готовили на портативных керосиновых плитках, так называемых «примусах». Каждому полагался только один чайник горячей воды в день.

Через три-четыре дня, питаясь одними рижскими сардинами и сыром (без хлеба), я заработал себе расстройство желудка и не на шутку разболелся. Я уже никуда не выходил из гостиницы, а просто лежал в этой ужасной комнате и заучивал по сто русских слов в день.

Мой дед был выходцем из России, однако он настаивал, чтобы дома в Америке мы говорили только по-английски. Поэтому я приехал в Москву, не зная ни слова по-русски. В школе я успешно учил немецкий и французский, но русский язык представляет совсем другую степень трудности. Чем больше я узнавал, тем непосильнее казалась поставленная задача.

Занимался я по англо-русскому словарю, в котором значками давалось произношение каждого русского слова. Я писал английское слово на одной стороне листка бумаги, а его русский эквивалент в нашей фонетической транскрипции — на другой и продолжал переворачивать листок, пока слово не оседало у меня в памяти. Таким методом я научился произносить десяток-другой русских слов еще до того, как выучил алфавит.

На третий день друзья в Наркомате иностранных дел, заметив, что я не появляюсь, забеспокоились и пришли узнать, в чем дело. Они нашли врача, которому удалось получить для меня по рецепту немного мяса, молока и овощей, а когда мне стало лучше, мне дали обещанный талон на паек.

Я пошел с ним на продовольственный склад. Там стояла очередь человек в сто. Я решил пройти в ее начало, чтобы посмотреть, что же им дают. Буханку черного хлеба, выглядевшую так, будто она состоит из смеси глины с опилками, да горсть заплесневелых картофелин, вот и все. Очередь в основном состояла из плохо одетых женщин с младенцами на руках.

Когда я заметил, как они смотрят на меня, на мой новый лондонский твидовый костюм, я решил, что скорее умру с голоду, чем лишу хотя бы одну из них драгоценной пищи. Спрятав талон в карман, я вернулся в «Савой».

Не знаю, что бы я делал, если бы не заметил, что Гаев, один из моих новых знакомых в Наркомате иностранных дел, оформлявший паспорта, выглядит всегда сытым и даже упитанным. При этом он никогда не оставался обедать с остальными сотрудниками, а куда-то отлучался.

Однажды я на почтительном расстоянии последовал за ним. Ничего не подозревавший Гаев привел меня к двери одной частной квартиры на втором этаже обветшалого здания. Когда эта дверь приоткрылась, чтобы его впустить, я уловил мучительно аппетитные запахи. Я выждал час и, когда Гаев ушел, постучался в загадочную дверь.

И не зря. Это был один из московских частных ресторанчиков. Теоретически они были запрещены, но власти их терпели, как терпели у нас в Нью-Йорке подпольные бары времен «сухого закона» пока они не приобретали чересчур широкую популярность.

Владелица этого заведения говорила по-немецки. Она рискнула впустить иностранца, несмотря даже на то, что он не был ей представлен. В тот день я впервые за целую неделю съел настоящий обед: горячий суп, булочки с мясной начинкой — так называемые «пирожки», жареную утку с печеными яблоками и хлеб с маслом. Конечно, без спиртного — ничего, кроме чая. Обед обошелся мне примерно в двадцать центов на американские деньги, но я не отказался бы от него, даже если бы он стоил двести долларов.

Теперь Москва уже не казалась столь мрачной, и я почувствовал, что смогу выдержать. Через три дня Вайнштейн, как и обещал, устроил мне встречу с наркомом здравоохранения доктором Николаем Семашко, который был очень любезен и тепло поблагодарил за предложенную помощь. Он рассказал о тяжелом положении в стране с медикаментами, вызванном экономической блокадой, и привел пример: в некоторых районах из-за отсутствия эфира или хлороформа серьезные операции приходится делать без наркоза.

— Дела так плохи, — сказал он, — что бинты после выписки пациента используются снова — конечно, после стерилизации.

Я ответил, что знаю обо всем этом, так как советская миссия закупала эфир и хлороформ в нашей фирме. Я и сейчас привез с собой достаточный запас этих средств. Семашко мои слова явно обрадовали.

В заключение беседы он направил меня к сотруднику, возглавлявшему иностранный отдел наркомата. Я надеялся, что теперь наконец-то смогу взяться за дело, но оказалось, что этот сотрудник в отъезде, и его ожидали не раньше чем через месяц.

Тут я подумал, что мне, пожалуй, лучше вернуться домой. В России, видимо, ничего добиться нельзя. Однако Вайнштейн, продолжавший проявлять ко мне дружеский интерес, предложил мне поехать на Урал, куда отправлялся специальный поезд с группой наблюдателей для выяснения положения в промышленных районах. Поездка планировалась примерно на месяц. Возглавлял группу старый друг моего отца Людвиг Мартенс. Конечно, я ухватился за такую возможность и три вечера подряд с багажом и ящиком с продуктами отправлялся на вокзал, где всякий раз сообщали, что отъезд «откладывается на завтра из-за технических неполадок». В то время железные дороги работали очень плохо. Более или менее регулярно ходили только пригородные поезда и редкие почтовые.

Наконец, на четвертый день мне твердо обещали по телефону, что мы отправимся в пять часов вечера. Я опять поехал на вокзал и прибыл туда в четыре тридцать.

В восемь часов к перрону наконец подали поезд. Я занял полку в мягком вагоне, принадлежавшем раньше какому-то важному лицу в царском правительстве. Наконец, в одиннадцать мы под громкое пыхтенье паровоза медленно тронулись с места и отправились в путешествие, продлившееся почти месяц и во многом изменившее мою жизнь. В результате этой поездки я заключил свою первую сделку в России, впоследствии оказавшуюся весьма успешной, а главное, получил возможность лично познакомиться с Лениным, о чем расскажу позже.

Наш поезд состоял из четырех мягких вагонов, полки солдаты охраны на ночь превращали в постели. В каждом вагоне

был туалет, так что мы путешествовали с необыкновенным комфортом, хотя и медленно. Впереди пыхтел работавший на дровах паровозик, доставшийся в наследство от царского времени.

Три дня и три ночи состав, погромыхивая, медленно полз на восток, пока не добрался до Волги — края иссушенных солнцем полей и выгоревшего урожая. Обычно в это время года здесь всюду, куда хватало глаз, стояла высокая золотистая пшеница, готовая к уборке. Сейчас над потрескавшейся землей торчали только редкие сухие стебли.

В Екатеринбурге, где в 1918 году был расстрелян царь с семьей, мы впервые увидели, что такое голод. Крестьяне в районах, получивших впоследствии название «голодных», находились на грани смерти от недоедания. Скудные прошлогодние запасы зерна были на исходе и, понимая, что им не пережить зиму, люди бежали от своих выгоревших полей, как от чумы, к железным дорогам: проезд на поезде в то время был бесплатным — лишь бы нашлось место.

Десятки тысяч несчастных людей набивались в товарные вагоны, надеясь найти в городах хоть какое-нибудь пропитание. С невероятной быстротой распространялись эпидемии: холера, тиф, не говоря уж о детских болезнях.

Я полагал, что профессия врача подготовила меня к встрече с человеческим страданием, но когда впервые увидел такой состав с беженцами, просто похолодел от ужаса.

При отправлении из Самары в поезде поместилось, как я узнал, около тысячи пассажиров. Когда же после нескольких дней пути он добрался до Екатеринбурга, в живых оставалось не более двухсот самых выносливых. Некоторые умерли от голода, но большинство — от болезней.

Во время нашей суточной стоянки в Екатеринбурге я познакомился уже по-настоящему с тем, что такое голод. Дети с руками и ногами как спички, с раздутыми от травы животами, жалобными голосами просили хлеба. Мы не могли им помочь. Можно было накормить одного-двух, но раздай мы все, что у нас было, до последней крошки, это оказалось бы каплей в море.

Позже мне пришлось видеть еще много ужасов в голодных районах, но сцены на екатеринбургском вокзале навсегда врезались в память, особенно две: санитары с носилками, складывающие трупы штабелями в одном из залов ожидания, чтобы затем отправить их в общие могилы, и кружащие в воздухе стаи черных воронов.

Потрясенные увиденным в Екатеринбурге, мы продолжили путь через Уральские горы. По дороге к нам обращались с мольбой о помощи десятки делегаций промышленных районов. Эти люди были более образованными, чем приволжские крестьяне, и не бежали из дома, но они тоже знали, что, если помощь не придет вовремя, зимы им не пережить.

Повсюду одно и то же: бездействующие заводы, фабрики и рудники с голодными, отчаявшимися рабочими. Если бы даже можно было возобновить работу всех этих предприятий, из-за разрухи в стране не нашлось бы рынка для их продукции. В то же время во многих местах я видел значительные запасы ценностей: платины и дорогих минералов, уральских изумрудов и полудрагоценных камней, а в Екатеринбурге — забитые мехами склады.

Я спрашивал своих спутников, почему они не продадут все это за границу, чтобы купить зерно.

— Это невозможно,— отвечали они.— До последнего времени мы не могли этого делать из-за европейской блокады. А теперь уже поздно, продажа этих товаров и закупка продовольствия потребуют слишком много времени.

Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль, которая резко повернула весь ход моей жизни:

— Так ведь я же могу вам это устроить через нашу фирму в Нью-Йорке. Мы можем закупить для вас продовольствие. Найдется здесь кто-нибудь с достаточными полномочиями, чтобы заключить контракт?

Созвали экстренное заседание Екатеринбургского Совета под председательством секретаря местного комитета Коммунистической партии. Мартенс пригласил меня на это заседание и попросил изложить суть моего предложения. Мне сказали, что населению Урала, чтобы продержаться до следующего урожая, потребуется по меньшей мере миллион бушелей пшеницы. В Соединенных Штатах в тот год был небывалый урожай, и зерно продавалось по доллару за бушель. Когда цена опускалась ниже доллара, фермеры предпочитали сжигать его, а не везти на рынок.

— У меня есть миллион долларов,— заявил я.— Я отправлю вам на миллион долларов зерна в кредит при условии, что обратным рейсом каждый пароход будет везти нужные нам товары.

Согласны ли они? Члены Совета смотрели на меня, недоверчиво улыбаясь. Тогда я послал длинную телеграмму брату Гарри и президенту нашей фирмы «Элайд Драг энд Кемиклз» Альфреду ван Хорну с объяснением характера сделки и просьбой как можно скорее зафрахтовать суда, нагрузить их зерном и отправить в Петроград.

Я добавил, что обратным рейсом на этих судах прибудут меха, кожи и другие товары — примерно на затраченную нами сумму. Нам полагались комиссионные в размере пяти процентов с обеих сделок, но в то время я под впечатлением увиденного на Урале меньше всего думал о прибыли. Мне хотелось убедить своих американских коллег, что они могут послать это зерно, не опасаясь серьезных убытков, и помочь русским спасти население Урала от голодной смерти, продав имеющееся у них сырье. В отдельной телеграмме Гарри я заверял, что полностью беру на себя ответствен-

ность за выполнение русскими обязательств по контракту.

Когда стало известно, что «американец», как меня называли, послал телеграмму в Нью-Йорк со срочным заказом на зерно для Урала, на станциях местное население приветствовало меня как спасителя. В одном городке местный Совет созвал митинг и попросил меня выступить с речью. «Ну,— сказал я себе,— теперь-то я наконец смогу воспользоваться приобретенными в Москве познаниями в русском языке».

Я произнес речь, за которой последовали оглушительные аплодисменты. Сев с приятным чувством на место, я сказал сидевшему рядом Людвигу Мартенсу:

— Я благодарен вашим соотечественникам, не смеявшимся над моим неправильным произношением и ошибками, и рад, что они поняли — мы собираемся им помочь.

— Поняли? — засмеялся он.— Ничего они не поняли. Они думали, вы говорите по-английски. Слышите шум? Это просят перевести вашу речь на русский.

С большим трудом мне удалось сохранять безразличный вид, слушая, как Мартенс переводит мою первую «русскую» речь на настоящий русский язык.

Во время поездки по Уралу мы остановились на асбестовых рудниках около Алапаевска. Работы на них со времени революции не велись. Один из моих попутчиков, горный инженер, служивший раньше в этих местах, объяснил, что при правильной эксплуатации рудники могли бы приносить огромные доходы, и, должен признаться, приведенные им факты и цифры очень меня заинтересовали. Но тогда я все еще собирался заниматься организацией помощи голодающим и поэтому просто запомнил эти сведения, считая, что они могли бы заинтересовать американских бизнесменов.

С прежней черепашьей скоростью мы продолжали свое путешествие через Уральские горы. Мы видели вокруг себя разруху и человеческое горе. Помню, однажды наш поезд остановился на несколько часов на маленьком полустанке. Довольные возможностью размять ноги, мы решили пройтись по пыльной дороге до деревни, расположенной в двух-трех километрах. На полпути к ней наткнулись на одинокую избушку. Во дворе седобородый старик старательно распиливал на доски сосновое бревно.

— Что это вы, дяденька, делаете? — спросил кто-то из моих спутников.

— Бревно пилю,— лаконично ответил старик.

— А зачем вам доски?

Старик посмотрел на него странным взглядом.

— На гроб.— просто ответил он.— Один я тут. Еды осталось всего недели на три, а потом надо помирать. Будет у меня гроб, лягу в него и буду смерти ждать. Тогда меня похоронят по чести, а не закопают, как собаку.

Положение было чудовищно нелепым. Здесь, на Урале, земля хранила величайшие сокровища мира — платину, изумруды, асбест, медь и почти все известные минералы, однако люди не могли воспользоваться ими даже для того, чтобы спастись от голодной смерти.

Наше путешествие продлилось бы дольше, если бы не взбудоражившая всех новость: с Людвигом Мартенсом хочет говорить сам Ленин. В те годы междугородной телефонной связи не существовало и «разговоры» велись по телеграфу. Мартенс взял меня с собой на телеграф маленькой железнодорожной станции, где и произошел его «разговор» с Лениным.

Ленин задавал Мартенсу различные вопросы о положении на Урале и о возможности наладить там работу. Затем, к полному изумлению, я увидел на ленте свою фамилию.

«ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОСТА СООБЩИЛО О МОЛОДОМ АМЕРИКАНЦЕ, ЗАФРАХТОВАВШЕМ СУДНО С ЗЕРНОМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ГОЛОДАЮЩИХ НА УРАЛЕ, ВЕРНО ЛИ ЭТО?»

«ВЕРНО,— ответил Мартенс,— ДОКТОР АРМАНД ХАММЕР ПОРУЧИЛ СВОИМ КОМПАНЬОНАМ В НЬЮ-ЙОРКЕ НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВИТЬ В ПЕТРОГРАД ЗЕРНО С УСЛОВИЕМ, ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ СОВЕТОМ, ЧТО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТОИМОСТИ ЗЕРНА ОБРАТНЫМ РЕЙСОМ БУДЕТ ПОСЛАНА ПАРТИЯ МЕХОВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ».

«ВЫ ЛИЧНО ЭТО ОДОБРЯЕТЕ?» — спросил Ленин.

«ДА,— сказал Мартенс, улыбаясь мне,— Я ЭТО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ».

«ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я ДАМ УКАЗАНИЕ НАРКОМВНЕШТОРГУ ПОДТВЕРДИТЬ СДЕЛКУ. ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В МОСКВУ НЕМЕДЛЕННО»[1].

## Ленин

В Москву я вернулся на исходе октября, и меня поразили происшедшие в городе перемены. Теперь улицы были полны людей. Казалось, все куда-то спешили, у всех появились неотложные дела. Повсюду можно было видеть рабочих, отдиравших доски с витрин магазинов, вставлявших стекла, красивших, штукатуривших здания, разгружавших телеги с товаром. Повсюду стучали молотки.

[1] Рассказ А. Хаммера о данном «разговоре» по телеграфу В. И. Ленина с Л. Мартенсом не имеет документального подтверждения. Впервые на русском языке он был воспроизведен вместе с описанием встречи В. И. Ленина с А. Хаммером (см. далее) в еженедельнике «За рубежом» (1973, № 8, с. 17 — 18). (Здесь и далее — примечания Д. Кислик, участвовавшей в подготовке к печати сборника «Воспоминания о В. И. Ленине. Том 5. Воспоминания зарубежных современников». М., Политиздат, 1969, 1979, 1984. Во всех изданиях этого сборника публиковались воспоминания А. Хаммера «Ленин и первая концессия».)

Удивленные не меньше меня попутчики стали наводить справки. «Нэп, нэп»,— слышали мы в ответ. Это была новая экономическая политика, только что провозглашенная Лениным [1], несмотря на значительную оппозицию ряда его соратников. Только Ленин мог настоять на подобном повороте, одном из самых решительных и драматичных в истории нашего века. Для этого вождю российской революции пришлось опереться на непоколебимую веру в него товарищей и блестящее умение убеждать в правильности принятых им решений. Предложи нэп кто-нибудь другой, он наверняка был бы тотчас же расстрелян как предатель [2].

Словно по мановению волшебной палочки, полки прежде пустых магазинов теперь ломились от разнообразных товаров, которых вот уже четыре года никто и в глаза не видел: всевозможных деликатесов, отборных французских вин, ликеров, лучших гаванских сигар. Высококачественные английские ткани соседствовали с дорогими французскими духами. Понадобилось чудо нэпа, чтобы извлечь все это добро из погребов, сараев и тайных хранилищ, где его прятали до сих пор. Так началось экономическое возрождение России. Одним мудрым решением Ленин спас революцию.

На следующий день после приезда в Москву меня срочно вызвали в Наркоминдел и сообщили, что из канцелярии Ленина получена телефонограмма, он хочет немедленно со мной встретиться. Я был на седьмом небе. Мне в мои двадцать три года предстоит встреча с вождем революции, человеком, завоевавшим преданность народа России, какой не знали свергнутые им монархи.

На встречу с Лениным меня сопровождал Борис Рейнштейн, американский социалист, работавший в Наркоминделе и в Профинтерне. Прежде Рейнштейн был аптекарем в городе Буффало в США и хорошо знал моего отца, так как оба они состояли в Социалистической рабочей партии.

Кабинет Ленина расположен на третьем этаже большого современного здания на центральной площади Кремля.

Один часовой стоял перед входом, другой — у двери угловых комнат, занимаемых главой Советского государства. После того как в августе 1918 года эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина, выходившего с митинга рабочих в Москве, для его охраны принимались все необходимые меры. Хотя раны и не были смертельными, они, безусловно, сократили ему жизнь.

Я пересек большую комнату, где за письменными столами работало много людей, словно в конторе какого-нибудь крупного американского бизнесмена. Секретарь Ленина Мария Игнатьевна Гляссер, маленькая горбатая девушка, провела меня к двойной двери ленинского кабинета.

Ленин встал из-за письменного стола и встретил меня у дверей. Он был ниже ростом, чем я ожидал, коренастый, с высоким выпуклым лбом и рыжеватой бородкой, одетый в темно-серый костюм, рубашку с белым отложным воротничком и черным галстуком. Когда он пожимал мне руку и усаживал около большого письменного стола, глаза его светились дружеским вниманием.

Кабинет был невелик и обставлен очень просто. Поражал он множеством книг, журналов и газет на десятке языков. Они лежали повсюду — на полках, стульях, письменном столе, где оставалось место только для нескольких телефонов. На столе я заметил кусок золотоносного кварца, игравшего роль пресспапье, и статуэтки из бронзы и слоновой кости — подарки Ленину от различных организаций. В углу стояла кадушка с большой пальмой.

Все это я заметил с первого взгляда, однако, как позже ни старался, ничего припомнить больше не мог, не помню даже, висели ли на стенах картины или портреты. В течение нашего длившегося более часа разговора мое внимание было всецело поглощено Лениным. Он обладал замечательной способностью концентрироваться на предмете разговора и вызывать у собеседника ощущение, что его мнение имеет огромную ценность. К концу беседы я был совсем покорен и чувствовал, что могу абсолютно ему доверять.

Он придвинул свой стул к моему и искоса быстро смерил меня оценивающим взглядом острых карих глаз с затаенной в глубине смешинкой.

— Будем говорить по-русски или по-английски? — спросил он.

Я ответил, что предпочел бы английский, на котором он так прекрасно говорит.

— Ну, далеко не прекрасно,— ответил он.— Я думаю, как большинству иностранцев, русский язык кажется вам очень трудным?

Я рассказал, как стараюсь заучивать по сто русских слов в день.

Ленин улыбнулся мягкой, обаятельной улыбкой.

— Я тоже пользовался этим методом, когда жил в Лондоне,— сказал он.— И еще я ходил в библиотеку Британского музея и читал книги, проверяя, что сумел запомнить... Сначала получается неплохо, но чем больше заучиваешь слов, тем труднее удерживать их в памяти.

Говорил он по-английски энергично и выразительно, не жестикулируя, если не считать быстрого рубящего движения рукой, как бы подчеркивавшего мысль.

---

[1] Решение о переходе к новой экономической политике было принято в марте 1921 года X съездом РКП(б). Конкретное проведение нэпа в жизнь началось после соответствующего декрета (наказа) СНК от 9 августа 1921 года.

[2] В действительности выработка концепции нэпа проходила коллегиально и демократично. Так, по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 16 февраля 1921 года (то есть за три недели до партийного съезда) в «Правде» была открыта дискуссия по вопросу о замене продовольственной разверстки натуральным налогом.

Впоследствии я заметил тот же жест и во время его публичных выступлений. Изредка он останавливался, подыскивая нужное слово, но в основном говорил по-английски легко и свободно.

Ленин сказал, что в экономическом плане Соединенные Штаты и Россия дополняют друг друга. Россия — отсталая страна, обладающая огромными неразработанными природными богатствами. Соединенные Штаты могли бы найти здесь и сырье и рынок сбыта — сначала для машин, а потом и для промышленных товаров. Россия же прежде всего нуждается в американской технике и технологии, американских инженерах и специалистах. Ленин взял со стола номер журнала «Сайентифик американ».

— Взгляните,— говорил он, быстро перелистывая страницы,— вот чего достиг ваш народ. Вот что значит прогресс: строительство, изобретения, машины, механизация, облегчающая человеческий труд. Россия сейчас похожа на вашу страну во времена первых поселенцев. Мы нуждаемся в знаниях и энтузиазме, которые сделали Америку такой, какова она сегодня.

Наш разговор несколько раз прерывался секретарями, приносившими документы. Ленин жестом просил их не мешать нам.

— Вы ездили по России? — внезапно спросил он.

Я ответил, что только что провел около месяца на Урале и в голодных районах.

Лицо Ленина изменилось. Оживление и заинтересованность в его глазах уступили место глубокой печали. И тут я понял, какое бремя лежит на плечах этого человека.

— Да,— медленно произнес он,— голод... Я слышал, вы хотите поработать в медицинском центре помощи голодающим... Да... Это хорошее и очень нужное дело. Но... врачей у нас достаточно, а вот американские бизнесмены, способные делать то, что делаете вы, очень нужны. Отправка нам судов с зерном — это спасение для множества людей, мужчин, женщин, детей, которые без вашей помощи погибли бы этой зимой. И к их благодарности я присоединяю и свое скромное «спасибо» от имени нашего правительства.

Ленин неожиданно замолчал, очевидно борясь с волнением.

— Что нам действительно нужно,— его голос зазвучал громче, а глаза оживились,— так это американский капитал и техническая помощь, чтобы вновь завертелись колеса нашей экономики.

Я сказал, что после поездки по Уралу у меня создалось впечатление, что в стране нет недостатка в сырье и рабочей силе. Многие заводы оказались в гораздо лучшем состоянии, чем я ожидал.

Ленин кивнул.

— Совершенно верно. Гражданская война все застопорила, и теперь надо начинать сначала. Новая экономическая политика стимулирует развитие экономики. Мы надеемся ускорить этот процесс, предоставляя промышленные и торговые концессии иностранцам. Это открывает огромные возможности для Соединенных Штатов. Думали ли вы об этом?

Я рассказал, что один из моих попутчиков, горный инженер, обратил мое внимание на асбестовые рудники в Алапаевске, у которых, судя по всему, большое будущее. И добавил, что не считаю возможным занимать время Ленина личными делами.

Ленин остановил меня:

— Напротив. Кто-то же должен сделать первый шаг. Почему бы вам самому не взять эту асбестовую концессию?

Я был просто потрясен, ведь речь шла — ни больше ни меньше — об историческом предложении, я это понял сразу. В то же время я не мог поверить в реальную возможность его осуществления. Судя по моему недавнему опыту, одни лишь предварительные переговоры о такого рода сделке могли затянуться на месяцы. Что-то в этом роде я и ответил.

Ленин среагировал мгновенно:

— Бюрократия — одно из наших проклятий,— сказал он.— Я постоянно это повторяю. Вот что: я поручу это дело специальной комиссии из двух человек — представителей Рабоче-крестьянской инспекции и Всероссийской чрезвычайной комиссии «Чека»,— чтобы они оказывали вам всю необходимую помощь. Можете быть уверены, они будут действовать без промедления. Мы тотчас же организуем это.

Так в моем присутствии было положено начало организации, которая впоследствии выросла в Концессионную комиссию Советского Союза.

— Проведите с ними переговоры,— быстро продолжал Ленин,— а когда достигнете предварительного соглашения, дайте мне знать. Мы понимаем, что концессионерам должны быть созданы условия, при которых они смогут получать прибыль. Бизнесмены не филантропы, они наверняка сочли бы глупостью вкладывать свой капитал в России без уверенности в получении прибыли.

Я сказал Ленину, что опасаюсь трений с профсоюзами, ведь они привыкли смотреть на капиталиста как на врага.

— Наши рабочие будут рады получить работу и хорошую зарплату,— быстро ответил Ленин.— С их стороны было бы неразумно рубить сук, на котором сидишь. Хотя наше правительство не может приказывать профсоюзам, все же, как правительство рабочих, мы обладаем достаточным влиянием, чтобы обеспечить полное выполнение условий коллективных договоров с вами. Но самое главное: вам необходимо хорошо знать наше трудовое законодательство. Если вы будете его соблюдать, то встретите полную поддержку правительства.

В заключение он добавил:

— О частностях не беспокойтесь. Я позабочусь, чтобы вам не чинили препятствий. Если что-нибудь понадобится, пишите прямо мне. Когда составите проект контракта, мы без промедления одобрим его в Совете Народных Комис-

саров. Как вы знаете, наши решения имеют вес.— И он снова сделал правой рукой энергичный рубящий жест.— Если понадобится, я даже не буду ждать заседания Совета. Такой вопрос можно легко решить просто по телефону.

Ленин сдержал слово. В немыслимо короткий срок я стал первым американским концессионером, и мне предстояло приступить к восстановлению отрасли промышленности, о которой я не имел ни малейшего понятия.

Вспоминая эту давнюю незабываемую встречу, я постарался осознать, что же в то время поразило меня больше всего. Пожалуй, следующее. Еще до того, как я вошел в кабинет Ленина, меня потрясало благоговение, с каким относились к Ленину его соратники, и я ожидал увидеть супермена, необыкновенного человека, соблюдающего дистанцию между собой и простыми смертными.

В действительности все оказалось иным. Я разговаривал словно с чутким, все понимающим другом. Заразительный смех Ленина, простая, ясная речь, его искренность и естественность создавали атмосферу полной непринужденности.

Ленина кое-кто называл безжалостным и фанатичным, жестоким и холодным. Я отказываюсь этому верить. Неотразимое человеческое обаяние, живое внимание к людям, полное отсутствие самовлюбленности или самомнения — вот что помогло ему достичь величия и объединить своих соратников.

## Первые сделки

Я ясно понимал, что разговор с Лениным изменяет течение моей жизни и открывает передо мной новые горизонты. Такое бывает очень редко. Обычно кардинальные изменения происходят незаметно и важность решающего момента осознается нами только впоследствии.

При поддержке Ленина мне открывалась возможность создавать в России новые предприятия. Мои прошлые успехи в сфере предпринимательства не шли ни в какое сравнение с тем, чего я могу добиться здесь. Я ни минуты не сомневался, что должен воспользоваться этой возможностью, к каким бы последствиям это ни привело. Очевидно, начало моей медицинской карьеры откладывалось на неопределенный срок, я должен был отказаться от ординатуры в Бельвю. Я немедленно написал в Колумбийский университет, объяснил, что произошло, и принес свои извинения.

Если бы я не представлял до сих пор, что значил Ленин для Советской России, то осознал бы это на следующий день после встречи с ним.

Как обычно, утром я отправился в Наркомат иностранных дел и в разговоре пожаловался на свою жизнь в «отеле» «Савой», которая день ото дня становилась все несноснее. На этот раз Вайнштейн принял мои слова ближе к сердцу.

— Дорогой доктор Хаммер! — воскликнул он.— Что же вы нам раньше не сказали? Я немедленно устрою вас куда-нибудь еще.

Он схватил телефонную трубку, и через полчаса я уже сидел со всем своим багажом в большом лимузине, направляясь в дом для гостей правительства, расположенный напротив Кремля на другом берегу Москвы-реки.

Москвичи называли этот особняк «Дворцом сахарного короля», так как раньше он принадлежал дельцу Харитоненко, человеку малообразованному, но чрезвычайно богатому — до революции его капитал, нажитый на переработке сахарной свеклы, составлял по слухам примерно четверть миллиарда долларов.

Обстановка в его доме была роскошной, но безвкусной. Стены были увешаны картинами, по большей части — просто мазней, но некоторые — особенно великолепный Коро — украсили бы любую галерею мира. Гордостью Харитоненко был громадный витраж над широкой дубовой лестницей и вестибюлем, отделанным дубовыми панелями, где рыцарские доспехи и чучело огромного медведя нелепо соседствовали с современной японской бронзовой скульптурной группой, невероятно уродливой и гротескной. После революции правительство сохранило особняк для приема иностранцев, и его обстановка осталась нетронутой. Сегодня здесь резиденция посла Великобритании.

Впрочем, у меня не было особого желания критиковать эстетические вкусы бывшего владельца. Ведь я попал в его особняк из кишевшего крысами номера в гостинице без услуг, буфета или ресторана, где постояльцу полагался только чайник горячей воды. И вот неожиданно я очутился в ослепительно чистых апартаментах с ванной, где из кранов действительно текла холодная и горячая вода и, о чудо из чудес, большой удобной кроватью с настоящими простынями и одеялами. Был здесь и внимательный обслуживающий персонал, и великолепная кухня, а при желании и бутылка старого французского вина из богатого погреба. Мне казалось, что я грежу. Вот какое магическое действие оказало имя Ленина и мое новое положение потенциального концессионера.

Я принял ванну, которая показалась мне самой приятной из всех принятых мной в жизни ванн (и, безусловно, была самой необходимой), прекрасно пообедал и возвратился в Наркоминдел справиться о визе для европейского представителя нашей фирмы Бориса Мишелла, который, проводив меня в Москву, вернулся из Риги в Берлин и терпеливо ждал от меня известий. «Виза будет послана телеграфом немедленно»,— заверили меня.

После приезда Мишелла мы ежедневно проводили совещания с представителями различных учреждений по вопросам, связанным с концессией. Русские с готовностью шли нам навстречу, но как раз перед подписанием окончательного текста соглашения я как-то упомянул о предложении Ленина обращаться прямо к нему, если мне понадобится помощь.

— Что? — воскликнул Мишелл.— Он так и сказал?

— Да,— ответил я,— но думаю, помощь нам не понадобится.

— Черта с два не понадобится,— сказал Мишелл, торопливо вставляя лист бумаги в пишущую машинку.— Мне на ум приходит тысяча вещей. Вот послушайте. Прежде всего, как насчет помещения? Насколько мне известно, до сих пор об этом еще не было речи. И потом, вопрос транспорта. Думали ли вы о том, как мы будем добираться до Урала?

И мы набросали докладную, озаглавив ее «Поправки к концессионному соглашению по разработке асбестовых месторождений», в которую включили пункты о предоставлении нам конторских и складских помещений, виз, телеграфной связи и железнодорожного транспорта.

— Это, пожалуй, все,— сказал Мишелл. Мы позвонили в канцелярию Ленина, и через десять минут на велосипеде прибыл курьер, чтобы забрать этот наспех составленный документ, которому предстояло сыграть важную роль в нашей деятельности в Советской России.

Когда концессионное соглашение было наконец подписано, к нему были приложены наши поправки. Глава Советского правительства не изменил и не добавил ни слова. Документ получил его полное одобрение и оказался бесценным для нас.

Теперь, когда контракт подписан, надо было найти подходящее помещение для работы. В то время в Москве пустовало множество учреждений. Вооруженные концессионным соглашением, мы с Мишеллом пошли в Мосгоржилотдел, который выразил готовность помочь и тут же отправил нас осмотреть несколько зданий в сопровождении одного из своих сотрудников. Тот сразу же привел нас к облицованному мрамором величественному четырехэтажному дому в центре Москвы, в котором раньше располагался солидный банк.

— Ну как, подходит? — спросил наш сопровождающий.— Дом в хорошем состоянии, хотя его, наверное, будет трудно отапливать. Но думаю, мы сможем это организовать. Надеюсь, места здесь вам хватит.

— Как,— удивленно спросил я,— все здание? А сколько это будет стоить?

— Не очень много,— ответил он с улыбкой и назвал сумму, соответствовавшую примерно 30 долларам в месяц — в то время пустовало столько помещений, что власти были рады сдать их хотя бы просто для того, чтобы они не разрушались дальше.

Но я сказал, что для нас этот дом слишком велик, и в конце концов выбрал себе подходящее помещение на первом этаже другого здания в центре, на Кузнецком мосту, в доме номер 4, принадлежавшем до революции придворному ювелиру Карлу Фаберже. Кажется, мы платили за него около двенадцати долларов в месяц. Позже, когда нам потребовалась дополнительная площадь, мы на самых выгодных условиях обменяли свою контору на другое, более просторное помещение около гостиницы «Савой».

*(Окончание следует)*

## Советская литература за рубежом

**ФИНЛЯНДИЯ**

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «СН-кирьят».
Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Белка». Издательство «Тамми».
Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Другая жизнь». Издательство «Гуммерус».

**ФРАНЦИЯ**

Сборник стихотворений АННЫ АХМАТОВОЙ «Вечер». Издательство «Нуво коммерс».
Сборник рассказов МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Я убил» Издательство «Пикье».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Галлимар».
Поэмы МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Декуверт».

**ФРГ**

Роман ВАСИЛИЯ БЕЛОВА «Кануны». Издательство «Зуркамп».
Пьеса ВЛАДИМИРА ГУБАРЕВА «Саркофаг». Издательство «Драй маскен».
Роман ИЛЬИ ИЛЬФА и ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА «Двенадцать стульев». Издательство «Фишер».
Роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «Как закалялась сталь». Издательство «Вельткрайс».
Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Обмен». Издательство «Пипер».
Автобиографическая проза МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Зуркамп».

**ЧЕХОСЛОВАКИЯ**

Роман МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА «Драчуны». Издательство «Правда».
Сборник ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Поиск истины». Издательство «Младе фронта».
Сборник стихов ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО «Мой Гамлет». Издательство «Словенски списователь».
Повести МАКСИМА ГОРЬКОГО «Детство. В людях. Мои университеты». Издательство «Татран».
Повесть-сказка ГАЛИНЫ ДЕМЫКИНОЙ «Потерялась девочка». Издательство «Младе лета».
Роман ИОНА ДРУЦЭ «Белая церковь». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Роксолана». То же издательство.
«Юношеский роман» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «Словенски списователь».
Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Приказано выжить». Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть ВЛАДИМИРА ЧИВИЛИХИНА «Елки-моталки». Издательство «Альбатрос».
Повесть МИХАИЛА ЧУЛАКИ «Вечный хлеб». Издательство «Татран».

Н. ДМИТРИЕВА

# ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

## Судьбы искусства: век XIX, век XX

Последующее развитие искусства XX века внесло значительные коррективы в концепцию «дегуманизации». В том смысле, как излагал ее ранний теоретик авангарда, она состоялась лишь частично. Полностью изолировать себя от человеческих проблем искусство не могло. Можно отказаться от доминанты нравственных идеалов — и это произошло. Можно отказаться изображать вещи «как они есть» — это тоже произошло. Наконец, можно выразить вотум недоверия разуму; в этом отношении характерные симптомы нового искусства вернее было бы назвать дерационализацией. Но человеческое начало неистребимо. Теперь оно проявилось в стремлении «познать самого себя» — иными способами и с другого конца, чем в искусстве XIX века. Если постараться понять внутреннюю логику спора нового века с предшествующим, быть может, окажется, что здесь имел место не просто разрыв, но и обращение заново к тем проблемам, перед которыми XIX век остановился.

То, прошлое, искусство имело своей сверхзадачей внести в мир высокие нравственные идеалы. Мир их не принял. Может быть, он и понял их умом и даже проникся сочувствием к ним, но они не стали двигателем человеческих действий; почему? Ответ наиболее простой: потому что тому препятствовала система общественных отношений. И действительно, «левые» художники Запада, как правило, горячо сочувствовали революционному перевороту в России, а русские «левые» безоговорочно приняли новый строй и выразили готовность служить ему своим искусством. Но их «дегуманизированные» методы затрудняли серьезное и глубокое участие в строительстве новой жизни, оно оставалось на плакатно-лозунговом уровне.

Поставленный вопрос мог иметь и другие предположительные ответы. Не потому ли идеалы свободы, равенства и братства, воодушевлявшие культуру XIX столетия, не смогли радикально усовершенствовать нравственное состояние буржуазного общества, что этим идеалам исподволь противится сама человеческая натура в своих первородных импульсах, которые, быть может, сильнее вторичных пластов, созданных цивилизацией? Не есть ли вся человеческая цивилизация лишь тонкая пленка, под которой шевелится стихия хаоса, готовая вырваться из-под контроля, и не она ли составляет подлинную сущность человеческого бытия? Не правят ли поведением людей эти подспудные силы, которых художники XIX века как бы не желали замечать, продолжая «сеять разумное, доброе, вечное», от которого, как показала мировая война, так мало проку?

Впрочем, нельзя сказать, что проблема эта не вставала и раньше. Лучше других видел ее Достоевский, главный пропагандист гуманных идеалов века, но он же и «адвокат дьявола», беспощадно додумывавший до конца всякую искусительную мысль. В «Записках из подполья» герой говорит: «... от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже наверно хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде». Ход рассуждений подпольного парадоксалиста таков: ну, допустим, устроится благополучное, благоразумное общество, всем выгодное,— а что, если я (человек) вовсе и не хочу такого общества? Может быть, мне скучно благоразумие и выгода, а мне нравится булавки втыкать в грудь своего ближнего, да и от собственных страданий я могу «получать наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия». «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка!»

Вопрос-вызов, поставленный с пронзительной прямотой, словно бы обращенный через голову современников к людям XX века. Современники только вяло посетовали на «нравственное растление и душевную слабость» парадоксалиста, как будто бы он был какой-то единичной аномалией. Зато потомки откликнулись целой серией экспериментов с душевным подпольем.

Окончание. Начало см. в № 1.

Исследованием подсознательного занялась психология, начиная с Фрейда и Юнга. Новейшая философия признала, что природа жизни не может быть постигнута одним логическим умозрением (философия интуитивизма Бергсона). Искусство новейшее эволюционировало к включению подсознания в творческий процесс, углубляясь в то изначальное, что лежит под привитыми правилами поведения и предписаниями разума.

Искусство XIX века также никогда не было умозрительным, интуиция играла в нем роль громадную, но оно рассматривало человека во всех его измерениях, как существо, сформированное и природой, и социальными условиями, и культурой — в совокупности всех этих слагаемых, при акценте на «дневную», социально детерминированную сторону. Теперь центр внимания переключается на «ночные» стороны человеческого существа. Хотят вывести их на свет божий, вылущить ядро, таящееся глубоко внутри, стыдливо маскируемое, всячески табуированное. Если опять воспользоваться метафорой Ортеги-и-Гассета, искусство и на этом этапе остается окном, через которое смотрят, только смотрят не изнутри наружу, а извне вовнутрь, в помещение, погруженное в потемки, где разглядеть что-либо трудно и надо приспосабливать зрение к темноте.

Нельзя не признать: это серьезная задача. Вопрос в том, насколько искусство XX века с ней справилось и не слишком ли дорогую цену заплатило.

Так или иначе, она составляет главный нерв новаций, произведенных западноевропейским искусством в нашу эпоху, в том числе тем искусством, которое принято называть модернистским.[1] Оно непрерывно и лихорадочно перестраивалось: сменяли друг друга и существовали параллельно супрематизм, абстракционизм, сюрреализм, абсурдизм, поп-арт, «поток сознания», «новый роман», заумная речь, конкретная музыка, театр жестокости, фильмы кошмаров, хэппенинги и так далее — всего и не перечислить. Конечно, эти разнообразные течения возникали не ради или не только ради погружения в стихию подсознательного, они выдвигали программы, претендующие на нечто иное. Например, на создание «чистого искусства» или искусства, созвучного веку науки и техники, или, напротив, означающего бегство от техницизма, или на создание «новой реальности», или на мистическое постижение «сверхреальности»; на интеграцию с действительностью или на ее непримиримое отрицание. Различались и политические платформы: многие из художественных течений века полагали себя революционными или анархистскими, другие — аполитичными, стоящими вне идеологии. Одни склонялись к спиритуализму и метафизике, другие декларировали свой полнейший материализм и отказ от всякой трансцендентности. Наконец, велика амплитуда колебаний в принципах изобразительности: от нефигуративной живописи и «самовитого слова» до иллюзионистского копирования предметов (в поп-арте и «гиперреализме») и скрупулезных описаний в «новом романе».

При всем разнобое в приемах нового искусства их объединяет влечение к внепонятийным состояниям человеческой психики, жажда испробовать их потаенные возможности. Об этом свидетельствует влиятельность и стойкость сюрреализма, где подобные задачи открыто ставились во главу угла, почти совпадая с методами психоанализа: автоматическое письмо, стенография снов, запечатление галлюцинаций, свободное ассоциирование. «Наша задача — все яснее увидеть то, что без ведома человека ткется в глубинах его души» (А. Бретон)[2]. Несмотря на малую художественную значимость сюрреалистских опытов в литературе, театре и живописи, несмотря на то, что все талантливые поэты, входившие в кружок Андре Бретона, вскоре порвали с сюрреализмом,— эманации его распространялись широко и длительно. Абстракционизм, а тем более абстрактный экспрессионизм в живописи, представляет, в сущности, его разновидность: он так же основан на автоматическом «жесте»; искусство ассамбляжа ведет свою родословную от сюрреалистских конструкций, соединяющих несоединимые предметы; ими же вдохновлялся поп-арт. Непредсказуемость, незаданность «самозарождающегося письма», пропагандируемого в 50-х годах теоретиками «Тель кель»,— также сюрреалистический принцип. Путешествия в «трущобы сердца, смутные миры» предпринимаются — на разных художественных уровнях — кинематографом. Сюрреализм, понимаемый достаточно широко (вернее было бы называть его субреализмом), можно считать полномочным представителем модернистских течений XX века.

Их существенный общий признак — экспериментальность. Черта, несомненно, новая. Никому бы не пришло в голову говорить об «эксперименте романтизма» или «эксперименте реализма», имея в виду прежние художественные направления, но в наше время широко употребительны выражения «экспериментальный театр», «экспериментальный роман», «эксперименты сюрреалистов». Это действительно се-

[1] Термин «модернизм» совершенно условен: он не содержит никакого указания на специфику обозначаемого явления и к тому же имеет тот недостаток, что совпадает с названием стиля рубежа веков — «модерн», с которым у течений XX века очень мало общего. Но еще менее приемлемы другие: «авангардизм», «формализм». Называть авангардными уместно только такие явления, которые новы на сегодняшний день, а не те, которые, подобно абстракционизму, уже стали достоянием прошлого. Формализмом, в точном смысле слова, именуется культ окостеневшей схемы, тогда как для течений XX века скорее типичен культ нового; если же понимать под формализмом усиленное внимание к форме в ущерб содержанию, то и это неточно — форма, уже по определению, есть реализация какого-то содержания. Поэтому будем пользоваться термином «модернизм» за неимением лучшего.

[2] Цит. по кн.: Л. Г. Андреев. Сюрреализм. М., 1972, с. 25.

рии жестоких опытов, которые сознание производит над самим собой.

Такого рода самоиспытания и самоистязания духа, по-видимому, не являются только следствиями «разложения буржуазии» в империалистическую эпоху или причудами вкуса интеллигентов, соскучившихся в пресном обществе потребления. Хотя и эти факторы играют свою роль, сообщая порой зловещую и смешную окраску эскападам модернизма. Но к ним все не сводится. Есть, очевидно, исторически назревшая потребность в том, чтобы человек, как родовое существо, отдал себе отчет не только в своих сознательных побуждениях, но и в «подпольных», ускользающих от контроля разума, чтобы он их прозондировал и понял, чего от них можно ожидать. Не закономерна ли такая потребность именно в ядерную эру? «Если мои представления верны, — говорит знаменитый физик Макс Борн,— то судьба рода человеческого неизбежно связана со спецификой самого человека, а он представляет собой такое создание, в котором перемешаны животные инстинкты с интеллектуальной мощью» [3]. Просто закрыть глаза на таящиеся в человеческой природе разрушительные потенции, указанные еще Достоевским, — значит занять позицию страуса.

Человеческое самопознание должно пройти стадию беспощадности к себе. Здесь, однако, возникают серьезные сомнения. Во-первых — является ли это делом искусства? Не самоуничтожается ли оно, погружаясь в стихию подсознательного? Во-вторых — возможно ли познать эту стихию, пребывая внутри нее, а не с верхних этажей многослойной человеческой психики? И в-третьих — как отзываются подобные опыты на состоянии общественного сознания; другими словами: какого рода воздействие оказывает экспериментирующее искусство на воспринимающих его людей, на общество в целом.

Первые два вопроса, кажется, уже предрешают ответы — утвердительный на первый и отрицательный на второй. Искусству не запрещено заглядывать в заповедные глубины. Оно само им сродни, так как движимо интуицией. Но интуиция, светлая сестра темного инстинкта, работает в содружестве с разумом, является скорее сверхсознательным, чем подсознательным началом; она одна способна справиться со своим буйствующим родичем — как маленькая девочка укрощает Минотавра в известной графической сюите Пикассо. Без нее Минотавр неистов и разрушителен — или слеп и беспомощен. Отсюда следует, что искусство может (а иногда и должно) спускаться в логово Минотавра, держа в руке свечу. Горе ему, если оно само отождествляется с монстром подземных недр. Тогда оно губит прежде всего себя — перестает быть творческой силой: Минотавр не способен к творчеству. Это и происходит с наиболее «радикальными» течениями модернизма, на наших глазах заходящими в мертвый тупик.

Душевная жизнь человека не менее сложна, чем устройство материального микромира, изучаемого современной наукой. Как известно, науку на этом пути подстерегают большие опасности: выпущенный из бутылки джинн может натворить непоправимых бед. Современное искусство, имеющее дело с микромиром души, находится в столь же трудной ситуации: ему грозит самоотравление и — что еще хуже — отравление общественного сознания. Перед ним стоит альтернатива. Либо оно, проникая в потаенные импульсы человеческого поведения, в том числе творческого процесса, отдается им во власть и пытается, сколь возможно, избежать сознательного вмешательства в творческий акт. Либо оно исследует их со свечой в руке, то есть моделирует работу различных пластов сознания и подсознания, не покидая позиции наблюдающего, судящего и упорядочивающего интеллекта.

В первом случае возникают «сюрреалистические объекты». Это и глоссолалия в литературе, и иррациональная живопись и скульптура (абстрактная или фигуративная — в данном случае несущественно), и апеллирующие к инстинктам действа в театре и кино, и примитивно-ритмическая музыка, погружающая в транс. Если такие произведения являются не симуляцией стихийного, спонтанного творчества — что бывает очень часто, — а действительно его продуктом, они представляют интерес главным образом для психологии. Как эта наука исследует сновидения, детские воспоминания, грезы наркоманов и прочее, так же предметом ее внимания могут быть «Растворимая рыба» Бретона, полотна Сальвадора Дали, Ива Танги, Поллока. Но элемент предумышленности в таких вещах все же слишком велик в отличие от сновидений и грез, поэтому и психологическая их ценность относительна. Карл Юнг считал более благодарным материалом для исследования те произведения, где авторский замысел чужд психологических претензий. Там «подсознательное» проявление непроизвольно; если же оно прокламируется самим автором, то претендует на самообъяснение. Однако объяснять все равно приходится с помощью словесной интерпретации; отсюда — обрастание сюрреалистической и вообще модернистской практики густыми зарослями теорий, призванных ее объяснять, оправдывать, истолковывать. Опыты чистого самовыражения неизбежно перемещаются из сферы искусства в область психологического экспериментирования. Последнее, быть может, небесполезно, но плодов художественного творчества заменить не может. Надо бы почаще вспоминать «простую истину», завещанную Блоком: «Не следует давать имя искусства тому, что называется не так» [4].

Но даже те, чье «искусство» заключается в разбивании молотком рояля или других предметов на глазах у публики, почему-то продолжают называть его так. Действует обман «чистого», дегуманизированного искусства. Как постепенно выясняется, искусство полностью чистое, то есть отказавшееся от служения каким-либо вне его лежащим целям, становится чем угодно, только не искусством. Как бы ни изменялся характер художественной деятельности на

[3] Макс Борн. Моя жизнь и взгляды. М., 1973, с. 45.

[4] А. А. Блок. Собр. соч. М.— Л., 1962, т. 6, с. 168.

протяжении многих столетий, она всегда преследовала «человеческие» цели, будь они культовыми, религиозными, познавательными, воспитательными, коммуникативными, наконец утилитарными. Искусство, не имеющее внеположенных ему назначений, есть чистое ничто. Мысль о нем могла возникнуть в новое время, когда культура обособилась от культа. Однако и тогда искусство осталось служением: в XIX веке оно служило задачам нравственного совершенствования людей. И только в XX веке оно возомнило, что может существовать «в себе и для себя». Между тем эстетические и пластические качества перестают быть таковыми, когда не соотнесены ни с чем, кроме самих себя. Установка на их изоляцию приводит к самоопустошению. В этом смысле не только черный квадрат Малевича, честного искателя нехоженых путей, но и чистые холсты, на которых ничего не написано и которые тем не менее висят в выставочных залах, являются действительно последним и заключительным словом чистого искусства. У него поистине «ироническая судьба», как озаглавил один из разделов своего трактата Ортега-и-Гассет.

Он, однако, предполагал, что, отказавшись «нести на себе груз нашей жизни», искусство станет, подобно спорту, праздничной игрой витальных сил, будет нести развлечение и наслаждение. Это не сбылось. Искусство, по крайней мере «элитарное», в своих крайних модернистских вариантах, угрюмо и флегматично.

Надо сказать, пластические искусства более других пострадали от дегуманизации. Быть может потому, что здесь особенно велико искушение создавать «вещи в себе», пополняющие репертуар уже известных предметов. Искусства временные, представляющие собой некий процесс, протекающий во времени, не являются «предметами», а, так или иначе, моделируют человеческое поведение — хотя бы и поведение минотавра, гнездящегося в недрах души.

Литература, как искусство слова, наименее склонна отождествляться с Минотавром — ведь он существо довербальное. Она тяготеет к союзу интуиции с логосом. Возможно, не будет преувеличением сказать, что лучшие художественные достижения XX столетия принадлежат литературе (а также кинематографу, о чем несколько позже). В литературе крайние модернистские методы не получили большого распространения: автоматическое письмо осталось не более чем курьезом, «новый роман» не вышел из стадии лабораторных опытов, абсурдизм укоренился в театре. Слово — носитель мысли; ему не удавалось стать чем-либо другим, и даже в абсурдистской драматургии Ионеско и Беккета содержатся ясно читаемые мысли о бесперспективности бытия, налицо философская концепция.

В нашем литературоведении высказывалось мнение, что «современная литература в ее ведущих произведениях и именах остается реалистической»[5]. В самом деле, назвать ли Томаса Манна, Генриха Манна, Хемингуэя, Фолкнера, Грэма Грина, Моравиа, Мориака, Уайлдера, Голдинга, Брехта, да и многих других — все эти выдающиеся писатели анализировали поведение и структуру личности, не только не отрешаясь от понятийного мышления, но распространяя анализ на социальное бытие, создавая многомерную панораму. Таким образом, традиции XIX века именно в литературе, преимущественно в прозе, сохраняли жизненность. Большая литература не приняла принципа дегуманизации: она продолжала отстаивать человеческие ценности, как это делала большая литература XIX века. Вот завет Фолкнера: «Если писатель вообще к чему-нибудь призван — так это сделать хоть немного лучшим тот мир, который застал, сделать все, что он может, всеми известными ему средствами, чтобы освободиться от зла... это его задача. И не только описанием приятных вещей, он должен открыть истоки — указать на зло, которое способен совершить человек, и ненавидеть себя за это, и потом все-таки восторжествовать, выстоять, выдержать и всегда верить, что он может быть лучшим, чем он есть, и лучшим, чем он, может быть, будет на самом деле»[6].

С первого прочтения кажется, что это кредо Фолкнера близко совпадает с гуманистическими идеалами прошлого столетия. Да, оно близко им, но появляются другие акценты, другие оттенки. «Открыть истоки зла» — открыть их не только и не столько во внешних условиях существования человека, сколько в нем самом, в природе его: вот новый акцент, поставленный европейской и американской литературой XX века. В этом же русле движется мысль Томаса Манна, когда он говорит о «прорыве к новому гуманизму», качественно иному, чем «добрый старый гуманизм» Серенуса Цейтблома (от лица которого ведется повествование в «Докторе Фаустусе»). Достоевский — один из немногих, едва ли не единственный, кто, уже в середине прошлого столетия, предвосхитил проблемы душевного подполья, вставшие вплотную перед художниками XX века, чем и объясняется необычайный рост его влияния в наши дни.

Можно, конечно, считать реалистами Фолкнера, Хемингуэя, Бёлля. А как быть с Кафкой? Реализм — тоже достаточно условный, поневоле упрощающий термин, как и все другие термины; во всяком случае, его содержание исторически изменчиво. Если соотносить понятие реализма с определенным литературным направлением середины XIX века, то надо признать, что современный реализм сильно от него отличается, даже если продолжает изображать жизнь «в формах самой жизни», а не в форме сновидений, подобно Кафке. Как уже сказано, переместились акценты, а значит, видоизменились методы. Здесь снова надо отдать должное проницательности Ортеги-и-Гассета: тот перевес «идей о вещах», «схем вещей» над самими вещами, каковы они есть в действительной жизни, о котором говорил Ортега в своей ранней работе (приводя в пример пьесу Пиранделло «Шесть персонажей в поисках авто-

[5] П. В. Палиевский. Литература и теория. М., 1979, с. 217.

[6] Там же, с. 252.

ра»);— такой перевес действительно имеет место в новейшей литературе. И это можно понять: ведь если задача самопознания человека, как родового существа, выходит на первый план, то общие «идеи», «структуры», «схемы» его психики и поведения становятся важнее для художника, чем объемная жизненная конкретность личности. Четко очерченные характеры, которые бы стояли перед мысленным взором читателя «как живые», в современной литературе можно встретить редко; «бальзаковских» обстоятельных характеристик, описаний внешности, обстановки не найти, а если и есть описания, даже очень подробные, как, например, в «Иосифе и его братьях» Манна, то они имеют какую-то иную цель, не «уточняют» образ, а, скорее, размывают его, погружая в некую ауру.

Замена живых личностей типологическими структурами выглядела бы сухо и скучно, если бы авторы полагали эти структуры чем-то определенным, неизменным и детерминированным. Но этого нет: перед нами миры, исполненные неожиданностей, противоречий, в них надо пробираться ощупью, открывая неизвестное в человеческой натуре, в ее потаенных пластах. В человеке живут латентные возможности, делающие его поведение непредсказуемым; они могут быть и ниже и выше его «ролевой» функции. На них сосредоточен интерес современной литературы.

Экспериментальность присутствует и здесь. Герой действует не столько в обычных для его образа жизни условиях, сколько в экстремальных ситуациях, или в искусственно созданных автором, житейски мало правдоподобных, или вовсе невозможных; как он поведет себя тогда? Что будет, если он получит возможность вернуть прошлое и переиграть партию своей жизни заново? Что почувствует скромный, исполнительный служащий, внезапно превращенный в насекомое? Какие инстинкты проснутся в детях, оставленных на необитаемом острове? Не захотят ли добропорядочные, законопослушные жители городка смерти одного из них, если эта смерть поднимет их благосостояние? Сохранит ли свою доброту и отзывчивость бедная женщина, если станет богатой? И так далее.

Большой набор гипотетических ситуаций и матриц человеческого поведения дают древние мифы; излюбленным приемом новейшей литературы становятся причудливые контаминации современности и мифологии; в поступках и мыслях современных людей вскрываются «комплексы» (понятие, ставшее уже расхожим) Эдипа, Одиссея, Сизифа, Антигоны, Ореста, Прометея, Хирона. Притчи, параболы, иносказания используются широко, но в отличие от традиционного жанра притчи не заключают в себе однозначного дидактического вывода, заканчиваясь как бы вопросительным знаком, оставляя поле для различных интерпретаций.

Но и там, где нет экспериментальных конструкций, иносказаний, мифотворчества, где жизнь описывается, казалось бы, «в формах самой жизни» (постольку, поскольку это вообще возможно) — и там повышенная пытливость в исследовании «тайного тайных» имеет своим следствием новую, сравнительно с XIX веком, стилистику. Сюда относится пристрастие к «потоку сознания», к внутреннему монологу, в котором выражается многосоставность, мозаичность человеческого сознания; сопоставление различных реакций и точек зрения на одни и те же события; особый интерес к патологическим состояниям психики, уклонениям от «нормы», парадоксам поведения; попытки разобраться и з н у т р и (а не от лица все знающего и все понимающего автора-наблюдателя) в состояниях агрессивности, страха, подавленности, стадности, изолированности, вообще в «шуме и ярости» нынешнего мира.

Можно считать симптоматичным и повсеместное стремление к «рассекречиванию» творческого процесса: писатели пишут о том, как они пишут, актеры играют актеров, режиссер снимает фильм о режиссере, показывается, как художник пишет свои картины, как репетируют спектакль. Ведь творчество само принадлежит к загадочным свойствам человеческой натуры, и свою жажду самопознания творящий человек обращает и на эту свою удивительную способность. Может быть, такое самопрепарирование нецеломудренно и разрушает прекрасную иллюзию «созданного» как спонтанно возникшего — но это уже другой вопрос; как бы ни было, «обнажение приема» и демонстрирование процесса отвечают духу современной культурной эпохи.

Мы говорили о литературе, продолжающей на новом историческом витке гуманистическую традицию прошлого века. Имманентно присущая искусству слова интеллектуальность создала защитный заслон от напора «сюрреалистической» стихии, исключающей гуманистические цели. Вместе с тем «новый гуманизм» не закрывает глаза на действие подсознательных сил, которые соучаствуют и в творчестве. Знаменитый кинорежиссер Федерико Феллини говорит (ссылаясь на эссе Ноймана, но вольно передавая мысли этого автора): «Творческой можно считать такую личность, которая стоит на грани между утешительными, удобными для нас канонами сознательной культуры и бессознательным — первозданной магмой, мраком, ночью, морскими глубинами. Эта особенность, такое вот промежуточное состояние, и делает человека творческой личностью. Он живет, утверждается, существует в этой пограничной полосе, чтобы осуществлять некую трансформацию — символ жизни...»[7]

Возможно, это определение не универсально, но оно справедливо как для самого Феллини, так и для многих больших художников и писателей XX века. Они лавируют между алгеброй интеллекта и магмой сновидений, соединяя, сливая, поверяя одно другим. Возводится нечто подобное готической архитектуре, одновременно конструктивной и фантастической. Такой путь, изобилующий опасными альтернативами, приводит в случае успеха к высоким художественным результатам. Но оказывается размытым то срединное пространство с его живительной теплотой, где пребывает конкретная социальная личность,

[7] Ф е д е р и к о  Ф е л л и н и. Делать фильм, «ИЛ», 1981, № 11, с. 231 — 232.

изображение которой составляло силу реализма XIX столетия. Приобретения сопровождаются утратами. Впрочем, то обстоятельство, что социальное бытие личности, жизнь «среднего человека», и в самой действительности утрачивает поэзию — стандартизуясь, механизируясь, уплощаясь,— делает понятным отход искусства от ее непосредственного воссоздания, переход к поискам истины на глубинных пластах.

В конце концов, именно художники такого типа, трансформирующие реальность в «символы жизни», дали самые весомые отклики на глобальные проблемы нашего века. То, о чем поведал Пикассо в «Гернике» с такой пророческой мощью, не заменимо никакими документальными и жизнеподобными картинами. И разве не содержатся глубокие и мудрые ответы на вопрос, некогда поставленный Достоевским, в сюите о Минотавре того же Пикассо и в «Репетиции оркестра» Феллини?

Такие имена, как Фолкнер, Пикассо, Феллини, не принадлежат ни «элитарной», ни «массовой» культуре — они вне и выше этих категорий. Но к сожалению, общий культурный климат XX столетия определяется не только вершинами, и даже не ими в первую очередь. Их сравнительно мало, они нелегки для восприятия, их влияние на общество слишком затруднено и опосредствованно, чтобы быть решающим. Между тем искусства — всякого и всевозможного — в современном мире много, как никогда.

Можно заметить одну странность. Если в XIX столетии всякое непривычное новшество встречалось публикой в штыки или раскалывало ее на враждующие лагери, то публика XX века спокойно приемлет все, ничему не удивляясь. Новаторы, как правило, не подвергаются гонениям, не прозябают в нищете: их произведения своим чередом появляются на выставках, продаются и покупаются. Маршаны и богатые коллекционеры делают ставку именно на новаторство, на «последнее слово». Они — та элита, которая, как и предсказывал Ортега-и-Гассет, составляет круг привилегированных потребителей нового искусства. Но движет элитой не любовь к искусству, как было у Дюран-Рюэля Мамонтова, Воллара, и не «аристократический инстинкт», а расчет и своеобразный биржевой азарт. Маршаны объединены в тресты, монополии: они создают художественные репутации, организуя громкие паблисити. Акции тех или иных элитарных течений взлетают и падают. Относительно же того, что «массы» будут реагировать на непонимаемое ими элитарное искусство «возмущенно и яростно», Ортега-и-Гассет ошибся. Массы проявляли к нему равнодушную терпимость. Оно их не удивляло (удивление быстро притупляется), не радовало и не возмущало — они просто были вне его. Оно их не касалось, по крайней мере до тех пор, пока само не пошло им навстречу — приблизительно в 60-е годы.

Массы, иными словами широкая демократическая аудитория,— это «средние слои»; удельный вес которых в капиталистическом обществе XX века сильно возрос: мелкая буржуазия, служащие, квалифицированные рабочие. Это по преимуществу городские жители; они грамотны, более или менее образованны, уровень их материального благосостояния в сравнении с прошлым повысился, они располагают относительно большим досугом и пользуются благами научно-технического прогресса. Какого-то своего «народного» искусства того типа, что в XIX веке существовало в крестьянской среде, у них, разумеется, быть не может. Еще в начале века предпринимавшиеся попытки создавать искусство специально «для народа» не имели успеха. (Ромен Роллан, рассказывая о Народном театре, приводил характерную реплику зрителя: «Сам ты «народ»! Я такой же буржуа, как и ты!..»)[8] А искусство авангарда не только не обращалось к широкой аудитории, но считало своей особой заслугой быть ею не понятым. Таким образом, громадное большинство населения оказывалось в положении «искусствооставленного». Однако у него были свои эстетические запросы, требовавшие удовлетворения. На них незамедлительно откликалась грандиозная индустрия массовой культуры. Массовой и по своей тиражности, и по числу потребителей. Кино, радио, а потом и телевидение, популярные журналы, дешевые «книги в бумажных обложках», комиксы, эстрада, пластинки — по этим каналам на публику низвергается ее мощный поток. Такие масштабы художественного производства не могли и во сне присниться людям XIX века, хотя и тогда, случалось, сетовали, что искусства развелось .чересчур много.

В течение многих лет именно массовая культура удовлетворяла исконную потребность в искусстве, не подвергшемся дегуманизации, то есть выражающем человеческие реалии и переживания, от которых искусство модернизма отреклось. Если толпа непосвященных по-прежнему жаждет «переживаний за судьбу Хуана и Марии», то к ее услугам тысячи кинофильмов, где нехитрая история Хуана и Марии варьируется на все лады. Сопереживайте сколько угодно, но не думайте, что это и есть настоящее искусство. И «это» в самом деле перестает быть искусством. Работники гигантской индустрии развлечений едва ли чувствуют себя художниками, им не до того, они озабочены тем, чтобы угодить массовым вкусам, которые заранее предполагаются низкими (поскольку широкая публика настоящего современного искусства не понимает). Действует обратная связь: широкой публике предлагаются клишированные изделия, понижающие ее вкусы, а понижение вкусов вызывает встречный поток изделий, еще более низменных, и так далее. В итоге массовая культура становится на большую долю царством китча — суррогатов искусства, призванных заполнить духовный вакуум «искусствооставленной» аудитории.

Эта культура, впрочем, не отгорожена непроницаемой стеной от элитарной, она испытывает ее влияние. Влияние «нонфигуративного» искусства сказывается наиболее

[8] Ромен Роллан. Собр. соч., т. 14., М., 1958, с. 228.

безобидно: его графические и цветовые построения через посредство реклам, афиш, промграфики становятся для «человека с улицы» примелькавшимися, чисто декоративными формулами. Они влияют на моды одежды, на декор, применяются для украшения быта. Более серьезным, менее внешним и гораздо более пагубным образом отозвались в массовом сознании искания сюрреализма и близких ему течений. То, что в этих течениях является квазихудожественным «экспериментом», то на уровне китча оборачивается уже вовсе не художественной демонстрацией насилий («триллеры») и примитивных вожделений («порнокитч»). При этом никаких аналитически-познавательных задач не ставится, исключаются раздумья о добре и зле, которые могли бы оправдать жестокие зрелища; единственная цель — развлечь публику, пощекотав ей нервы. Бесконечные кровопролития происходят в сфере разгулявшегося воображения; однако ненадежна грань, отделяющая воображение от действия.

Во втором манифесте сюрреалистов 1929 года, написанном Бретоном, есть такие слова: «Простейший сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьвером в руке выйти на улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу»[9]. Это, конечно, бравада из области фантазии: Бретон, кажется, никого не застрелил. Но через сорок лет бунтующие студенты писали на стенах университета: «Да здравствует сюрреализм» — а рядом: «Да здравствует насилие», «Все — дада», «Изобретайте новые половые извращения»[10]. Эти юноши и девушки черпали свои «революционные» призывы из сюрреалистических манифестов, а также из «триллеров» массовой культуры.

Усматривать прямую причинную связь между «фильмами ужасов» и угрожающим ростом преступности, в том числе немотивированных преступлений, было бы, по-видимому, упрощением. Нельзя полагать, что подросток, пересмотревший энное количество таких фильмов, обязательно становится потенциальным убийцей — так же как чтение романов Виктора Гюго и пристрастие к музыке Шопена совсем не обязательно делают человека высоконравственным. Впечатления от искусства, какого бы то ни было, составляют лишь небольшую долю от общей суммы воздействий, оказываемых на индивидуума условиями его реальной жизни. Но, принимая во внимание большой удельный вес «триллеров», малый — произведений другого типа, а главное — отказ и элитарного и массового искусства от гуманных целей, нужно признать, что связь все же есть. «Искусство-оставленное» общество не может не деградировать духовно. Деградация сказывается не только в развязывании опасных агрессивных инстинктов, но и в сильнейшем понижении нравственных понятий. Пресловутая «сексуальная революция», казалось бы не связанная с «занятием войной» (и даже предлагаемая взамен войны, как «занятие любовью»),— характерный симптом цивилизованного одичания. Любовь, одухотворенная веками культурного развития человечества, возвращается в лоно примитивного секса, доступного свифтовским йеху. Подавляется чувство естественного стыда, объявленного лицемерием. (Достоевский и здесь оказался пророком. «Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться!» — восклицают персонажи рассказа «Бобок».) Естественное чувство преклонения перед высокими человеческими качествами переключается на обожание суперменов, то есть возрождается культ брутальной силы, на развенчание которого было положено так много усилий искусством прошлого века.

Так же как «розовый», или «мягкий», китч компрометирует стремление к простому счастью, так китч «жесткий», получивший преобладание в 60-е годы, компрометирует настроения протеста; политический радикализм любых оттенков, выраженный на элементарном языке китча, становится карикатурой или демагогией (и поэтому так легко ассимилируется буржуазной массовой культурой). Принимать его всерьез не приходится. Как говорил режиссер Витторио Де Сика, «тебе показывают парочку, занимающуюся любовью и между делом осуждающую современное «потребительское» общество. Или парня, который избивает плетью девушку и одновременно жалуется на то, что господь бог забыл людей»[11].

Ромен Роллан когда-то сказал: чтобы избавиться от чудовищ, гнездящихся внутри нас, лучшее средство — посмотреть им прямо в глаза. Конечно, это путь более отважный и честный, чем делать вид, что никаких чудовищ нет совсем. Но при этом есть опасность отождествиться с ними — и тогда идут насмарку все усилия их одолеть. Или того хуже — признать этих чудовищ полноправными носителями современной культуры, назвав ее, не без основания, «контркультурой».

В лоне контркультуры различия между элитарным и массовым искусством стираются. Воздействие первого на второе дает вспышку в хэппенинге и поп-арте. Поп-арт, каким он предстал впервые на выставке в Нью-Йорке, а потом быстро распространился в Европе, был последним экспериментом, сделавшим ненужными дальнейшие. Его называли то «неодадаизмом», то «новой вульгарностью». Как положено элитарным течениям, он был вполне дегуманизирован и не призывал к пониманию; глумливая самоирония, названная еще Ортегой в числе признаков нового искусства, доводилась поп-артом до предельной черты. Он манипулировал готовыми предметами ширпотреба или их копиями и муляжами, а также элементами, входящими в арсенал массовой культуры — комиксами, рекламами, афишами, кадрами кинопленки. Соединенные в произвольных комбинациях, эти обиходные и «китчевые» вещи подчеркивались обессмысливанию, то есть утрачивали и тот маленький смысл, который имели в присущем им

[9] Л. Г. Андреев. Сюрреализм. М., 1972, с. 24.

[10] См. там же, с. 52.

[11] Сборник «Мифы и реальность», вып. 3. М., 1972, с. 79 — 80.

контексте. Если консервная банка, стоящая на полке магазина, содержит некий питательный продукт, а ее этикетка осведомляет покупателя о содержимом, то такая же банка или штабеля банок, фигурирующие на выставках поп-арта, не несут никакой информации. Если фотопортрет красивой кинозвезды доставляет ее поклонникам удовольствие, то сотня поставленных в ряд совершенно одинаковых фотографий Мэрилин Монро этот эффект гасит. Подобным же образом лишается своей развлекательной функции рисунок из комикса, изъятый из серии и увеличенный до размеров большой картины.

Машины-карикатуры художника Жана Тингли отнимали у машины ее исконное свойство — производить работу. Собранные из обломков труб и обрывков проводов, механизмы Тингли предавались кипучему безделью — двигались, пыхтели, свистели и только.

Привычный мир подвергался разрушению — не с тем, чтобы сотворить какое-то новое качество, а скорее для демонстрации изначальной бессмысленности и потому равноценности всего и вся. Автор композиций из консервных банок Энди Уорол сказал, что самое крупное произведение поп-арта — это земной шар. Но едва ли попистами владело «метафизическое отвращение» (один из ярлыков, данных им критиками). Отвращение — продукт рефлексии и чувства, а поп-арт, исключая то и другое, по-своему невозмутим. Просто в его мире обезличены ценности, в том числе эстетические: дерево или газовый насос, греческая ваза или консервная банка, кровать, написанная на полотне, или настоящая кровать — какая разница? Все можно перетасовать, разбить или склеить — что-нибудь да получится. Отсюда — ощущение вседозволенности и раскованности: пародийное «царство свободы». И столь же пародийное равенство, превращенное в уравниловку.

Это-то и явилось связующей нитью между поп-артом и молодежной поп-культурой — разновидностью массовой культуры. Молодое поколение хотело свободы и равенства, но, отупленное всяческим китчем, низводило эти высокие понятия к элементарному уровню. Оно приняло «поп» как стиль поведения. В получившей широчайшее распространение поп-музыке, рок-музыке, где подхлестывающие ритмы и форсированная громкость выполняют роль допинга, как бы осуществилась тяга к спонтанному — свободному — самовыявлению. Пой или кричи, пляши или прыгай, одевайся как хочешь или раздевайся догола — никаких стесняющих правил и условностей: воля. Так понятая, она сочеталась и с идеей политической свободы. «Здесь спонтанируют», «Наслаждайся здесь и сейчас» — такие лозунги, наряду с упоминавшимися выше, были в ходу у бунтующей молодежи. Помимо свободы она жаждала равенства, и действительно — расовые и классовые различия ликвидировались в молодежных кружках и коммунах, сохранялась лишь непримиримая разница между молодыми и теми, кому за тридцать. Но уже одно это говорило об эфемерности свободы и равенства, осуществленных на уровне «поп»: ведь состояние молодости кратковременно. Они лопались как мыльные пузыри, когда кончался дионисийский шутовской карнавал, проходило наркотическое возбуждение, наступало похмелье и постаревшие юные бунтари с неизбежностью «включались в систему».

В лучшем случае молодежная «контркультура» в итоге несколько демократизировала внешние формы общения, не поколебав основы системы. Что же касается художественных ценностей — здесь она не оставила на фильтре времени ничего, кроме экзальтированного китча, который постепенно ассимилировался с обыкновенным коммерческим китчем.

Искусство же элитарное с тех пор утратило перспективу развития: поп-искусство его добило. Оно не могло больше заниматься своей утонченной игрой в бисер после того, как поп-арт уравнял в правах бисер и мусор. Неудивительно, что теоретики и практики элитарного модернизма, как правило, порицали поп-арт, видя в нем гибель искусства (почти в тех же выражениях, в каких в свое время приверженцы реализма порицали авангард). «Интеллектуалы ненавидят поп, среднему человеку он нравится»,— сказал тот же Энди Уорол. Но дело уже было сделано: поп-арт включил всех в свое низменное лоно, послужив слиянию модернизма в его наиболее дегуманизированных вариантах с массовой культурой в ее наиболее вульгарных вариантах. Короткое замыкание произошло; что же дальше? Не вышла ли тем самым из строя энергосистема современной западной культуры? Не оказалось ли понятие «искусство» необратимо размытым, не совершилась ли подмена произведений искусства «объектами» самого разного рода — техническими, игровыми, психоделическими и пр.? Да уж не прав ли был Шпенглер, предрекая закат культурной Европы?

Но здесь и настает пора вспомнить о «живом прошлом» — живом, вопреки всем стараниям от него отмежеваться: о заветах и традициях культурной эпохи XIX столетия. Мы убеждаемся, чем дальше тем больше, что великая задача, ею поставленная, не только не утратила актуальности, но стала более насущной, чем когда-либо. Эта задача — духовное подготовление «свободного самообъединения человечества» (Маркс), или, говоря словами поэта, той поры, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Сейчас, в конце XX века, необходимость «позабыть распри» равна необходимости сохранить жизнь на планете. В плане практическом, политическом это означает, как минумум, отказаться от разрешения конфликтов посредством войны. Но испокон веков конфликты разрешались войнами — значит, какая же кардинальная перестройка сознания, образа мыслей, образа чувствований потребна хотя бы только для того, чтобы сложить оружие! Она не может совершиться в короткое историческое мгновение, только под влиянием страха перед всеобщей физической гибелью,—

она предполагает укорененность в сознании идей человеческого братства, равноправия, взаимопонимания, терпимости, свободы от насилия и лжи. И в этом направлении действительно работали лучшие художественные силы,— конечно, не только в XIX столетии, а и много раньше, но именно в культуре XIX столетия гуманные идеалы стали осознанной целью, хотя тогда никто еще не предвидел возможности роковых глобальных последствий человеческого разобщения.

Мы видим также, что культура XX века, если брать ее в целом, суммарно, отклонилась от этого пути, сделала для преодоления разобщенности куда меньше, чем ее предшественница. В чем-то она даже усугубила духовное разъединение людей: высокомерие мандаринов культуры, занявшихся «игрой в бисер», отлучило от искусства «человека с улицы», оставив на его долю эрзацы. Причем эрзацы не безобидные: важная историческая задача — осознать и интегрировать подсознательные импульсы человеческого поведения, обернулась тут бесшабашной апологией самых грубых инстинктов. Надо ли удивляться, что естественный порыв к свободе и братству молодого поколения 60-х годов — тех же «людей с улицы» — принял карикатурные формы, социально и творчески бесплодные. Столь же бесплодными в конечном счете оказались и мудрования игроков в бисер; ирония истории привела их к общему знаменателю с презираемой ими массовой культурой.

Глубоко неутешительной была бы общая картина культурной жизни современного Запада, если бы в ней имели место только названные выше тенденции. К счастью, это не так. Не говоря уже о том, что классика XIX века продолжала активно жить, внося свою долю в духовный потенциал общества,— в искусстве современном действовали и силы, так или иначе продолжающие ее традиции. «Так или иначе» — потому что традиции могут развиваться по различным параметрам, с большей или меньшей мерой преобразования прежних методов. Развитие традиции может означать продолжение идейных поисков предшественников иными методами; изменение методов диктуется новыми проблемами, для которых в прошлом не было выработано соответственного языка. Выше говорилось уже о таких художниках, как, к примеру, Фолкнер, Пикассо, Феллини, можно бы назвать и немало других имен. Их искусство работает в гуманном направлении, заданном корифеями прошлой культурной эпохи. Но, приемля суровый наказ века, оно еще и «смотрит в глаза чудовищам» — тем, что внутри нас, которых надо или обуздать, или приручить, чтобы не поддаться началам зла, чтобы смирить безудержное человеческое своеволие, самомнение, самопоклонение и, поняв, каковы мы на самом деле, все же «восторжествовать, выстоять, выдержать», как говорит Фолкнер. Для такого рода задач недостаточен художественный лексикон XIX века, и не из эстетской прихоти Пикассо взламывает привычные визуальные формы, Фолкнер исследует пучины темного сознания какого-нибудь Минка или слабоумного Бенджи, Шагал создает феерические образы воспоминаний и снов. Если чувствовать «сокрытые двигатели» художников, понятно становится, что Пикассо всем пафосом своего творчества близок Гойе, а не сюрреалистам, Фолкнер более родствен Достоевскому, чем Джойсу, в «психопластике» Шагала воплощена братская любовь тоскующего человека ко всему живому, завещанная великим искусством XIX века. Преемственность существует, хотя не лежит на поверхности.

Но возможна и более прямая и явственная преемственность. Собственно реалистические методы, как они сложились в XIX веке, далеко не исчерпаны, вопреки предсказаниям теоретиков авангарда, и, нужно думать, не будут исчерпаны, пока существует социум. Искусственно оттесняемые на периферию, они на протяжении нашего столетия развивались преимущественно в лоне массовой культуры — массовой культуры без кавычек, понимаемой не как синоним китча, а в прямом смысле слова: популярная, общедоступная, принятая широкими кругами общества. Дело в том, что не вся она заполнена суррогатами, которые навязывает ей индустрия развлечений. Массовая аудитория, как это было и в прежние времена, неоднородна, не состоит сплошь из «китчменов», довольствующихся тривиальной пищей. Огульное презрение снобов к «массе», к «среднему обывателю» само является весьма обывательским взглядом на вещи. Массовидная человекоединица со стандартными запросами — это не более чем статистическая абстракция; в действительности широкая аудитория складывается из многих групп и подгрупп различной степени интеллигентности и состоит из индивидуумов, совсем не столь однотипных, как условные «человечки» карикатуристов. Если люди с дурными вкусами составляют среди них количественное большинство, это говорит лишь о том, что вкусы их не развивали или намеренно портили.

Не все, однако, поддаются порче. Многие органически не приемлют фальшивых поделок, ищут в искусстве материала для раздумий, правды о жизни, эмоциональной глубины — а если и развлечения, то не пошлого, а освежающего душу. Для овладения «всеми сокровищами мировой культуры» у них попросту нет ни возможностей, ни времени. После работы они, как и другие, садятся у телевизора (но включают не всякую программу). Или идут в кино.

Французский кинорежиссер Рене Клер говорит: «...кино — народное искусство. Поэзия, музыка и пластические искусства превратились к тому времени (к 20—30-м годам. — Н. Д.) в замкнутые области, а двери, через которые туда можно было проникнуть, закрывались все плотнее и плотнее Литература для литераторов, музыка для музыкантов, живопись для живописцев; публика была как бы отстранена от игры, правила которой открывались только профессионалам (...) Кино было создано для толпы, оно не могло существовать без нее, и некоторые фильмы в одинако-

вой степени трогали и самых изощренных зрителей, и самых простых людей».

Массовое по своей природе, киноискусство создало свою классику, сумев не захлебнуться в потоке массовой макулатуры и не иссохнуть в «элитарных» заповедниках, хотя и тому и другому кино отдает щедрую дань. Эта киноклассика — продолжатель классики XIX века, созданной в других видах искусства, в театре, живописи и особенно в литературе, когда они еще не превратились в «замкнутые области», а, как современное кино, обращались ко всем без изъятья. Новый вид искусства принял от них эстафету, что было менее очевидно на заре его существования, но выступало яснее по мере расширения и универсализации кинематографических выразительных средств. Речь не об экранизациях классических литературных произведений — они предпринимаются часто, но удаются редко,— а о преемственности и родственности творческих методов.

Она не бросается в глаза, так как кино — новое искусство с новыми формами выражения и потому не может выглядеть «традиционалистским» по отношению к тому прошлому, когда кино вообще не существовало. Кинематографисты-новаторы 20-х годов не собирались продолжать традиции «прогнившего века». «Кино мне представлялось,— вспоминал Рене Клер,— как самое новое средство выражения, меньше всего скомпрометированное в прошлом». Диапазон возможностей кино широк, оно перепробовало многое — экспрессионизм, сюрреализм, даже абстракцию; все это оказалось для него малоорганичным. А вот «показать реального человека в окружающих его реальных условиях — этого не может сделать ни одно искусство, кроме кино»[12]. Отсюда не только вытекают перспективы документальной кинематографии, но и протягиваются нити, связующие кино с реалистической стилистикой литературы, театра, живописи XIX столетия, включавшей и элементы документализма (вплоть до жанра «физиологических очерков»). Бальзак писал «Человеческую комедию», «сцены частной жизни, провинциальной, парижской, политической, военной и сельской», как историю реального общества в реальных условиях. Может быть, живи он в эпоху кино, Бальзак выбрал бы профессию кинорежиссера для воплощения подобных замыслов.

Своими лучшими достижениями в области социальной драмы, психологической драмы, комедии кино многим обязано опыту былой культурной эпохи. Не из ее ли наследия выросло искусство Чаплина, о котором чаще всего и с полным основанием говорят, что оно «в одинаковой степени трогало и самых изощренных зрителей, и самых простых людей»? Маленький бродяга в старомодном котелке, с усиками щеточкой, в растоптанных башмаках, люмпен-джентльмен, клоун-мечтатель — не тот ли это пария общества, за которым искусство XIX века признало человеческое достоинство? Чарли и сам не теряет чувства собственного достоинства: всегда тесним и смешон, никогда не жалок и не озлоблен. Даже если приходится с голоду варить и есть старые ботинки, он ест их с достоинством, пользуясь ножом и вилкой. Попадая в самые конфузные положения, не забывает вежливо приподнять шляпу. Зрители смеются над ним и одновременно проникаются к нему сердечной до слез симпатией, более того — уважением. С позиций китчмена это несовместимо: что-нибудь одно — уважение или смех. Смеяться — значит презирать, а уважительное восхищение подобает сильному, победоносному супермену или уж ожесточенному «врагу общества», который обществу мстит. Чарли не враг общества и никому не мстит. Тонкое переживание, возбуждаемое героем Чаплина, в сущности, не очень «современно», как бы не типично для преобладающих умонастроений XX века. Оно не коренится и в старинных традициях клоунады: гистрион, шут, потешавший публику, вовсе не призван был трогать ее сердца. Это только XIX век снял преграду между комическим и трагическим, смешным и возвышенным. Полузабытые тени напутствуют маленького бродягу Чарли: вспоминается семейство циркачей Слири из романа Диккенса «Тяжелые времена» или герой диккенсовского же рассказа «Бедный родственник», живущий в воздушном замке несостоявшегося счастья, а там и мечтатель «Белых ночей», и клоуны Гонкура, Куприна. Ближе — бродячие комедианты «голубого» Пикассо. Цепочка ассоциаций завершается пронзительным образом клоунессы Джельсомины в фильме Феллини «Дорога».

Этот шедевр Феллини, имевший, кстати сказать, огромный успех у «массового» зрителя, в свое время вызвал жестокие споры среди деятелей итальянского искусства. Некоторые упрекали режиссера за измену принципам неореализма, в формировании которого Феллини сам принимал участие и не переставал считать себя его последователем. Один из критиковавших «Дорогу» (режиссер Карло Лидзани), осудив ее автора за близость к Достоевскому, стремившемуся к «идеалистическому «единению» между людьми» (слово «единение» бралось в иронические кавычки!), весьма сурово, почти в духе 20-х годов, оценивал и весь опыт искусства XIX века. В нем Лидзани усматривал растерянность перед тяжелой прозаической действительностью и неудачные поиски выхода, сводившиеся либо к анархическому бунту, либо к «уходу в башню из слоновой кости».

Между тем и уход в эту пресловутую башню, и анархизм характерны как раз для течений, порвавших с традициями прошлого столетия. Что же касается итальянского неореализма — одного из самых замечательных художественных явлений нашего века,— то именно в нем эти традиции возрождались самым прямым образом, хотели или не хотели того его создатели. Не только традиции отечественного веризма, но русской и мировой реалистической литературы. Как было ею завещано, на экране ожили реальные люди в реальных условиях социальной жизни. Не

[12] Айвор Монтегю. Мир фильма. Л., 1969, с. 230.

напыщенные герои, не ходячие тезисы, не маски, а люди, интересные в своей обыкновенности, сложные в своей простоте, мужественные в своих бедствиях, составляющие в совокупности не обезличенную толпу, а народ. Такой, о каком великий английский писатель когда-то сказал: «Моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна».

Неореализм вырос на волне Сопротивления. Духовного сопротивления лжи и демагогии фашистского режима Муссолини (свергнутого в 1943 году), партизанского сопротивления гитлеризму, сопротивления бедствиям войны и послевоенной массовой нищеты и безработицы. В этих испытаниях дух братской солидарности брал верх над силами разобщения. Новый кинематограф говорил о сплоченности и братстве людей, избегая вымыслов и прикрас: за сюжетами стояли подлинные события, подлинные лица. Общий подвиг объединял коммуниста и священника. Общая беда сближала, вопреки законам конкуренции, девушек, ищущих работу: в сущности, они сестры. Полицейский и вор, которого он преследует,— в сущности, братья, вынужденные силой обстоятельств играть разные социальные роли. Коллизия фильма «Полицейские и воры» напоминает сюжет известного рассказа О'Генри «Родственные души». И «Приключения Кренкебиля» Анатоля Франса. И не звучат ли близкие мотивы у Диккенса? У Гюго? У Марка Твена? Мотивы простые и вечные.

Но отсюда надо было идти дальше, вглубь. Иначе неореализму — в изменившихся условиях — грозило перерождение в неоидиллическую, что и происходило: он становился «розовым». Когда схлынуло напряжение военных и послевоенных лет, стало очевидным, что человеческое разобщение остается открытой проблемой, имеющей кроме социальных еще и метафизические корни. В экстремальных общественных ситуациях, перед лицом общих бедствий, перед конкретными силами зла, которым надо противостоять и с ними бороться, личный эгоизм отступает, пробуждается «коллективная душа»; способность к самопожертвованию, великодушие, чувство братского единения обнаруживаются и там, где их, казалось бы, трудно было ожидать: феномен, много раз подтвержденный историей. Но вот жизнь входит в свои обычные, будничные берега — и вчерашние кровные братья превращаются в равнодушных друг к другу соседей. Не понимающих, не слышащих друг друга и потому одиноких. Через несколько лет после войны экономика Италии укрепилась, положение масс стало менее тяжким, исчезали трущобы с протянутыми через улицу веревками, на которых сушился жалкая одежа бедняков,— привычный фон неореалистических фильмов. Неореализм, каким он сложился в 40-х годах, утрачивал почву не потому, что не стало трущоб, а потому, что остались замкнутые трущобы сердец. И тогда-то Феллини и создает свою притчу о бродячих комедиантах, исполненную высокого нравственного, философского смысла.

Феллини не изменял неореализму, он его углублял, зондируя почву до подземных вод, которые так же реальны, как выбившийся на поверхность ручей. Этим путем он продолжал идти и впоследствии. Аналогичные процессы происходили ведь и в XIX веке: Толстой шел к открытию «диалектики души» от Стерна и Стендаля; Достоевский не отрекался от нежно любимых им Гюго и Диккенса, но двигался от них в глубину. Вероятно, «Дорога» понравилась бы и Чехову: одной из заветных его тем было трудное преодоление «монадности» существ, живущих бок о бок («Жена», «Дуэль», «Три года»). Классики XIX века многое, очень многое знали о тайнах и метаморфозах человеческой личности, но им было свойственно особое художественное целомудрие: «взрывая, возмутишь ключи» — предостерегал Тютчев. Феллини «взрывал ключи» открыто и безоглядно — от фильма к фильму все ослепительней, все яростней, уже не затрудняя себя упорядочивающими схемами, доверяя интуиции, творя почти так же спонтанно, как Пикассо, приглушая в себе голос «белого клоуна», диктующего, «что положено делать», и давая свободу «рыжему» — сорванцу и нарушителю предписаний.

Однако интуиция Феллини прозорлива и исполнена добра. В отличие от многих других, погружающихся в бездны подсознательного (или притворяющихся, что они это делают), он находит там очистительные импульсы. Не ад, а чистилище; больше ангелов-хранителей, чем бесов, хотя и бесы тут как тут. Кабирия, Джульетта, Гвидо Ансельми — герои картин Феллини — возвращаются из потаенного чистилища своей души обновленными, освободившимися от гнетущего сознания неполноценности и бессилия, снова готовыми принять жизнь, которая представлялась невыносимой. Таким образом, искусство открывает нам, что в глубинных слоях душевной жизни современного человека таятся не только монстры разрушения, но и светлые зиждительные силы. В экзистенциальных трагедиях Феллини всегда присутствует катарсис.

Ортега-и-Гассет заканчивал свое сочинение «Дегуманизация искусства» риторическим вопросом: «укажите искусству другую дорогу, на которой оно не стало бы искусством дегуманизирующим, но и не повторяло бы вконец заезженных путей». Как выяснилось, альтернатива ложная: вот гуманное искусство, большое искусство, ничего и никого не повторяющее. Зато вконец заезженными стали пути дегуманизирующего искусства. Оно выродилось, слилось с суетой, шумами, с потоками шальной, отупляющей музыки, которая обрушивается лавиной вперемешку с визгом, скрежетом, грохотом большого города. Опоминаясь от дурмана, начиная сознавать, что человеческий мир близится к опасному рубежу, как не вспомнить о заветах и предупреждениях прошлого?

◆

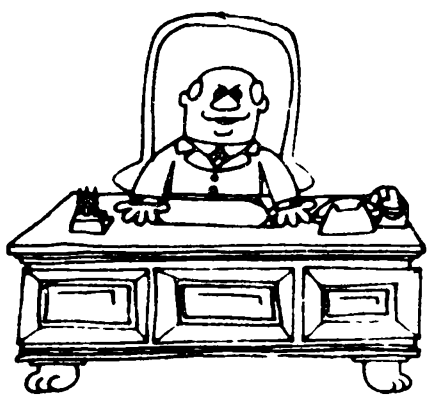
# Антирубрика

## АФОРИЗМЫ

*Перевод с норвежского ОЛЬГИ КОМАРОВОЙ*

**ГУДМУНД ХЕРНЕС[1] выпустил три книги, в которые вошли высказывания выдающихся деятелей разных стран — в основном Европы и Америки. Мы предлагаем вашему вниманию подборку афоризмов, авторство которых принадлежит норвежцам.**

### Из опыта руководителя



**Начальник не всегда прав, но он всегда начальник.**

**Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально ее значимости.**

**Если нужно срочно сделать какое-то дело, обратись к тому, кто занят больше всех.**

**Если есть способ отложить важное решение, хороший бюрократ его найдет.**

**Тому, кто сам ничего не делает, все кажется по плечу.**

**Лучший руководитель тот, у кого подчиненные много способнее его самого.**

**Начальник — это человек, который приходит на службу поздно, когда ты приходишь рано, и появляется чуть свет, когда ты опаздываешь.**

**Чтобы победить бюрократа, переложи свои проблемы на его плечи.**

**Только когда читаешь разъяснение ранее полученной инструкции, догадываешься, что не понял ни самой инструкции, ни разъяснения к ней.**

**Если отложить дело надолго, то его либо выполнит кто-нибудь другой, либо оно вообще перестанет быть нужным.**

**Не будь незаменимым — тебя никогда не повысят.**

**Позади всякого, кто сделал успешную карьеру, стоит озадаченная женщина.**

**Свобода слова означает для начальника свободу прерывать говорящего, а для подчиненного — свободу держать язык за зубами.**

---

[1] **Гудмунд Хернес — Gudmund Hernes** (род. в 1941 г.) — норвежский социолог, политический деятель. Был заместителем министра планирования в социал-демократическом правительстве Брундтланд. С 1983 года занимается научными исследованиями в Норвежском объединении профсоюзов.
Предложенная подборка афоризмов взята из книг: «Почему все идет не так, как надо, и другие законы жизни современного человека» (Hvorfor alt går galt og andre lover for det moderne menneske Samlet av Gudmund Hernes. Universitetsforlaget, Bergen-Oslo-Tromsø, 1980 og 1981), «Почему все опять идет не так. Дополнительные законы жизни современного человека» (Hvorfor mer går galt. Flere lover for det moderne menneske Samlet av Gudmund Hernes, Universitetsforlaget, 1981), «Почему все, что не так, идет не так» (Hvorfor galt går galt, av Gudmund Hernes. Universitetsforlaget, 1982).

Чем хуже человек справляется с работой, тем меньше шансов от него избавиться.

Если ежедневно добросовестно работать по восемь часов, можно со временем стать начальником и работать по двенадцать часов в день.

Успех продвижения по службе зависит не от тех, кто тобой доволен, а от тех, кого ты не раздражаешь.

Чем меньше должность, тем заметнее твое отсутствие на рабочем месте.

Всякое решение принимается не один раз.

Всегда можно внести еще одно предложение.

Все обещания и сроки их исполнения надо умножать на два.

Все предложения о помощи надо делить на два.

Всякую рекламу надо делить на четыре.

## О специалистах

Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы.

Из прогресса в прошлом вырастают проблемы в будущем.

Когда все сказано и сделано, больше сказано, чем сделано.

Если ты компетентен в каком-то вопросе, это не значит, что ты умен и не наделаешь глупостей в других областях.

## О науках и ученых

Исследовательская работа заключается в том, чтобы прочитать две книги, которые раньше никто не читал, и написать третью, которую никто никогда читать не будет.

Самой нужной оказывается цитата, источник которой никак не найти.

Если крадешь у одиого — это плагиат; если у многих — это исследование.

Оригинальность — это хорошо, зато плагиат — быстрее.

Чем меньше фактов, тем красивее схемы.

То, что является фактом сегодня, завтра окажется заблуждением

Само собой напрашивающийся вывод становнтся таковым только после того, как он сделан.

Если истина слишком неприятна или неожиданна, в нее отказываются поверить.

Самые лучшие аргументы — это те, что приходят потом.

История учит нас тому, что мы у нее ничему не учимся.

Каждый твердо уверен в своей объективности, и никто не верит в чужую.

Чем больше работаешь над своей идеей, тем больше убеждаешься в том, что она — чужая.

## О чудесах техники

Положив в стиральную машину шесть носков, вынешь только пять.

После всякой починки остаются лишние детали.

Те детали, которые легко ломаются, труднее всего достать.

Скрытые дефекты всплывают, когда нет ни денег, ни времени, чтобы их устранить.

Ремонт автомобиля стоит указанную сумму плюс пятьдесят процентов.

Подержанный автомобиль — прекрасное средство для езды в автомастерскую и обратно.

## О работе

Мужчина считается толковым работником, пока не доказано противное, женщину считают бестолковой, пока она не докажет обратное.

Как бы тщательно ни спланировал, чем будешь заниматься, рабочее время все равно уходит совсем на другое.

Не повторяй то, что вдруг удалось.

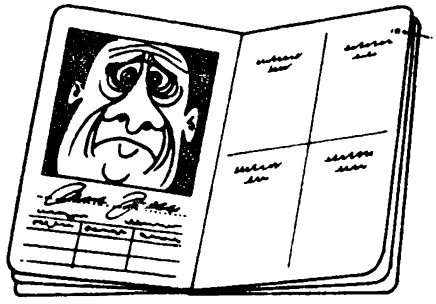
Люди не жалеют усилий, чтобы только ничего не делать.

Восемь человек справляются с работой десяти успешнее, чем двенадцать.

Расслабься — стресса хватит на всех.

В день, когда решишь прогулять работу, просыпаешься чуть свет.

Того, кто утверждает, что разбогател благодаря тяжкому труду, спроси — чьему?

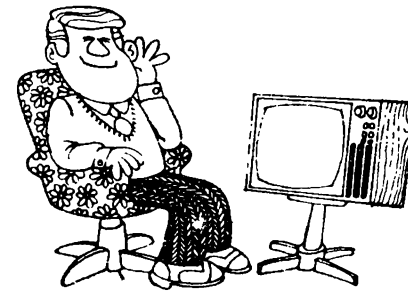


Если ты становишься похож на фотографию в паспорте, значит, тебе давно пора в отпуск.

## О средствах массовой информации

Если есть всего одна передача, которую хочешь посмотреть, ее отменяют или тебе приходится в этот вечер работать.

Только соберешься посмотреть фильм, как его снимают с проката.



У норвежского телевидения одно достоинство: закрыв глаза, можно подумать, что слушаешь радио.

Если ты журналист, редактор, литератор, писатель или издатель, то всякий, конечно, смыслит в твоем деле больше тебя.

Никто не становится белее от того, что чернит другого.

Беда профессионального лектора состоит в том, что ему приходится говорить о вещах, в которых он ничего не понимает.

Чем больше ошибка, тем с большим рвением ее отстаивают.

Всякая знаменитость сначала лезет из кожи вон, чтобы прославиться, а потом надевает черные очки, чтобы не быть узнанной.

## Законы социологические

Чем меньше государство, тем длиннее его гимн.

Люди первого сорта окружают себя равноценными. Люди второго сорта окружают себя людьми третьего сорта.

Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет.

Всякий вопрос имеет две стороны. Чтобы добиться успеха, надо поддержать обе.

Совесть возрастает, когда власть убывает.

Внешняя политика американской администрации подрывает безопасность всего мира — никогда не знаешь, каких ошибок наделает новый президент.

## Законы экономики

Чем хуже у тебя с деньгами, тем больше шансов, что возникнут непредвиденные расходы.

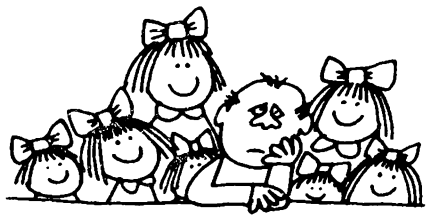
В Норвегии такой высокий жизненный уровень, что до него добираются лишь немногие.

То, что я хочу купить, мне не по карману; а то, что по карману,— все равно слишком дорого.

## О родителях и детях

Если раньше трое учеников шли к директору, им приходилось несладко, сейчас несладко приходится директору.

При воспитании детей — расходуй вдвое меньше денег и вдвое больше времени.



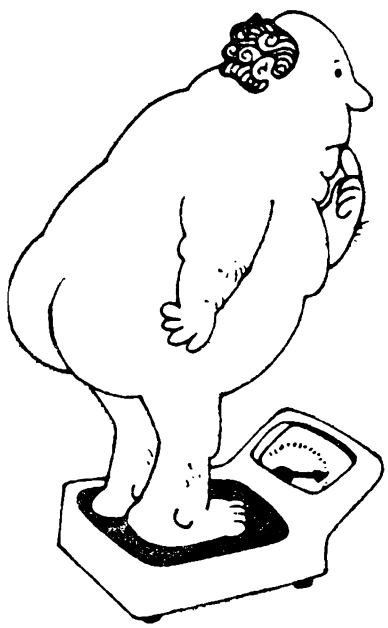
Желание иметь сына породило многих дочерей.

Есть два вида школьных каникул — слишком короткие для детей и слишком длинные для родителей.

У нынешних родителей все меньше детей, зато у детей — все больше родителей.

Многие становятся родителями, не переставая быть детьми.

## О медицине



Лишние килограммы откладываются там, где они всего заметнее.

С больным ребенком нужно обращаться как со взрослым, с больным взрослым — как с дитем.

Если нельзя избежать болезней, избегай хотя бы врачей.

Чем больше строится больниц и чем больше в них коек, тем больше больных лежат в коридорах.

Покажи мне свои бактерии, и я скажу тебе, с кем ты водишься.

То, что операцию сделать можно, не значит, что операцию делать необходимо.

Чем больше у тебя терпения, тем дольше приходится ждать.

Всякий прогресс, способствующий продолжительности жизни человека, увеличивает важность службы здравоохранения.

## Из житейских наблюдений

Если мне что-то очень хочется сделать — это или аморально, или запрещено, или вредно для фигуры.

Чем больше книжных магазинов, тем больше книг, которых не достать.

С каждым годом пенсионеры становятся моложе.

Закон карьеры для женщин:

1. Думай как мужчина.
2. Веди себя как леди.
3. Работай как лошадь.

Человеку свойственно ошибаться, а еще больше — сваливать свою вину на другого.

Заводи друзей, пока они тебе не нужны.

Только сняв дачу на юге, узнаешь, сколько у тебя друзей.

Разница между первой и последней любовью в том, что ты считаешь, будто первая любовь — последняя, а последняя — первая.

Секс — это штука, на которую уходит совсем мало времени и которая создает самые большие проблемы.

Чем больше беспорядок в доме, тем вероятнее, что придут гости.

Большинство людей довольны собой, что является трогательным проявлением их скромности.

Сумма пороков постоянна — исчезает один, появляется другой.

Умри молодым, но как можно позже.

Если чувствуешь себя дураком, то, скорее всего, так оно и есть.

Что бы вы ни делали с растворимым кофе, у него вкус растворимого кофе.

## О любви и прочем...

Старая любовь не ржавеет, если ее время от времени подновлять.

Если ты в меня влюблен — это твоя забота. Когда ты меня разлюбишь — это будет моей заботой.

Женская эмансипация заключается в том, чтобы работать вдвое больше, чем раньше.

Приобретая любовника, теряешь друга.

Идеальный муж — это мужчина, который не изменяет, не курит, не пьет и... не существует.

До замужества женщина несчастна, потому что в ее жизни нет мужчины, после замужества — потому, что в ее мужчине мало жизни.

## О транспорте, туризме, спорте

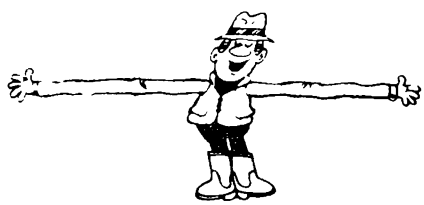
Отправляясь в путь, бери вдвое меньше одежды и вдвое больше денег.

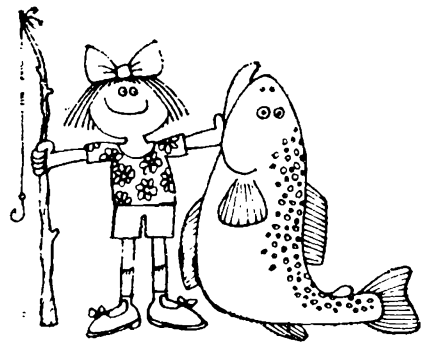
Если в чужом городе спрашиваешь у прохожего, как пройти, он тоже оказывается приезжим.

Нельзя добраться до горных вершин по гладкой дороге.

Чем ближе к вершине, тем круче.

Величина рыбы, которой ты хвастаешь, пропорциональна длине твоих рук.



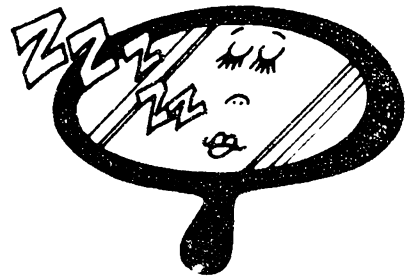


Самому неопытному рыбаку попадается самая большая рыбина.

## Еще из житейского опыта

Самое плохое в новых книгах то, что из-за них мы не читаем старые.

Кое-кто считает себя щедрым, потому что дает бесплатные советы.



Чтобы знать, как ты выглядишь, когда спишь, стань перед зеркалом с закрытыми глазами.

В доме всегда на двадцать процентов больше книг, чем места для них.

Лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.

То, что важно для меня, гораздо важнее того, что важно для других.

■

*Рисунки норвежского художника ТРЮЛЬССА НЕССА*

# АФОРИЗМЫ ШВЕДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*Перевод со шведского КАТАРИНЫ МУРАДЯН*

**Те, кого мы не любим, редко нас обманывают.**

**Победить самого себя — победить своего самого могущественного врага.**

*КРИСТИНА*

**Полуобразованность опаснее невежества.**

*ЮХАН ХЕНРИК ЧЕЛЬГРЕН*

**Излишества всегда наносят больше вреда, чем самое суровое воздержание.**

*КАРЛ АВГУСТ ЭРЕНСВЭРД*

**Быть счастливым — значит иметь повод любить самого себя.**

*ЮХАН ОКСЕНШЬЕРНА*

**Скука — это когда серьезно, но бессмысленно.**

*УЛА ХАНССОН*

**Пока шведским писателям не исполнилось пятидесяти лет, они считаются слишком молодыми, в возрасте от пятидесяти до семидесяти они слишком стары. Подлинная их жизнь в литературе начинается после семидесяти, когда они уже обитают на кладбище.**

*ВЕРНЕР ФОН ХЕЙДЕНСТАМ*

**Никто не чувствует себя в большей безопасности, чем тот, кто живет в воздушном замке.**

*КЛАРА ЮХАНССОН*

**То, что люди называют убеждениями, часто не что иное, как своего рода духовная татуировка.**

**Демагогом мы обычно называем человека, который категорически отказывается разделить наши предрассудки.**

**Бог похож на полицейского: его никогда нет там, где он больше всего нужен.**

**Молчание наших врагов красноречивее хвалы наших друзей.**

*АРНОЛЬД ЛЮНГДАЛЬ*

**Разве возможно не стремиться к невозможному.**

**Люди тратят время на то, чтобы делать деньги, тогда как им надо тратить деньги на то, чтобы делать время.**

*АРНЕ ХИРДМАН*

**Одиночество — непомерно высокая цена, которую мы платим за то, чтобы избежать общества.**

**Юморист — человек, который чувствует дисгармонию мира.**

*КАРЛ ХАММАРЕН*

**Любовь к самому себе хороша тем, что у нее нет соперников.**

*Р. Р. ЭКЛУНД*

**Человек, у которого нет чувства юмора, не достоин того, чтобы его воспринимали всерьез.**

*СИГФРИД ЛИНДСТРЕМ*

# ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ

*Вступление ЕЛЕНЫ САПРЫКИНОЙ*

*Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА*

Героические времена рождают героическую поэзию, но когда возникает потребность пристальнее вглядеться в свою эпоху, поэты нередко берут краски с сатирической палитры. Не одно десятилетие длилась героическая борьба итальянского народа за национальное единство и свободу Италии от иноземного гнета. Эта борьба закончилась лишь к концу прошлого века. Атмосферу тех драматических десятилетий выразили не только пламенные речи Дж. Мадзини и свободолюбивая патриотическая песня гарибальдийцев, но и пронизанные насмешкой сонеты уже знакомого читателям «Иностранной литературы» римского поэта Дж. Дж. Белли и полные иронии стихи-«шутки» флорентийца Джузеппе Джусти (1809—1850). «Шутки» (так сам Джусти называл свои произведения) питала богатейшая традиция тосканской комической поэзии, пышный расцвет которой приходился на XVI век. Известный итальянский критик прошлого столетия Франческо де Санктис говорил, что «Флоренция вновь завоевала свое место в итальянской культуре благодаря творчеству Джузеппе Джусти. Казалось, что некий современник Лоренцо Медичи ироническим взглядом окидывал общество XIX века. Все эти политические ухищрения, это доктринерское лицемерие, этот всеобщий маскарад, в котором подмигивали друг другу либеральные арлекины и флюгеры, герои, сидящие в креслах, стали объектом насмешки, не лишенной грусти». Остроумные, темпераментные «шутки», принесшие Джусти славу «итальянского Беранже», неотделимы от политического и идеологического климата Италии, ломавшей в эпоху национально-освободительной борьбы устоявшиеся воззрения, прощавшейся с закоренелыми предрассудками и абстрактными иллюзиями. В сатирических стихах флорентийского поэта предстали в карикатурном виде благонамеренный обыватель, трусливо прячущийся в свою «раковину» («Улитка»), циничный политический фигляр-перевертыш («Тост Флюге-

ра»), карьерист и доносчик с университетским дипломом («Проныра»), до времени состарившийся юный скептик («Юнец»), недобросовестный депутат, равнодушный ко всему, кроме собственного благополучия («Депутат»), а также многие другие уродливые и живучие общественные феномены, разоблачением которых и поныне занимается сатира. В XIX веке русских читателей познакомили с «шутками» Джусти сатирический журнал «Искра» и «Отечественные записки», где в конце 60-х — начале 70-х годов печатались переводы Ник. Курочкина. Новые переводы стихов Джусти сделаны советским поэтом-переводчиком Е. М. Солоновичем.

## Покорное намерение переменить жизнь

Все говорило мне, что кончу худо,
И если, правда, не сломаю шею,
И цел предстать пред Господом сумею —
Чистое чудо.

А власть, не власть — любую блажь
приемлю,
Смешно держаться за свою свободу:
Мне все равно, случись хоть небосводу
Рухнуть на землю.

В пятнадцать лет меня смущало тоже,
Как может бедолага, честный нравом,
Считаться каждый раз во всем неправым —
Господи Боже!

Я ничего не видел — столь умело
Подделался обман под справедливость:
Изобличить в пятнадцать лет фальшивость —
Трудное дело.

Но на меня отеческим укором
Жандарм обрушил гневные тирады,
И я признал свои былые взгляды
Ветреным вздором.

Так в результате полицейской ласки,
Причины моего перерожденья,
Я убедился в том, что притесненья —
Сущие сказки.

Я, прежний, умер — и не из-под палки
Цветы бросаю, барина растрогав,
Тюремщику ли, сборщику налогов —
Розы, фиалки.

Я умер — понаслушался чистюль-то
И комиссаров, топающих грозно,
Теперь уж все, как говорится, поздно.
Parce sepulto [1].

Жду либо черта, либо lumen Christi[2]
В надежде кончить эту свистопляску,
У санфедистов[3] в лавке выбрал маску
Посанфедистей.

Отвыкну развлеченьями хвалиться,
Неистовую навлекая травлю,
И впредь себе за правило поставлю
На ночь молиться.

Я изменю излюбленной канцоне,
Что вызывала хохот метким словом,
Зато монахи восхитятся новым
Доном Пирлоне[4].

Чем для весельчаков строчить новеллу,
Чем милый взор описывать стихами,
Айда бубнить в сонете, в эпиграмме
Про Пульчинеллу[5].

Собранье чтя и рассуждая здраво,
Попу служа и глядя в рот святоше,
Во славу кабалы забью в ладоши
С криками «браво».

И в долгой жизни будет позабыто
Все, что помехой счастью было прежде,
И стану лицемеру и невежде
Вроде магнита.

Я не дурак, чтоб дружбу проворонить
С амвоном, тогой, шпагой, фараоном:
Дабы не быть в долгу перед законом,
Стану шпионить.

Являясь заразительным примером,
Обласкан буду и всегда в почете,
Глядишь — и сделают в конечном счете
Гонфалоньером[6].

А кто язвить про бывшего смутьяна,
Тех в каталажку упеку, лютуя.
Так пусть ослам раздастся аллилуйя,
Грянет осанна.

## Юнец

В свои осьмнадцать лет
Он чтит в себе страдальца,
Печали, коих нет,
Рад высосать из пальца;
Приняв надутый вид,
Все трубочкой дымит.

Духовной пищи тонкой
Не жаждет — вкус не тот,
Пустою головенкой
Качать не устает
И вечному безделью
Сам служит колыбелью.

Он только по кудрям
Портрет Авессалома[7],
Загадкой томных дам
Его мечта влекома:
Ему бы адюльтер
На девственный манер!

---

[1] Прости мертвому! *(лат.) (Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Свеча Христова *(лат.)* — название свечи, зажигаемой во время католического богослужения в страстную субботу.

[3] Реакционная религиозно-политическая секта.

[4] Отличающийся лицемерием персонаж комедии Джироламо Джильи (1660 — 1722).

[5] Популярный персонаж итальянской народной комедии масок, остряк и весельчак, отличающийся ловкостью и находчивостью.

[6] В итальянских городах-коммунах XIII—XIV вв.— глава ополчения городского квартала.

[7] Сын царя Давида, славился красотой и роскошными волосами.

Они без ума от истых
Прелестниц Пенелоп,
Одновремеино чистых
И ветреных особ,
Умеющих о спальне
Забыть в исповедальне,—

Петрарка, ну и ну!
Любвеобильный евнух,
Терзающий струну
Для приторно-плачевных
Благопристойных строк
С намеком на порок.

То жить он не намерен,
То загорится вдруг,
Он и в любви неверен,
И ненадежный друг;
От вдохновенной скуки
Берет он лиру в руки,

С наморщенным челом
Сипя во славу божью,
Но свет священный в нем
Коптит с иеверной дрожью:
Усердный божий раб
В Христовой вере слаб.

Он родину упрямо
Поет, народ, прогресс,
Заимствуя из хлама
Напыщенных словес,
И в вихре светской жизни
Всем жертвует отчизне.

Он умником слывет
Без всякого усилья —
Знай хнычет про полет,
Про сломанные крылья:
У них маневр таков,
У этих сосунков.

Себя сравнить он любит,
Рожденный в мире зла,
С цветком, который губит
Отсутствие тепла;
Имел бы лучше смелость
Сказать про мягкотелость!

Болезненно кривясь,
Устав от жизни, стонет,
Жизнь только началась —
Уж он себя хоронит,
Весною отцветя,
Тшедушное дитя!

Ущербность сумасбродных,
Бессмысленных затей,
Зародыши бесплодных,
Беспочвенных идей,
Обязанные зуду
Поспеть везде и всюду,—

Твой бич, твоя беда,
То, без чего таким бы
Не стал ты никогда
И не дошел до лимба [1],
Где сходит этот бич
За детский паралич.

[1] Своего рода преддверие ада у католиков, куда попадают души детей, умерших до крещения.

## Ментогомическое[2]

Когда хватило бы
Тебе терпенья
Искать церковные
Захороненья,
Где прах покоится
Достойных бюста,
С трудом нашел бы ты
Пять-шесть. Не густо!
А ныне сразу
На радость глазу —
Изделье Фидия,
Как по заказу.

Кто чваниой шушуре
Откажет в праве,
Копя сокровища,
Мечтать о славе!
Ослу подохшему
И то, как видно,
Без эпитафии
Лежать обидно.
Чтоб рядом тлели
Макиавелли
И шут гороховый,
Поверишь еле.

Торговля вольная:
Деньгами звякнул —
И знать поддакнула,
И поп поддакнул.
Хоть чем за денежки
Владей законно —
От ленты с орденом
До Паитеона.
Беда! Ну прямо
Беги из храма,
Где тлеют косточки
Кого незнамо!

Дотошных корчите,
Когда святого
Нам предлагаете
Очередного.
И вход бесчестию
Во храм Господен
По вашей милости,
Попы, свободен!
Все в лучшем виде,
Коль не в обиде
Святая братия
На панихиде!

Нас учат, будто бы
Для биографий
Хорош правдивостью
Слог эпитафий.
Читая в будущем
На лживых плитах
О предках, чем-нибудь
Да знаменитых,
Воскликнут детки:
«О наши предки!
Днесь добродетели
Такие редки!»

[2] От слов «Memento homo», звучащих во время католического богослужения: Memento homo quia pulvis est...— Помни, человек, что ты есть прах *(лат.)*.

Ученый — transeaf [1],
А вот вельможе
В могиле нищенской
Почить негоже!
Окончив бренные
Свои денечки,
Пусть жмутся сирые,
Как сельди в бочке!
Для Смерти лестно,
Коль всем известно,
Что трупу важному
Лежать не тесно.

К иным покойникам
Берут завидки,
И тянут смертные
Под стать улитке
Слюною липкою
Свой след по свету,
Точь-в-точь серебряный,
Коль верить цвету.
А вы их ждете
И о почете
Кумиров призрачных
Потомкам лжете!

Но где от приторной
Хвалы охрана
Тебе, исконному
Врагу обмана?
Попав к биографу
В лихие руки,
Ты подчиняешься
Его науке:
Он смотрит в оба,
Чтоб не особо
Ты чушь противился
Пороть из гроба.

Чтоб не позориться,
Я на прощанье
Впишу существенный
Пункт в завещанье:
Без *Тут покоится,*
В стихах ли, в прозе,
Дозволить ближнему
Валяться в бозе.
К чертям, писаки,
Все ваши враки!
Без них уютнее
В могильном мраке.

[1] Куда ни шло, пусть *(лат.)*.

◆

## *Редакцию посетили...*

### ЛАРС ХЕССЛИНД (Швеция)

В редакции журнала «Иностранная литература» состоялась встреча со шведским писателем, активным членом «Фёрфаттер сентрум вест», филиала Союза шведских писателей Ларсом Хесслиндом.

Химик по образованию, Ларс Хесслинд начал заниматься литературной деятельностью в 70-е годы. Его перу принадлежат книги для юношества и взрослых, среди них такие романы, как «Барсуки» (1985), «Освободитель» (1987).

Писателя интересуют проблемы воспитания детей и молодежи, он прекрасно знает молодежную аудиторию, часто выступает с лекциями, темы которых весьма красноречивы: «Слово — образ — способность ребенка к обучению», «Демократии угрожает неграмотность», «Как у тебя дела с языком?», «Читать книги жизненно необходимо», «Без языка приходит насилие».

Известен факт, когда на конкурс детского рисунка, проводимого ООН, наряду с множеством интересных детских рисунков, отмеченных воображением, фантазией, были присланы и малоинтересные, невыразительные работы. В основном они принадлежали детям из США и Швеции. Хесслинд связывает это с «засилием «культурной индустрии» — главным образом телевизионных программ — с их отрицательным влиянием на детскую аудиторию. Сидение перед телевизором, — говорит он, — приводит к тому, что люди теряют способность активно пользоваться языком, образно мыслить».

Писатель часто встречается в школах, библиотеках не только с детьми и подростками, но и с аудиторией родителей, педагогов и воспитателей, призывая их больше контактировать с детьми, объяснять значение слова, прививать любовь к книге.

Настоящий визит Ларса Хесслинда в СССР — третий по счету. Он приглашен руководством СП СССР для переговоров о совместной с писателем и журналистом Леонидом Жуховицким работе. Это будет книга о жизни простых людей в Швеции и СССР, об их делах и заботах, буднях и праздниках, мыслях и мечтах. По мнению Хесслинда, это будет интересный опыт сотрудничества литераторов двух стран.

Будущей книгой заинтересовалось шведское издательство «Бра беккер», которое выпускает свою продукцию довольно большими для Швеции тиражами. Планируется напечатать книгу Л. Хесслинда и Л. Жуховицкого на шведском языке. На русском языке предполагается напечатать ее в издательстве «Художественная литература».

**Е. Берлин**

# Критика

## АМЕРИКАНСКИЙ РОМАН СЕРЕДИНЫ 80-х: «ПАССИВНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА»?

### ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ

## ПАФОС НАШЕГО ПРИЗВАНИЯ

Все писатели питают особое пристрастие к историям из жизни своих великих собратьев. Для нас это своего рода профессиональный багаж. Мы словно надеемся, что в знании биографии великих — ключ к секретам их достижений.

Вот и я в последнее время немало размышлял над жизнью большого художника, Льва Толстого, в особенности над кризисом сознания, который он пережил в возрасте пятидесяти лет. То отдаваясь на волю страстей, то следуя своим этическим воззрениям, Толстой прожил жизнь, полную противоречивых, мучительных решений.

Процесс создания художественного произведения наполнял его ликованием, но в то же время повергал в глубокое разочарование. Говорят, он даже пытался сжечь рукопись «Анны Карениной». Во всяком случае, придя в свои пятьдесят лет к выводу, что жизнь прожита бессмысленно, в одном лишь потворстве тем, кому нечем себя занять, кроме чтения, он перестал писать романы. Это его решение, правда, не распространялось на иные формы, и со временем увидели свет более скромные по объему произведения — «Крейцерова соната» или, например, «Смерть Ивана Ильича». Но главным своим делом он считал борьбу против безысходной нищеты при царизме и в этой борьбе использовал и свое общественное положение, и силу таланта. Во всю мощь звучал его пророческий голос. Страстно проповедовал он христианское непротивление злу насилием. Обучал крестьянских детей грамоте.

Так вот, по крайней мере теоретически для каждого писателя наступает время, когда жизненные обстоятельства разрушают саму идею искусства или требуют от него действенности, выхода; когда уровень общественного страдания или опасности делает невозможной обычную литературную работу с ее традиционными целями.

Даже при весьма поверхностном изучении истории литературы можно отметить большую склонность к утрате веры в Европе, где пафос искусства часто был социален. В России тому примером не только граф Толстой, ходивший в лаптях, но и молодой Достоевский и его литературное окружение, оспаривавшие все, что касалось художественной литературы, за исключением непреходящей ее огромной роли в истории и значения ее для спасения человечества. Во Франции были Камю и Сартр, чутко реагировавшие на моральную опустошенность, порожденную второй мировой войной, и создавшие настоящее литературное Сопротивление, включавшее и драму, и аллегорию, и метафизические

---

**ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ (EDGAR LAWRENCE DOCTOROW; род. в 1931 г.)**

Американский писатель. Автор романов «Вступление в тяжелую пору» («Welcome to Hard Times», 1960), «Большой, как жизнь» («Big as Life», 1966), «Книга Дэниэла» («The Book of Daniel», 1971), «Рэгтайм» («Ragtime», 1975, рус. пер. «ИЛ», 1978, № 9, 10), «Гагачье озеро» («Loon Lake», 1980), сборника «Жизнь поэтов» («Lives of the Poets», 1984) и др.

Публикуемая статья была напечатана в американском журнале «Нью-Йорк таймс бук ревью» («New York Times Book Review», August, 1985).

рассуждения, и распространение листовок на улицах.

Американские писатели, за некоторым исключением, не столь страстно относятся к идее социальной значимости искусства и таким образом менее подвержены кризису сознания. Их духовные проблемы достаточно известны, но они ни в коей мере не связаны с писательской причастностью к происходящему в мире. Одиночество, полное одиночество, в той же степени, что и жизнь в обществе, составляет доминирующее условие американской литературной истории. Я имею в виду то отчаяние, которое вынудило Хемингуэя направить на себя дуло охотничьего ружья, то отчаяние, которое заставило пить и погубило Фолкнера и Фицджеральда. Все проблемы искусства для них при жизни сводились к мукам успеха или провала, и в любом случае даже осознание предела возможностей смертного, даже безысходность закоренелого индивидуализма принимались как судьба отдельной личности.

Свой роман «Воскресение» Толстой написал уже в возрасте семидесяти лет. Его ego не было столь грандиозным, как у наших американских писателей, полагающих себя в основе всего мироздания.

Поэтому, размышляя о позиции Толстого, я со всей ясностью отдаю себе отчет в его принадлежности к иной культуре. В истории американской литературы было десятилетие — тридцатые годы — когда политика в искусстве, иными словами причастность, казалось, занимала умы всех. У нас в Америке этот период воспринимается как время попусту растраченной творческой энергии, одураченной интеллигенции и плохих пролетарских романов. Мы страдаем от того, что стали идеологичны. Сегодня американские романисты неколебимы в своем решении представлять себя частными гражданами, этакими независимыми предпринимателями. У нас, безусловно, отсутствует традиция служения своей стране на поприще политики или дипломатии, которои следуют наши собратья по перу в Европе и Латинской Америке. (Иногда наши литературные предшественники напоминают скорее таможенных инспекторов). Общественную значимость нашего творчества мы воспринимаем как досадную случайность. Наша позиция хорошо сформулирована натурализованным американским поэтом У. Х. Оденом, утверждавшим, что политические убеждения для писателя опаснее, чем алчность. Нас очень тревожит, что если мы руководствуемся некой заданной идеей, если у нас есть намерение проиллюстрировать определенные истины, то наше произведение получится компромиссным, не относящимся к области искусства, а лишь к области полемики. Мы же желаем, чтобы наши романы были чисто художественной литературой, и в «Войне и мире» нас не устраивает именно то, что Толстой учит нас истории. Мы говорим: да, он всегда был моралистом, а не только после пятидесяти.

Как ни странно, подобная эстетическая добродетельность приводит к тому, что представления американских писателей о самих себе отвечают сути самой американской жизни. Ведь мысль о том, что мы — независимые хозяева своей судьбы, есть национальное наследие. Ирвинг Хау, да и многие другие отмечали, что рабочие в Штатах, в отличие от своих европейских коллег, не осознают себя как класс. Они пытаются отождествлять себя не с трудом как таковым, а с тем, что получают в результате труда, с той собственностью, которую накапливают. Они могут также отождествлять себя с определенной этнической группой или с группой людей, вовлеченных в совместную общественную деятельность, но всегда это признак, выделяющий их из более крупного сообщества. Для независимого хозяина своей судьбы существует лишь движение вверх, по крайней мере от поколения к поколению. Перед ним расстилается дорога, и он волен отчаливать, если дела его не складываются, и двигаться дальше. Все это, включая представления писателя о том, что он может позволить себе в искусстве, а что нет, и составляет суть мифа об индивидуализме, которым мы руководствуемся.

По тому, как мы понимаем наши проблемы и разрешаем или не разрешаем их, судят о нашей непоследовательности и неидеологичности. Мы по своей природе хронически подозрительно относимся к любым последовательным решениям, мы прагматики и любим «чинить» Конституцию.

Писатели не в меньшей степени, чем «синие воротнички», разделяют национальную неприязнь к интеллекту, к его пафосу, и голоса, звучащие в наших книгах, несколько ироничнее и значительно скромнее, чем толстовский «бас профундо». Взгляду с высот Олимпа мы предпочитаем полномочия заурядного свидетеля, подтверждающего только то, что видел и слышал сам. Момент, когда позиции подобной литературной добродетельности утвердились, пожалуй, настал лишь в 1940 году по выходе в свет романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Этому событию предшествовало десятилетие бурных дебатов, находивших отражение и в самих произведениях писателей, и на страницах журналов, и на конференциях. Литературная общественность боролась с проявлениями Великой депрессии в Штатах и с установлением тоталитарных режимов в Европе. Практически любое серьезное произведение этого периода было наполнено ожиданием социального кризиса. От писателей требовалось прислушаться к голосу совести, определить свою позицию. И зачастую оказывалось, что благородные поступки совершались совсем не теми, от кого их ожидали; идеалы подменялись соображениями практицизма, никуда не годные писатели создавали стоящие книги, а хорошие — писали ничтожные вещи. Но все они без исключения находились в тесном взаимодействии с происходящим в мире.

Хемингуэй сам в 1937 году написал роман «Иметь и не иметь», главный герой которого (теперь им был Гарри Морган, контрабандист из Флориды) подошел как никогда близко к выражению общественного настроения: «Человек один не может ни черта». Это — великое прозрение для младшего брата героев более ранних романов, романтически погруженных в себя изгнанников. Действие следующего романа Хемингуэя происходит в Испании, в период гражданской войны. Хемингуэй

знал войну не понаслышке, он был более земным и более причастным к тому, что творилось в мире, чем Фолкнер или Фицджеральд. Но, будучи на стороне республиканцев, он тем не менее с недоверием и даже неприязнью относился к коммунистам, которые возглавили их дело. В этой оценке, оказавшейся правильной, он близок к позиции Джорджа Оруэлла в книге «Дань уважения Каталонии».

Но именно европеец Оруэлл придал своим взглядам вид политического пророчества в книге «1984». В романе «По ком звонит колокол» мы по контрасту видим, что, вероятно, человек один действительно не может ни черта, но не исключено, что это как раз и хорошо. Теперь героя Хемингуэя зовут Роберт Джордан, он, молодой американский доброволец, сражающийся в горах на стороне республиканцев, обязан обеспечить взрыв моста, занятого фалангистами. В конце концов он героически погибает в одиночку. Приняв на себя командование партизанским отрядом, он спасает товарищей ценой собственной жизни, и его личный кодекс чести становится как бы единственной непреходящей ценностью гражданской войны испанского народа.

Самый большой интернационалист среди американских писателей XX века был в моральном отношении изоляционистом. Война для него оказалась средством, при помощи которого личность в своем индивидуализме могла подняться до героического, и потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит, чтобы я мог быть самим собой. Сейчас, по прошествии 50—60 лет, думая о Хемингуэе, понимаешь — во многом причина его популярности у публики и у молодых писателей объясняется тем, что он был воплощением американского мифа об индивидуализме.

Образу независимого хозяина собственной судьбы повезло довольно серьезно и у Мелвилла в «Моби Дике», и у Драйзера в «Сестре Керри», но Хемингуэй придал ему наиболее романтическое звучание. Уход от общества, недоверие к нему, отчаяние, порожденное им,— вот лейтмотивы нашей художественной литературы с того самого времени, как Роберт Джордан отказался от жизни и любви и в последний раз прицелился из автомата на заключительной странице романа.

Как будто, имея как данное только собственное «я» — не Бога, не страну, не любовь или смысл сущего,— мы стали комментаторами самих себя. Мы можем отвергать романтизм Хемингуэя, наше «я» становится абсурдным, не чуждым даже черного юмора и в конце концов распадается, теряя свою цельность, но — и в этом все дело — оно все-таки наше.

Сегодня художественная литература теряет свой авторитет, и в первую очередь у читателей, которые обращаются к ней гораздо реже. (И может быть, наиболее активными потребителями современной художественной литературы являются кинопродюсеры, что само по себе весьма красноречиво свидетельствует о трагичности нашего положения.) Гораздо более тревожно падение интереса к литературе вымысла у самих писателей, все суживающих свой диапазон. У них проявляется какая-то скрытая предрасположенность ограничивать и глубину анализа, и широту географии — словно возникает желание войти в помещение, запереть двери, опустить шторы и сосредоточить свое внимание на какой-то тихой частной жизни.

Само собой, традиционно предметом художественной литературы являлась частная жизнь. Высшее назначение литературы связывается как раз с верой в духовное величие человеческой души. Если писателю повезло или если он гений, то его конкретные герои — Эмма Бовари, Керри Мибер, Стивен Дедалус, Джей Гэтсби или Йозеф К.— вбирают в себя целый мир, целую вселенную. Да и мы становимся в большей степени самими собой, нравственно просвещаясь, проецируя на себя эти вымышленные судьбы.

Но в тех книгах, героев которых я перечислил, общество рассматривается как антагонист, проявляет ли оно себя через провинциализм среднего класса, религиозный культ или государственную бюрократию; судьба героев складывается в зависимости от их сопротивления обществу или уступок ему. И география в этих романах широка.

Героиня романа «Сестра Керри» так же, как и ее возлюбленный Герствуд,— целиком во власти материальных соблазнов большого города. Мы следим за формированием ее чувств не в переживаниях любви, для которых ни у нее, ни у других персонажей этой книги не хватает стойкости, а в переживаниях по поводу продвижения по социальной лестнице и материального благополучия. В отличие от авторов стольких добротных ироничных романов Драйзер не претендует на последовательность и точность в раскрытии человеческих помыслов, и вот, читая его романы, мы движемся сначала по Чикаго, затем по Нью-Йорку и по всем Соединенным Штатам. И такое движение бесконечно.

Именно подобного движения вовне и отражающего его взгляда не хватает многим из наших сегодняшних произведений. У меня создалось впечатление, что за редкими, хотя и значительными исключениями в нашей литературе наблюдается некоторая робость — определенная скудость взглядов и языка, утрата надежды, что литература может как бы то ни было воздействовать на реальность. Или считается, что все зло в мире познано, отображено и объяснено и ничего изменить невозможно, все повторяется, но уже без прежней новизны и силы художественного воплощения. Находясь внутри этой в высшей степени аморальной системы, писатель как бы проявляет похвальную прозорливость в своем нежелании быть причастным к ней.

Были, правда, романы о Вьетнаме и романы чернокожих писателей, и тем не менее обо всех нас следует сказать, что не мы создаем культуру, а она нас, даже когда мы весьма традиционно повествуем о том, чему мы сами свидетели, создавая, в сущности, объяснимую картину мира.

Мы стали какими-то запуганными в этот постмодернистский век. Нам явно не хватает широты воображения, мы не способны пожертвовать художническим призванием, если мир не откликается на наш глас,

и, подобно Толстому, восстать против искусства, как прежде восставали против жизни.

Такой же уход наблюдается и в критике. Определенная часть критиков, может быть, и несправедливо, мне кажется, усматривает прямую угрозу художественности, если в литературном произведении дается серьезное исследование общества, если общественные проблемы проецируются на область частной жизни, исторические процессы освещаются через судьбу личности.

Таким образом, социальный роман воспринимается как идеологический. И действительно, произведение, имеющее определенную тематику — скажем, об организаторе рабочего союза или о семье, живущей на пособие по безработице,— считается политическим, то есть нехудожественным в чистом виде в отличие, например, от романа, в котором рассказывается о жизни частной привилегированной школы.

Критики политическое всегда отличают от развлекательного. Считается, что романы Уильяма Бакли о ЦРУ написаны исключительно с развлекательной целью. В то же время, выступая в «Нью-Йорк таймс бук ревью», критик Роберт Олтер заявил, что от романа Джозефа Хеллера «Поправка-22» и моего «Книга Дэниэла» веет враждебностью по отношению к США.

Основное же разграничение проводится, естественно, между политическим и художественным. Оно могло бы позабавить писателей в других странах мира — Надин Гордимер в Южной Африке, например, или Милана Кундеру, покинувшего Чехословакию, Гюнтера Грасса в Западной Германии, Габриэля Гарсиа Маркеса в Колумбии — и, уж конечно, вволю бы посмеялись над ним и Стендаль, и Диккенс, и Достоевский, и Мальро.

Думаю, не будет клеветой сказать, что некоторые наши критики более склонны приветствовать политические романы, принадлежащие перу зарубежных авторов и написанные не об Америке. Это аналогично поддержке Рейганом рабочих движений только на территории Польши, но не дома.

Никто всерьез не предлагает рассматривать 30-е годы в качестве примера для подражания. Но, пытаясь определить наше место сегодня, я все же оглядываюсь на это десятилетие растраченной впустую творческой энергии, время одураченной интеллигенции и плохих пролетарских романов, и я вижу там не только Фолкнера и Хемингуэя, Фицджеральда и Томаса Вулфа, но и Джеймса Т. Фарелла, Ричарда Райта, Нельсона Олгрена, Уильяма Сарояна, Джона Стейнбека, Кэтрин Энн Портер, Джона Дос Пассоса, Натаниэла Уэста, Дороти Паркер, Эдварда Далберга, Далтона Трамбо, Хораса Мак-Коя, Эрскина Колдуэлла, Лиллиан Хелман, Джеймса Эгга, Эдмунда Уилсона, Дэниэла Фукса, Генри Рота, Генри Миллера. Для начала. Литература разнообразная и во всех отношениях противоречивая, полная страсти, энергии, подчас неуемная, самоуничтожающая.

Современная литературная жизнь по сравнению с той уж больно чинная и спокойная. Может быть, общество стало совершенным и безупречным? И нам не с чем бороться? Или же мы попросту расстались с верой в силу искусства, в то, что наши произведения могут влиять на решение общенациональных вопросов?

По мнению Альфреда Кейзина, «в 30-е годы контрреволюционные тенденции проявились сильнее, чем революционные, укрепление государственности доминировало над стремлением к воспеванию апостольской свободы личности... нормой жизни становилась ортодоксальность, а не радикализм. 30-е годы, которые, казалось бы, с легкостью можно сентиментально воспринимать как период борьбы с бедностью и угнетением, знали на самом деле торжество фашизма в Германии и Испании, сталинское насилие над тем истинно радикальным, что заключает в себе идея коммунизма. И у нас в стране правительство якобы для того, чтобы справиться с кризисом политики «нового курса» и пережив Пёрл-Харбор, выковало определенные нормы социального поведения и формы интеллектуального контроля, воспринимаемые сегодня многими американцами как совершенно естественные».

Я, конечно, вырываю это высказывание из контекста. Но если мистер Кейзин прав — а кто, прислушавшись к настойчиво звучащему голосу консерватизма в искусстве, да и в других сферах общественной жизни, в этом может усомниться,— тогда, видимо, надо признать, что существует некая изначальная зависимость художника от тех, выразителем чьих интересов он является. Мы хотим воспринимать произведение искусства как акт личного волеизъявления, в то время как в известном смысле это — продукт общества в целом.

Процесс повествования очень близок по духу обыденным проявлениям человеческого сознания. Люди усматривают смысл жизни в самой идее последовательности, в противоречиях, в метафоре и морали. Люди привычно мыслят и рассуждают в форме повествования, и любой человек способен вполне складно поведать вам историю своей жизни. Повествовательный склад мышления изначально присущ всем людям без исключения, чего не скажешь о математическом или научном. И все люди пребывают в постоянном творческом процессе: наш жизненный опыт — это и есть непрерывное повествование внутри каждого из нас.

И вот ирония — в нашем самоустранении, нашей аполитичности, в нашем прагматическом восприятии себя и своего призвания заключен общий кризис нашего времени: мы пишем, как и живем, в каком-то тупом подчинении политическим обстоятельствам нашей жизни и правилам, навязанным нам политиканами. Нас покупают за благополучие в то время, когда от нашего имени свершаются неимоверные моральные злодеяния. Две сверхдержавы держат весь мир в заложниках, а государственная идеология посягает на живую человеческую мысль.

Я не хочу сказать, что проблемы американских писателей в создавшихся обстоятельствах — самые животрепещущие проблемы нашего общества. Но может быть, в условиях неприятия трезвой политики, в обстановке «холодной войны» и в ощущении угрозы атомной бомбы мы утеряли пафос нашего призвания, состоящий в убеж-

дении, что писательский труд действен, что, честно выполняя свидетельский и моральный долг, мы несем спасение человечеству. Сегодня лучшие наши писатели занимаются пассивными пророчествами. Они пишут о бессилии и беспомощности нашей жизни, об абсолютной непригодности наших общественных установлений для нормального человеческого существования или о несоответствии нашей официальной культуры истинным человеческим чувствам. На страницах их произведений появляется «ненамеренная» критика, абсолютно лишенная того благородного негодования, которое некогда водило пером Льва Толстого и которое могло бы регулировать их движение между искусством и убеждением, что нет на свете ничего важнее необходимости обучать грамоте детей бедняков.

Молодого современного писателя, черпающего интонации и философию в романтизме Хемингуэя, подстерегает опасность ошибочного понимания сути происходящего, которая заключается в том, что ни для кого из нас отдельного будущего не существует. И оставаясь независимыми хозяевами своих судеб, не имеющими возможности управлять ими на самом деле, мы не сумеем достойно справиться с возложенной на нас миссией. Разве мы сможем правдиво следовать изменяющимся условиям жизни, если будем цепляться за мифы, ниспровергнутые самой историей? Если бы мы должным образом откликались на происходящие события, то создавали бы, вероятно, менее благообразные и более энергичные произведения. В них было бы поменьше глянца и самокопания, но это были бы книги о том, как власть движет нашим обществом, кто ею обладает и как при ее помощи делается история. Чтобы изменить свое самосознание, нам, по всей видимости, придется вернуться к нашему детству, к прошлому и начать все заново. Чтобы возродить общество, надо сначала найти слова для понимания его.

*Авторизованный перевод с английского М. Дубровской*

## УОКЕР ПЕРСИ

# РОМАН КАК СРЕДСТВО ДИАГНОЗА

Роман, разумеется, как всегда пребывает в полном беспорядке. Поэтому и заметки о его состоянии или о его кончине обычно ужасающе скучны, и пусть уж лучше пишут на эти темы критики. Но сегодня с романом происходит нечто совершенно особенное. Лично я не собираюсь прописывать ему никаких целительных средств или нападать на современных романистов,— отнюдь! — я лишь хотел бы высказать несколько замечаний по поводу связи медицины с литературой.

Говоря о романе, я имею в виду серьезную художественную литературу. К серьезной литературе (которая, конечно же, включает и юмористическую) я не отношу развлекательную, с присущей ей, подобно товарам массового потребления, вычурностью, написанную иногда даже достаточно профессионально, но однообразную, как «мыльные оперы», эти мелодрамы для домохозяек. Под серьезным романом, большим или малым, я понимаю произведение, в котором писатель создает свой неповторимый вымышленный мир, узнаваемый читателем и воспринимаемый им с радостным чувством совершаемого открытия.

Я коснусь здесь одной лишь особенности сегодняшнего романа, потому что на фоне преследующих его кризисов, кончин и возрождений это — нечто совершенно новое и странное. Оно могло возникнуть лишь в результате какого-то невообразимого непонимания, проявляемого достаточно разумными в иных отношениях людьми, то есть известными писателями, признанными критикой и отмеченными премиями. Суть его в следующем. Даже признав, что современный мир охвачен безумием, не следует делать вывод, будто им должны быть проникнуты и произведения писателя. Это все равно что сказать, что психиатр, поскольку он имеет дело с психически больными людьми, может выражаться лишь как безумный.

Я прошу понять меня правильно. Я не ратую за возвращение к «традиционному роману» с его стандартным аппаратом: подробно разработанными характерами, сюжетом, описаниями окружающей обстановки, изложением событий и фактов и прочим. Ни в коем случае. Если работающие сегодня в жанре nouveau roman намерены избавиться от этого традиционного багажа, я не против, был бы лишь толк. Посадите мужчину и женщину на скамейку в парке. Расскажите на десяти страницах о расположении парковых дорожек и об очертаниях кустарника, ни слова не сообщайте ни о мужчине, ни о женщине, разве что ему хочется коснуться ее тела. Может быть, хочется, а может, и нет. А возможно, это только кажется женщине. И о таком романе можно говорить. Гораздо любопытнее и примечательнее сама новая школа создания романа, и не потому, что в ней есть нечто ненормальное, а потому, что она сама себя воспринимает всерьез и к ней серьез-

---

**УОКЕР ПЕРСИ (WALKER PERCY;** род. в 1916 г.)
Американский писатель. Автор романов «Кинозритель» («The Moviegoer», 1961, Национальная премия по литературе), «Последний джентльмен» («The Last Gentleman», 1966), «Любовь на развалинах» («Love in the Ruins», 1971), «Ланселот» («Lancelot», 1976), «Второе пришествие» («The Second Coming», 1980), «Синдром Танатос» («The Thanatos Syndrome», 1987) и др.
Публикуемая статья была напечатана в американском журнале «Харперс мэгэзин» («Harper's Magazine», June, 1986).

но относятся. Она предлагает не только вышвырнуть весь традиционный багаж, но и отказаться от романа как такового. Провозглашается отречение от изначальной идеи, состоящей в том, что писателю есть о чем сказать, что он до известной степени способен воплотить свой замысел в словах, что он пишет о чем-то определенном, и читатель в состоянии до известной степени понять его. Остается лишь поток слов, но он не ведет к взаимопониманию. Такой роман мог явиться лишь результатом мезальянса между игривой французской семиотикой и напыщенностью американской школы. Но подобно некоторым сортам вин, эта французская игривость «расходится» плохо. В результате получается сущая бессмыслица, преподносимая с особой важностью, свойственной некоторым английским ведомствам, этакая торжественная йельская немецкость.

Но чем рассуждать об антироман, постструктурализме и деструктивизме, я предпочитаю вспомнить одного русского врача по фамилии Чехов, жившего в XIX веке. Причиной этому — некоторая наша общность взглядов и чисто внешнее сходство судеб. Чехов был врачом и писателем. Я был врачом и стал писателем. У нас одно заболевание — туберкулез легких. Чехов, как и я, не особенно увлекался медициной и был рад возможности не заниматься ею.

На этом сходство, видимо, заканчивается. Чехов никогда не писал романов. Я же никогда не писал и не собираюсь писать ни пьес, ни рассказов. Но чем больше я размышляю на эту тему и чем больше я читаю Чехова, тем сильнее мое убеждение, что меня беспокоят те же проблемы, что и его. Именно о них мне бы хотелось говорить, поскольку сегодня они представляются гораздо более значимыми, чем в XIX веке.

И вновь я возвращаюсь к медицинскому образованию Чехова. Смею надеяться, не слишком самоуверенным прозвучит, что великий гений Чехова привнес из медицины в литературу определенный строй мышления, сослуживший ему большую службу, а в моем случае оказавшийся просто незаменимым. Я имею в виду естественную для врача установку, диагностирующую, а в конечном итоге, хочется верить, излечивающую.

Врач чутко реагирует на любое отклонение от нормы. Что-то не в порядке. Что же? Какова природа заболевания? Какой орган поражен? Острое или хроническое это заболевание? Излечимое или нет? Известно ли оно нам? Соответственно, отправной точкой моих рассуждений будет не общепринятый взгляд на Чехова как на великого художника, изображавшего жизнь как она есть, взгляд, не принимающий во внимание ни его оценок, ни мировоззрения. Я думаю о другом, менее известном Чехове, Чехове — литературном клиницисте, патологе, выявляющем тяжкий духовный недуг своего века. В Чехове мне интересно поразительное единство: с одной стороны, скрупулезное внимание к проявлениям жизни в ее конкретных формах, нежелание навязывать свои взгляды, отказ от подчинения фактов теории, а с другой — его требующий определенной отвлеченности, обобщения и научности взгляд диагноста на беды современного мира. Сегодня, сто лет спустя, на исходе XX века, такой литературно-диагностирующий метод, на мой взгляд, в гораздо большей степени должен соответствовать художественному процессу.

В иные времена чувство цельности и благополучия общества или по крайней мере образованной части общества пересиливало ощущение аномальности происходящего. А ведь далеко не все у нас в порядке, и одна из задач современного романиста если не выявить вредоносную бациллу под микроскопом, то по крайней мере назвать болезнь, объявить о ней во всеуслышание. Сравнение художника с патологом в данном случае не годится, поскольку предметом исследования последнего является труп и патолог задается вопросом не «что с больным?», а «отчего больной скончался?». Я же считаю, что вся литературная деятельность, как и врачебная, строится на надежде. А иначе зачем же существуем мы, писатель и читатель? Зачем вообще читать и писать, учить и учиться, если больной уже скончался? Ведь в данном случае больной — это сама наша культура.

Я использую здесь такие термины, как д и а г н о з и п а т о л о г и я, в переносном смысле, разумеется, но слово н а у к а я употребляю намеренно и недвусмысленно в его изначальном и широком значении открытия и знания, а не в общепринятом смысле выделения вторичных причин естественных явлений. Ибо я верю, что первостепенная задача литературы и искусства — задача познавательная. И в добрые времена, и в трудные это всегда — открытие, понимание и гласность; прославление порядка вещей, когда все идет нормально, и диагностирование нарушений этого порядка.

Роман конца XX века сильно отличается от литературы предшествующих двух столетий. В прошлые времена литературу можно было воспринимать как попытку драматизации конфликтов и их разрешений, выражения и утверждения определенных ценностей в обществе, где уже существовало единое представление о смысле жизни и о месте человека в мире. Писатель, драматург или поэт имели возможность создавать свой вымышленный мир, герои которого могли быть поняты и либо приняты, либо нет, а читателя, соответственно, развлекали или поучали. Когда же он соприкасался с большой литературой, укреплялся и озарялся весь его внутренний мир.

Короче говоря, любой литературе необходимо как непременное условие ее существования определенное общественное согласие, некое межличностное сообщество, внутри которого писатели и читатели могут обмениваться словами и символами, значащими для тех и других примерно одно и то же.

Итак, мне представляется правильным начать с предположения, что, по выражению поэта, «ослабла главная связь», вызывает сомнение именно наличие всеобщего согласия. В самом деле, судя по современным романам, фильмам и пьесам, подобное согласие возможно лишь на документальном или фрагментарном уровнях. Бессмысленность является теперь не только изыскан-

ной чертой экзистенциализма, но даже и голливудской продукции.

Дабы проще выразить суть происходящего, приведу слова писателя Гуардини о том, что наступил конец современному миру, просуществовавшему последние лет двести—триста и вдохновленному, по нашему представлению, оптимизмом научной революции, рациональным гуманизмом и той культурной сущностью, утвердившейся на Западе, которую до последнего времени было более или менее правильно называть христианским миром. Христианская концепция, воспринимавшая человека как странника, ищущего спасения, уже давно перестала питать западную культуру. Многие из нас пытаются найти ей замену в возмужании, творческом росте, независимости, тепле человеческих взаимоотношений. Большинство современных писателей ушли в мир оторванного от реальности сознания, где, по выражению Луиса Симпсона, «связь с памятью и историей уступила место чистому экзистенциальному Я».

Прежде чем решать, какой же роман возможен в эту эпоху постмодернизма или постхристианства, как ее стало принято называть, я бы хотел кратко охарактеризовать саму эпоху или одну-две присущих ей черты с точки зрения романиста. Ведь, подобно своим предшественникам, он ищет пусть хоть жалкие остатки некоей общей платформы, с которой он сможет наблюдать и говорить и на которой, он надеется, будут и другие: писатели и читатели, разделяющие если не мировоззрение его, то хотя бы ощущение сложности создавшегося положения. Целесообразно поэтому размышлять не о том, как, во благо или во зло, техника изменила наш мир, понимая под злом иные уродливые его проявления и полное обезличивание людей, живущих в этом мире. Менее очевидно, но вместе с тем более кардинально изменение самого сознания западного человека. Я здесь не имею в виду механистичность, однообразие и обесчеловечивание, о которых много пишут в последнее время, хотя я и не возражаю против этих определений. Нам всем хорошо знакома литература о невероятно скучной жизни в богатых пригородах, но давайте все-таки признаем, что сама эта литература куда скучнее изображаемой ею жизни.

Нет, настоящую патологию следует искать не здесь, не в многоместных автомобилях или полностью автоматизированных кухнях, которые вовсе и не плохо иметь, а в том, как это благополучие преломляется в сознании писателя и отражается в характерах его героев. Воздействию новейшей технологии подверглись не просто западный мир и западный образ жизни — превратное представление о возможностях науки трансформировало и само сознание простого человека. В теологии это называют идолопоклонством. Простой человек безвозвратно теряет самостоятельность, человеческие отношения вырождаются.

Как ни парадоксально, но такова лицевая сторона технологического господства человека в мире и его богатейших возможностей как потребителя мировой продукции.

В определенных обстоятельствах потеря самостоятельности еще не выводит человека из строя. Когда портится, к примеру, автомобиль или не в порядке наш кишечник, у нас есть все основания верить, что нам помогут соответствующие специалисты. И наши ожидания вполне оправданны. Мало у кого есть время или склонность изучать устройство карбюратора или физиологию желудочно-кишечного тракта. Но что же происходит, когда человек всем нутром чувствует, что не в порядке он сам, на себе испытывает действие недуга века: потерю смысла, ощущение бесцельности, утрату собственного «я», всех человеческих ценностей, осознает, что сам превращается в область, доступную лишь специалистам? Типичным примером подобной утраты самостоятельности является больной, радующийся, что симптом его болезни или виденный им сон укладываются в рамки известной теории, или больной, делающий успехи в психотерапевтической группе. Он как бы говорит: «Я, возможно, болен, но как я счастлив, что моя болезнь или мой сон — классические доказательства определенного невроза. Я самый настоящий невротик».

Но какое все это имеет отношение к роману? Как ни странно, именно подобное превратное понимание человеком роли науки и открывает для романиста новые возможности.

Позвольте мне объяснить суть дела кратко и просто. То, что я собираюсь сообщить, не составляет открытия для ученого, но известно далеко не всей широкой публике. Подходя к проблеме с научных позиций, ученый никогда не судит о явлении или особи, которые существуют сами по себе, а только при наличии у них сходства с другими явлениями или особями. Это ограничение верно и для молекулы NaCl, и для амебы, и для человеческого существа. Тут нет ничего нового и ошеломляющего. Изучая естественные науки, мы все исследовали образцы поваренной соли или препарировали налима. Таким образом мы изучали их свойства в целом. Конкретно та самая поваренная соль или тот самый налим нас не интересовали.

Но опять, какое все это имеет отношение к роману? Возможно, я лучше всего покажу эту связь, рассказав об одном своем открытии. Получив естественное образование и являясь поклонником точности и достоверности научного метода, я проходил курс психоанализа с целью изучения психиатрии и вдруг обнаружил, что наука и все ученые, даже сам Фрейд, обращаются ко мне не как личности, а лишь как к представителю определенного, в данном случае южного, невротического типа. Все это замечательно, скажете вы, но что из этого? Да то, что это классическая «поправка-22». Каждый из нас несомненно является личностью. В отличие от налима, каждый из нас заполнен собой и должен как-то жить, оставаясь самим собой. И ровно настолько, насколько мы позволяем воспринимать нас как определенный тип, как пример чего-то, часть чего-то, такого-то класса homo sapiens, пусть даже самого творческого homo sapiens, именно настолько перестаем мы быть самими собой.

Что же касается романа, то я могу говорить о нем лишь в свете сделанного мною открытия, собственно и побудившего меня

писать романы, т. е. заняться делом, к которому я иным образом и не был подготовлен. Понятно, что романист должен иметь хорошее гуманитарное и литературное образование, а если он южанин, то, говорят, он должен быть пропитан южным фольклором, сказками, небылицами, историями, семейными преданиями и тому подобным.

Хочешь быть вторым Фолкнером — ходи и слушай рассказы стариков о былых временах. Я же не соответствую ни одному из этих канонов. Родившись и выросши в Бирмингеме, штат Алабама, в новом доме с площадками для игры в гольф, я только и мог слышать что анекдоты в помещении раздевалок.

Изучая медицину, я неожиданно осознал, что в научном взгляде на мир есть колоссальный пробел. Наука не в состоянии дать ответа на вопрос: что значит быть личностью, живущей в США в XX веке?

Если не ученый, то кто же тогда способен соотнести себя с этой реальностью? И я понял, что это под силу лишь писателю, в особенности романисту. Как ни странно, но именно произведения живших в XIX веке Кьеркегора и Достоевского убедили меня, что только писатель, философ-экзистенциалист или романист способен исследовать эту область со всей страстностью, серьезностью и надеждой, сродни той, что питала гений Эйнштейна в его открытиях, показавших несостоятельность ньютоновской физики.

Прежде чем я продолжу рассуждения о романе как о способе познания реальности, позвольте мне обратить ваше внимание на две особенности жизни XX века, более других доступные наблюдениям романиста и в то же время являющиеся следствием всеохватывающего научно-технологического взгляда на жизнь.

Одна из них — это отчужденность, одиночество и враждебность современного человека, прототипа героев многих сегодняшних романов, пьес и кинокартин. На мой взгляд, до известной степени эту враждебность можно воспринимать как отказ, пусть даже подсознательный, от ценностных форм человеческой деятельности в пользу ученых, технократов и специалистов. Вторая особенность — это явный упор в романах и фильмах на откровенность сексуального поведения. Следствием этого являются произведения, в которых мужчина или женщина, словно обреченные на одиночное заключение среди 200 миллионов американцев, вступают в сексуальные отношения, но остаются все такими же отчужденными, окутанными пеленой молчания.

Изображение откровенной сексуальности сопровождается разного рода двусмысленностями. С одной стороны, следует честно признать существование порнографии. Множество плохих писателей и кинорежиссеров делают большие деньги на книгах и фильмах, имеющих целью лишь сексуальное возбуждение читателя или зрителя. О порнографии я говорить не собираюсь, к литературе она отношения не имеет. Но по мере того, как научный этос все более пропитывает западный мир, выхолащивая человеческие взаимоотношения, многие стали воспринимать сексуальные отношения как единственно возможную, реальную форму человеческого общения. В основе всего, что представляется вам настоящим, лежит сексуальность и половой инстинкт.

Возьмите, к примеру, фильм «Последнее танго в Париже», который, кстати сказать, я не считаю хорошим. Но я не считаю его и порнографическим. В этой картине двое совершенно посторонних людей выполняют по отношению друг к другу ряд сексуальных действий, практически в гробовой тишине, и в конце концов один из них убивает другого. Обезличенный секс и бесстрастное насилие — наверное, только так и могло произойти. Не исключено, что в городской среде простых образованных людей, настроенных враждебно друг к другу и к самим себе, существует выбор лишь из трех вариантов: секса, насилия и, возможно, наиболее реального из всех — смерти. Секс, насилие и смерть достаточно реальны, но реально ли что-либо другое? А если нет, то не сводится ли работа романиста и режиссера к одной лишь документальности и свидетельству оскудения реального в современной жизни?

Я предлагаю романисту альтернативу, возможно более радикальную или по крайней мере более смелую, чем лишь свидетельство отчужденности, обезличенного секса и насилия. Если такой альтернативы не существует, значит, мы должны распрощаться с Кафкой, для которого вся человеческая деятельность — это движение из стороны в сторону в кромешной тьме, где, изредка сталкиваясь с другим человеком, передвигаются лишь на ощупь, осторожно дотрагиваясь, ощущая, возможно соединяясь, а возможно и нет, и продолжают вслепую свой путь.

Художник, в особенности романист, может найти средство исследования этого кафкианского мира или пустой квартиры героя Марлона Брандо, средство во всех отношениях научное и познавательное, как, скажем, телескоп Галилея или камера Вильсона [1].

И в самом деле, это, быть может, единственный путь исследования огромного пробела в нашем знании — путь познания самих себя и наших взаимоотношений с окружающими.

Речь идет, конечно же, об искусстве и, в частности, о литературе.

Но какова же функция литературы в тот период, когда одна эпоха уже завершилась, а другая еще не определилась?

На мой взгляд, эта функция исследовательская. Если «Том Джонс» Филдинга — гимн жизни Англии XVIII века, то наша художественная литература больше напоминает «Робинзона Крузо», где герой потерпел кораблекрушение и оказался на необитаемом острове, однако имеются и существенные отличия. Наш остров еще более таинственный, чем остров Робинзона. С одной стороны, хотя он и перенаселен, многие его обитатели чувствуют себя такими же одинокими, как Робинзон. С другой стороны, Робинзон не отделял себя от христианского мира, и даже необитаемый остров был наполнен для него значимыми сигна-

[1] Прибор для определения элементарных частиц и измерения их свойств. *(Прим. перев.)*

лами. След такого-то животного говорил об опасности. Такой-то плод означал «с ъ е ш ь м е н я». Робинзон знал, что ему следует делать. Но одинокий герой романа XX века не знает ни кто он, ни что ему делать, и сигналы на его острове весьма двусмысленны. И когда ему все-таки встречается Пятница, они общаются с трудом. Если бы два человека эпохи постмодернизма встретились на необитаемом острове, подобно Робинзону и Пятнице, наверняка никому бы из них и в голову не пришло начать разговор, поскольку это бы означало, что им есть о чем поговорить друг с другом. Здесь возможны, по всей видимости, сексуальные отношения или совместные научные поиски и, конечно же, убийство. Но что кроме этого?

Так что же под силу художественной литературе в условиях распада всего иудейско-христианского мировоззрения и рационального гуманизма? Полагаю все-таки, что ее задача выходит за рамки простого описания одиночества и разнообразных сексуальных контактов, чем наводнены современные произведения. Она предполагает исследование возможностей выбора, имеющихся у человека постмодернистской эпохи. Он не только попал в положение отверженного, но и остро ощущает его. Как поступал Робинзон? Исследовал остров, вглядывался в линию горизонта, ждал знаков с моря, прочесывал берег. Чего ради? Возможно, в поисках выброшенных на берег бутылок с посланиями. Но с какими именно? Вот в чем вопрос. Какие послания могут быть поняты?

Современный романист должен быть своего рода эпистемологом. Он должен знать, как составлять послания и как расшифровывать их. И послания эти он получает не из выброшенных на берег бутылок. А из неумелых, невнятных диалогов между посторонними людьми, между влюбленными, друзьями, когда один из них говорит, а другой пытается понять смысл его слов и есть ли вообще этот смысл.

Сравните литературу последних лет с изображением общества в традиционном романе, к примеру, с описанием приема в салоне Анны Павловны в самом начале «Войны и мира», где хозяйка и ее гости обсуждают наполеоновские войны. Идет разговор, присутствующие обмениваются взглядами. В этом сообществе, где всеми разделяются и смысл сказанного, и исходные посылки, все всем понятно.

Если отойти от сравнения с необитаемым островом, то общение в сегодняшнем сообществе, представленное в современном романе, можно уподобить общению двух заключенных, сидящих в соседних камерах за какое-то неясное, кафкианского толка преступление. Связь возможна только при помощи перестукивания. Но говорят ли они на одном языке? Подобные квазиразговоры или неразговоры происходят на страницах произведений Кафки, Сартра, Беккета, Пинтера, Мак-Элроя. Если такой взгляд вам кажется мрачным, позвольте мне выразить в чем-то, быть может, неправомерное предпочтение. Не исключено, что так проявляется симптом моего собственного невроза, но отчасти это объяснит суть происходящего. Словом, по мне, уж лучше быть узником, пытающимся достучаться до своего соседа по камере в XX веке, чем гостем в салоне Анны Павловны в Москве 1805 года. Перед нами — задачи куда более сложные и ответственные, чем победа над Наполеоном, ибо нам предстоит исследование целого неизведанного мира и воссоздание или открытие законов его языка и понятий.

Теперь пора вернуться к моему тезису о диагностирующей и познавательной роли современной художественной литературы. Когда завершается эпоха и ее традиционные культурные символы теряют свое значение, человек остается совершенно обнаженным, что крайне неприятно для него, но зато очень познавательно для желающих внимательно изучить его, а на самом деле себя. И по самой природе предмета, и по способу его осмысления — это область искусства, в особенности литературы, а не естественных наук.

И не случайно направление в современной литературе, смыкающееся с направлением европейской философской мысли, экзистенциализмом, имеет аналогичное название. И философия Кьеркегора, и романы Достоевского рассматривают не человечество, а человека как такового, каким-то образом изолированного от окружающего мира и общества, где и философия, и литература считаются абсурдными или даже отмирающими. Такой человек понимается как отчужденный от культуры, но не как некая абстракция, не как особь homo sapiens, отчужденная, пригвожденная к столу препаратора, подобно какому-нибудь налиму, а как личность, помещенная во времени, в пространстве, ситуации. Тема романа может не затрагивать его состояния, но сложность его положения не менее ясна и ощутима, чем сложность положения Андрея Болконского, раненного на поле Бородинского сражения. Герой может сидеть одиноко в кафе, слушая беседы буржуа в Бувиле, героиня может колесить по стране или уединяться с абсолютно незнакомым человеком в мотеле, как в романе Джоан Дидион. В любом случае в этих серьезных произведениях исследуется не лицемерие буржуазии или лос-анджелесские пустоши, а сложности, испытываемые героями. Следовательно, исследуются или должны исследоваться не только природа этих сложностей, но и возможность или невозможность поиска сигналов и общих понятий. В зависимости от взглядов писателя сигналы могут быть как двусмысленными, так и бессмысленными, но что-то, возможно, будет воспринято; стук в стену услышат и ответят на него.

Суть в том, что вся художественная литература может быть использована как средство исследования и открытия, короче говоря, научного подхода. В наступившую эпоху всеобщего обесценивания и обессмысливания прерогативой романиста является возможность начать новый поиск, подобно Робинзону Крузо на необитаемом острове.

Может статься, лишь роману или поэту будущего удастся понять, что происходит с человеком и каковы его взаимоотношения с окружающими.

*Перевод с английского М. ДУБРОВСКОЙ*

А. ЗВЕРЕВ

# НЕОБХОДИМЫЙ СКЕПСИС

Любой диалог требует представления собеседников. Не будем отступать от традиции.

Имя Эдгара Лоренса Доктороу нашим читателям известно. Многие, вероятно, помнят его «Рэгтайм», произведение, поразившее тогда еще не приевшейся поэтикой «ретро», при помощи которой был воссоздан коллективный портрет Америки 1906 года.

До «Рэгтайма» в биографии Доктороу была «Книга Дэниэла» (1971), роман о «деле Розенбергов» — немолодой супружеской четы, в годы маккартистских беззаконий казненной по недоказанному обвинению в государственной измене. Пристрастие к изображению социальной истории и в будничном течении, и в резких, подчас болезненных переломах с самого начала сделалось важной особенностью творчества Доктороу. Ему интересен ход истории, а не частные судьбы, сложно им опосредованные. Случаются у писателя удачи и неудачи, однако в последовательности установок Доктороу не откажешь.

Он неизменно верен своей проблематике, как, впрочем, и поэтике, основывающейся на широком использовании фактографического материала, на реконструкции атмосферы изображаемого времени во всех его характерных чертах и даже мелких подробностях. На минимуме психологизма. На жесткой предопределенности каждой человеческой биографии теми крупными общественными противоречиями, которые создают облик эпохи.

Так написаны «Книга Дэниэла», и «Рэгтайм», и «Гагачье озеро» (1980), где предпринята попытка на сжатом повествовательном пространстве охватить главные коллизии 30-х годов, по убеждению Доктороу, завязавшие узлы всей последующей американской истории.

Теперь 30-е годы вспоминают в США скептически. Говорят о несбывшихся надеждах, о политической наивности. Отчасти такие взгляды разделяет и Доктороу. Но его позиция сложная и ближе к истине. Полвека спустя идеалы того десятилетия кажутся ему несколько схематичными, а все-таки это было время общественного и духовного подъема — не то что нынешний период апатии и скепсиса. Оттого Доктороу и возвращается к 30-м годам снова и снова. Во «Всемирной выставке» (1985) они показаны уже без чрезмерно резкой контрастности, которая отличает прежние его романы. Метафоры становятся и сложней и прихотливей. Многоцветье реальности корректирует не в меру сухую логику развития конфликтов.

Статья, с которой познакомился читатель, вобрала в себя индивидуальный творческий опыт Доктороу. Она нескрываемо субъективна и по мыслям, и по оценкам. У писателя по-другому быть и не может. Уокер Перси не менее пристрастен: тут не столько литературоведение, сколько авторское исповедание, но как раз неожиданностью взгляда оно и интересно.

О Перси надо сказать чуть подробнее, поскольку у нас его пока не знают. Ему семьдесят один год, но литературный стаж Перси не так велик. «Кинозритель», первый его роман, вышел в 1961 году. Поздний дебют был замечен и по достоинству оценен: книга получила Национальную премию по литературе.

«Кинозритель» был точным диагнозом опасного общественного заболевания. Перси раньше других почувствовал, какие опасные формы начинает принимать в США процесс стандартизации личности, и написал об этом ярко, нешаблонно. Вместе с тем и эта книга, для большинства критиков, оставшаяся лучшей у Перси, заключала в себе сконструированность ситуации, хотя внешне и обладавшей всеми приметами конкретики. На поверку ситуация была довольно искусственной, умозрительной.

Герой Перси — и это станет характерно для всех его книг — кажется выхваченным из толпы, но помимо такого рода типажности он отмечен еще и обязательными чертами духовного скитальца, экзистенциалистского бунтаря. Потаенно в этом законченном конформисте живет существо, отчужденное от общества, способное к безоглядным саморазрушительным жестам неприятия, подчас выражающегося в актах прямого аморализма.

Странный симбиоз! Он не перестает удивлять читателей Перси — и в «Последнем джентльмене» (1966), и в «Ланселоте» (1976), и во «Втором пришествии» (1980), романах очень разных по материалу, но всегда рисующих, собственно, один и тот же человеческий тип. Сам Перси называет своих центральных персонажей искателями, заявляя, что «поиск — это нормальное состояние человека». Как отвлеченный тезис его мысль вряд ли вызовет возражения, но суть дела в том, какой целью вдохновляется искательство, владеющее помыслами людей, им изображенных.

Все они нуждаются хотя бы в иллюзии свободного выбора собственной судьбы. Привыкшим к норме они кажутся психопатами и выродками. Но в действительности тут попытка — ущербная, конечно, а иногда просто губительная — противостоять тому, что Перси назвал «обесцениванием жизни», подразумевая сытое, беспечальное существование, которому вообще неведомы ни поиски, ни страдания, ни заблуждения мятущейся души.

---

**ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ** (род. в 1939 г.)

Советский литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985) и многих статей.

С героями своих романов Перси чаще спорит, чем соглашается, да это и неудивительно. Перси — католик, тогда как его персонажи большей частью оказываются на грани нигилизма. Перси — южанин, то есть наследник стойкой этической традиции, для которой первостепенной важностью обладает понятие «чести», как бы причудливо оно ни толковалось на практике, о чем мы хорошо знаем из книг великого южанина Фолкнера. Перси — усердный читатель Достоевского, и не просто читатель, а в каком-то смысле даже продолжатель, хотя, попробовав воспроизвести в «Последнем джентльмене» проблематику «Идиота», он потерпел фиаско.

Наконец, Перси — врач по образованию, и свое писательское назначение, вообще призвание современного романа видит в диагностировании вирусов, порождающих болезни общества и культуры. Бунтарские побуждения собственных персонажей он тоже опознает как вирус такого рода. Но все же не отказывает им в искренности поиска. Поиск создает хотя бы отдаленную надежду на обновление. Когда поиска нет, очерчивается только перспектива дальнейшего обесценивания и без того изуродованной жизни.

Если прочесть роман Перси вслед роману Доктороу или наоборот, возникает ощущение, что перед нами писатели, не имеющие ничего общего друг с другом. Действительно, уж слишком бросаются в глаза различия. Доктороу — художник, старающийся изображать сущность общественных процессов, давно предпочитающий живописи графику и не слишком интересующийся индивидуальными особенностями одиночек. У Перси внимание сосредоточено как раз на индивидуальности, которая отнюдь и не выступает как знамение тех или иных социальных трансформаций.

Тем любопытнее, что романисты, настолько один с другим расходящиеся по творческим интересам, отчасти совпали в оценках нынешней американской прозы. Сам факт до известной степени знаменателен.

В чем же совпадение?

Ответить несложно: в чувстве неудовлетворенности, в скепсисе, с каким оба — и Доктороу, и Перси — смотрят на сегодняшнее состояние и, как им кажется, наиболее вероятные ближайшие перспективы американского романа. Точки отсчета, исходные посылки, критерии — все несхоже, а вот итог почти одинаков. Роман упрекают за то, что он утратил независимый взгляд на действительность и сделался не более чем зеркалом действительности, бесстрастно фиксирующим ее хаос. Литературу корят небрежением идеями своей социальной значимости и ответственности.

Говоря кратко, смысл обвинений, на которые щедры и Доктороу, и Перси, в том, что американский писатель перестал быть творцом культуры. Он довольствуется положением безотказного проводника преобладающих поверий и мнений. Он только раб господствующих понятий, которым и не мыслит противопоставить собственное слово о жизни.

Это очень серьезные упреки. Тем более что адресованы они не кому-то по отдельности, пусть бы то была и крупная, представительная фигура. Ведь речь идет о романе как целом, о литературе как единстве. Она вся (а не, скажем, Мейлер, или Стайрон, или Оутс) повинна в том, что занялась «пассивными пророчествами», размышлениями «о бессилии и беспомощности», тогда как требуется «благородное негодование», без которого писателю невозможно исполнить «свидетельский и моральный долг» (Доктороу). Она вся (а не, допустим, Болдуин, или Воннегут, или Роберт Стоун) должна отвечать за то, что разучилась «называть болезнь» и лишь вяло, безучастно фиксирует ее течение, оказываясь при этом «куда скучнее изображаемой ею жизни» (Перси).

Подобная широта обобщений смущает. Понятно — отчего. Литература всегда богаче однозначных толкований ее сущности. Она противится категорически жестким интерпретациям процессов, которые в ней происходят. Более внимательный и спокойный взгляд почти обязательно обнаружит в этих процессах разноречивое содержание.

Это не формальные уточнения да оговорки, не педантизм схоласта, а только желание справедливости. Нельзя, скажем, вот так, походя, всем вообще современным романистам приписывать «скрытую предрасположенность», опустив шторы в кабинете, предаться копанью в «тихой частной жизни», то есть мелкотемью. Самого Доктороу, к примеру, чем-чем, а этим уж никак не уколешь,— как и Видала, или Стайрона, или Воннегута — перечень получится длинным.

Нельзя, думается, и так вот решительно заявлять, что нынешние писатели не выходят «за рамки простого описания одиночества», хотя Перси все же не забывает о спасительных словах: «многие», «до некоторой степени». Впрочем, спасают такие слова лишь относительно, потому что их чисто служебная роль в подобном контексте вполне ясна. Ведь и Перси ограничился всего одним конкретным указанием, вспомнив фильм Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Фильм в известном смысле яркий, для своего времени (1972 год) характерный, но никак не исчерпывающий творчество названного режиссера (зрители московских кинофестивалей помнят его по эпической фреске «Двадцатый век»).

Пример единичен, меж тем выводы ответственны, поскольку они всеохватны. Ясно, что и Перси, как Доктороу, разумеет преобладающее сегодня состояние западной культуры, которое «Последним танго в Париже», по его представлениям, лишь выявлено с особой выразительностью. Различие с Доктороу в том, что Перси готов признать это состояние неизбежностью. Нет, и у него не вызывает энтузиазма такое положение, когда писатель схож с узником, пытающимся достучаться через стену к соседу, или с Ребинзоном, которому не удастся расшифровать послание, даже допуская, что волны выбросят бутылку на его необитаемый остров. Но для Перси это положение неотвратимо и преходяще. А для Доктороу искусственно, поскольку создано ложной ориентацией самих писателей.

В июне прошлого года Доктороу был гостем «Иностранной литературы». Состоялся содержательный разговор. Писатель говорил о том, что процессы обновления, происходящие в советском обществе, внушают ему веру и надежду на лучшее взаимопонимание между нашими народами, а значит, на улучшение всего сегодняшнего общественного климата в мире. Но тут же заметил, что среди многих его соотечественников по-прежнему господствует скепсис относительно настоящего и ближайшего будущего Америки, да и всего людского сообщества. И американская литература все так же глубоко поражена этим скепсисом, порождающим анемию гражданского сознания, неверие в свои возможности, недооценку собственных потенциальных сил. Вот почему Доктороу и не отказывается от главных положений статьи, с которой мы знакомим читателя.

Эти положения прямо перекликаются с оценками Перси, рассуждающего о завершении определенной эпохи, о выветривании ее идеалов, о том, что «традиционные культурные символы» утратили свое значение. Ему кажется, что наше время следует рассматривать как один из тех периодов разлома и мучительного перехода, которые обязательно случаются в истории культуры. Причем речь идет не просто о закате большого художественного движения,— но об изменившейся ситуации человека в универсуме, о нарождающихся новых формах человеческих связей, которые сегодня еще неясны и недоступны культуре, по этой причине переживающей полосу кризиса.

Назвать такую постановку вопроса некорректной нельзя. Периоды подобных кризисов действительно выдаются, и мы это знаем из опыта, очень близкого во времени. Нам, например, уже не кажется метафорой выражение «человечество после Хиросимы». С ходом лет мы достаточно убедились в том, что 6 августа 1945 года произошло событие, существенным образом повлиявшее именно на самосознание человечества, а не только на послевоенные политические реальности. Вслед Хиросиме переломилось восприятие самого феномена человека, по-новому увидевшего мир, и свое место в нем, и самого себя. Как однажды выразился, касаясь тех же материй, Чингиз Айтматов: «Сейчас человечество переступило новый порог познания и явно оказалось неподготовленным к этому ни в социальном, ни в нравственном отношении... Может быть, характер этих эмоций такой, что он трудно поддается переводу в образный язык искусства».

Если бы, толкуя о том, что у нас на глазах заканчивается эпоха и происходит «распад рационального гуманизма», Перси имел в виду эту вот ситуацию за новым порогом познания, нам было бы легко принять его точку зрения. Преследующее Перси чувство кризиса и распада питается не теми эмоциями, которые порождены тревогой за человечество, столкнувшееся с Хиросимой и с неубывающей возможностью ее намного более чудовищных повторений. Эта тревога, которая не оправдала бы, конечно, но хотя бы объяснила даже гипертрофию беспокойства, у Перси если и распознается, так с усилием. И немалым.

Для него суть дела заключается в кризисе христианского мировоззрения, подточенного многими недугами и больше не являющегося основой «общественного согласия», во все времена являвшегося гарантом полноценной культуры. Недуги Перси указывает без труда, поскольку они очевидны. Тут и непомерно разросшаяся рациональность, и стойкие иллюзии насчет всемогущества науки, будто бы создающей одни лишь безусловные ценности, и притягательные фетиши преуспеяния, под конец увенчиваемого чувством решительной пустоты, вымороченности всей этой изобильной и ничтожной жизни.

Вот откуда, по мнению Перси, ставшее теперь до банальности заурядным ощущение бесцельной суеты бытия, потеря его смысла, разрыв связей между людьми, утратившими собственную индивидуальность. И все это отозвалось в романе явлениями столь же кризисными, как сама действительность, им запечатленная, а точнее — «документированная». Ибо роман и стал всего-навсего «документацией» распада, непритязательным «свидетельством оскудения», повсюду наблюдаемого в американском обществе. Проникнуть в логику и механизм этого оскудения романисты уже и не пытаются. Уродства действительности ими как бы молчаливо признаны естественным положением вещей.

Пристрастный суд? Да нет, он основывается на многих фактах. Однако необходимо установление причин, тогда как Перси все же говорит скорее о симптомах. Сегодня было бы только справедливо и шире, и объективнее посмотреть на сложившуюся тревожную ситуацию. Кризис христианства, какое бы значение ни придавать этому феномену (кстати, отнюдь не бесспорному), навряд ли ее объяснит. Причины глубже, и новый порог сознания, о котором говорил Айтматов, вероятно, самая главная.

Доктороу, думается, куда ближе к истине, когда тот же процесс оскудения ставит в прямую связь с равнодушием к политике, отличающем многих американцев, включая и писателей, и с несостоятельностью национального идеала, основывающегося на индивидуализме. Та «неприязнь к интеллекту», о которой он настойчиво говорит как о характерном свойстве американцев, разумеется, не им первым подмечена, она поражала едва ли не всех вдумчивых наблюдателей американской жизни. Когда Доктороу подкрепляет свой основной тезис конкретными примерами, с ним приходится спорить. Он часто несправедлив — к Мелвиллу, к Хемингуэю, к романистам, передавшим опыт поколения, воевавшего во Вьетнаме.

Не говорим уже о том, что нельзя без очень строгой проверки принимать расхожие утверждения в том духе, что американский пролетариат якобы вообще лишен классового самосознания. Или так безоговорочно соглашаться с критиком А. Кейзином, излагающим весьма сбивчивую, консервативно окрашенную концепцию, кото-

рая куда больше затемняет, чем проясняет суть трагических явлений 30-х годов.

В каких-то интерпретациях и оценках мы разойдемся с Доктороу принципиально. Но это не помеха для того, чтобы понять и разделить его озабоченность возникшей ситуацией. Как не признать обоснованным это беспокойство при виде слишком явного стремления соотечественников изолироваться от происходящего в мире, точно бы где-то на иной, не ведающей тревог планете находятся уютные городки и пригороды, населенные преуспевшими средними американцами, которых так легко купить за благополучие, от их имени совершая «неимоверные моральные злодеяния»?

Доктороу удручает это самодовольство, индивидуалистическая черствость, побуждающая мыслить «о себе, и только о себе— не о Боге, не о стране, не о любви или смысле сущего». Знакомые ноты! Откройте книги Мелвилла или Торо — в них та же настороженность. Вот как давно положено было начало критике американского мифа о высшей ценности успеха, достигаемого личностью, которая руководится одними лишь собственными потребностями и рассчитывает исключительно на собственные силы!

Однако миф оказался на редкость живучим. Он явился не каким-то временным заблуждением, а одним из фундаментальных принципов, на которых уже третье столетие держится этика, вера, весь образ мира, утвердившийся в представлениях миллионов людей, которым так свойственно то, что Доктороу назвал «тупым подчинением политическим обстоятельствам нашей жизни».

Обратим внимание на то, что два эти свойства — «тупое подчинение» и плоскую индивидуалистическую мораль — Доктороу понимает как вещи органично взаимосвязанные, взаимозависимые. Это мета времени. Вероятно, присущий стольким американцам взгляд на самих себя как своего рода «независимых предпринимателей», которым дела нет до забот соседа, не то что до болей и мук человечества, еще не обнаруживал собственную несостоятельность так откровенно, как сегодня, когда, по выражению Доктороу, весь мир оказался в заложниках — ядерных заложниках.

Оставим на его совести декларацию, будто равную вину за это несут обе сверхдержавы; сосредоточимся на главном. А главное в том, что Доктороу отвергает позицию равнодушия к нависшим над миром опасностям. Зовет проникнуться причастностью к истории, свершающейся у нас на глазах, и ответственностью за ее итоги. Ведь они могут оказаться и катастрофичными. Мыслима ли безучастность перед лицом такой перспективы?

К литературе — и к американской особенно — этот вопрос должен быть обращен, наверное, в первую очередь, если литература хочет остаться самой собой, то есть сохранить значение не просто свидетельское, но и моральное. Удастся ли ей это? Готова ли она к той новой сложности, которая перед нею возникла сейчас, в нелегкую пору, заставляющую совсем иначе, чем вчера, оценивать многие устоявшиеся понятия? Сумеет ли преодолеть прижившиеся в ней аполитичность и самоустранение, избавиться от сомнений в собственной способности не только «документировать» реальность, но и воздействовать на нее?

Обо всем этом надо думать безотлагательно и всерьез — здесь Перси и Доктороу едины. Оттого и знаменательно, что одна за другой появились их статьи. Только кажется, что они не выходят за рамки литературы. На самом деле они выразили современную общественную ситуацию. Так, как ее воспринимает американский писатель.

Должно быть, все обратят внимание и на еще одну общую черту этих статей. Показывая, каким в идеале надлежит быть художнику, оба автора обращаются к русской классике. Доктороу видит образец в Толстом, и не столько романисте, но прежде всего в личности, готовой пожертвовать художественным призванием, если литература перестает служить мощным средством нравственного воздействия. Для Перси такой образец — Чехов. Истолкован он своеобразно, но не сказать, чтобы так уж произвольно.

Перси перечитывает Чехова с целью убедиться, что вот он, искомый пример прозы как средства диагноза, с которого начинается излечение недомоганий духа. Никаких теорий поверх фактов, никакой проповеди в ущерб художественности. Строгий объективный анализ, необходимая отвлеченность от будничного, чтобы появилась дистанция для обзора. А вместе с тем — скрупулезное внимание к жизни во всех ее характерных подробностях, вплоть до мелочей, и способность обобщать, не обманываясь случайным или лежащим на поверхности. «Диагностирующий метод»— ныне, в конце нашего века, нужда в нем куда острее, чем была на исходе прошлого.

Впрочем, не голословны ли утверждения Перси, что свою познавательную функцию литература выполняет неохотно и неумело, а то и просто предает ее забвению? Нет, не голословны. Если только не придавать этим утверждениям излишне обобщенный смысл.

Исключения, конечно, найдутся, ну да ведь и за подтверждениями дело не станет. Причем подтверждений так много, что впору говорить о тенденции, зорко подмеченной Перси. Ограничимся одним — зато довольно ярким — примером.

Совсем недавно, в прошлом году, «Иностранная литература» (№ 4) познакомила нас с Джоном Ирвингом, опубликовав его миниатюру «До Айовы рукой подать». Знакомство подзадержалось, потому что Ирвинг печатается с 60-х годов, а после того как он выпустил нашумевший роман «Мир по Гарпу» (1976), стало трудно рассуждать об американской прозе, обходя это имя. Хорошо, впрочем, что, хоть и с запозданием, Ирвинг представлен нашим читателям.

Это стоило сделать не столько ввиду его реальных литературных заслуг, сколько по причине характерности явления.

Читавшим «Мир по Гарпу» или любой из двух последующих романов Ирвинга — «Отель «Нью-Гэмпшир» (1981), «Инструкции для сидроварильни» (1985) — может показаться, что автор любит персонажей эксцентричных, не вполне от мира сего. Действительно, все они отмечены некоторой странностью поведения, из-за чего гротескные ситуации возникают в книгах Ирвинга поминутно и нередко обыгрываются с изобретательностью прирожденного юмориста.

Но странность поступков и манер, забавное неумение согласовывать свои действия с «правилами», установленными для того, чтобы поддерживался нормальный порядок быта,— все это лишь верхний слой повествования Ирвинга. Под его пером подобные особенности персонажа оказываются способом заострить в нем нечто в высшей степени типажное, усредненное, свойственное массе, которая легко узнает в ирвинговских героях собственные побуждения, страхи, психологические «комплексы». Гротеск Ирвинга схож с нацеленным в упор лучом прожектора: человек становится виден весь, в своих мельчайших и, как правило, неосознанных качествах. И как раз этот «молекулярный» уровень наиболее красноречиво выказывает его абсолютную зависимость от норм, ходовых представлений, стереотипов мышления — словом, от всего, что составляет «дух времени», если о нем судить по самочувствию безликой массы.

Как определенного рода «документация» этого «духа времени» романы Ирвинга и впрямь любопытны. Взять хотя бы «Инструкции для сидроварильни». Нам рассказывают историю, охватывающую почти все текущее столетие. Место действия — сиротский приют в штате Мэн по соседству с фруктовой плантацией, где существует строгий распорядок для сезонников: правила пожарной охраны, правила нравственности, трезвости, личной гигиены и еще много правил, одно разумнее другого. Приют пополняется с завидной регулярностью через известный срок по окончании сбора яблок. У работниц весьма шаткие понятия о добродетели.

Желающим немедленно освободиться от нежеланного потомства тоже следует направить стопы в приют, хотя аборты запрещены законом. Но доктор Ларч, глава заведения, сам явился на свет лишь оттого, что мамаша не сумела своевременно отыскать подпольного коновала. Он просто святой, доктор Ларч, он лучше всех способен войти в положение своих пациенток, как ни претит его принципам необходимость держать в приюте операционную. Что же, принципы принципами, а жизнь жизнью. Есть превосходные правила, и есть не считающаяся с ними реальность.

Пикантный сюжетец: святой, которому приходится стать грешником именно для того, чтобы отвечать своему назначению избавителя. Ирвинг, не надо пояснять, использует эту «перевернутую» ситуацию, стараясь выжать из нее максимум юмора— «черного», «висельного», анекдотического, беззлобного, ядовитого, только не того, который в родстве с сатирой. Автор никого и ничего не высмеивает, он просто описывает. Клиентура Ларча — это десятки жизненных историй, одна нелепее другой, однако не из таких ли трагифарсовых нелепостей и состоит доподлинная жизнь?

Читателю Ирвинга невозможно сделать иной вывод. Он, читатель, как-то и не замечает, что за стенами приюта происходят бурные события: две мировые войны, а между ними — «бум» 20-х годов и «депрессия» 30-х, потом маккартистская «охота на ведьм», потом и «молодежная революция»... Что бы в мире ни случалось, какие бы его ни сотрясали конфликты и взрывы, все непременно закончится операционной или палатой для завернутых в пеленки сирот. Печальный, но неотменяемый закон бытия!

Можно восторгаться искусством пародийной имитации, с каким Ирвинг вводит в повествование мотивы «Оливера Твиста», «Джейн Эйр» и других знаменитых «сиротских» романов, можно оценить неожиданное ироническое обыгрывание мифологемы яблока, напоминающей о грехе Адама и Евы. Можно возмущаться натуралистичностью многих страниц, которые были бы уместнее в учебнике акушерства, а не в художественном произведении. В конце концов, все это не самое существенное.

Куда существеннее, что при всей, скажем так, изысканности фабулы «Инструкции для сидроварильни» представляют собой хорошо «документированную» картину типового сознания сегодняшней будничной Америки. Ирвинг воспроизвел все важнейшие приметы такого сознания: его смутную, но стойкую убежденность в том, что мир безусловно абсурден, его нарастающую циничность в отношении всевозможных «правил», соблюдаемых только внешне, и то, о чем пишет в своей статье Перси,— отчужденность от «ценностных форм человеческой деятельности», восприятие эроса как единственной реальной формы общения.

Центральный персонаж Ирвинга — врач, но профессиональные навыки никак не помогают ему диагностировать болезни, которые не по его прямой специальности, потому что этими болезнями затронута область нравственной жизни, сфера идеалов и ценностей. К этой сфере автор просто не позволяет прикоснуться своим персонажам, потому что тогда пришлось бы писать совсем другой роман.

Пришлось бы касаться реальной почвы, на которой растет засвидетельствованное Ирвингом умонастроение. Пришлось бы признать духовные недуги тем, чем они и являются, а не отделываться от этой необходимости беззаботным осмеиванием любых попыток ответить на вопрос, «что значит быть личностью, живущей в США в XX веке». Тот самый вопрос, который, по убеждению Перси, так до сих пор и остается без ответа в американской прозе.

Другое дело, достаточен ли в качестве ответа только диагноз, пусть самый точный и честный. Для Доктороу, во всяком случае, это не так. На его взгляд, сейчас такое время, когда под сомнением оказалась «сама идея художественности», если произведение, хотя бы и блистательно написанное, не дает какого-то практического отзвука. Обычная литература с ее традиционными устремлениями, похоже, утрачивает право существовать, поскольку слиш-

ком велик «уровень общественного страдания или опасности».

Еще несколько лет назад подобные мысли могли бы удивить, а то и показаться данью вульгаризаторству. Сегодня все иначе. «Не могу читать литературу...»— так названа глава в недавней книжке известного нашего прозаика Алеся Адамовича «Литература и проблемы века» (1986). Ход мысли тут в общем-то тот же самый: художественность теперь недостаточна, даже разумея под ней не просто совершенство изобразительной системы, а высокий объем содержания. Последние десятилетия века обнажили такие пласты коллизий, охватывающих род человеческий как целое, что насущной становится потребность в какой-то совершенно новой литературе. Нужна «сверхлитература», обладающая способностью прямого выхода на животрепещущую проблематику, которая сегодня касается непосредственно каждого жителя Земли.

Представляется, что дело тут не в том лишь, что искусство наших дней столкнулось с конфликтами, которые действительно требуют нового художественного арсенала. Дело и в неудовлетворенности общим состоянием литературы, теряющей былое моральное воздействие на читателя.

Все более настойчиво эта неудовлетворенность сегодня чувствуется во многих оценках, которые исходят не от критики, а от самих писателей — совсем друг на друга не похожих, живущих в разных социальных условиях и воспитанных на традициях, которые подчас противоположны. Уход Толстого из литературы теперь воспринимается не так, как прежде: не жертва, принесенная во имя проповедничества, но акт, говорящий о высочайшей ответственности за писательское слово, за его действенность. Полностью согласиться с такой интерпретацией нельзя, но до чего же она характерна в свете нынешних духовных забот. И до чего характерна перекличка столь, кажется, несопоставимых прозаиков, как Адамович и Доктороу, когда они говорят о духе современной литературы, до чего характерен сам этот скепсис относительно ее преобладающих веяний.

Здесь есть несомненная запальчивость, категоричность, и скепсис, если присмотреться к реальному положению дела, вряд ли так уж оправдан,— по крайней мере, он не должен бы становиться столь последовательным. Но тем не менее он необходим. Как стимул движения. Как залог поиска.

Да и не самопроизвольно же он зарождается, не силою инерции поддерживается. Литература и вправду дает для него достаточно веские поводы. Американская — во всяком случае.

Как и Перси, Доктороу почти не подкрепляет свои обобщения конкретными литературными фактами, но их наберется с избытком. Вот хотя бы.

«Версия Роджера», роман Джона Апдайка, опубликованный в 1986 году. Пока что последний его роман. Вполне вероятно, что к моменту выхода этого номера журнала последним он уже не будет. Апдайк пишет так много, что возникает опасение, не чрезмерна ли подобная продуктивность, не идет ли она в ущерб качеству.

Законное опасение. «Версия Роджера» даже по стилистике несравнима ни с «Кентавром», ни с «Фермой», ни с книгами о Кролике, принесшими автору мировую известность. Однозначные характеры, монотонный повествовательный ритм, клишированные слова — полно, Апдайк ли это? Где его виртуозность, разветвленные метафоры, тонкая ирония, подтекст, неожиданные трагические кульминации — все то, что выдавало почерк мастера?

Осталась, пожалуй, только обычная для Апдайка насмешливость, обманывающая ожидания читателя, который настроился бы слишком серьезно отнестись к описываемым событиям и лицам. Однако насмешливость не выручает. Персонажи заняты бесконечными спорами о Боге: один из героев, профессиональный теолог, питает неподобающие богослову сомнения, другой, блистательный математик, полон фанатизма, странного для человека, постоянно соприкасающегося с точным знанием. Допуская существование Бога, что следует подразумевать под самим понятием: отвлеченную концепцию, реальность, присутствующую в обыденной жизни идею откровения и искупления? Имеющим представление о трудах швейцарского философа-протестанта Карла Барта, оказавших большое влияние на Апдайка, вникнуть в эту полемику несложно, тем, кто Барта не читал, она даст новую информацию, но ведь роман — не теологический диспут, как бы живо он ни велся.

Апдайку, понятно, разъяснять это незачем. Он разнообразит рассказ будничными картинами, воссоздавая атмосферу университетского городка неподалеку от Бостона и частный быт своих героев. И вот здесь-то обнаруживается, что все дискуссии вокруг по-своему серьезных категорий для Апдайка лишь повод, чтобы воплотить достаточно банальную мысль о коренном расхождении провозглашаемых принципов с реальной этической ориентацией, которую избирают для себя персонажи. Для всех них правомочны как бы две «версии» жизни, решительно друг с другом не совпадающие: в одной «версии» они мыслители, озабоченные вопросами фундаментальной важности, в другой — ничтожные гедонисты, которым лишь бы «с жизни взять возможну дань», а после того хоть потоп. И эта вторая «версия» занимает Апдайка куда больше, иначе не загромождали бы его роман подробнейшие описания супружеских измен, диких сексуальных фантазий и чувственных томлений.

А в итоге аналитичность подменена живописанием греховных страстей, не заключающим в себе никакого морального пафоса. Господствует плоскостное изображение, за которым при всем желании не обнаружить ничего, кроме идеи какой-то глумливой извращенности всех понятий и принципов, провозглашаемых героями в качестве своего кредо. Нет ни обличения, ни постижения причинных связей, ни — хотя бы — попытки осмыслить ничтожество героев в контексте реальностей сегодняшнего американского общества. Ничего нет, одно лишь

«документирование» казуса, способного заинтересовать разве что психопатолога.

А ведь на обложке стоит имя Апдайка, прозаика, по праву занимающего место где-то на самом верху американской литературной иерархии. И, закрывая книгу, как не согласиться с горьким выводом Доктороу: писатели перестали созидать культуру, они утратили ощущение сути происходящего в мире, они слишком мелочны, слишком уверились в своем бессилии как бы то ни было воздействовать на реальность. Не все, разумеется. Но многие, включая и крупных.

Понятно, отчего вспоминает Доктороу 30-е годы, когда положение было совсем другим. Взлет, который пережила тогда американская проза, общеизвестен. А причина, наверное, состояла и в том, что проза эта жила сознанием причастности к большим событиям времени. И верила, что исход этих событий не в последнюю очередь предопределен активностью искусства.

Возможно ли, чтобы сегодня, в бесконечно усложнившемся мире к литературе вернулись и это сознание, и эта вера?

Однажды Доктороу задали такой вопрос впрямую. Он вспомнил высказывание Уистана Хью Одена, большого поэта, в молодости пережившего пору радикализма, а затем ушедшего в религиозность, потому что «никакие антифашистские стихи оказались неспособны остановить Гитлера». И вот как Доктороу прокомментировал эти слова — прислушаемся со вниманием, тут важен и общий смысл, и оттенки: «Видимо, все дело в том, что стихи были не такими, как тогда требовалось. Или нужно было написать стихи раньше, чем Гитлер появился на сцене. Я не могу объяснить, как это получается, но знаю, что литературе по силам воздействовать на мысли и представления людей».

Страшно, если эта уверенность пошатнется. Скепсис Доктороу и Перси тем и привлекателен, что препятствует этому.

◆

## *Редакцию посетили...*

### ИЭН МАКЬЮЭН (Великобритания)

Иэн Макьюэн, 38-летний английский писатель, впервые приехал в СССР. Имя его еще незнакомо советскому читателю, но на родине молодой автор уже успел завоевать признание.

— Расскажите, пожалуйста, Иэн, когда вы начали писать? О чем ваша первая книга?

— В юности я довольно много путешествовал, сменил не одну профессию. Писать начал после двадцати. В журналах «Трикуотерли», «Тайм-аут», «Трансатлантик ревью» публиковал рассказы, составившие потом книгу «Первая любовь, последние обряды». За нее я получил премию имени Сомерсета Моэма (1976). В сборнике есть новеллы о жизни подростков («Просто, без затей»), о столкновении ребенка с жестоким, недоступным его пониманию миром взрослых («Бабочки», «Маски»), есть гротескная притча («Беседа с человеком, сидящим в шкафу»), хлесткая «жанровая» миниатюра («Кокер в театре»).

— После выхода книги в свет газета «Таймс» назвала вас «самым причудливым и будоражащим воображение из молодых литераторов Англии». Какие рассказы вы бы выделили из общего числа и почему?

— Мне самому интереснее прочих кажется — «Последний летний день». Тема его — одна из постоянных для меня: неприкаянность, смятенность души. Она неизбежно обретает форму трагедии, возвышающей бытовую конкретность сюжета. Кстати, по этой новелле компания Би-би-си сняла телефильм и его хорошо приняли зрители, было много теплых откликов.

— Иэн, вы ведь не только прозаик, но и драматург. Как сосуществуют эти два направления в вашей работе?

— Точнее всего, я теледраматург. Пишу мало, но с удовольствием: мне близка «грамматика» телевидения, я знаю его законы и знаю, как можно их нарушить. Пьеса «Джек Блок справляет свой день рождения» (1974) — ранний опыт в этом жанре, позже я «переложил» на язык телевидения новеллу «Стереометрия». По вкусу и зрителям, и критикам пришлась трагикомедия «Игра в подражание» (1980), где действие происходит в 1940 году, во время второй мировой войны. Пьеса посвящена судьбе молодой англичанки Кэти Рэйн, которая стремится попасть на фронт, но... женщин в армии никто не принимает всерьез.

— После «Первой любви»... у вас вышла еще одна книга рассказов — «В постели» (1978), затем — романы «Зацементированный сад» (1978) и «Все для иностранцев» (1981). В них преобладает мрачное видение жизни, над героями сгущаются тучи, и разрядки напряжение не находит: конец повествования каждый раз уводит читателя «в сторону».

— Действительно, я так писал тогда. Но прошли годы, мой взгляд на мир стал иным, светлым, прежде всего — благодаря моим детям. Сейчас их у меня четверо. Двум старшим — приемным дочерям Полли и Элис — я посвятил либретто оратории «...Или род людской погибнет?». Оно было выпущено отдельным изданием и завоевало премию Национальной недели мира (1983). Музыку написал талантливый композитор Майкл Беркли. С его согласия я ввел в либретто ставшие торжественным хоралом стихи Вильяма Блейка:

> Любой из нас, в любой стране,
> Зовет, явясь на свет,
> Добро, Смиренье, Мир, Любовь —
> Иной молитвы нет[1].

— Вы принимали и продолжаете принимать участие в борьбе против ядерной угрозы, за жизнь «детей будущих веков», если снова воспользоваться словами Блейка. Но вот недавно закончена большая работа: издательство «Джонатан Кейп» выпускает ваш роман «Ребенок и время». Каков же теперь, в новом вашем восприятии, образ ребенка в современном мире?

— Он сложился у меня под влиянием общения с сыновьями — трехлетним Уильямом и годовалым Грегори. Да-да, именно общения — и даже духовного! Судить о книге — читателям, не стоит предвосхищать события. Могу сказать одно: трагические перипетии жизни главного героя, писателя Стивена Льюиса, «разрешаются» событием, приобретающим для него значение высокого катарсиса — появляется на свет долгожданный ребенок. Новая жизнь — и новое, выстраданное счастье... Будут жить Добро, Мир и Красота, если будут жить наши дети.

**И. Истратова**

---

[1] «По образу и подобию» («Песни Неведения»), пер. В. Топорова.

# Критика

В. ИВБУЛИС

# ПОИСК ИДЕАЛА И РЕАЛЬНОСТЬ

## Индия в произведениях П. Скотта, О. Хаксли, Дж. Керуака и Г. Снайдера

С тех пор как в последние десятилетия XVIII века английские индологи во главе с известным ориенталистом Вильямом Джонсом перевели с санскрита ряд мало- или вообще неизвестных сочинений, дав западному читателю возможность впервые почувствовать глубину и своеобразие великой индийской культуры, в Европе, а затем и в Америке поднялась волна интереса к Индии, достигшая апогея в творчестве Ромена Роллана и Германа Гессе. В. Джонс доказал также (а немецкие индологи позднее эту мысль обосновали конкретнее и глубже), что у санскрита — единый корень со славянскими, германскими и романскими языками. Это чисто лингвистическое открытие сыграло и свою политическую роль, ибо стало ясно, что большинство говорящих на разных языках смуглых индийцев — дальние этнические родственники белых европейцев.

Интерес к Индии в разных странах и регионах, как о том свидетельствует, к примеру, история России или моей родной Латвии, носил глубоко гуманистический и демократический характер, несмотря на продолжающееся и до сих пор увлечение различными существующими и несуществующими экзотическими «чудесами» Индии.

Разумеется, несправедливо было бы утверждать, что из восточных стран одна лишь Индия стала объектом интереса и научного исследования в Европе и Америке. Вольтер восхищался Китаем, многих европейских поэтов (среди них Гёте) вдохновляла древнеперсидская поэзия, огромное влияние на Запад в течение веков оказывали мыслители и поэты арабского Востока. До всех стран света доходила мудрость ученых — представителей народов, населявших территорию нынешней нашей Средней Азии и Кавказа. Обогатившись научной, философской и эстетической мыслью Древней Греции тогда, когда она была еще малоизвестна в Европе, они высказали много ценных идей, их духовное наследие полностью нами не освоено и поныне.

Учеными современного Востока, а также исследователями в других странах много сказано о влиянии Запада на Индию, Японию, арабские страны, однако мало еще создано работ, посвященных обратному (и в ряде случаев, как это было на рубеже XVIII—XIX веков, не менее мощному) воздействию[1]. В некоторых своих работах я

[1] В этой связи хочу обратить внимание читателей на чрезвычайно интересную книгу В. К. Чалояна «Восток — Запад» (М., 1968), не получившую, на мой взгляд, должной и заслуженной известности. *(Здесь и далее прим. авт.)*

**ИВБУЛИС ВИКТОР ЯЗЕПОВИЧ** (род. в 1933 г.)

Советский востоковед, доктор филологических наук. Автор книг «Рабиндранат Тагор» (на латышском языке, 1978), «Литературно-художественное творчество Рабиндраната Тагора» (1981), «По Индии» (на латышском языке, 1984) и множества статей.

пытаюсь обозначить кое-какие аспекты многогранного влияния Востока, преимущественно Индии, на англоязычные литературы Запада. Той же теме посвящены и эти заметки.

Думаю, что мы, европейцы, еще не полностью осознали и оценили всю глубину общечеловеческого значения традиционных культур и литератур Азии. А задача эта сегодня весьма актуальна: небольшой клочок материи — наша планета Земля — становится все меньше и меньше по мере того, как народы все больше и больше сближаются.

В англоязычных литературах последних десятилетий Индия занимает заметное место. В сам английский язык прочно вошли индийские, так сказать, «инорегиональные» слова, несущие непривычный, емкий смысл. Политический деятель, писатель, ученый, не задумываясь, правильно ли его поймут, употребляет сегодня слова «каста», «карма», «пандит» и другие.

То, что в Англии, США и других странах Запада постоянно живут сотни тысяч выходцев из Индии, несомненно, способствует так или иначе «смешению» культур (я оставляю сейчас в стороне вопрос о сложном положении индийцев в европейском и американском обществе). Нередко эти люди становятся писателями и, конечно же, пишут о «корнях», о своих «духовных пенатах», о национальных традициях. Кроме того, что в лучших образцах такая литература обладает неподражаемым художественным своеобразием, она, несомненно, углубляет знания об Индии на Западе (ту же роль играет и англоязычная литература самой Индии). Но «индийские мотивы» возникают и в творчестве прозаиков, поэтов, не являющихся носителями индийской культурной традиции. Такие сочинения я разделил бы (разумеется, весьма условно) на две группы: в одних (в продолжение линии, начатой Р. Киплингом и Э. М. Форстером) действительно присутствует Индия с ее собственными проблемами, в других — обращение к реалиям далекой восточной страны вызвано поиском альтернативы негативным явлением социально-политического развития своей родины, Запада в целом.

Пол Скотт — один из самых одаренных современных английских прозаиков. Действие почти всех его тринадцати романов происходит в Индии, причем жизнь англичан на субконтиненте изображается во всей сложности и противоречивом переплетении их личных судеб с судьбами индийского народа.

Четырехтомное произведение П. Скотта с труднопереводимым названием «Тетралогия о британском правлении в Индии» («Raj Quartet»)[1], написанное в 1966—1975 годах, напоминает по структуре изящно построенный дворец с бесчисленными залами, галереями и лабиринтами. Читателю, следующему по ним со неослабевающим интересом, вскоре начинает казаться, что кое-где он уже бывал. Однако нет, появляются новые залы, новые галереи и новые лабиринты. Сюжет организуют многочисленные свидетельства действующих лиц по поводу одного лишь не столь уж важного в масштабах британской империи события — изнасилования англичанки Даффни Мэннерс. Причем окончательно так и не выясняется, кто входил в группу якобы индийских юношей, напавших на девушку высокого происхождения, с симпатией относившуюся к порабощенной, но великой стране. Казалось бы, бесконечное возвращение к этому эпизоду могло бы сделать чтение произведения (объемом около 2000 страниц!) скучным. Но этого не происходит. События описаны так, что перед судом читателя предстают не преступники, а британская судебная машина, преследующая невиновного Харри Кумара — индийца по происхождению и облику, но англичанина по образованию и воспитанию.

Отталкиваясь от частных происшествий и конкретных персонажей, автор повествует о решающих в истории Индии событиях 1942—1947 годов, когда индийцы уже осознали свою силу и настойчиво искали пути к освобождению от колониального ига. А многие англичане, служившие в Индии, понимали, что они не только не могут сохранить свое политическое господство в огромной стране, но что в создавшихся условиях это им уже экономически невыгодно.

В тетралогии огромное количество действующих лиц. Поочередно многие из них получают статус повествователя. Акт насилия, о котором говорят они все, становится сквозным символом, характеризующим взаимоотношения между Индией и Великобританией. Тем более что свидетельства (как их называет сам автор) действующих лиц нередко основываются на подлинных материалах индийских газет. Поданные в форме писем, мемуаров, дневниковых записей персонажей, они придают художественному произведению достоверность документа.

Большинство действующих лиц тетралогии — англичане, которые если и бывают на родине, то чувствуют себя там гостями. Индия — их рай и ад, их прошлое, настоящее и будущее. В представлении многих из них эта страна, однако, не наследница собственной древней культуры, а часть Великобритании. Среди множества образов европейцев нет ни полностью «отрицательных», ни по-настоящему «положительных».

Только большому художнику под силу добиться эффекта, полученного П. Скоттом: рассказывая о жизни европейцев (среди действующих лиц не много коренных жителей), он раскрывает сложную внутреннюю социальную обстановку борющейся за независимость и постепенно ускользающей из рук британцев Индии.

Автор мучительно размышляет о том, что же Великобритания дала Индии за столь многие годы правления и насколько она несет ответственность за плачевное

[1] Слово «raj» на разных языках Индии означает «государство» или «правительство». В английском языке оно обычно употребляется лишь в сочетании «British Raj» (британское правление). П. Скотт слово «британское» опускает.

состояние ее экономики и общественных отношений. В частности, он обращает внимание на то, что, хоть страна не была единой и до английского завоевания, к моменту ухода колонизаторов она раскололась на две части — Индию и Пакистан — и разделение это сопровождалось страшным кровопролитием. Да и сам уход Великобритании из Индии изображается Полом Скоттом как поспешное и бесславное бегство из дома, охваченного огнем. Не скрывает писатель и парадоксальности ситуации — в то время, когда индусы, сикхи и мусульмане убивают друг друга, напуганных насилием англичан (за исключением слишком уж послушного слуги империи Меррика) никто не трогает. А ведь английские власти всегда использовали разногласия между индийцами в своих целях.

Видимо, именно в сфере личностных отношений, в простой человеческой порядочности, верности (инспектор миссионерских школ Эдвина Крейн, считая себя вдовой отдавшего жизнь за ее спасение индийца Чоудхури, совершает древний индийский обряд самосожжения), в способности к самопожертвованию (европейка сестра Людмила собирает деньги, чтобы содержать приют для людей, умирающих под открытым небом,— другим она помочь не в состоянии) ищет писатель тот положительный человеческий фактор, который противопоставляет исторической несправедливости, позволявшей британской империи на протяжении почти двух столетий обогащаться за счет Индии. Несомненно, П. Скотт относится к Индии с симпатией и уважением, сочувствует борцам за ее независимость. Тетралогия начинается и заканчивается эпизодом, в котором индиец отдает жизнь, чтобы предотвратить возможное нападение соотечественников на англичан. В свою очередь и многие британцы искренне стремятся понять индийцев и служить не только собственному правительству, но и интересам Индии.

Думается, нельзя упрекать Пола Скотта в том, что он дает возможность высказаться персонажам, а сам не судит открыто об их убеждениях и действиях. Ведь речь идет о событиях, которые порой невозможно оценить однозначно. Например, в романе есть описание беспорядков: индийцы протестуют против ареста всего руководящего состава Индийского национального конгресса после принятия им исторического по отношению к Великобритании решения: «Оставьте Индию!» («Quit India!»). Были предусмотрены радикальные меры невооруженного сопротивления, если англичане не согласятся. Но в это время Англия уже вела войну с японцами, которые позже, в 1944 году, вторглись на территорию Индии и серьезно помышляли о походе на Дели. Узнав о том, что Ганди, не думая о японцах, прогоняет англичан, Эдвина Крейн снимает со стены его портрет. Действие миссионерки имеет символический смысл. Автор несколько раз возвращается к этому эпизоду, как бы предлагая читателю поразмыслить над ним.

Когда тетралогия прочтена, обнаруживается, что и вся она представляет собой глубоко символическую структуру. У несчастной любви негероических героев литературы XX века Харри Кумара и Дафни Мэннерс тоже есть глубокий иносказательный смысл — несмотря на то, что перед английским законом все люди, казалось бы, равны, брак между индийским юношей и англичанкой все же фактически невозможен. О многом говорит и такой эпизод: бывший главный министр провинции Мохаммед Али Касим предлагает чашку чая английскому офицеру (с которым он, по-видимому, долго вместе работал), пришедшему... проводить его в тюрьму. С очевидной иронией рассказывает автор о том, что, когда убивают Меррика, оказывается: за всю свою жизнь на службе империи, на протяжении почти двух столетий обогащавшейся за счет Индии, он накопил лишь какое-то никому не нужное старье. «Как мало,— говорит его жена Сьюзен.— Я имею в виду, когда задумываешься о годах, проведенных человеком здесь».

Хочется надеяться, что за первой частью тетралогии[1] появятся на русском языке и другие, и более щедрым тиражом, ибо развернутая художественная характеристика последних лет борьбы Индии за независимость, данная в ней Полом Скоттом, несомненно, представит большой интерес для советского читателя.

А пока порадуемся тому, что благодаря «Иностранной литературе» читатель имеет возможность познакомиться с последним романом Пола Скотта «Остаться до конца» (1977)[2]. Действие романа происходит почти через двадцать лет после событий, которыми оканчивается «Тетралогия о британском правлении в Индии», однако тематически роман этот можно считать как бы завершением ее. Сохраняется здесь и характерный для писателя метод повествования: избегая прямых авторских оценок, Пол Скотт изображает действительность через судьбы персонажей, хотя эпизоды и образы этого романа лишены столь определенного символического смысла, как в тетралогии.

По-прежнему подкупает отношение Пола Скотта к индийцам, окрашенное большой симпатией, но на сей раз в центре его внимания не Индия и индийцы, а двое пожилых англичан — бывший офицер британской армии и его жена,— оставшиеся в стране после завоевания ею независимости. Несколько чудаковатые, негероические образы эти глубоко человечны и трогательны, а в конце романа в описании их судьбы слышна и трагическая нота. Другие персонажи охарактеризованы с той тонкой иронией, искусством которой виртуозно владеет Пол Скотт и которая буквально пронизывает весь роман. Объектами насмешки являются для писателя в первую очередь себялюбцы, одержимые стремлением разбогатеть во что бы то ни стало.

---

[1] Русский перевод романа «Жемчужина в короне». М., «Радуга», 1984.

[2] Публикацию романа см. в этом номере «ИЛ».

Роман, несомненно, доставит удовольствие тем, кто любит прозу, выдержанную «в старых, добрых традициях».

Иной способ художественного освоения действительности видим мы в произведениях писателей, обращающих свои взоры на Восток, в частности к Индии, в поисках идейной альтернативы тому образу Запада, который создается средствами массовой информации. Сфера интересов этих писателей — прежде всего их собственная страна, проблемы и беды западного общества. И в своем творческом воображении «пересекая государственные границы», переносясь в другую часть света, не о реально существующей стране стремятся они рассказать, они ищут *там* объяснение и замену тому, что волнует их *здесь*. Объективно многие из них продолжают начатый Фридрихом Шлегелем на рубеже XVIII—XIX веков поиск путей сближения духовных культур Востока и Запада с целью обогащения жизни европейцев и американцев новыми идеями. В свете собственного мировидения толкуют они упанишады, Бхагавадгиту, буддийские сочинения, и порой такие понятия, как «дхарма», «карма», «йога», «мокша», «нирвана», приобретают у них смысл, весьма далекий от подлинного.

О том, что Олдос Хаксли знал Индию, свидетельствует как вся его богатая событиями биография, так и его художественные и публицистические сочинения. Еще в 1925—1926 годах он предпринял большое путешествие по стране, встречался со многими известными индийцами, в том числе с Мохандасом Карамчандом Ганди и Мотилалом Неру (отцом Джавахарлала Неру). В 1961 году в Дели участвовал в торжествах по случаю 100-летия со дня рождения Рабиндраната Тагора. Отношение писателя к реальной Индии было достаточно критическим. Однако некоторые элементы ее духовной культуры он пытался заимствовать, употребляя такие термины, как «карма» (добрые и дурные дела человека, определяющие его перевоплощение после смерти) и «майя» (мир как иллюзорное проявление абсолюта), даже вне их привычного традиционно индийского контекста.

В 1962 году О. Хаксли опубликовал важное, как он сам считал, для своего творчества произведение — утопический роман «Остров» («Island»), действие которого происходит в вымышленном островном государстве Пала в Юго-Восточной Азии. В основу утопии о Пале легли элементы индийской традиции. Автор пытается синтезировать пресловутую (но вряд ли когда-либо существовавшую) духовность Востока и противопоставляет ее рационалистическому восприятию мира Западом.

Сюжет романа строится на том, что не имеющая ни полиции, ни армии Пала — некое идеальное государство, жители которого говорят как на своем языке, так и на английском, освоенном ими с целью приобщения к мировой культуре,— становится жертвой соседней континентальной страны Ренданга, управляемой диктатором, полковником Дипой. Расстановка политических сил характерна для взглядов Хаксли — он одинаково не приемлет как капитализм, так и социализм: Палу разрушает развивающаяся страна, идущая по пути капиталистической индустриализации, сотрудничающая с транснациональными нефтяными монополиями и получающая танки и пушки... из Чехословакии.

Разрушение сконструированного им же самим идеала (прием, вообще характерный для эстетики романа, написанного в духе романтической иронии), разумеется, не говорит о вере писателя в его будущее. Однако в общем «Остров» окрашен в более светлые тона, чем ранняя утопия Хаксли «О дивный новый мир», где изображена страна, в которой люди не рождаются, а снимаются с конвейера «идеологически запрограммированными». Социальные и политические идеи автора раскрываются в «Острове» не только в диалогах и авторской речи, но и в судьбах персонажей. Например, журналист Уилл Фарнеби. Он единственный олицетворяет в романе западный образ мыслей и жизни. В эту мифическую страну он приезжает с целью помочь своему боссу стать хозяином нефтяных богатств Палы. Однако, видя стремление островитян организовать жизнь общества на более гуманной основе, чем в его собственной стране (Англии), присоединяется к палийцам в тяжелый для них момент оккупации войсками Ренданга.

Подобный тип художественного повествования не предполагает психологической разработки характеров, персонажи Хаксли — прежде всего носители определенных идей. Для нас, однако, важно то, что многое в Пале напоминает Индию: правителя называют раджой, деньги — рупиями, имена персонажей — индийские или (реже) английские. Их религия — смесь индуизма и разнородного буддизма, первоначально пришедшего на Палу из Бенгалии. Но особого почтения ни к Будде, ни к Шиве — наиболее часто упоминаемым в романе богам — не чувствуется. Более того, в какой-то момент их изображения используют как пугала, с помощью которых дети прогоняют птиц с полей.

Конечной целью психологических опытов, в которых изощрены палийцы, является состояние самадхи — высшая стадия медитации, когда йог впадает в глубокий транс и это приводит его к полному «освобождению». Достигается оно просто: палийцы производят так называемое «лекарство мокши». Приняв чудотворный дурман, Уилл Фарнеби ощущает блаженное состояние слияния с Единым. Он видит яркий свет и сам себя чувствует этим светом, слышит прекраснейшую музыку Баха, видит века и вечность и сам является тем, что он видит и слышит. Но этим состоянием, напоминающим то, чему учит йога — одна из основных индуистских философских систем,— не кончается фантастическое воздействие «лекарства мокши». Уилл Фарнеби осознает также, что жизнь человеческая состоит лишь из немногих островков счастья в океане страдания и Главнейшего Ужаса — смерти, с ко-

торой человек встречается в полном одиночестве.

Жизнь палийцев настолько пронизана мыслью о смерти, что у читателя неизбежно возникает аналогия с сочинениями экзистенциалистов. Впрочем, ее можно толковать и по-другому. Идейные вожди мифической Палы стремятся сформировать в людях взгляд на мир как на единство всех его противоречивых и противоборствующих элементов. Они разработали и внедрили в сознание народа концепции разных йог (единений) — йоги любви, йоги труда и даже йоги смерти — для того, чтобы островитяне в меру работали, в меру потребляли, чтобы не было ни богатых, ни бедных, ни вождей, ни подчиненных: «Равновесие того, что мы берем и отдаем, никаких излишеств — это закон природы, и, переведенный в сферу нравственности, он должен стать законом для людей».

Уже в самом начале пребывания на Пале Уилл Фарнеби слышит, как некая мифическая птица произносит слова: «Сострадание!», «Внимание!» (предельно сознательное отношение ко всему, что творится с человеком и вокруг него) и «Здесь и теперь, ребята!» (существование потустороннего мира крайне гипотетично, поэтому необходимо с максимальной серьезностью и целеустремленностью выполнять свой долг в мире настоящем). Эти слова неоднократно повторяются в романе и создают как бы идейный каркас произведения — призыв к людям этого вымышленного государства, а вместе с ними и к читателю со всей серьезностью относиться к повседневным обязанностям.

Парадоксально, но это чисто утопическое по форме произведение Олдоса Хаксли оказывается гораздо более близким к проблемам современного западного общества, нежели «Бродяги дхармы» Керуака, изобилующие реалиями нынешних США.

Об этом романе, написанном Керуаком в 1958 году, весьма уместно вспомнить, ибо он в наиболее «чистом виде» представляет тот тип художественного освоения элементов традиционной индийской культуры, который мы условно отнесли ко «второй группе».

Большинство сочинений Джека Керуака пронизано буддийскими мотивами. Писатель основательно изучал древние святые книги этой религии, написал биографию Будды (объемом около 1000 страниц), которая, насколько мне известно, все еще нигде не опубликована, считал себя приверженцем махаяны — ответвления буддизма, окончательно сформировавшегося в Индии в самом начале нашей эры. Одной из особенностей этой весьма пестрой школы является то, что человек, достигший просветления и совершенства, не уходит из мира, а остается в нем, чтобы помогать другим людям находить путь к «освобождению». Но сам этот человек — бодхисаттва — уже свободен от мирских уз.

В романе «Бродяги дхармы» («Dharma Bums») Дж. Керуак настойчиво стремится «скрестить» философско-религиозные представления Востока с изображаемой им североамериканской действительностью. Но хоть главный герой романа Джэфи Райдер — талантливый поэт, любящий горы и лес (в противовес «злу города»),— казалось бы, и олицетворяет «интеллектуальный, артистический дзэн-буддизм», суть литературного приема, использованного здесь Керуаком, состоит, как представляется, в полусерьезной игре буддийскими терминами и понятиями.

Бодхисаттв в истинном смысле, разумеется, в романе нет (хотя слово и упоминается), не чувствуется и той атмосферы сострадания, которая составляет основу почти любой разновидности буддизма. Религиозная любовь махаяны подменяется обыкновенным сексом.

Сюжет произведения строится на бродяжничестве по стране в поисках работы или просто так Джэфи Райдера и Рея Смита — другого поэта и другого странного буддиста со стажем. Некоторые исследователи считают, что прототип Джэфи Райдера — Гарри Снайдер. Совпадения и вправду налицо: Джэфи — поэт, переводит с китайского и японского, долгое время жил в монастырях Японии, не любит городов и поклоняется природе, особенно горам (что в духе как китайской, так и индийской традиций), серьезно занимается антропологией, увлекается мифологией американских индейцев, любит сидеть скрестив ноги. Мы узнаем, что Джэфи «знал в деталях тибетский, китайский, японский буддизм, буддизм махаяны и хинаяны». Но в Джэфи Райдере нет ни капли той озабоченности реальными судьбами человечества, какая снедает Г. Снайдера.

Джэфи *похож* на настоящего буддиста, когда рассуждает о том, что все пустота и необходимо освободиться от цикла новых и новых рождений и страданий, когда пропагандирует медитативную практику. При желании можно увидеть аналогию и между путешествием Джэфи по Америке на попутных машинах и любовью к странствиям буддистских монахов. Но при всем том Джэфи не думает и частично отказаться от мирских благ, а это противоречит духу любой восточной религии, может быть за исключением сикхизма. Джэфи Райдер любит вино и развлечения, не прочь организовать что-то вроде сексуальной оргии. Правда,— и это весьма характерно — оправдывает свои действия тем, что следует якобы примеру тибетских монахов.

Рей Смит — второй «бродяга» и второй «безумный дзэн-буддист» (как он себя называет) — наделен автором даже даром ясновидения, ему являются чудесные визии, одна из которых помогает вылечить больную мать. Однако и он пристрастен к спиртному, а обет безбрачия соблюдает лишь год. И в глазах близких Рей никакой не философствующий поэт, а просто бездельник, не желающий по-настоящему ничем заняться.

Впрочем, похоже, что и сам автор не без иронии относится к своим героям — чего стоит, например, такая реплика Рея Смита: «Однажды ночью я медитировал в такой совершенной тишине, что прилете-

ли два москита, сели на мои скулы, долго не кусали и улетели, так и не укусив».

Нельзя отрицать, что в романе утверждаются те или иные истинные нравственные ценности, заимствованные из буддизма и действительно имеющие общечеловеческий смысл. Читателя особенно глубоко трогают мастерские описания природы и стремление вызвать благоговейное отношение к ней, мысль о том, что человек к человеку должен относиться с доверием и пониманием. Что же касается реальных, нынешних проблем страны, писатель их как будто не замечает; нет безработицы, нет расовой дискриминации, нет противоречий между богатством и бедностью, нет идейной борьбы. Вырванные из исторического контекста тех стран, где они родились и получили широкое распространение, идеи буддизма способны лишь помочь людям отвлечься от недугов настоящего. Это своего рода бегство, бегство в идеальный, несуществующий мир.

Известного американского поэта Гарри Снайдера, лауреата престижной Пулицеровской премии, можно назвать главой тех современных писателей США, кто «увлекается» Востоком. Восток — постоянная тема его поэзии, к Востоку он часто возвращается и в своих многочисленных интервью, часть которых в 1980 году была собрана в книге под названием «Настоящее дело» («The Real Work»). Поэт действительно прекрасно знает Восток. Десять лет в общей сложности он прожил в буддийских монастырях Японии, просиживал по многу часов в позе полного лотоса, в свое время даже принял монашеский обет. Снайдер читает в оригиналах японскую и китайскую поэзию. Его жена — танцовщица из Южной Индии, где поэт также бывал. Сочинения Г. Снайдера говорят о серьезном знании буддийских и индуистских религиозно-философских трудов.

«Я привержен дзэн-буддизму»,— утверждает поэт и поясняет, что именно привлекает его в этом вероучении: испытываемые человеком боль, страдания и сомнения в значительной мере порождены его невниманием к собственному телу, речи и разуму. Чтобы познать себя — нужно медитировать, чтобы совершенно владеть речью и голосом — петь или скандировать стихи и мантры, чтобы изучить тело — необходимы йога, танец, работа в саду, заготовка дров. Мы все это делаем, конечно, но требуется более сознательное отношение к простой работе, и тогда нам откроется ее удивительный и таинственный смысл. Поэт заявляет, что полностью согласен с китайскими буддистами, которые учат: «День без труда — день без пищи».

С точки зрения любой из восточных религий, из которых черпает Гарри Снайдер, его мировидение грешит противоречиями, однако в задачу его, видимо, и не входит ортодоксальное следование канонам. Он берет на вооружение лишь то, что необходимо ему для построения собственной системы взглядов — системы взглядов человека западного общества, озабоченного пороками окружающей его цивилизации. Интерес к дзэн-буддизму в литературах США и Западной Европы, видимо, и вообще возник не в последнюю очередь потому, что каноны его утверждают (в отличие от индуизма и традиционного буддизма) непреходящую ценность повседневной деятельности человека.

Гарри Снайдер к жизни относится активно. Он резко высказывается против политики Пентагона, против «военно-промышленного комплекса», ЦРУ, «внедрявшего провокаторов в движение за мир в 60-х годах» и «содействовавшего расколу между белыми и черными американцами». Он понимает, что американцев одурманивают «фальсифицированными идеями, разбавленными и подслащенными, как их пища», лишая способности критически оценивать окружающую действительность. В отличие от многих других современных литераторов Запада, Г. Снайдер считает поэзию «социальным искусством». Однако болезни капитализма, в будущее которого не верит, поэт распространяет на все индустриально развитые общества и утопически призывает людей вернуться к природе и простому труду на лоне ее. Поэтому-то его и привлекают древнейшие культуры Востока и традиции американских индейцев. Поэтому-то он и видит в Южной Индии древних веков образец по-настоящему сплоченной, интегрированной цивилизации, в которой все развивалось в гармонии с великой красотой и силой, «в едином танце разума». Он задает вопрос: «Что ждет нашу планету?» И отвечает: «Это будет зависеть от нашей способности к любви, но не любви к человеку западного образца, а любви, которую мы должны испытывать к животным, к скалам, к любому праху на земле. Не будь этой любви, мы даже без войны можем превратить планету в место, непригодное для жизни».

Г. Снайдер не надеется на правительства, он призывает каждого действовать самостоятельно — препятствовать дальнейшей индустриализации, разрастанию городов, использованию крайне опасной для жизни на земле атомной энергии. И Восток в этой программе действий важен ему постольку, поскольку он менее развит и ближе к обожаемым им первоосновам жизни на лоне природы. Кажется, поэт не совсем осознает, что он утопист. Он даже не задумывается над тем, как без высокоразвитого сельского хозяйства и промышленности накормить и одеть очень быстро растущее человечество.

Говоря о своем творчестве, он признается: «Я больше всего почерпнул из китайской традиции, из индийской поэзии на современных языках, а также из классической санскритской поэзии». И тут же добавляет: «Дзэн-буддизм на самом деле — тот же экзистенциализм: взять борьбу на себя без малейшей надежды сделать кому-то добро», то есть фактически он не видит существенной разницы между религиозными идеями древнего Востока и этим направлением современной философии Запада.

Тем не менее влияние Востока в творчестве Г. Снайдера бесспорно. Оно сказывается и в тематике, и в стиле сочинений. Последний сборник его стихов, к примеру, названный «Рукоять топора» (1983), от-

крывается четверостишием в переводе с древнекитайского:

Как же сделать рукоять топора?
Это невозможно без другого топора.
Как же взять себе жену,
Не получишь ее без посредника[1].

И стихотворения самого Г. Снайдера, помещенные в этом сборнике, написаны в такой же манере: простота формы при емкости и сжатости мысли.

Ярко обнаруживается и парадоксальность мышления, характерная для дзэн-буддизма:

Потому что нет искусства,
Есть художники;
Потому что нет художников,
Нам нужны деньги;
Потому что денег нет,
Мы даем;
Потому что нет нас,
Есть искусство.

Но, облеченная в «восточный» наряд, бьется в стихе Снайдера боль и тревога сегодняшнего дня всей планеты:

Утесы и звезды
Принадлежат единой Вселенной.
Немного воздуха посреди относится
К двадцатому столетию и его войнам.

Разумеется, индийская тема (чаще всего в контексте других восточных тем) находит выражение не только в рассмотренных здесь произведениях. Известная английская писательница Айрис Мердок создала образ генерала-буддиста Джеймса Эрроуби, обладающего чуть ли не сверхъестественными способностями (которые он сам называет «трюками»), в романе «Море, море» («The Sea, the Sea», 1978). Образ Джеймса Эрроуби, правда, недостаточно раскрыт, его деятельность в Индии и в Тибете весьма таинственна, его влияние на брата Чарльза и других персонажей романа необъяснимо велико. Но вообще, как мне кажется, идеи буддизма пронизывают произведение (одно из лучших, созданных писательницей) и там, где автор о них впрямую не говорит. Восток, в частности дзэн-буддизм в странной связи с Индией, глубоко укоренен и в «Девяти рассказах» Сэлинджера. Объектом исследования в контексте нашей темы мог бы стать и «Индийский дневник» Аллена Гинсберга. По художественному уровню слабее произведений, названных выше, романы Джона Мастерса, действие которых происходит в Индии. Но и они вызывают читательский интерес. Мне кажется, хотя Дж. Мастерс сильно идеализирует взаимоотношения англичан и индийцев, он в то же время раскрывает истинную трагедию тех англичан, для которых Индия стала родиной и которые оказались перед лицом утраты этой второй родины с обретением страной независимости.

Какими бы достоинствами или недостатками с точки зрения эстетики ни обладали книги, в которых писатели Запада пытаются углубиться в индийскую действительность или культурное наследие древнего Бхарата, в подавляющем большинстве, как мне представляется, явление это плодотворное, ибо лучшие из подобных книг содействуют развитию того «сверхъязыка», без которого сегодня невозможно международное общение.

[1] Подстрочные переводы цитат сделаны автором статьи. *(Прим. ред.)*

# Писатель и время

## ОСКАР ДАВИЧО, КАКОЙ ОН ЕСТЬ...

### О революции и свободе творчества

**Оскар Давичо — одна из самых значительных и сложных фигур в литературе социалистической Югославии.**

**В нашей стране известны его роман «Песня», поэтические циклы «Вишня за оградой», «Ханна», «Заселенные глаза». Поэт и прозаик, он через всю творческую жизнь пронес высокие идеи, связанные с его судьбой — судьбой профессионального революционера и общественного деятеля. Людям, сохранившим достоинство в тюрьмах, куда на долгие годы загонял коммунистов монархический режим старой Югославии, посвящена серия романов под общим названием «Каторга» (завершена в 1979 году). Параллельно этой работе, часто опережая ее, выходили книги о современниках — участниках партизанской борьбы и послевоенного социалистического строительства — «Песня» (1952), «Бетон и светлячки» (1956), «Рабочее название бесконечность» (1958), «Генералбас» (1962).**

**Чтение этого автора — дело не простое, но благодарное. Тонкое и нервное чувство, сопутствующее подлинному таланту, помогло Оскару Давичо раньше многих разглядеть начало кризиса традиционного гуманизма. Не считаясь с условностями, не заботясь о том, сумеют ли критики и литературоведы разгадать яркую символику его образов (а читатель, надо отметить, ее безусловно принимает), писатель забил тревогу.**

**Давичо обращается к тем, кто способен понять боль другого человека, кто умеет ненавидеть зло. Его герои влюблены в красоту жизни, но не задумываясь жертвуют собой во имя торжества Революции.**

**Одна из лучших поэм Давичо — «Человеческий человек» (1953). Таким должен быть, по его мнению, творец революционных преобразований. Своим творчеством писатель утверждает веру в немеркнущий идеал социализма.**

**Н. ВАГАПОВА**

Я познакомился с ним где-то лет двадцать назад.

И уже тогда услышал от его югославских коллег: «Давичо — ярко талантлив. Новатор в полном смысле слова. Но у него много врагов...» Я удивился: «А у кого из ярко одаренных художников нет врагов?» Оказалось, что мои собеседники имеют в виду другое: Давичо, *как никто*, умеет наживать себе врагов. От такой постановки вопроса мне не стало понятнее, в чем же суть дела.

В недавно вышедшей книге Милицы Николич, известного литературоведа,— подробнейшем анализе одного романа Оскара Давичо — обратил внимание на названия глав: пародия на политический роман, пародия на любовный роман, пародия на сатиру и т. д. Сплошная пародия? Стал читать книгу Николич. Как она права! Давичо «сдвигает» повествование, поворачивает жанр боком, ставит «на попá». Помните у Шкловского: «Нужно повернуть вещь, как полено в огне. У Чехова в его «Записной книжке» есть такой пример: кто-то ходил не то 15, не то 30 лет по переулку и каждый день читал вывеску: «Большой выбор сигов» и каждый день думал: «Кому нужен

большой выбор сигов?»; наконец, как-то вывеску сняли и поставили у стены боком, тогда он прочел: «Большой выбор сигар». Поэт снимает все вывески со своих мест... Вещи бунтуют у поэтов, сбрасывая с себя старые имена и принимая с новым именем — новый облик».

Есть художники, у которых ирония и сдвиг привычного в сторону неожиданного — основа эстетики. Это не простой эпатаж, совсем нет! Это вечное беспокойство, постоянный поиск невыраженного в слове состояния личности, которая ищет самое себя настойчивее, нежели другие.

Но такой подход чреват неприятием многого у многих. Если все читают «сигов», а не «сигар» и привыкли, то человек, прочитавший «сигар», покажется им выскочкой. Так что вопрос новаторства имеет и свои неудобства. С другой стороны, новаторы бывают нетерпимы к человеческим слабостям. Новаторы торопятся перевести в свою веру необращенных и говорят им дерзости.

Не всегда уместные.

Но дело и не только в эстетике. Важнее, пожалуй, другое: соотношение революционности как жизненной позиции и новаторства в художественном творчестве.

Об этом в основном и шла речь в нашей беседе с Давичо в его белградском доме на тихой улочке Хаджи Проданова, 4.

Хозяин говорит о своем посещении журнала «Иностранная литература», начале разговора в редакции о революции и поэзии.

— Революция для меня никогда не была чем-то отвлеченным. Экономика, политика, социальные науки, культура — все едино в вечном своем стремлении к обновлению. Партия наша, к сожалению, до войны не понимала, что писатель по-своему, по-человечески, строит новые отношения. Я и до войны был подозрительным для догматиков. Меня остерегались как непослушного, недисциплинированного, так сказать, члена партии. Я в партии, можно сказать, с юности. В 1932 году — как далеко то время — меня уже пытали в застенке. Пять лет в тюрьме. Но снова и снова начиналась борьба, ее новый виток. Работал я в агитпропе. Был членом ЦК Сербии, членом ЦК МОПР... Знаешь, что это, МОПР?

Я вспоминаю: коробочка из-под «монпансье», леденцов, и значок — ну, прямо по Евтушенко, в его поэме «Мама и нейтронная бомба»... А лучше бы сказать — у Евтушенко так, *как у нас было*. Любит он точные детали истории. Хранил я значок, а когда немецкая бомба разбила родной дом, на пепелище нашел и его в куче пепла. Руки в пожатии, так?..

Оскар говорит дальше:

— Вновь попал в тюрьму. Случайно освобожден. В 1941 году в Сплите схватили итальянцы. Я тогда выпускал подпольный бюллетень. Позднее бежал к партизанам.

— В тюрьме молодым сидеть, видимо, труднее, чем в зрелом возрасте,— улыбаюсь я.

— Несвобода страшна в любом возрасте. Любая. Революция для меня — высшая форма Свободы. Вот почему убеждений я не мог менять.

— Политических — да. Но твой путь художника противоречив. Ты все время менял курс. За тобой и противники не могли угнаться. То ругали за одно, то совсем за другое. Как ты объяснишь этот феномен?

Оскар молчит, разводит руками, потом улыбается своей саркастической улыбкой.

— Я пробовал слово по-разному. И сегодня пробую. Не думаю, что скажет кто-то. Революция не догма. Ей противоречит закрытость. Все, что человечно,— Революция. Это я отношу и к политике и к поэзии.

— Трудно тебе жилось!.. А?

— Хорошо. В 1948 году было смятение умов, ты знаешь. Медленно стали печатать меня. В 1953 году выпустил книгу «Человеческий человек». Напали с двух сторон. Прошел комиссию ЦК. Критики мои видели в «абстрактном» адресе Человека — отступление от классовой точки зрения. Но это был тезис Маркса, отвечал я. Легче стало в 1957 году, когда вышла новая программа партии.

— А как в литературе понимать твой журнал «Да́ле». Дальше — от чего? Ты издаешь его в Сараево, живя в Белграде. Почему?

— Так вышло. «Дело» (был такой журнал, революционный, на мой взгляд, во всех смыслах революционный, да сдал позиции) стало не то. Я пошел «далее». Далее — к социализму, не от него, конечно. Не в сторону. К новым горизонтам. Ты же вот тоже назвал свой журнал «Горизонтом»?

— «Горизонт» — пока альманах. Надеюсь, что станет журналом. «Горизонт» потому, что печатать будет вас, писателей социалистических стран, расширяя горизонты видения жизни как проблемы универсальной в наш век нового мышления. От узости, я бы даже сказал сектантства — далее.

— Вот видишь! «Дале» — название точное. Но вот плохо: трудно экономически с журналом. Чаще выпускать не могу, а так

теряется актуальность. Выходит он четыре раза в год.

— У тебя за плечами большой литературный опыт. Сколько книг?

— Кажется, пятьдесят шесть. Печатаю сейчас романизированную автобиографию. «По профессии — самоубийца» — была у меня такая вещь. Знаешь, а я в юности едва не стал участником одной ужасной глупости. Мой друг сказал: «Надо убить плохую литературу». В 30-х годах чилийский поэт в Париже меня агитировал убить Ибаньеса, Ибаньеса дель Кампо, диктатора, путчиста, личность крайне реакционную. Я взялся ему помогать в этом деле. Взял колесо велосипедное, покрасил разным цветом спицы, чтобы удобнее тренироваться в стрельбе — целились в вертящийся диск. Ничего у нас с убийством Ибаньеса не вышло. Не получилось из меня ни самоубийцы, ни убийцы.

— Получился поэт. А как с «плохой литературой» — удавалось убивать таковую? Или это потруднее, чем убить человека? Она ведь воскресает, а человека не воскресишь.

— Воюю с ней, плохой литературой. Но она мимикрирует. Сегодня — под политику, важную тему. Это и в Сербии, и в Словении. В каждой республике по-своему В Македонии, на мой лично взгляд, лучше всего с поэзией. Она не притворяется, а живет.

— А я думал, что тебя-то как раз и ругали за «политику». За уступки риторике.

— Идеология — другое. Я не люблю пустой говорильни в поэзии. Культура не может быть неидеологичной. Но средствами искусства.

— Хорошо, ладно. Но вот как-то, не помню в каком году, ты говорил мне, что молодежь — имелась в виду современная художественная молодежь — считает (и ты, как я понял, солидарен с ней), что идея времени — не слово, а визуальность. Ухо слышит не мысль, но шум. В век техники, телевидения слово значит мало. На сцену выходит компьютер, предметная поэзия, где слово рассыпано на буквы, а буквы «рисуют» молча... Я и тогда не был согласен с этим. И теперь не согласен.

Оскар помолчал, закрыв глаза и откинув голову назад.

— Тут дело в другом. Надо говорить не о слове отдельно, а о том, что может слово. Оно, мне кажется, не все может само. Или скажу так: разум и подсознание творят вместе. И я хотел, хочу их как-то соединить в поэзии. Сюрреализм? Может быть. Я не о термине сейчас говорю. О сути дела. Я вот начинал как «стихийный сюрреалист», хотя ничего из этого круга чтения не знал. Более того, я вырос на классике. Читал русских реалистов. Короленко, Чехов — вот мои первые «учителя», если на то пошло. Чтобы купить томик Чехова — продал часы!.. Но интересовался и Фрейдом. Основал группу. Написал книгу «Анатомия», где наивно, быть может, но пытался соединить малосоединимое тогда понимание реализма и анализа психики, психологии человека. В тюрьме, когда времени на размышления более чем достаточно, задумался: как соединить мою страсть — идейную борьбу — с искусством выражать тайное тайных души. Столкновение этих двух полюсов высекло «Стихи». Думаю, это было настоящее приближение к тому, что искал. Агитационная литература перестала быть «агиткой», простым лозунгом, стала душой моих мыслей о справедливости человеческого устройства.

— Знаешь, я очень люблю в твоей поэзии «Ханну». Это для меня классика любовной лирики. В ней, в «Ханне», живет, мне кажется, и яростное чувство социальности, страсти «поверх барьеров» национальных предрассудков. То есть, живая жизнь видит революцию и как революцию чувств, не только — устройства или переустройства социальной сферы.

— Ты угадал. В те годы мне рассказывали о фашизме, который в Германии начал свое подлое дело. Беженцы рассказывали. В подтексте «Ханны» — антирасизм. Это ты верно почувствовал.

Кстати, тут тоже можно говорить о зоне подсознания, но уже в самом творческом процессе. В «Ханне» я не думал о фашизме и Гитлере. Но есть зона подсознания без мысли, до мысли, может быть... До слова — рисунок. Хлебников экспериментировал нерационально. «Заумный язык» его — до Бретона. «Голодный год» Пильняка — разве не сюрреалистичен? Он — до Фолкнера. Это тебе ответ и на вопрос, который ты ставил ранее,— о том, что «буквы рисуют молча». Я не за возвращение сюрреализма в его архаичном виде, а за понимание простого и бесспорного для меня факта: подсознание нельзя, да и невозможно исключить из арсенала художественного творчества.

— Какую же роль слову, как таковому, ты отводишь в поэзии, если все время напираешь на его неготовность «самому» справиться с мыслью?

— Слово не только коммуникация, но и крик, страх, надежда... В нем вязь подтекстов. Возьми: «сенка» — «сан» — «есен»...

Ассоциативно по смыслу, не только по звучанию однородно...

— «Тень», «сон», «осень»... Да, конечно. Но подсознание и подтекст — разные вещи.

— Я прочитал тебя — понял. Так строится цепочка. Но *понять* — важно в этой цепочке. А понимаешь и помимо слова. В языке остается непереводимое. Потому я не верю переводу.

— Ладно. Останемся каждый при своем. Как ты работаешь?

— Долго. Долго правлю. Работаю много. Потом не люблю написанного.

— Требователен? Разочарован надолго? Неуверен?

— Знаешь, человека невозможно охватить всего.

— Твое кредо в общем плане? Как человека общественного, как художника.

— Верно поставлен вопрос. Для меня это все едино. Никакой религиозности в общем смысле. Человек и его Свобода — основа содержания поэзии.

— Ты многожанровый писатель. Единственно, чего я не знаю, твоей драматургии.

— Она есть. Но пьесы не поставлены. Три вообще не напечатаны. Написал четыре сценария. «Мать Катина» (о греческих партизанах)...

— Да, ты ведь воевал в Греции.

— Был у партизан...

— Об этом ты написал в 1947 году. О партизанах. Слышал. А другие сценарии?

— Еще «Парень Мита», «Последний день», «Любовь из уст в уста» (точно по-русски не знаю, как сказать).

— Борис Слуцкий как-то рассказывал мне о встрече вашей на войне. Как это было?

— Это случилось в Белграде. Советский офицер, в орденах, на митинге. Очень мне понравились и стихи, и он сам.

— И Крлежа как-то вспоминал в беседе со мной о тебе. Вы печатались вместе?

— Встретились на ниве партийной политики. После того как в Бихаче меня ненадолго взяли (выдал провокатор) — это я описал, кстати, в последнем романе, автобиографическом, дело было еще в 1938 году,— встретился я с Мирославом Крлежей. Он публиковал меня в «Печати», был такой журнал, орган революционной литературы; я там потом отвечал за поэзию. Крлежа — за остальное.

— Твои любимые поэты?

— Ближе всех — Хлебников, Пастернак. Люблю Неруду, Арагона, Элюара, Дидана Томаса, Бретона, Богзу, Хермлина, Вознесенского, Лорку, Заболоцкого, Ахмадулину, Евтушенко, Айги. Конечно, Маяковского.

— Говоришь: не верю переводам. А переводил. И немало.

— Да, было такое. Хлебникова, Ахмадулину, немного Тихонова, перед войной под псевдонимом «Ковачич» перевел, знаешь кого, Шолохова, «Поднятую целину». Из прозы еще — «Будденброки» Томаса Манна, кое-что еще....

— Спасибо за беседу. «Иностранной литературе» передам твои лучшие пожелания, как ты просил, твою благодарность за прием в Москве. Напоследок скажу уже лично тебе по секрету: очень жаль, что напечатаю беседу с тобой, старым другом и большим писателем Югославии, не в своем «Горизонте», а в «Иностранной литературе». Но обещанное надо выполнять. Такова наша этика, ведь верно?..

**ВЛАДИМИР ОГНЕВ**

**Белград — Москва**

# Из месяца в месяц

## Албания

### ДЕНЬ НАРОДНОЙ ПЕЧАТИ

В Тиране было широко отмечено 45-летие выхода в свет первого номера газеты «Зери и популлит» («Голос народа») — органа ЦК Албанской партии труда. День выхода газеты стал профессиональным праздником журналистов НСРА — Днем албанской народной печати.

Широкое развитие средства массовой информации получили в стране после народно-демократической революции. В настоящее время, по данным газеты «Пуна», в НСРА издается более 100 названий центральных и местных органов, газеты выходят в 17 округах. Общий их тираж увеличился более чем в 20 раз по сравнению с довоенным периодом. Ведет передачи албанское радио и телевидение, работает телеграфное агентство АТА.

По случаю годовщины к коллективам редакций «Зери и популлит», телеграфного агентства АТА, радио и телевидения, а также ко всем работникам печати страны с приветственным посланием обратился первый секретарь ЦК АПТ Рамиз Алия.

С первых дней своего существования, отметил он, газета албанских коммунистов находилась в авангарде борьбы за освобождение родины, выступала за революционные и демократические преобразования в стране, за социализм.

Как сообщает агентство АТА, по случаю Дня албанской народной печати в столице страны состоялось торжественное собрание, на нем выступил главный редактор «Зери и популлит» Аршин Джезо. Собрания и встречи с известными журналистами, фотовыставки, посвященные праздничной дате, прошли также в других округах страны.

## Болгария

### ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ РУБРИКИ — КНИГА

Вот уже десять лет популярный болгарский еженедельник «Антени», посвященный проблемам политики и культуры, ведет рубрику «Болгаристика и болгаристы», которая знакомит самый широкий круг читателей с новейшими достижениями в этой области славяноведения. К Первому международному конгрессу по болгаристике, состоявшемуся в Софии в 1981 году, редакция еженедельника подготовила сборник наиболее интересных публикаций этой рубрики. В прошлом году увидел свет однотомник материалов Второго конгресса болгаристов. Имена, представленные на его страницах, отмечает международный орган болгаристов и славистов, газета «За буквите», говорят сами за себя: академик Д. Лихачев и профессор Г. Литаврин (СССР), профессор Б. Бернар (Франция), академик П. Динеков (Болгария). Читатель найдет здесь статьи о развитии староболгаристики в ГДР, Венгрии, Румынии, Японии, Новой Зеландии, узнает о недавно найденных произведениях болгарских просветителей IX—X веков Константина Преславского и Климента Охридского. Ученых заинтересует своеобразный «круглый стол», подготовленный редакцией еженедельника «Антени» и посвященный первому полному переводу замечательного памятника славянской письменности — «Шестоднева» Иоанна, экзарха Болгарского, который академик Д. Лихачев охарактеризовал как «основной эстетический кодекс древнеславянских литератур».

## Великобритания

### ДЕСЯТЬ ОПЕР В ОДНОМ ФИЛЬМЕ

Любопытный синтез оперной музыки и кинематографа задумал и осуществил английский продюсер Дон Бойд в фильме «Ария». Он предложил десяти режиссерам из разных стран — как известным, так и совсем молодым — выбрать по своему усмотрению арию, дуэт или фрагмент той или иной оперы и поставить эпизод, навеянный избранным отрывком, но не являющийся «иллюстрацией» соответствующей части либретто, пишет журнал «Ревю дю синема».

Характер связи изображения и музыки в десяти эпизодах весьма различен, отмечает журнал «Синема». Так, Жан-Люк Годар и Фрэнк Роддэм ограничились перенесением сюжетных мотивов «Армиды» Ж.-Б. Люлли и «Тристана и Изольды» Р. Вагнера в наши дни. В напоминающем театральный водевиль эпизоде, который снял Джулиан Темпл, забавно переплетаются разнородные культурные реминисценции: под знаменитые мелодии из «Риголетто» Верди любовным похождениям предается... кинопродюсер — тот самый, что ищет режиссеров для работы над фильмом «Ария». Эпизод, поставленный американским режиссером Робертом

Кадр из фильма «Ария». «Тристан и Изольда» Р. Вагнера в постановке Фрэнка Роддэма.

*(Журнал «Ревю дю синема»)*

Олтмэном, был навеян его недавней работой в театре, где он ставил музыкальную драму И. Стравинского «Карьера мота», созданную по сюжетам одноименной серии гравюр У. Хогарта (1735). Олтмэн оживил на экране персонажей одной из этих «картин нравов» — безумцев, принужденных на потеху наблюдающим за ними аристократам слушать оперу Ж.-Ф. Рамо «Бореады».

Десять разнородных эпизодов «Арии» сюжетно объединены, по замыслу Дона Бойда, главным героем — оперным тенором (в его роли снялся актер Джон Херт): это как бы картины, возникающие под влиянием личных переживаний в сознании мыслящего оперными образами человека.

Оригинальный опыт Д. Бойда, отмечает рецензент журнала «Ревю дю синема», ценен тем, что позволил выявить богатство ассоциативного потенциала оперной классики; в предложенных десятью режиссерами трактовках музыкальных фрагментов многие зрители найдут, по его мнению, отголоски собственных ощущений и переживаний.

## «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПИШЕТ НОГАМИ»

Так назвал английского писателя и путешественника Брюса Четвина рецензент американского журнала «Тайм» Р. Шеппард в статье, посвященной его новой книге «Напевы», которую выпустило издательство «Викинг». Путешественником Брюс Четвин стал поневоле: 20 лет назад, работая искусствоведом на знаменитом лондонском аукционе Сотби, он внезапно потерял зрение. В тот же день оно восстановилось, однако врачи рекомендовали Четвину оставить работу с картинами и «побольше смотреть вдаль».

И Четвин отправился путешествовать — он посетил Азию, Африку, Южную Америку, побывал в СССР и США. В результате этих поездок появились интереснейшие книги — «В Патагонии» (1977), «Вице-король Уида» (1980),— их автор, по мнению Р. Шеппарда, «оказался на редкость искусным, талантливым и внимательным рассказчиком». «Странствующего писателя» Брюса Четвина интересуют кочевые народы — и он едет в Австралию.

Этот континент, согласно мифам, был создан «под напевы древних людей», бродивших по нему и дававших имена животным, растениям, а также горам и долинам, и поныне вся Австралия испещрена «тропами этих напевов», видимых и понятных только аборигенам, как ноты понятны музыкантам. Различные племена время от времени отправляются бродить по стране и при этом пользуются напевами, как мы пользуемся географическими картами. Кстати, продолжает «Тайм», один из исследователей, помощник Четвина, составляет своеобразную карту напевов, чтобы сохранить музыкальный образ природы, исчезающий под натиском цивилизации,— ведь почти о каждой горе или долине сложена песня, напев...

Брюс Четвин.

*(Журнал «Тайм»)*

Р. Шеппард замечает, что в книге Брюса Четвина сочетается сразу несколько жанров — это и традиционные путевые заметки, и философское эссе и в то же время — подлинно художественное произведение. В основе «Напевов», безусловно, лежит и фактический материал, и личные впечатления автора, хотя сам он утверждает, что многое в книге — художественный вымысел. Помимо «физического» путешествия по Австралии, отмечает в заключение «Тайм», Четвин совершает и другое — интеллектуальное, полное неожиданных поворотов и открытий, результатом которого и явилась «написанная ногами» книга.

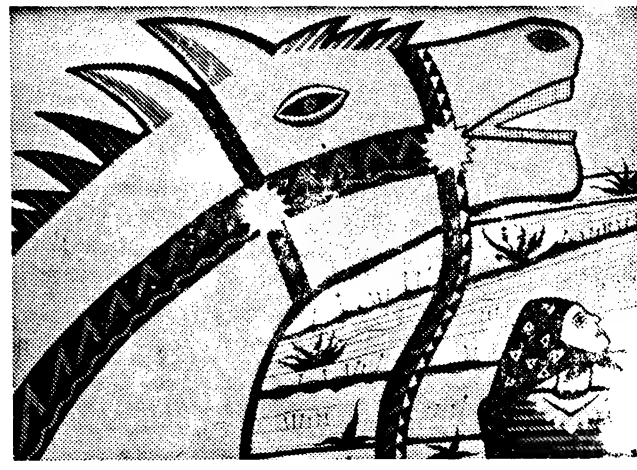
# *Венгрия*

## ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ РАСПУТИНА

«Нет ничего удивительного в том, что повесть Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» вдохновила на создание фильма не только Элема Климова, но и венгерского режиссера,— пишет обозреватель будапештской газеты «Мозго кепек».— Взаимоотношения человека и природы, постоянное разрушение мира природы, тревога за судьбы земли — эти темы давно волнуют Шандора Райзенбюхлера. «Навязчивые идеи» его прежних фильмов — «Похищение Солнца и Луны», «Паника» — получили дальнейшее развитие в его новой работе — двенадцатиминутном рисованном фильме «Прощай, островок».

«У меня не было намерения перевести литературное произведение на язык другого искусства,— рассказывает в одном из интервью Шандор Райзенбюхлер.— Передо мной стояли совершенно иные задачи. Не знаю, что сказал бы Распутин о моем фильме... Я стремился проникнуть в атмосферу повести, понять ее дух и передать его, уплотнив до 12 минут экранного времени. Моя картина — это рассказ о последних днях острова, которому суждено уйти под воду. Главные герои повести на экране не появляются, из многих ее сюжетных линий и мотивов я показал в фильме только один законченный сюжет — гибель могучего, величественного дерева, древа жизни. «Царский лист-

«Последняя весна для Матёры» — кадр из фильма «Прощай, островок».



«Поджожщики» — кадр из фильма «Прощай, островок».

вень» не брала ни пила, ни топор, одолеть его смогли только поджожщики... В фильме есть какая-то глубинная печаль (влияние повести Распутина), я воссоздал ее интуитивно, и, чувствую, она трогает зрителей».

Шандор Райзенбюхлер — и режиссер, и художник этой ленты — два года работал над рисунками. «В фильме «Прощай, островок»,— поясняет его создатель,— соединены два стиля, две графики: одна передает старый, наивный крестьянский мир, другая — мир технократии, машинерии, выписанный мной чуть ли не с инженерной точностью. В музыкальном сопровождении использованы фольклорные напевы, мелодии рок-ансамблей и классическая музыка — Боккерини, Бах, «Реквием» Моцарта».

На экраны страны фильм «Прощай, островок» вышел в начале этого года, в феврале он будет представлен на международном кинофестивале в Западном Берлине.

## ГДР

### НОВЫЙ ПЕРЕВОД ГОМЕРА

С «Илиадой» и «Одиссеей» немецкие читатели впервые познакомились в эпоху Просвещения. Перевод, осуществленный Иоганном Генрихом Фоссом (1751—1826), был высоко оценен Гёте и вошел в сокровищницу немецкой литературы.

И тем не менее, отмечает газета «Нойес Дойчланд», каждое поколение стремится по-своему осмыслить великий эпос. Одним из возможных путей подобного осмысления классических произведений стал перевод ритмизованной прозой, предложенный в свое время Вольфгангом Шаденвальдтом. Опыты Шаденвальдта удачно, по мнению рецензентов, продолжил его ученик — Георг Шайбнер. В 1972 году Академия искусств наградила Шайбнера премией имени Лиона Фейхтвангера за новый перевод «Илиады». 14 лет спустя была завершена работа над переводом «Одиссеи».

«Оба издания,— подчеркивает газета,— отличает прекрасное оформление. Художник, как и переводчик, смело отступает от существующих традиций «привычной трактовки гомеровских произведений. Иллюстрации Петера Нагенгарта ярки, непосредственны, современны по манере исполнения. Они не только воссоздают удивительный мир гомеровских героев, но и заставляют задуматься над тем, какое место занимает античность в искусстве сегодняшнего дня».

## Дания

### НОВИНКИ СЕРИИ

Рецензент газеты «Ланд ог фольк» Петер Грегерсен высоко оценивает новые книги серии «Классическая лирика», подготовленные издательством «Ханс Рейтцель». Бернхард Северин Ингеман (1789—1862) известен прежде всего как автор исторических романов — «Победа Вальдемара», «Детство Эрика Менведа», «Король Эрик и изгнанники», «Отто — принц датский». Но мало кто из современных читателей знает, что дебютировал Ингеман как поэт. Его драматические поэмы «Митридат», «Черные рыцари», сборник стихотворений «Дорожная лира», цикл романсов «Хольгер-датчанин» пользовались огромной популярностью. Стихотворения Ингемана, положенные на музыку, принесли ему лавры истинно народного поэта.

В новый сборник включены любовные элегии, романсы. «Поэзия Ингемана и сегодня не потеряла своего очарования, язык его свеж и красочен»,— отмечает рецензент.

Эрик Кнудсен (род. в 1922 г.) — поэт послевоенного поколения — в первом своем сборнике стихотворений «Двойные дни», изданном в 1945 году, обращался к Мортену Нильсену, Густаву Мунк-Петерсену, Нурдалю Григу, умершим молодыми: «Ваши великие мечты, ваша тревожная юность — огненные столпы нашего странствия, молнии, освещающие наш путь». И в более поздних сборниках — «Неизвестному богу» (1947), «Цветок и меч» (1949) — он напоминал о жертвах минувшей войны — «мировой драмы», клеймил «ленивые привычки, легкие победы», призывал беречь мир. «Я верю в то, что мрак окутан светом», — эта строка Эрика Кнудсена могла бы стать эпиграфом к его творчеству. Его новаторские опыты в прозе вошли в сборники «Фантомы» (1949) и «Бинокль Галилея» (1952), где писатель обратился к серьезным этическим и эстетическим проблемам. В сборнике серии «Классическая лирика» представлены произведения из различных книг поэта.

«Диапазон книг, выпускаемых издательством «Ханс Рейтцель», широк и охватывает и классическое наследие прошлого века, и современность», — заключает рецензент.

Одна из вершин датской музыкальной культуры — опера Карла Нильсена «Саул и Давид», написанная в 1902 году по либретто Эйнара Кристиансена, — обрела новую жизнь в постановке Королевского театра Дании и была показана по датскому телевидению. Газета «Ланд ог фольк» отмечает интернациональный характер новой постановки: существенный вклад в нее внесли шведы — режиссер Фольке Абениус и дирижер Сикстен Эрлинг, а партию Давида исполняет норвежский тенор Кьель Магнус Сандве. На снимке: Лейф Роар — в роли Саула, Кьель Магнус Сандве — в роли Давида.

*(Газета «Ланд ог фольк»)*

## Египет

### ПАТРИАРХ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пресса арабских стран публикует обширные материалы, посвященные недавно скончавшемуся «великану арабской литературы» — выдающемуся романисту, новеллисту и драматургу Тауфику аль-Хакиму (1898—1987).

В статье, опубликованной в газете «Арбат ашар Октобер» (НДРЙ), критик Наджми Абд аль-Маджид пишет: «Тауфик аль-Хаким — один из тех деятелей культуры, чьи имена навечно останутся в истории арабской литературы... Он — последний из ушедших великанов, принадлежавший к поколению Таха Хусейна, Аббаса аль-Аккада, Ахмада Рами, Умм Кульсум, Ахмада Лютфи ас-Сейида и других титанов, которых породила арабская нация в начале этого столетия после эпохи упадка, мраком окутывавшей арабский мир более пяти веков».

Тауфик аль-Хаким — автор известных во всем арабском мире и переведенных на множество языков романов «Возвращение духа», «Записки деревенского следователя», «Птичка Востока», «Цвет жизни», «Священные узы», патриарх современной арабской драматургии — им написано свыше тридцати бытовых и философских пьес.

Т. аль-Хаким был одним из первых арабских авторов XX века, с которым познакомились советские читатели: в 1935 году на русский язык был переведен его роман «Возвращение духа», рассказывающий об антиколониальной египетской революции 1919 года. В нашей стране переведены и другие его произведения, творчеству египетского писателя посвящены исследования видных советских востоковедов.

Свою статью Н. Абд аль-Маджид заключает следующими словами: «Неподвластный смерти, борющийся с ней каждым своим словом, Тауфик аль-Хаким остается среди нас».

## Израиль

### «УЛЫБКА АГНЦА»

Так называется фильм, поставленный режиссером Шимоном Дотаном и отмеченный несколькими израильскими кинематографическими премиями. Его успех, считает рецензент американской газеты «Пиплз дейли уорлд» Чак Айделсон, объясняется укреплением в Израиле позиций сил, выступающих за поиск диалога с палестинцами.

Главные герои фильма — два израильских офицера, которые пытаются «гуманными» методами обеспечить управление оккупированными арабскими территориями. Однако даже таким «просвещенным» завоевателям не удается избежать обострения конфронтации с местным населением, поддерживающим палестинских партизан.

По мнению Ч. Айделсона, фильм заслуживает положительной оценки, несмотря на некоторый схематизм основной сюжетной линии. «Улыбка агнца», полагает рецензент, поможет широкой общественности — как в Израиле, так и в США — более трезво оценить «реальность, порожденную 20-летней израильской оккупацией арабских территорий».

Кадр из фильма «Улыбка агнца».

*(Газета «Пиплз дейли уорлд»)*

## Индия

### ЧЕЙ ПРОЕКТ ЛУЧШЕ?

В Дели прошел конкурс проектов монументального Национального центра искусств имени Индиры Ганди, который будет состоять из комплекса зданий различного назначения и разместится на площади свыше 6 гектаров. Как сообщает журнал «Индиан энд форин ревью», в конкурсе приняли участие архитекторы из 37 стран. Для рассмотрения проектов было создано авторитетное жюри, в состав которого наряду с представителями Индии вошли также эксперты из Англии, Японии, Нигерии. Из 43 поступивших на конкурс проектов к третьему туру было допущено лишь 12. Решение жюри о присуждении премий лучшим проектам было оглашено премьер-министром Индии Радживом Ганди. Первой премией отмечен проект, автором которого является американский архитектор Ральф Лернер. Второй премии удостоен проект индийского архитектора Гаутама Бхатия. Третья премия поделена между тремя участниками конкурса, представляющими соответственно Францию, Англию и Грецию.

Выступая перед собравшимися, премьер-министр выразил надежду, что как сам конкурс, так и выбор, сделанный жюри, будут служить взаимообогащению идей в области градостроительства.

Характеризуя свой проект, победитель конкурса Р. Лернер отмечает: «Я отдаю предпочтение простым геометрическим формам и пропорциям, столь характерным для индусской, могольской и классической традиций. Архитектура должна подчеркивать назначение центра, основная цель которого — объединить все виды искусства».

### СЕМИНАР В ДЕЛИ

В Дели состоялся трехдневный семинар, посвященный проблеме взаимовлияния поэзии хинди и урду. В работе семинара, организованного делийской Академией языка урду, приняли участие видные ученые-филологи, прибывшие сюда из Алигарха и Лакхнау, Бомбея, Хайдарабада и Майсора. Делая особый акцент на общности происхождения этих двух важнейших языков Индии — хинди и урду, участники семинара подчеркивали многовековую, постоянную и непрерывную взаимосвязь и взаимодействие литератур, создававшихся на хинди и на урду. В докладах и сообщениях, прочитанных на семинаре, проводилась важная мысль: многое в поэзии урду навеяно персидскими мотивами, но корни ее, несомненно, глубоко уходят в индийскую почву. На семинаре отмечалось, что даже в эпоху средневековья, когда влияние персидской традиции было особенно сильно, поэты урду прибегали к поэтическим размерам и жанрам, обычным для поэзии хинди. Кое-что позаимствовали из урду и поэты хинди. Отмечалось, что влияние индийской народно-поэ-

тической традиции на поэзию урду было настолько глубоким, что ее восприняли и развивают даже те поэты, которые сегодня живут в соседнем Пакистане.

В докладах и сообщениях подчеркивалось, что своей широкой популярностью в современной Индии поэзия урду во многом обязана кино, ибо песни, звучащие с экрана, как правило, написаны на стихи поэтов урду.

Сближению урду и хинди способствуют также практические шаги, предпринимаемые Академией урду: ее руководство предполагает в течение ближайшего года издать на хинди ряд произведений классической литературы урду. Откроет серию роман Мирзы Русвы «Ее зовут Умрао Дисан» (на русском языке он опубликован под названием «Танцовщица»).

## Ирак

### «ПЕРВЫЙ КОЛОДЕЦ»

Живущий в Багдаде крупный палестинский писатель-романист, поэт и переводчик Джабра Ибрахим Джабра подготовил к печати книгу воспоминаний «Первый колодец», сообщает журнал «Аль-Хиляль». В ней Джабра рассказывает о своем детстве в Старом Иерусалиме — город был тогда на территории находившейся под британским мандатом Палестины. Его семья жила в старинном арабском доме с внутренним двориком, достопримечательностью которого был колодец с чистой родниковой водой. Этот колодец, о котором шла речь во многих семейных преданиях, олицетворяет для Джабры его родину, воспоминания по-прежнему живы в его памяти.

Книга «Первый колодец» — это первая часть мемуаров палестинского писателя. Описываемые в ней события заканчиваются 1948 годом, когда произошел раздел Палестины и Джабра покинул родную землю. Во второй части писатель намеревается рассказать о годах своей молодости, проведенных в эмиграции в Иордании и Сирии, об учебе в Оксфордском университете и жизни в Багдаде.

## Ирландия

### «ОТЦЫ И ДЕТИ» ФРИЛА

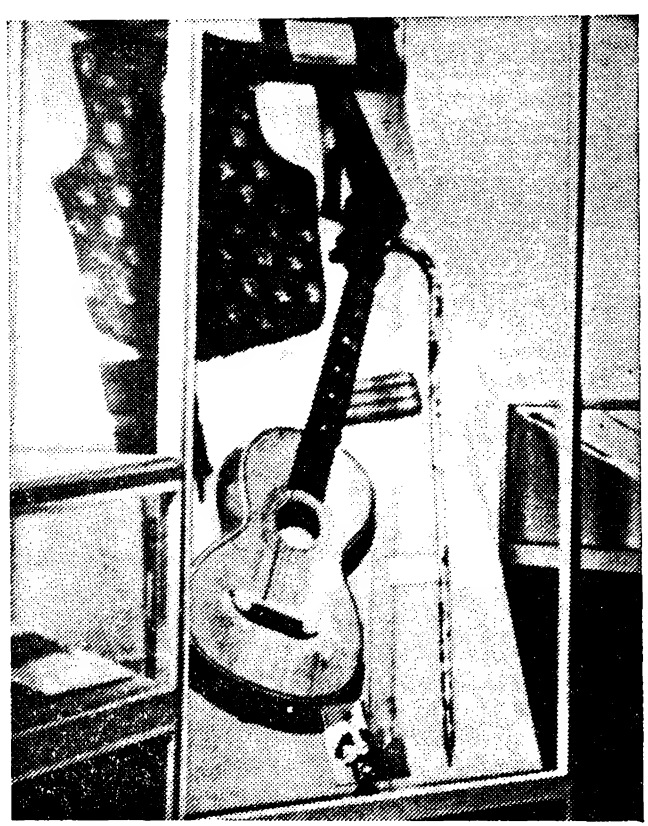
На подмостках дублинского «Литлтон тиэтр» идет спектакль «Отцы и дети»: известный ирландский драматург Брайен Фрил написал пьесу, — и это обозначено на афише — по мотивам романа Ивана Тургенева.

По мнению рецензента «Таймс литерари сапплмент» Джулиана Грэффи, «первый же акт напоминает нам, до какой степени сценичны романы Тургенева, и первый же акт поражает нас тем, как верно понял Брайен Фрил Тургенева. В русском имении, в провинции молодость и зрелость сталкиваются в извечном поединке идей и чувств. Молодость хочет «переделать Россию», такова ее политическая программа, что же касается духовных идеалов, то она «ни во что не верует».

Высоко оценивая этот спектакль, Дж. Грэффи тем не менее упрекает Фрила в излишней вольности в обращении с тургеневским текстом, в результате чего из спектакля выпали некоторые ключевые сцены (к примеру, смерть Базарова) и оказались смещенными акценты в образах главных героев.

В феврале этого года исполнилось 106 лет со дня рождения крупнейшего ирландского прозаика XX века Джеймса Джойса. Во всем мире переводятся его книги, публикуются труды и статьи о его жизни и творчестве. На родине писателя новым изданием вышла обширная монография «Дублин Джеймса Джойса», рассказывающая о городе, где происходит действие многих его произведений. В башне Мартелло, находящейся на берегу Дублинского залива и описанной в первом эпизоде романа «Улисс» (1922), теперь открыт мемориальный музей Джеймса Джойса. Экспонатов в нем немного: галстук писателя, его гитара, жилет, любимые книги. Некоторые рукописи переданы в дар музею Сэмюелом Беккетом, который был литературным секретарем Джойса. На стене — посмертная маска писателя.

*(Из книги «Дублин Джеймса Джойса»)*



## Италия

### БОЛОНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 900 ЛЕТ

Юбилей старейшего в Европе университета (1088—1988) Италия отмечает программой культурных мероприятий, рассчитанной на три года. Как сообщает еженедельник «Панорама», их перечень уже достаточно велик, но предложения продолжают поступать. Международными конгрессами, симпозиумами, семинарами хотели бы отпраздновать дату деятели всех представленных в университете отраслей науки — физики и биологи, онкологи и историки, социологи и лингвисты. Пока же программу открыл Международный семинар, посвященный многовековым научным связям между университетом-юбиляром и другими известными университетами мира. Материалы семинара найдут отражение в монументальной «Истории Болонского университета», работу над которой завершает Овидио Капитони, заведующий отделением палеографии и медиевистики. Параллельно готовится к печати шутливый аналог в картинках, где рисунки молодых болонских карикатуристов будут сопровождаться текстом одного из авторитетных ученых. Выставка, среди экспонатов которой — старинные рукописи, а также воссозданные в наши дни характерные костюмы и предметы быта преподавателей и студентов разных эпох,— расскажет о разных периодах существования университета.

Институт культуры области Эмилия-Романья готовит большие вернисажи «В эпоху Корреджо и Каррачи» и «Болонский стиль», посвященные живописцам Высокого Возрождения и барокко, а также выставку «Улиссе Альдровандини и просвещение в XVI веке». В экспозицию Института естественных наук войдут приборы и материалы научных исследований разных веков. Но наиболее важным из запланированных мероприятий ректор университета Роверси Монако считает реставрацию зданий, расположенных на университетской территории и в прилегающей к ней зоне Болоньи. К 1988 году будут завершены работы по восстановлению более чем 20-ти университетских музеев, картинной галереи, Академии художеств, городского театра, музеев консерватории.

### ЕЩЕ ОДНО «КИНОРАССЛЕДОВАНИЕ» ФРАНЧЕСКО РОЗИ

Обращение известного кинорежиссера Франческо Рози к роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» (1981) (см. «ИЛ», 1981, № 12) — своеобразному расследованию обстоятельств убийства «во имя чести» — является, по мнению критики, вполне закономерным. Как остроумно заметил французский критик Мишель Симан, название романа Гарсиа Маркеса вполне может служить жанровым определением многим работам Ф. Рози, в частности, таким его «фильмам-расследованиям», как «Сальваторе Джулиано», «Дело Маттеи», «Счастливчик Лючано», «Кармен». Однако на сей раз режиссер, по его признанию, уже не обличает силы, повинные в совершенном насилии, а размышляет над его причинами.

«Этот роман Гарсиа Маркеса кажется написанным специально для кино,— сказал Ф. Рози в интервью обозревателю газеты «Унита» Альберто Креспи,— хотя на самом деле это одно из самых «литературных» его произведений. Именно виртуозная литературная техника романа явилась залогом зрелищности фильма, но она же и создала определенные сложности. В книге картина убийства, реконструируемого автором с расстояния в 30 лет, складывается из свидетельств почти сорока его участников и очевидцев. Такая дробность повествования, беспрестанные смещения во времени — будь то на десятилетия или на несколько часов — не позволяли создать на экране яркие портреты самих этих людей, несущих за свершившееся коллективную ответственность, обрисовать нравы колумбийской провинции, вскрыть социальную подоплеку преступления. Вот почему в фильме многочисленные «осколки» воспоминаний пришлось объединить в три крупных «блока».

В романе Гарсиа Маркес воссоздает, повествуя от своего имени, реально проведенное им самим расследование, причем выступает также в качестве одного из действующих лиц — друга убитого. Волею режиссера расследует обстоятельства убийства на экране и размышляет о них за кадром другой персонаж романа, врач Кристо Бедойя (его, по отзывам критики, прекрасно сыграл Джан Мария Волонте). В ролях заняты сын известного французского актера А. Делона—Антони Делон, Орнелла Мути, Лючия Бозу, Руперт Эверретт.

Рецензент газеты «Унита» Сауро Борелли отмечает точность психологических характеристик героев фильма, масштабность постановки.

## Кувейт

### ДЕТЯМ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Всего два года издается в Кувейте журнал «Аль-Араби ас-сагир» («Маленький араб»), однако он уже успел завоевать широкую популярность среди детей и юношества как в самом Кувейте, так и в других арабских странах.

Журнал в живой и занимательной форме знакомит подрастающее поколение с азами науки, с историей и географией арабских стран и всего мира, с арабской и мировой литературой. Для популяризации литературных произведений и их знаменитых авторов журнал часто использует комиксы, в создании которых принимают участие видные арабские писатели и художники. Недавно «Аль-Араби ас-сагир» напечатал рассказ в рисунках, посвященный Л. Н. Толстому — одному из самых популярных в арабских странах писателей (текст Санааллы Ибрахима, рисунки Набиля Таджа). Серия рисунков знакомит маленьких читателей с жизнью Льва Толстого, с его деятельностью в защиту простых крестьян, с выступлениями против деспотизма и войн, рассказывает о широком международном признании великого русского писателя.

Кадр из фильма Ф. Рози «Хроника объявленной смерти».

*(Журнал «Магазин литтерер»)*

1. Л. Толстой перечитывает роман «Война и мир».
2. Л. Толстой знакомится с письмами читателей.

*(Журнал «Аль-Араби ас-сагир»)*

На одной из иллюстраций художник изобразил Толстого читающим письма, которые он получал от М. Ганди, арабского религиозного реформатора имама Мухаммеда Абдо и своей юной почитательницы из Дамаска по имени Рамза Кабабини. Подпись к другому рисунку гласит: «Л. Н. Толстой перечитывает роман «Война и мир» и... снова видит себя молодым».

## *Марокко*

### «СВЯЩЕННАЯ НОЧЬ»

Горькую историю Ахмеда-Захры — девочки, которую отец повелел воспитать как мужчину,— начатую романом «Дитя-иллюзия» (см. о нем «ИЛ», 1986, № 5), известный марокканский прозаик Тахар Бен Джеллун завершил во второй книге дилогии — «Священная ночь», также выпущенной издательством «Сёй», сообщает журнал «Лир».

Повесть об «иллюзорной жизни» Захры, уже превратившейся в дряхлую старуху, написана от лица прославленного сказителя, отмечает рецензент журнала «Магазин литтерер» Ги Дароль. Но кто этот странный человек — действительно сказитель или отец Захры? Он иссох от старости, временами ему изменяет память, заставляя несчастного пытаться в перипетиях истории... А молчать он не в силах: желание поведать людям (пусть даже небольшому числу его почитателей) о страшном жизненном пути Захры мучит его, подобно острой боли.

...Двадцать седьмого числа весеннего месяца рамадана тяжелобольной отец открывает Ахмеду, что его настоящее имя — Захра, и умоляет «искупить ложь, которая царила в их доме два десятка лет». Захра, рассказывает на страницах «Магазин литтерер» Ги Дароль, в ужасе бежит от родного порога и попадает в деревню, населенную одними детьми и подростками. Правит этим «призрачным миром» слепой юноша по прозвищу Консул. Именно он дает ей, «вновь рожденной», счастье любви и понимания. Идиллию грубо разрушает дядя Захры, который разыскивал девушку, чтобы предать ее в руки правосудия. «В своей прежней жизни она убила одного из родственников отца,— напоминает рецензент,— и теперь по приговору суда должна провести пятнадцать лет в тюрьме... Там Захра решает посвятить свою жизнь религии и таким образом смыть пятно греха со своей семьи».

«Тахар Бен Джеллун написал вовсе не затейливый приключенческий роман, хотя ткань повествования богато расцвечена сверкающими сюжетными нитями,— подчеркивает Ги Дароль.— Это серьезная, философская книга о боли человека и его перерождении, поднимающая главные вопросы земного бытия».

Роман Т. Бен Джеллуна «Священная ночь» удостоен Гонкуровской премии за 1987 год.

### КНИГА О ГАССАНЕ КАНАФАНИ

Издательство «Дар ар-Рашад аль-хадиса» (г. Касабланка) выпустило книгу литературоведа и критика Ахмеда Бейди «С Гассаном Канафани», сообщает журнал «Аль-Араби». В книге в живой и яркой форме рассказывается о жизни и творчестве крупнейшего писателя, романиста и борца палестинского Сопротивления Гассана Канафани, погибшего пятнадцать лет назад от рук израильских террористов. В ней рассматриваются как его литературные произведения, так и критические работы. Автор, кроме четырех романов, завершенных писателем, анализирует два его неоконченных произведения — романы «Влюбленный» и «Апрельские сливы».

Рецензент «Аль-Араби» отмечает, что книга А. Бейди стала «новым вкладом в изучение творчества Канафани».

## *Нидерланды*

### НОВАЯ РУБРИКА В ЖУРНАЛЕ

В нидерландском еженедельнике «Эльзевирс магазин» появилась новая рубрика. Хюго Клаус, выдающийся бельгийский прозаик, поэт, драматург и эссеист, пишущий на фламандском языке, начал на страницах еженедельника серию публикаций различных зарубежных поэтов в своем переводе. Открывает рубрику стихотворное переложение фрагмента из эссе франкоязычного швейцарского писателя Шарля-Альбера Сенгриа (1883—1954).

«Уже в течение многих лет в библиотеках мне попадаются малоизвестные бельгийские баллады XVI века либо стихи забытых арабских поэтов, оставшихся вне поля зрения наших литературоведов. Эти находки могли бы составить целый музей, его «коллекция» и дает мне материал для перево-

дов,— рассказывает Хюго Клаус в предпосланном первой публикации интервью. Возиться со стихотворением на чужом языке, будь то японский, польский либо эскимосский, для меня — божественное удовольствие, и я всегда пытаюсь остаться верным поэтическому оригиналу».

«В своих переводах,— отмечает Хюго Клаус,— я хочу показать, что роль поэта — не прекрасная маска, его речь — не высокопарная невнятица. Поэзия может изъясняться и будничным, вульгарным языком торговок рыбой. Никто никогда не откроет тайну магической границы, разделяющей обыденную речь и поэзию. Блез Сандрар, по-моему, один из самых интересных поэтов XX века, в 1917 году создал, например, блестящее стихотворение, положив в его основу ресторанное меню».

Существуют ли какие-либо противоречия между стилем оригинала и собственной манерой Клауса-поэта? «Каждая поэтическая акция обнажает тебя, делает беззащитным,— отвечает на этот вопрос Х. Клаус.— Кто хочет узнать меня как человека, может посмотреть в зеркало моей поэзии. В своих переводах я также присутствую, целиком и полностью...»

## Польша

### ПЬЕСА БАБЕЛЯ НА ПОЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Спектакль Торуньского театра имени Виляма Хожицы «Закат», поставленный по пьесе Исаака Бабеля, завоевал на фестивале польских театров несколько премий.

По мнению театрального обозревателя газеты «Жиче литерацке» Божены Винницкой, своим успехом новая постановка обязана прежде всего режиссерской работе. Кристина Мейсснер, считает критик, стремилась прежде всего передать атмосферу, колорит произведений Бабеля. Замысел режиссера был удачно подхвачен художником Александрой Семенович, которая создала многоплановые декорации, максимально используя сценическое пространство. Мебель, вывески, костюмы не слепо скопированы с «этнографических образцов», а талантливо «сымпровизированы». Авторы спектакля решительно отвергли принцип буквалистского правдоподобия, иначе пьеса утратила бы свое современное звучание. Творчество Бабеля, отмечает Б. Винницкая, требует особого подхода: границы между легкой иронией и трагизмом, гротеском и реальностью, фарсом и драмой у него порой неуловимы.

Тем сложнее задача актеров. Мечислав Банасик, Татьяна Павловская, Мажена Томашевская, Ильдефонс Стаховяк играют не комедию нравов, а вечную трагедию

Сцена из спектакля «Закат».

*(Газета «Жиче литерацке»)*

непонимания между разными поколениями. Спектакль был хорошо принят и зрителями и критикой. Кристина Мейсснер получила премию фестиваля за режиссуру, Александра Семенович — за сценографию, приз газеты «Новости» — «Золотая карета» — присужден актеру Мечиславу Банасику. Отмечена также актерская работа Зофии Мелеховны, исполняющей роль мадам Холоденко.

## Румыния

### ДНИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Широкий отклик в румынской печати получили дни советской культуры: эти мероприятия стали новым этапом в развитии культурных связей СРР и СССР, подчеркивает еженедельник «Ромыния литерарэ». Их программа, как отмечают обозреватели центральных газет, была удивительно разнообразной и насыщенной.

Библиотека Бухарестского университета подготовила выставку советской книги, представившую более 1000 экспонатов, в том числе произведения классиков поэзии и прозы СССР в переводе на румынский язык. Делегация советских писателей во главе с А. Салынским приняла участие во встречах с румынскими читателями, организованных в разных городах страны. В Союзе писателей СРР состоялся торжественный вечер, посвященный поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А. Ахматовой, Е. Евтушенко.

Любители классической и современной музыки, замечает музыкальный критик Альфред Хоффман на страницах «Ромыния литерарэ», познакомились с искусством замечательных советских исполнителей П. и Н. Коган, В. Яглинг, В. Сканави, посетили концерты Оркестра русских народных инструментов имени В. Андреева и оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова. Крупнейший в столице магазин грампластинок «Музыка» провел Декаду советской грамзаписи, организованную совместно с фирмой «Мелодия».

Большой успех у зрителей имела выставка советской живописи, графики и скульптуры, открывшаяся в выставочном зале «Даллес». О представленных на ней произведениях рассказала читателям «Ромыния литерарэ» искусствовед Амелия Павел, особо выделив имена художников И. Илтнере, И. Сутидзе, С. Пустовойта, И. Зенина, Т. Абдуллаева.

В бухарестском кинотеатре «Студио» была показана ретроспектива художественных фильмов советских ре-

И. Зенин. «Семья».

*(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)*

жиссеров, начиная от «Коммуниста» и «Баллады о солдате» и кончая картинами восьмидесятых годов — «И жизнь, и слезы, и любовь...» и «Иди и смотри».

«Дни советской культуры в Румынии,— пишет обозреватель «Ромыния литерарэ»,— стали настоящим праздником как для ценителей искусства, так и для массовой аудитории во многих городах нашей страны».

## Сальвадор

### ЖИВОЙ ОБРАЗ РОКЕ ДАЛЬТОНА

Издательство «Каса де лас Американас» выпустило в свет сборник «Роке Дальтон», посвященный известному сальвадорскому революционному поэту. Творческое наследие рано погибшего Роке Дальтона (1935—1975) весьма разнообразно: он — автор поэтических сборников, романов, пьес. Его перу принадлежит также ряд ярких и злободневных эссе по актуальным проблемам Сальвадора и Латинской Америки в целом.

Многие из его стихотворений, впоследствии вошедших в сборник «Стихи подполья», пишет рецензент газеты «Гранма» Фернандо Родригес Соса, долгое время распространялись в списках, под псевдонимом или анонимно, и воспринимались современниками как политические воззвания, призыв к действию, как боевая пьеса, лозунг. Роке Дальтон вдохновенно писал о героической борьбе сальвадорских революционеров-подпольщиков, их трудной, полной опасности судьбе, страданиях в тюремных застенках.

В книге собраны воспоминания тех, кто близко знал поэта, статьи о его жизни и творчестве, посвященные его памяти стихи известных латиноамериканских поэтов и безымянных авторов «из народа». Роке Дальтон всегда был «верен своей родине, поэзии, латиноамериканской революции». Размышляя о поэзии Дальтона, перуанский исследователь Ильдебрано Перес в статье, вошедшей в сборник, подчеркивает, что Дальтон сумел объединить в своей лирике критическое видение проблем современного общества и высокую гражданственность с тонким лиризмом.

## США

### «ВИРТУОЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ»

Издательство «Рэндом хаус» выпустило две книги известного американского писателя Трумена Капоте (1924—1984) — сборник новелл «Услышанные молитвы» и «Избранное», сообщает журнал «Тайм». Литературный обозреватель журнала Р. Шеппард отмечает необычность композиции «Услышанных молитв». Эта книга состоит из отдельных новелл (или глав неоконченной книги), впервые появившихся в четырех номерах журнала «Эсквайр» десять лет назад и вызвавших резкое неприятие представителей американского и европейского высшего общества.

Трумен Капоте.

*(Журнал «Тайм»)*

Трумен Капоте знал изнанку этого общества — его бесстыдство, алчность, зависть, преступления — и описал ее в своих новеллах, которым, однако, не суждено было слиться в цельное произведение — книга осталась незавершенной. Незадолго до смерти, напоминает Р. Шеппард, писатель утверждал, что работа над книгой продолжается, она даже почти закончена, но, возможно, Капоте уничтожил ее окончательный вариант или не сумел осуществить задуманное.

«Услышанные молитвы», по оценке журнала «Тайм», могли бы стать настоящим бестселлером (как когда-то «Обыкновенное убийство», «Завтрак у Тиффани» и «Музыка для хамелеонов»), ибо повествуют о невинности и цинизме, красоте и извращенности, вымысле и правде...

Трудности создания этой книги, по мнению рецензента, были вызваны самыми разными причинами — ухудшением здоровья автора, его социальной изоляцией, ущемленной профессиональной гордостью, депрессией. Но даже в самые сложные периоды своей жизни и творчества «виртуоз американской прозы» всегда сохранял независимость. «Обо мне ходят всякие слухи? И пусть, раз это неправда»,— писал Капоте в книге «Услышанные молитвы».

Вторая книга Капоте — «Избранное» — состоит из художественных произведений и журналистских очерков разных лет и дает читателям «возможность еще раз оценить творчество одного из наиболее талантливых современных прозаиков». В заключение статьи Р. Шеппард приводит слова известного американского писателя Нормана Мейлера, сказанные почти 30 лет назад: «Свою лучшую прозу он создает медленно, не торопясь, нанизывая слово на слово, соблюдая законы ритма...»

### ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕГО ТАНЦА

В городе Дарем (штат Северная Каролина) состоялся Американский фестиваль танца, сообщает журнал «Тайм». В фестивале принимала участие «Ка Па Хула» — группа исполнителей гавайского национального танца «хула». Рецензент журнала «Тайм» Джон Скоу сравнивает танец «хула» с современными танцами и находит между ними много общих черт, главная из которых — «заземлен-

Сцена из представления группы «Ка Па Хула».

*(Журнал «Тайм»)*

ность», по контрасту с «воздушным классическим балетом».

Традиционный «хула» достаточно эротичен, однако правила строго требуют вкуса и меры при его исполнении, утрированность считается вульгарной. Сложные движения рук и ног, сопровождающие пляску, пение и барабанный ритм — все элементы этого древнего гавайского танца передаются из поколения в поколение.

Согласно легенде, первый «хула» был исполнен в честь богини огня и вулканов Пеле ее младшей сестрой Хайиакой, напоминает «Тайм». Гавайцы танцевали его до начала XIX века, когда прибывшие на острова миссионеры ввели христианство и запретили этот танец, стремясь искоренить язычество и «аморальность» туземцев. В течение десятилетий гавайцы исполняли «хула» тайно, затем, с некоторыми оговорками, он все же был разрешен, но, как замечает Джон Скоу, талантливых исполнителей и знатоков этого танца уже почти не осталось. Жалкое подобие «хула» исполнялось лишь для туристов.

Однако теперь движение этнических групп за сохранение национальной культуры захватило и Гавайи. Сегодня танец преподают в гавайских школах, проводятся необычайно популярные на Гавайях местные фестивали и конкурсы исполнителей «хула». «Можно с уверенностью сказать,— пишет «Тайм», — что древний танец «хула» не умрет».

## Финляндия

### ПРЕМИЯ ЗА ПЕРЕВОД 1987 ГОДА

По данным справочника «Книга и книжная торговля в цифрах» (ФРГ) Финляндия занимает одно из первых мест в мире по количеству переводов и публикаций зарубежной литературы. Труд профессионального переводчика ценится в этой стране очень высоко.

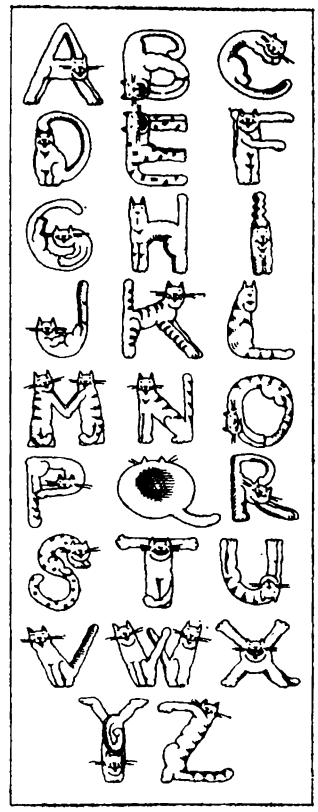
Начиная с 1974 года Министерство образования Финляндии ежегодно присуждает премию зарубежным переводчикам финской литературы. В прошлом году ее получила советская переводчица из Эстонии Пирет Салури, сообщает журнал «Букс фром Финланд». Первой ее работой был перевод книги Ханну Мякеля «Лошадь, которая потеряла очки». Меньше чем за десять лет она перевела на эстонский язык несколько романов, множество рассказов, пьес и книг для детей, созданных известными финскими писателями (среди них — Ханну Мякеля, Пентти Саарикоски, Мика Валтари и Лена Крун). Сложнее всего, по словам П. Салури, оказалась для нее работа над переводом книги Марьи-Лиисы Вартио, который она только что завершила. Следующим будет роман Антти Туури «Американская дорога», заключает «Букс фром Финланд».

## Франция

### ВО СЛАВУ АЛФАВИТА

В залах небольшого музея на улице Сюркуф, сбегающей к старинному университетскому кварталу от набережной Орсе, расположилась необычная выставка, сообщает журнал «Кензен литтерер». Ее экспонаты — многочисленные графические варианты букв и идеограммы на основе латинского алфавита — были собраны современным филологом Массеном, автором популярной книги «Буква и образ».

Этот вид творчества, находящийся на стыке изобразительного искусства и литературы, привлекал во Франции внимание крупнейших мастеров слова — Виктора Гюго, Стефана Малларме, Поля Валери, Гийома Аполлинера. В одной из знаменитых дневниковых записей, напоминает обозреватель «Кензен литтерер» Жильбер Ласко, Поль Клодель зримо воспел букву «М»: «Восхитительное, замечательное «М» высится в самом центре нашего алфавита, напоминая триумфальную арку с тремя точками



Один из экспонатов выставки — «кошачий алфавит».

*(Журнал «Кензен литтерер»)*

В Национальном музее Марка Шагала (Ницца) с большим успехом прошла выставка малоизвестных графических работ художника, «создателя прекрасных образных воплощений слова», приуроченная к столетию со дня его рождения, пишет журнал «Нувель обсерватёр». «Ностальгией по родному Витебску проникнут и мир Шагала-графика, безграничный, необъятный... Его населяют вечные герои художника, знакомые нам по его живописи,— парящие в небе бродяги, музыканты, люди, объятые духом трагического празднества»,— отмечает Э. Визель на страницах журнала.

На снимке: Марк Шагал. «Цирк» (1962—1966).

*(Журнал «Нувель обсерватёр»)*

опоры,— но остроумный шрифтовик, рисуя буквицу, может обыграть этот причудливый контур и сделать его, например, символом Мира, в котором мы живем, а может, и его гибели — Мора?»

В экспозицию вошли самые разные алфавиты, каллиграммы, поэтические и прозаические тексты XIV—XX веков, отмечает Ж. Ласко. Полный перечень представленных произведений с солидным комментарием посетители найдут в каталоге выставки, который сделан в виде словаря. «Руководство к пользованию» им написал сам Массен, предисловие — известный текстолог Сеголена Ле Мен.

В Бохумском драматическом театре с успехом прошла премьера спектакля «Нибелунги» по пьесе классика немецкой драматургии Фридриха Хеббеля (1813—1863). Новую редакцию «немецкой трагедии» осуществил режиссер Франк-Патрик Штекель в содружестве с драматургом Урсом Троллером. Текст был значительно сокращен.
«Но авторский замысел не нарушен: герои пьесы Хеббеля — люди, уставшие бороться, обреченные на гибель и смирившиеся с судьбой,— пишет обозреватель журнала «Культурхроник».— Их уже не пугают ни предательства, ни убийства: объятые скорбью, проживают герои отпущенный им краткий срок жизни, стремясь к смерти, к познанию истины». Цветовой ряд художественного оформления спектакля выдержан в мрачных тонах — сером и черном, с которыми контрастирует белый. По мнению Ф.-П. Штекеля, на сцене должно царить напряжение.
На снимке: сцена из спектакля «Нибелунги».

*(Журнал «Культурхроник»)*

## *ФРГ*

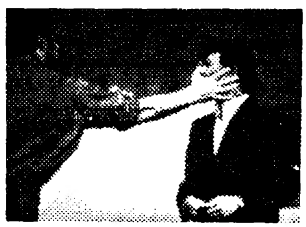
### НАПРАВЛЕНИЕ УДАРА ИЗМЕНИЛОСЬ

**Новая пьеса Мартина Вальзера «Пощечина» поставлена в театре Дармштадта. Рецензенты спектакля единодушно отмечают социальную направленность комедии.**

История о том, как безработный мечтает дать пощечину фабриканту, а по ошибке бьет модного поэта, держится, по мнению обозревателя еженедельника «Вельтвохе», на излюбленном мотиве Вальзера — «низы против верхов». «Тысячелетиями право давать пощечину было, так сказать, привилегией господ, — отмечает критик. — Сейчас направление удара изменилось». Ему вторит критик «Франкфуртер альгемайне цайтунг»: «Тема пощечины имеет социальное звучание — это символ классовой борьбы. Раньше сильные били слабых, феодалы — крестьян, буржуа — слуг, чтобы продемонстрировать свою власть над ними и свое презрение. Почему бы теперь не изменить направление удара?»

Сцена из спектакля «Пощечина».

*(Журнал «Культурхроник»)*



Сила пьесы, считает рецензент «Культурхроник», в остроумии, с которым драматург изображает «мирок каждого персонажа». Манере Вальзера не чужды и откровенно фарсовые приемы. «Драматург обличает не только западногерманских интеллектуалов, но и современную гротескную действительность Запада вообще»,— пишет журнал «Театер хойте».

Высоко оценивается прессой режиссура постановщика спектакля Ансгара Хаага.

## *Швейцария*

### «СИНИЙ ВСАДНИК» 77 ЛЕТ СПУСТЯ

**Журнал «Швайцер монатсхефте» рассказывает об организованной Бернским музеем изобразительных искусств выставке художественного объединения «Синий всадник», созданного в 1911 году в Мюнхене Василием Кандинским (1866—1944) и Францем Марком (1880—1916). Художники познакомились после того, как Ф. Марк опубликовал в 1910 году, пожалуй, единственную в то время рецензию, в которой он, с восторгом описывая одну из картин Кандинского, сравнил богатство ее красок с многоцветьем восточного ковра.**

**«Синий всадник» не был художественным объединением в обычном смысле этого слова: двумя его основателями были проведены две выставки — в декабре 1911 года в мюнхенской галерее «Тангейзер» и в феврале 1912 года в галерее «Гольц». Однако уже в мае 1912 года в издательстве «Пипер» вышел ныне овеянный легендами программный альманах «Синий всадник», в котором, сопоставляя произведения изобразительного искусства различных эпох, В. Кандинский и Ф. Марк отстаивали принцип «художественной равноценности произведений, созданных в силу мистической и духовной необходимости».**

**Как пишет искусствовед Аннемари Монтей, в экспозиции помимо работ Марка и Кандинского от ранних этапов творчества до 1912 года представлены работы их друзей и сподвижников — Августа Макке и Габриэлы Мюнтер, а также и других выдающихся художников авангарда — П. Пикассо, Р. Делоне, К. Малевича, Г. Арпа.**

◆

***В следующем номере:***

Роман КАРЛОСА ФУЭНТЕСА (Мексика) «Старый гринго»

Рассказы румынского писателя БЕДРОСА ХОРАСАНДЖАНА

Стихи ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ (Италия)

К 60-летию ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА:
статья В. ЗЕМСКОВА и интервью с писателем.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

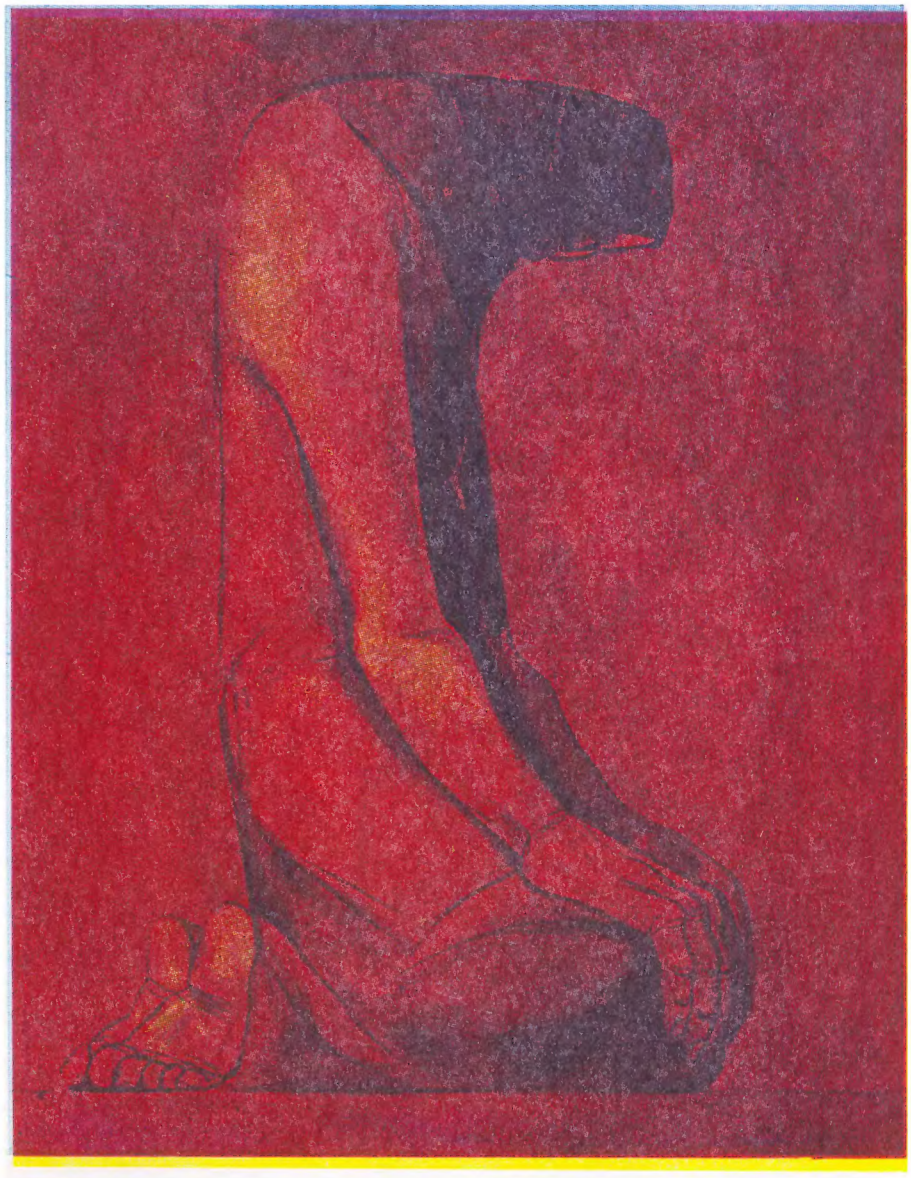
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

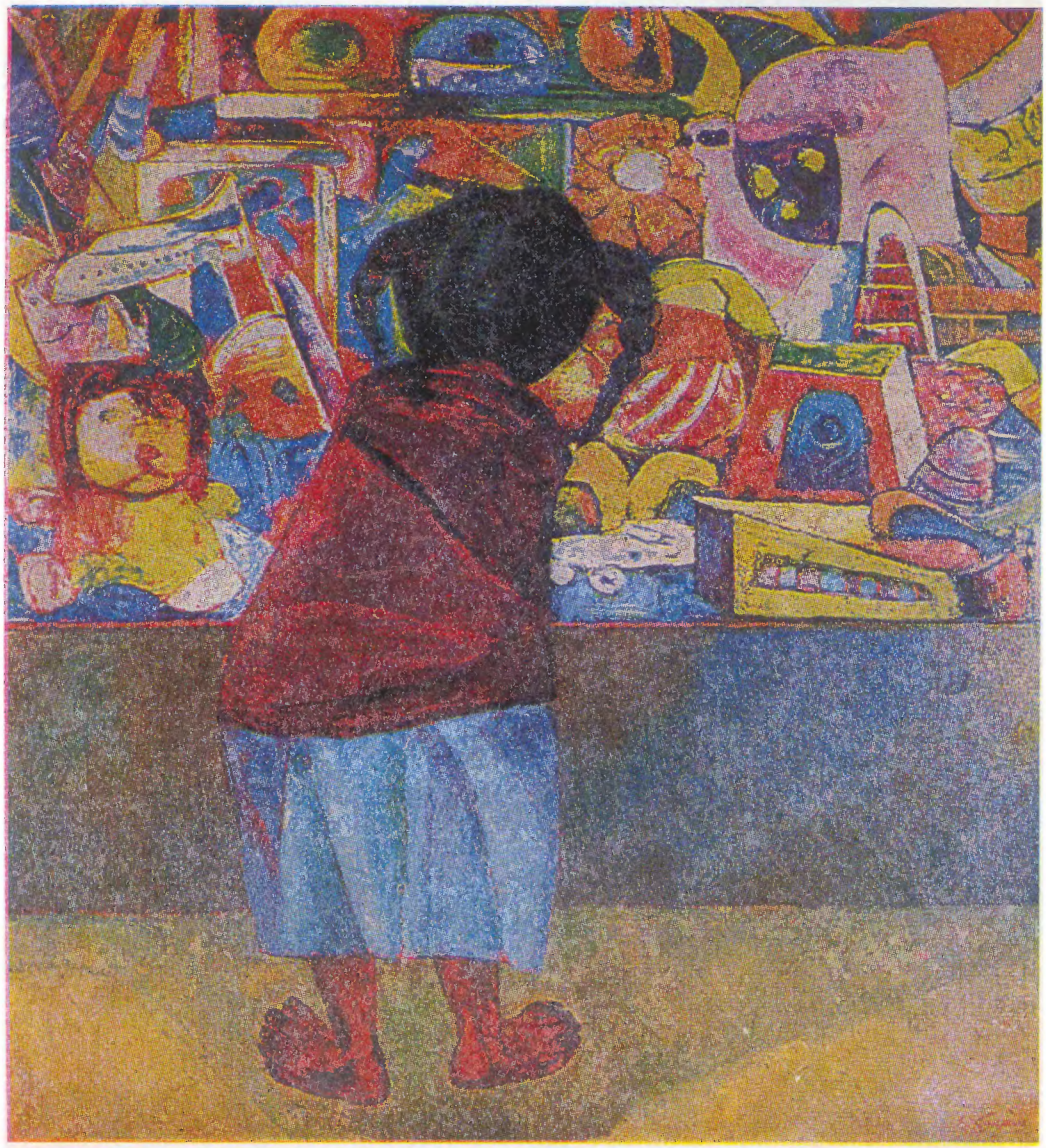
Сдано в набор 26.11.87. Подписано в печать 12.01.88. Формат 70×108¹/₁₆
Печать высокая. Объем 16 п. л. 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 27,18.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 4173

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Мольба

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394